Владимир Голяховский

Американский доктор из России

История успеха

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Все русские эмигранты в Америке делятся на два типа: на тех, которые пустили корни на своей новой родине, и на тех, кто существует в ней, но корни свои оставил в прежней земле, то есть живут внутренними эмигрантами…

В книге описывается, как русскому доктору посчастливилось пробиться в американскую частную медицинскую практику.

Ничто так не интересно, как история личного успеха в чужой стране. Эта книга — продолжение воспоминаний о первых трудностях эмигрантской жизни, изданных «Захаровым» («Русский доктор в Америке», 2001 год).

Сделано для библиотеки LIBRUSEC

- Владимир Голяховский
  - Предисловие
  - Неожиданная улыбка судьбы
  - Триумф профессора Илизарова
  - Предчувствия начинают реализовываться
  - Медицина и реклама
  - На новом месте
  - Наконец среди американцев
  - Новый прилив энергии
  - Новый прилив Энергии
  - Американская стамина — особая выносливость
  - Советские иммигранты — наши больные
  - Новая встреча с Илизаровым. Ирина едет в Москву
  - Наш сын
  - Болезнь Илизарова
  - Вторая операция
  - Мечта старого русского доктора
  - Иринина лаборатория
  - Выступление в академии
  - Я стал глохнуть
  - Землетрясение в Армении
  - Москва, Москва…

- Русский барин
- Лас-Вегас — символ Америки
- Мой последний экзамен
- Ленинград
- Рабочее место хирурга
- Илизаровское удлинение
- Курган
- Бразилия
- Начало частной практики
- Чили
- Консультация
- Секретарша
- Заработки
- Технологическая динамичность Америки
- Мой помощник
- Гватемала
- Акула Уолл-стрита
- Я пишу учебник
- Аризона, Великий Каньон и Колорадо
- Моя русская клиника
- Девяностолетие мамы
- Ватерлоо Илизарова
- Невидимые миру слезы хирурга
- Венесуэла и Аруба
- Второе профессорство
- Сказка про перевернутые мозги
- «Новые русские» в Нью-Йорке
- Одесса гуляет…
- Мишка-одессит
- Человек из Жмеринки
- Мои пациенты-американцы
- Мой первый суд
- Деньги делают деньги
- Интеллектуальна ли Америка?
- Внучка
- Золотое десятилетие американской медицины
- Индия
- Невеселые новости
- Хирург и Смерть
- Притягательная сила Америки
- Американки
- Италия
- Американская достоевщина
- Томление от хирургии

- Драконы Гонконга
- Перед завершением карьеры
- Есть ли недостатки в Америке и в американской медицине
- Все-таки нелегко оставлять работу
- Последняя операция
- Мысли о хирургии
- Эпилог

Владимир Голяховский
Американский доктор из России
ИСТОРИЯ УСПЕХА

Посвящается моим американским внукам — Кортни, Грегори и Лорин.

Ничто так не интересно, как история личного успеха в чужой стране.

Предисловие

Автобиография — лучший способ рассказать правду о других людях.

Аба Эбан, израильский политик

Все русские иммигранты в Америке делятся на пустивших корни в этой чужой стране и тех, которые проживают в ней, но корни свои оставили в родной земле. В 1978 году я в возрасте почти пятидесяти лет эмигрировал с семьей в Америку. Мы сумели пустить здесь корни. Сначала я приспосабливался к Америке, но, добившись успеха стал приспосабливать Америку к себе. На долгом пути было много интересных событий, встречалось много интересных людей — американцев и русских.

Первые годы нашего пребывания в США я описал в книге «Русский доктор в Америке» («Захаров», 2001). Многие читатели спрашивали: что с нами случилось дальше, смогли мы стать американцами? Пусть по этой моей новой книге читатели судят сами, кем мы стали. Ничто так не интересно, как личные истории, тем более — истории успеха.

Попасть в элиту частной медицины США непросто: американские доктора весьма неохотно принимают в свою среду коллег-иммигрантов. Они закономерно гордятся достижениями своей медицины и настороженно относятся к врачам с другим уровнем подготовки и оставляют им лечение иммигрантов. В Соединенных Штатах проживают более двух миллионов иммигрантов из бывшего Советского Союза: широкое поле деятельности для докторов-соотечественников.

Мне посчастливилось быть свидетелем и участником взлета американской медицины в 1980-1990-х годах. Если больной может выбирать, лечиться ему лучше всего в Америке. Но вот вопрос: кто такой хороший специалист и кто такой хороший доктор? Можно быть хорошим специалистом, но не стать хорошим доктором. И, наоборот, хороший доктор — не обязательно хороший специалист. Специалист отличается глубиной знаний. Но практическая медицина — это самая человечная изо всех профессий: это и наука, и сложное искусство врачебного подхода к больному человеку. Хороший доктор — это носитель человечности медицины. Чтобы лечить болезни средней тяжести, больному нужен хороший доктор. Но когда состояние тяжелое, победить может только специалист.

Я много ездил по миру с лекциями и операциями и видел, что лицо медицины меняется повсюду: все больше хороших специалистов и все меньше хороших докторов. И, при всех успехах медицины, у меня сложилось впечатление, что чем она богаче лекарствами и инструментами, тем меньше в ней человечности отношений между доктором и больным.

Я старый врач, проработавший 25 лет в России и столько же в Америке. Я сумел сохранить в себе традиции русского доктора, но успел стать в Штатах специалистом нового типа. В этой книге я рассказываю, как непросто сочетать в себе эти черты.

Мемуары — социально-историческое повествование, отражающее личный опыт. В этой книге — весь мой личный опыт за годы, прожитые в Америке. Я заканчиваю ее рассказом о том, что думает старый хирург, оставаясь один на один с воспоминаниями.

Д-р Владимир Голяховский, Нью-Йорк, 2003 г.

Неожиданная улыбка судьбы

Когда мне невмочь
пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус
сажусь на ходу,
В последний, случайный…

Булат Окуджава

У всех бывает свой «синий троллейбус», последний, случайный, когда жизнь делает неожиданный поворот. Со мной такое случалось много раз и случилось в одно октябрьское утро 1987 года в Нью-Йорке.

Осень — это лучшее время года здесь. После надоевшего летнего зноя и влажности установились ясные теплые дни, ночи стали прохладными, деревья в парках и на бульварах окрасились великолепным багрянцем. Обычно в это время у меня становилось легко на душе и улучшалось настроение. Но в тот октябрь на душе лежала тревога и настроение было грустное: я совершенно не знал, что ожидало меня в ближайшем профессиональном, врачебном будущем.

В группе докторов, с которыми проходил пятилетнюю стажировку по специальности, я делал утренний обход послеоперационных больных в Бруклинском госпитале. Переходили от одного больного к другому, негромко обмениваясь замечаниями по ходу лечения, делали перевязки, записывали назначения в историях болезней. За окном сияло солнце, мои молодые коллеги выглядели расслабленнее, чем всегда, улыбались и заигрывали с молоденькими сестрами.

Я был старше их вдвое, и мне было не до улыбок. Девять лет иммиграции ушло у меня на то, чтобы снова стать доктором, теперь — в Америке.

В 1978-м я выехал из России, четыре года ушли на изучение английского, на работу ортопедическим техником и на сдачу экзамена, обязательного для всех иностранных докторов. Наконец мне удалось найти место в «Inner City Hospital» (что-то вроде «Госпиталя гетто»). Брали туда лишь иммигрантов, которых не приняли ни в один другой госпиталь, и я был в их числе.

Жилось трудно и грустно; какое-то время я подумывал совсем уйти из медицины. Куда? У меня была вторая профессия,

писательская. Но быть в Америке русским писателем и этим зарабатывать на хлеб невозможно. В пятьдесят семь я был, наверное, самый старый врач-резидент в Америке. Ну кому нужен такой начинающий хирург?..

Хотя, по-настоящему, за плечами у меня был опыт 25 лет работы и положение профессора в Москве. Неужели я никому не нужен? — Это грустно.

Услышав мой русский акцент, заведующий хирургическим отделением, иммигрант из Гаити, сказал с французским акцентом: «Я могу поставить вас в список на очередь, и вызову, если будет свободное место ночного дежурного в приемном покое…»

Это была самая низкая врачебная позиция.

Между иммигрантами это называлось «очередью акцента»: все старались брать на работу своих. Госпиталей с явным преобладанием иммигрантов из России в Америке не было. Имелась, впрочем, возможность открыть частную клинику в районе, где густо селились русские, и пользовать их, потому что американцы к русским докторам не обращались. Многие наши так и делали, и это давало неплохой заработок. Но я всю жизнь простоял у операционного стола, умел и хотел делать не только деньги, но и операции, постоянно думал об этом и все больше мрачнел. Вдобавок меня раздражал частым писком биппер на поясе: операторы вызывали меня в другие отделения. Вот опять он запищал. На этот раз звонок был из города. Я услышал голос Уолтера Бессера:

— Владимир, в Нью-Йорк приезжает Илизаров!..

Он исказил фамилию, произнеся с ударением на втором слоге — Илизаров. Поэтому я не сразу понял, о ком идет речь.

— Кто-кто приезжает?

— Доктор Илизаров из России, твой друг. Ты писал о нем в своей книге. В нашем госпитале объявлена его лекция. Его пригласил доктор Френкель, наш директор. Он хочет внедрять метод Илизарова. Приходи на лекцию, это, может быть, хорошая возможность для тебя…

Если бы Уолтер знал, в какой грустный час моей жизни он сообщал мне это! Возможность… Америку называют «страной возможностей», но вот именно теперь этого для меня и не было.

— Хоро-о-ошая возможность, — протянул я вяло, — но меня ведь не приглашали…

— Зайди вечером ко мне в офис, обо всем поговорим.

С Илизаровым был связан один из ключевых моментов моей жизни. В 1950-1960-х годах он, работая врачом в сибирском городе Кургане, придумал аппарат для наружной фиксации

конечностей. Доктор Илизаров удлинял укороченные от рождения или после травмы кости на 10, 15 и даже на 25 сантиметров. Это был переворот в травматологии и ортопедии! Все новое в науке пробивается тяжело, со скрипом, и лучший пример тому — великий Галилей. В советское время косностью бюрократов от науки было загублено много прекрасных идей и погублено, в буквальном смысле слова, много светлых голов.

Я впервые увидел Илизарова в 1958 году в Боткинской больнице и совсем молодым аспирантом ассистировал ему на его первой московской операции. Как ни мало я тогда понимал, но его метод показался мне интересным. Однако большинство московских профессоров не хотели поверить в то, что неизвестный провинциальный врач смог открыть что-то, чего они не знали. Поэтому Илизарова в Москву долгие годы не приглашали, и метод его там не применялся. А он в Кургане продолжал успешно работать и упорно доказывать свое, чем нажил множество противников.

В 1965 году я был старшим научным сотрудником ЦИТО, Центрального института травматологии и ортопедии, карьера шла вверх. И вот меня послали в Курган, якобы осваивать метод Илизарова, а на самом деле парторг института дал мне задание развенчать «этого жулика». Два зимних месяца я учился у Илизарова. В примитивных условиях старого бедного госпиталя для инвалидов войны он творил чудеса. Когда я вернулся в Москву, мои начальники ждали, что я выполню их задание и раскритикую Илизарова. От этого зависела моя карьера. Но я не поступился совестью и профессиональными принципами: сделал доклад, в ходе которого доказывал, что Илизаров не только не жулик, но первооткрыватель, что ему нужна поддержка и что я готов делать в Москве операции по его методике. Меня сразу понизили в должности, отстранили от проведения операций и отправили сидеть на поликлиническом приеме.

В 1967 году в ЦИТО на лечение поступил олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по прыжкам в высоту Валерий Брумель. У него был тяжелый перелом ноги с инфекцией, грозила ампутация. За спиной начальства я дал ему совет: «Поезжай в Курган». Илизаров сделал ему блестящую операцию, и Брумель не только не потерял ногу, но снова стал прыгать в высоту. Правда, он не повторил своего рекорда (2,29), но достиг фантастического результата — два метра!.. Слава Брумеля катапультировала славу его доктора, и метод «курганского кудесника» быстро стал распространяться по всему Союзу. В Москве я был единственным, кто знал этот метод, меня срочно вернули к операционному столу, и я добился, чего хотел: внедрил метод Илизарова.

Илизаров был человек сложный, недоверчивый и осторожный в отношениях с людьми. Но мы с ним сдружились, а потом, став профессорами, совместно писали научные статьи…

Но все это было двадцать лет назад. Как отнесется ко мне мой старый друг теперь? Я слышал, что он стал большим человеком. В Америке, правда, про Илизарова не знали. А жаль. Я рассказывал о нем в первые годы эмиграции некоторым коллегам, но они не проявляли интереса: на все русское тогда, смотрели через призму холодной войны. Теперь Уолтер сказал, что доктор Френкель пригласил Илизарова прочитать лекцию в лучшем ортопедическом госпитале Нью-Йорка. Я когда-то хотел попасть в него, мне отказали… Неужели теперь засветила улыбка судьбы?

В девять вечера я приехал в офис Уолтера Бессера на 1-й авеню на Манхэттене. Уолтер был трудоголиком. На шестнадцать лет моложе меня, он родился в Панаме, в Америку приехал дипломированным врачом, прошел резидентуру. Я встретил его в 1982 году, когда работал техником-ортопедом в Госпитале святого Винсента. Он был первым, кто взял меня ассистировать на операциях, помог получить место резидента в госпитале. И теперь он старался помочь мне сделать новый шаг в американской карьере.

— Уолтер, ты не представляешь, в какой момент опять помогаешь мне! Ведь я все время только и думаю о хирургической работе!..

— Э, Владимир, для того и друзья, чтобы помогать друг другу. Don't worry, be happy! (Не горюй, держись бодрей!)

Уолтер мне очень часто напоминал эту американскую поговорку.

— Но я совсем не представляю, какая у меня может быть возможность получить работу в вашем госпитале.

— Есть план, — с хитрой улыбкой сказал он и повел меня в маленький французский ресторан по соседству.

— Сделаем вот что: ты дай мне обе книги твоих воспоминаний о жизни в России, я передам их доктору Френкелю. Я почти уверен, что после этого он сам позовет тебя.

— Думаешь, он успеет их прочитать до приезда Илизарова? По-моему, врачи — самый малочитающий народ.

— Ты не знаешь Френкеля: он все читает и все любит делать быстро. Завтра же привези мне свои книги. Как я понимаю, ему хочется первым в Америке внедрить метод Илизарова. Когда Френкель чего-то хочет, он этого добивается. Знаешь, он даже ездил в Россию, в тот сибирский город…

Уолтер замялся, вспоминая название.

— В Курган, — подсказал я.

— … Да, в Курган. Френкель приехал оттуда воодушевленный и сразу объявил, что пригласил Илизарова прочитать лекцию и провести семинар, чтобы начать работать по его методу в нашем госпитале. Я передам Френкелю твои книги, и он поймет, что ты как раз тот человек, который ему нужен. Нужный человек в нужное время и в нужной ситуации!

— Хорошо быть нужным, — кивнул я. — Знаешь, я ведь уже начал думать, что никому не нужен.

— Don't worry, be happy!

За полночь я вернулся домой и передал нашу беседу Ирине, своей жене.

— Господи, только бы взяли, — опять вздохнула она.

Все произошло, как и предсказывал Уолтер: через несколько дней мне позвонила секретарь Френкеля и сказала, что директор приглашает меня на прием утром в день лекции Илизарова.

— Пойдем вместе, — сказал Уолтер, когда я сообщил ему о звонке, — я тебя представлю и расскажу, что мы работали вместе, что ты хороший хирург и хороший человек.

Всегда лучше идти на дело с другом.

Мое напряжение достигло предела, когда мы шли по длинному коридору 14-го этажа госпиталя, мимо кабинетов заведующих отделами и столов секретарей. Вот и кабинет директора; дверь полуоткрыта, высокий седоватый Френкель сидит за столом, спиною к нам.

С порога Уолтер сказал:

— Доктор Френкель, это Владимир.

Френкель живо повернулся в кресле, быстро встал и пошел мне навстречу с протянутой рукой:

— Владимир, где вы были до сих пор?!

Много в жизни я слышал прекрасной музыки, но эти слова до сих пор звучат во мне едва ли не самым восхитительным аккордом. Краем глаза я увидел на письменном столе обе мои книги: значит, прочитал (!). Уолтер ткнул меня коленом: «А что я тебе говорил!..»

С тех пор прошло пятнадцать лет, мы с Френкелем стали друзьями, давно уже на «ты», вместе работали в частной практике, теперь оба вышли в отставку, и до сих пор каждый год в октябре я напоминаю ему о нашей встрече, и мы оба радуемся тому, что и как произошло в тот день.

А произошло вот что: Френкель не только пригласил меня на лекцию Илизарова и на фуршет, но предложил мне работу в качестве fellow, доктора, специализирующегося в узкой области. Когда Уолтер попытался охарактеризовать меня, Френкель сказал:

— Я все знаю о Владимире. Я прочитал его книги и позвонил в Бруклин его руководителю доктору Лернеру. Он сказал, что я не пожалею, если возьму Владимира к себе работать…

А потом Френкель рассказывал нам с Уолтером о своей поездке в Курган, о том, как его запаивали водкой и закармливали пельменями. Френкель там был первым американским гостем. Уолтер заливисто хохотал над его рассказом, я вежливо посмеивался. Меня снедала одна мысль: поскорее позвонить Ирине…

Выйдя из кабинета Френкеля и распрощавшись с Уолтером, я поспешил найти на первом этаже госпиталя телефон-автомат. Ирина взяла трубку, я выпалил:

— Взяли! Доктор Френкель предложил работу! Вечером он пригласил меня в ресторан, рано домой не жди.

— А Илизарова ты уже видел?

— Нет, он приедет позднее…

В назначенный час мы с Френкелем встретились в вестибюле госпиталя. Он сразу заговорил со мной как со старым знакомым. Когда мимо нас в аудиторию проходили врачи, он быстро представлял меня им:

— Это Владимир.

Они с удивлением косились на меня, пожимая руку. В госпитале не было ни одного русского, и поскольку сегодняшнюю лекцию читал профессор из России, то неизвестный Владимир мог быть одним из его команды. А я присматривался к ним: насколько же все они были не похожи на докторов-иммигрантов, с которыми я работал в Бруклине! Здесь все были белые, подтянутые, хорошо одетые, самоуверенные, настоящие американцы. Да и вся обстановка тут была совсем другая. Неужели мне выпадет счастье работать в таком госпитале?..

Пока мы ждали Илизарова, я рассказывал Френкелю о том, как ему ставили палки в колеса, и что больные называли «кудесником из Кургана», «magician from Kurgan». Это рассмешило Френкеля, он повторял по-русски слово «cood'yes'nick». А я все поглядывал на входную дверь…

Но вот, наконец, он вошел. Постарел, конечно, даже как будто усох немного. Понятно: возраст — под семьдесят. На пиджаке значок народного депутата. Шагнув навстречу, я помедлил мгновение, угадывая его реакцию. Старый друг смотрел на меня с улыбкой. Мы крепко обнялись и расцеловались по русскому обычаю, троекратно в щеки. Никогда не любил я эти лобзания, но рад был Илизарову чертовски! Похлопывая меня по спине, он сказал, подзадоривая:

— Ну что, поспешил ты уехать из России, а? Поспешил, брат!

А у нас удивительные перемены к лучшему, удивительные. Вот как!..

Он имел в виду Горбачева, политику «перестройки и гласности», от которой тогда ждали многого. Но мне совсем не хотелось прямо в дверях начинать обсуждать политику, я просто сказал:

— Мне, Гавриил, в Америке хорошо.

Если б он знал, как мне стало хорошо именно сегодня! Но он мог еще помочь…

Подошел стоявший в стороне Френкель. Я уловил, что теплота нашей встречи произвела на него впечатление. И мне сразу пришлось включиться — переводить им. Чуть ли не с первой фразы импульсивный Френкель сказал:

— Я хочу, чтобы Владимир помогал мне внедрять ваш метод в Америке.

Илизаров посмотрел на меня, на Френкеля, опять на меня, и все понял.

— Что ж, доброе дело, доброе дело… Владимир хороший специалист, знает мой метод. Мы работали вместе и стали друзьями. Я его высоко ценю и могу с чистой совестью рекомендовать вам в помощники.

Мне понадобилась пауза, чтобы осознать услышанное. Френкель смотрел выжидающе:

— Что он сказал?

Я переводил, а Илизаров утвердительно кивал головой, как будто понимал английский.

— О'кей! — сказал Френкель, подхватил нас обоих под руки и повел в аудиторию.

Триумф профессора Илизарова

В зале, рассчитанном на триста человек, собралось не менее пятисот. Люди сидели на ступенях боковых лестниц и плотно стояли на верхотуре. Как я потом узнал, пришли не только врачи и другие сотрудники, многие доктора привели своих жен и детей.

Лекция русского профессора была невиданным событием после долгих лет холодной войны. Любое незнание, как известно, порождает недоверие: ну что может быть интересного в советской медицине? Это я знал по опыту бесед со многими коллегами. И в тот вечер большинство докторов было настроено скептически, несмотря на то что Френкель заранее успел возбудить сотрудников рассказами о поездке в Курган.

Вместе с Илизаровым приехал его молодой помощник доктор Владимир Шевцов, обязанностью которого было по ходу лекции показывать слайды. Слайдов Илизаров привез более семисот. Он заранее потребовал, чтобы в аудитории установили три проектора, всю ночь накануне лекции сам закладывал слайды в кассеты. Невиданное число слайдов поразило воображение Френкеля, но он все сделал, как просил докладчик. Илизаров не говорил по-английски, поэтому Френкель пригласил переводчика из ООН, старичка с эспаньолкой, представителя эмигрантской интеллигенции 1920-х годов. Тот с порога заявил, что забыл очки, поэтому не ручается за точный синхронный перевод. Френкель вопросительно взглянул на меня, и я обещал помогать в переводе.

Илизаров говорил не много, он показал свое изобретение: металлический аппарат из колец, которые соединялись с костью тонкими спицами, проходящими сквозь нее. Потом он стал быстро показывать на широком экране одно за другим, сразу по три изображения своих больных: до операции, снимки с аппаратом и тут же — результат операции.

— Следующий больной, с дефектом кости более 25 сантиметров, ходил на протезе и с костылями, справа он же, после операции удлинения кости, ходит без палочки… Следующий больной, с врожденным отсутствием бедра, до двадцати лет не ходил; мы вытянули часть недоразвитой кости и создали новое бедро. Справа, как видите, он ходит на двух ногах… Следующий больной…

Слайды и комментарии поражали воображение аудитории. И мое тоже: до чего же много Илизаров успел сделать за годы моего отсутствия! Это была феерия, ничего из того, что он показывал, американские хирурги не знали. Аудитория наэлектризовалась, когда он стал показывать снимки людей ростом чуть более метра,

которым он удлинил ноги на 30–40 см и руки на 10–20 см, сделав из карликов нормальных людей невысокого роста. За полтора часа лекции Илизаров показал все семьсот слайдов и покорил сердца всей аудитории. Когда он закончил, публика вскочила с мест и аплодировала, наверное, минут десять.

Френкель с трудом успокоил аудиторию, поблагодарил Илизарова, вручил ему сувенир и диплом и пригласил всех подняться на 13-й этаж: там, в кафетерии госпиталя, был устроен фуршет. Но Илизарова сразу плотно окружили и стали забрасывать вопросами. С особым энтузиазмом его осаждали жены докторов, протягивая для автографа программку конференции. Многие просили посмотреть своих знакомых больных. Он поворачивал голову во все стороны:

— Да, да… но где мой переводчик?..

Старичок с эспаньолкой уже получил чек и смылся. Я протиснулся встать рядом, чтобы переводить. Меня здесь не знали и приняли тоже за гостя из России. Облепленные толпой, как пчелиным роем, мы с трудом смогли войти в лифт. В присутствии Илизарова люди вежливо молчали, и он спросил меня:

— Ну, как тебе лекция?

— Знаешь, я потрясен, как много ты успел за эти годы.

— Работаем, работаем… Вот видишь, а ты поспешил уехать…

Мы поднялись на 13-й этаж. Просторный зал был украшен цветами и воздушными шариками с именем Илизарова, на длинных столах красовались блюда с множеством закусок, бармены в двух концах зала разливали напитки. А посередине возвышалось необычное сооружение: в ледяную глыбу был вморожен аппарат Илизарова, внутри которого красовалась большая бутылка водки с краном, как у самовара.

Френкель сквозь толпу протолкнул нас с Илизаровым и сказал:

— Вы нам показали ваше изобретение. А это мое изобретение, как еще можно использовать ваш аппарат.

Илизаров замысловатым сооружением остался доволен:

— Это доказывает универсальность моего аппарата. — И мы втроем выпили…

В последующие два дня Френкель организовал в одной из гостиниц на Манхэттене семинар по методике и технике илизаровских операций. Семинар проходил на средства известной фирмы хирургических инструментов «Smith and Nephew, Richards», которая собиралась купить у Илизарова право производить его аппараты в Америке и не жалела средств на рекламу. В больших залах были расставлены столы с аппаратами

Илизарова и с муляжами костей из пластмассы. У каждого стола инструктор показывал технику сборки аппарата и фиксации его к кости. Инструкторами были наскоро подготовленные фирмой инженеры. Илизаров, Френкель и Шевцов ходили от стола к столу и помогали. Я стеснялся вмешиваться.

— Владимир, вы нам нужны, — вдруг позвал меня Френкель.

— Давай, давай, помогай, иди работай! — подбодрил Илизаров.

Предчувствия начинают реализовываться

Когда десять лет назад я принял решение эмигрировать, я был глубоко оскорблен гонениями на меня коммунистов и еще глубже неудовлетворен всем уровнем жизни в Советской России. Но я ничего не знал об американской медицине и не мог точно предвидеть, что меня ожидало. Конечно, я предполагал, что войти в нее будет нелегко. Но у меня были предчувствия, что я смогу добиться хоть какого-то успеха: я знал себе цену и по натуре всегда был оптимистом. Люди часто живут предчувствиями, которые манят их, но и обманывают, как линия горизонта — чем ближе к ней подходишь, тем дальше она отодвигается. Так и мои ожидания обманывали меня девять лет в Нью-Йорке. При всем оптимизме, я уже начинал отчаиваться. Одно дело ЗНАТЬ себе цену, другое — суметь ДОКАЗАТЬ это другим. Для этого нужны подходящие условия, а их-то у меня как раз и не было. И вот только теперь что-то из моих предчувствий начало реализовываться.

Я уже многое знал об американской жизни и медицине и мог объективно понять, как мне повезло, что я попал в «Hospital for Joint Diseases — Госпиталь для заболеваний суставов».

Американское общество построено на классовых началах: три класса — низший, средний и высший — в зависимости от доходов и налогов, которые они платят с этих доходов. Эта структура незыблема, хотя в XX веке в нее ввели некоторые элементы социализации для поддержки бедных слоев — система велфэр, за счет налогов с богатых классов.

Уровень медицины в Америке высокий и довольно ровный по всей стране, в каждом госпитале и частном офисе основы лечения всегда на высоте. Это неудивительно, потому что расходы на медицину составляют около 15 % национального дохода страны (для сравнения, в Советском Союзе они составляли тогда 2,5 %). Вся медицина в Америке частная, платная, за счет страховок, оплачивающих лечение, или за наличные деньги. Все американцы могут лечиться в любом докторском офисе и в любом госпитале. Могут… Но это не означает, что они там лечатся.

Госпиталь, из которого я пришел работать к Френкелю, был построен в начале XX века. Поблизости его жили преимущественно чернокожие иммигранты с островов Карибского моря. Большинство не имели никакой страховки, считанные единицы работали, остальные жили на велфэр, городскую

социальную дотацию. Много было среди них наркоманов и преступников, так что даже ходить по улицам было опасно. Все доктора в госпитале — иммигранты из бедных стран, уровень квалификации пестрый и, как правило, довольно низкий (хотя были и исключения). За пять лет работы мне довелось разглядеть во всех подробностях дно американской медицины.

И теперь я вдруг возносился на ее вершину.

Мой новый Hospital for Joint Diseases, Госпиталь по лечению суставных заболеваний, как его называли в начале века, ставший впоследствии Нью-Йоркским Институтом ортопедической хирургии, — считался одним из самых богатых в стране. Его 20-этажное здание было построено в год моего приезда в Америку, в 1978-м, как будто специально для меня. Все доктора в нем были только американцы, многие считались лучшими специалистами в своей области. Докторов-иммигрантов туда на работу не принимали. Для меня попасть в эту среду было честью, которой не удостаивался еще ни один хирург из России. Наконец, я попадал в языковую среду без китайского, индийского, пуэрториканского, филиппинского и прочих акцентов. Я был счастлив, что наконец-то смогу ходить на работу без опасения быть ограбленным или убитым. Но больше всего я радовался тому, что оказался нужным человеком в нужное время в нужном месте. Несколько вечеров мы с Ириной возбужденно обсуждали нежданную улыбку судьбы.

— Слава богу, что тебя взяли, — счастливо повторяла она.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох, — парировал я. — Помнишь, как двадцать лет назад я вернулся из Кургана? Сделай тогда я то, что они хотели, меня бы сразу вознесли. Я не сделал. Меня понизили. Теперь мне возмещается…

И как бы в доказательство моих предчувствий Френкель пригласил нас с Ириной на торжественный бал-обед в ресторан отеля «Плаза», один из самых фешенебельных в Нью-Йорке. Это был традиционный ежегодный бал госпиталя для всех докторов с женами и для участников симпозиума, всего более восьмисот человек. Илизаров был на нем почетным гостем.

Ничего подобного в Бруклинском госпитале не бывало, да и быть не могло. Мужчины явились на бал в смокингах (в Америке их называют «tuxedo», по месту, откуда пошла традиция надевать их к обеду) и в бабочках: так называемое «black-tie party», «собрание в черных галстуках». У меня был смокинг, приобретенный по случаю раньше, а Ирине пришлось срочно покупать первое в Америке вечернее платье. Она успела купить его перед самым балом, так что мы чуть не опоздали к началу.

Конечно, я не Наташа Ростова из романа «Война и мир»,

чтобы волноваться перед первым балом. В прежней жизни в Москве я бывал на приемах в иностранных посольствах и даже в Кремле. Но перед первым балом в моем новом госпитале я был взволнован. Был снят Большой Бальный Зал, в котором устраивались приемы по случаю приезда королей, президентов и других важных особ. Накануне там был прием в честь принца Филиппа, мужа королевы Англии Елизаветы II. Мы с Ириной не знали, что каждый приглашенный в тот вечер заплатил за билет 500 долларов. С нас денег не взяли, а если бы попросили, мы бы вряд ли согласились прийти: тысяча долларов за обед!.. В тот раз, как за своих гостей, за нас заплатил доктор Френкель, чего мы тоже не знали (потом я тоже много раз платил на госпитальных балах за приглашенных гостей, какими мы с Ириной были в тот вечер).

Сначала был коктейль в двух огромных смежных комнатах перед Бальным залом, украшенных цветами. По столам у стен и посредине в изобилии были расставлены холодные и горячие закуски, икра, осетрина и другие деликатесы. Бармены разливали напитки всех видов. Нарядная толпа расхаживала от стола к столу с бокалами и тарелками в руках. Мы с Илизаровым примостились у стены, Ирина и я все время были заняты переводом вопросов-ответов. Импозантный в смокинге, Френкель то и дело подводил к Илизарову кого-то из гостей и рекомендовал:

— Конгрессмен такой-то…

— Профессор такой-то…

— Известный киноактер (помню, там был Тони Рэндал)…

Все они почтительно говорили русскому профессору несколько приветливых слов, после чего Френкель представлял им нас с Ириной:

— Доктор Владимир и его очаровательная жена, из России. Владимир теперь работает со мной, мы будем внедрять методы профессора Илизарова.

Гости почтительно говорили русскому профессору два-три слова и отходили, сменяясь новыми. С людьми такого ранга нам с Ириной в Америке общаться еще не приходилось. После нескольких лет общения с бедняками, наркоманами и бандитами в Бруклине в голове не укладывалось: неужели вот это — наше новое окружение?!.

Илизаров переспрашивал меня:

— Это кто был? А это кто? Так, так, хорошо, хорошо…

Как всякому старому человеку, ему нравились внимание и почет.

Обед в Бальном зале был роскошно сервирован на круглых

столах, по десять человек за каждым. Френкель с женой Руфью усадили Илизарова и нас с Ириной за свой стол. К Илизарову продолжали подходить гости с бокалами вина, говорили комплименты. Нам с ним постоянно приходилось вставать, отвечать на их приветствия. Он опять у меня спрашивал:

— Это кто был?.. А это кто такой?..

Я, к своему стыду, почти никого не знал и переспрашивал у Френкеля. Тот был весел, сказал в микрофон общий тост, приветствуя Илизарова. Потом отвечал Илизаров, я переводил. После аплодисментов Френкель добавил:

— Прошу всех также приветствовать нашего нового сотрудника доктора Владимира.

Так, в непривычной торжественной обстановке, я был представлен тем, с кем отныне мне предстояло работать.

Мы с Ириной вернулись домой за полночь. Я сказал:

— Видишь, оправдываются мои лучшие предчувствия!

И мы стали целоваться…

Медицина и реклама

Американское общество стоит на сугубо экономических началах: все должно хорошо продаваться. И медицина тоже: коль скоро за медицину платят, значит, она тоже товар. А для успешной продажи нужна реклама. Легко понять, зачем рекламируются дома, автомобили, курорты и разнообразные виды туалетной бумаги. Но мне, врачу из Советской России, долго было непонятно: зачем и как рекламировать медицину? Лечение необходимо людям, если они больны. Тогда они обращаются в ближайшие клиники или в госпитали, и их там лечат как могут, что понятно и без рекламы. Тем не менее с первых дней жизни в Америке я на каждом шагу сталкивался с тем, что по телевидению, радио, в газетах и особенно в журналах назойливо рекламировались новые лекарства и новые методы лечения. Госпитали и клиники зазывали пациентов, рекламируя себя по всем каналам, даже на плакатах в вагонах метро. Постепенно я к этому привык. Я понял, что хотя больным реклама не так уж нужна, но тем, кто продает лекарства, и кому платят за операции, она необходима для продажи.

Теперь, с началом илизаровских операций в Америке, я увидел, как все это делается и что это дает. В конце 1980-х потепление отношений между Америкой и Россией способствовало интересу ко всему русскому. И Френкель устроил так, что пять дней, пока Илизаров был в Нью-Йорке, его атаковали журналисты телевидения и журналов, показывали его и писали о нем, а заодно и о Френкеле. Телевизионные бригады чуть ли не всех основных каналов приезжали в госпиталь и на семинар. Упоминание о Сибири, где работает «кудесник» Илизаров, звучало как цитата из «Архипелага ГУЛАГ»: «Сибирь?!. Не может быть!..» Операторы снимали Илизарова, комментаторы задавали ему вопросы, я выступал его англоязычным рупором, хоть меня и не показывали. Вечером, возвратясь с очередного позднего обеда, в его гостиничном номере я включал телевизор, и мы смотрели некоторые из отснятых сюжетов в «Последних известиях». Гавриил все время спрашивал:

— Что он сказал?.. Ага… А этот что говорит?.. Ага… Что Френкель им сказал?.. Ага… А это кто такой?.. Ага…

Один тележурналист сравнил его с Альбертом Эйнштейном:

— Невысокого роста человек с пышной шевелюрой…

Если можно было еще усмотреть нечто общее в гениальности и в корнях (отец Илизарова был горский еврей, тат, представитель немногочисленной народности Кавказа,

исповедующей иудаизм), то вот уж чего у Илизарова совсем не было, это пышной шевелюры! Волосы он зачесывал с одной стороны на другую, прикрывая лысину…

Когда я перевел ему пассаж о пышной шевелюре, он долго смеялся, а на следующий день, при новых встречах, просил:

— Ты им расскажи, как меня перепутали с Эйнштейном.

У него было хорошо развитое чувство юмора, но с возрастом появилось и другое чувство — любовь к почету.

Комментируя передачи телевидения, он то и дело назидательно говорил мне:

— Видишь, в Америке интересуются русскими достижениями. А ты поспешил уехать. Поспешил, брат, поспешил.

— Гавриил, мне здесь хорошо.

— Хорошо? Ну-ну… После твоего отъезда у нас про тебя разные слухи ходили. Одни говорили, что ты делаешь бумажные игрушки и ходишь, продавая их, по дворам. А другие говорили, что ты переехал в Израиль и стал там главным хирургом армии.

Диапазон слухов был так неправдоподобен, что я хохотал от души, а он посмеивался в усы.

Буквально на следующий день после приезда Илизарова в газетах и в журналах стали появляться фотографии с короткими статьями о нем и о его методе. На фотографиях он всегда стоял рядом с Френкелем. Приводились чертежи аппарата и снимок единственной больной, которой Френкель сделал в США первую такую операцию. В комментариях писалось приблизительно так: «В Ортопедическом институте Нью-Йорка доктор Френкель первым начал успешно лечить своих пациентов новым русским методом профессора Илизарова. Профессор был приглашен для почетной лекции. Его метод лечения — самый передовой способ избавления от страданий после переломов, которые не срослись, или при деформации ноги или руки. Рекомендуем звонить в госпиталь по телефону…» Далее следовал номер секретаря.

Звонки начались после первых телепередач и статей в газетах — реклама работала. Люди просили записать их на прием к доктору Френкелю, многие хотели, чтобы их проконсультировал сам русский гений. Несколько назойливых больных пришли в госпиталь и даже в гостиницу, где проходил семинар. Илизарову приходилось отрываться от дел и консультировать их. Они тут же просили, чтобы он сделал им операцию. Гавриил указывал на Френкеля:

— Он делает это не хуже меня, а мне скоро возвращаться домой.

— А можно приехать к вам? — спрашивали некоторые.

— Милости просим. У нас есть специальное отделение для

иностранных больных и свои переводчики.

— А не холодно там, в Сибири?

— Что вы! У нас паровое отопление.

— Но только чтобы вы сами делали операцию!

— Конечно.

— А сколько это будет стоить?

— А сколько это стоит в Америке? — спрашивал он в ответ.

Вопрос был закономерный, но даже Френкель не знал ответа: еще не было установлено официальных расценок на илизаровские операции. С другой стороны, Френкель не хотел отпугивать пациентов высокой ценой.

Большое участие в рекламе принимала фирма «Smith and Nephew, Richards». Но была загвоздка: советские аппараты изготовлялись по низким техническим стандартам, и Илизаров через Внешторг продал задешево лицензию на изготовление аппарата итальянской фирме «Bianci Magiocci" в Милане. Поэтому первые аппараты на семинаре и в операционной госпиталя были добротного итальянского производства. Американцам захотелось перекупить лицензию. Но как? Итальянцы на симпозиуме ревностно следили, чтобы в рекламе не ущемили их права. Вся работа направлялась умелым Френкелем, и он тонко лавировал между интересами своего госпиталя и обеих фирм.

Что в итоге дала хорошо организованная реклама? Итальянцы могли продавать во много раз больше аппаратов непосредственно «Smith and Nephew, Richards». Эта фирма могла гораздо успешнее распространять аппараты и зарабатывать на еще не запатентованных модификациях. Доктора, которые обучились методу Илизарова на семинаре, могли начинать лечить своих больных и назначать более высокую цену за свои операции. Ортопедический Институт и его директор д-р Френкель получили преимущество первого лечения многих записанных на операцию больных, что тоже давало значительный доход. Так что реклама работала…

К моему приходу на работу в госпиталь на илизаровские операции уже были записаны десятки больных. Мне это тоже давало преимущество: чем больше операций, тем больше у меня возможностей показать себя, а раз так, тем вернее смогу я остаться в этом госпитале. Когда тебе уже к шестидесяти, а ты только начинаешь на новом месте, не хочется думать, что придется искать еще и другое.

На новом месте

В Америке время — деньги больше, чем где бы то ни было. Деловые люди могут потерять деньги, если им не повезет, но никогда не позволят себе терять время: рано или поздно оно обязательно принесет вложенные в него деньги обратно. И доктор Френкель тоже времени зря не терял. Он детально продумал план моего вовлечения в работу и перед отъездом Илизарова сказал:

— Я хочу, чтобы Владимир был нашим связным, чтобы он звонил вам в Курган для консультаций, если понадобится.

После чего передал меня на попечение администратору госпиталя мистеру Эйбу Мошелу.

Администраторов я всегда недолюбливал: по-моему, они специально созданы для разведения бюрократии. Но тут я впервые в жизни увидел толкового администратора, без бюрократических амбиций и проволочек. Значит, подумал я, в настоящем американском госпитале и администраторы настоящие.

Эйб, высокий лысоватый еврей, под сорок, с кипой на макушке, ловко и быстро вел все бумажные дела, так что в итоге все в госпитале делалось как будто само собой, легко и просто. Уже во время семинара он доброжелательно объяснил мне мое положение в госпитале:

— Доктор Френкель просил меня ознакомить вас с обязанностями в госпитале. Вы будете ассистировать ему на операциях. Пока у вас не будет лицензии на право частной практики, у вас нет права самому делать операции. Когда сдадите экзамен, получите лицензию на право оперировать.

Это я знал, потому что сдал половину труднейшего трехдневного экзамена на лицензию, FLEX; я выдержал часть по практической медицине, но мне еще предстояло сдать теоретический курс. Меня, конечно, интересовало, сколько будут мне платить.

— Получать вы будете 35 000 долларов в год, — сказал Эйб.

Это было меньше, чем я получал в резидентуре, и я удивился. В Америке нет стандартов оплаты за должность, можно за одну и ту же работу получать больше или меньше. Каждый американец не только всегда обязательно спрашивает о своей зарплате, но и постарается выторговать больше. Я решил быть американцем.

— По-моему, это мало.

— Сколько вы получали раньше?

— Тридцать восемь.

— И сколько вы хотите? — спросил Эйб, явно довольный

таким «американским разговором».

— Ну… больше, чем я получал. Надеюсь, у меня будет много работы, и все это вновь.

— Хорошо, мы дадим вам сорок тысяч.

Ага, сработало! Пять тысяч я выторговал и дальше решил не торговаться. Вместе с Ириниными тридцатью тысячами это составляло семьдесят (что теперь больше ста тысяч), и нам было достаточно. Это неплохой заработок американской семьи среднего класса; ну а о богатстве я тогда не думал, был счастлив, что взяли в такой госпиталь.

Накануне нового, 1988 года Эйб позвонил мне домой:

— Доктор Френкель просит, чтобы вы начали работать по илизаровскому методу прямо в операционной с самого первого рабочего дня следующего года.

И вот ранним январским утром, немного волнуясь, я впервые вошел в госпиталь как его сотрудник. В моей жизни это был девятый госпиталь, и я по опыту знал, что вначале можно ждать разных организационных задержек. Я никого не знал, и сотрудники операционной тоже меня не знали. Четыре этажа операционного блока помещались в, основании двадцатиэтажного здания, под землей. Это было рационально, потому что госпиталь стоял в районе активного городского движения, и шум и пыль города могли проникать в надземные этажи. Я не привык к такой структуре и спускался на лифте вниз с любопытством. Толковый Эйб Мошел предупредил обо мне и дал инструкцию старшей операционной сестре. Вирджиния, молодая стройная филиппинка с красивыми черными глазами, принесла мне зеленую операционную форму и дала номер шкафа для переодевания с секретным кодом: поворот круглой ручки направо до определенной цифры, потом два поворота налево до определенной цифры, опять направо — тогда дверка открывается. Вирджиния улыбнулась:

— А я вас знаю.

— Да? Каким образом?

— Я читала вашу книгу.

— Правда? Надеюсь, вы не сильно меня критиковали.

— Нет, что вы, мне понравилось! Я знаю, что вашу жену зовут Ирина.

Никак не ожидал встретить здесь своего читателя, но это сразу как будто протянуло между нами невидимую нить неформального знакомства. Вирджиния показала мне длинный список сегодняшних операций: около пятидесяти в двадцати операционных. Никогда раньше я не слышал, чтобы столько ортопедических операций делалось за один день.

— Где я должен начинать работать?

— В операционной № 8. Вы будете ассистировать доктору Гранту. Он будет делать удлинение ноги по методу Илизарова… Доктор Владимир, — доверительно вполголоса добавила Вирджиния, — мы только начинаем делать эти операции. Не сердитесь на операционную сестру, если она каких-то инструментов не знает. Помогайте ей.

Я понял это предостережение: есть хирурги, капризничающие на операциях, особенно если у них что-нибудь не ладится. Нервничая, они срывают злобу на сестрах. Как бы ни были они несправедливы, сестры не имеют права уходить с операции, даже возражать не должны; приходится терпеть. Я иногда замечал, как под хирургической маской катились слезы обиды. Я успокоил Вирджинию:

— Вы читали мою книгу. Можете вы думать, что я способен обидеть операционную сестру? Поверьте, если приходится трудно, я ни на кого не сержусь, кроме как на себя самого. Это мое правило.

С Вирджинией мы потом стали друзьями. Она говорила, что я напоминаю ей отца, и в шутку звала меня отцом. Не знаю, чем я похож на филиппинца, но я отвечал ей тем, что называл ее дочкой.

Доктор Альфред Грант, солидный грузный мужчина за пятьдесят, говорил и поворачивался медленно. Он был приветлив:

— Это вы Владимир? Добро пожаловать в наш госпиталь!

С ним в операционной был другой хирург, полная ему противоположность: лет тридцати с небольшим, худой, необычайно подвижный, бородатый, восточной наружности. Он подскочил ко мне и ухватился за пластмассовую карточку с фотографией и именем на моей рубашке.

— Владимир русский? Давно в Америке? Сдали экзамен? Где проходили резидентуру?..

По акценту я заподозрил, что он израильтянин. Так и оказалось: Дани Атар проходил в госпитале двухгодичную стажировку.

С самого начала я понимал, что вести себя мне нужно тактично и правильно. Я был взят в госпиталь, чтобы помогать. Помогать, но не учить. Американские специалисты учить себя иммигранту не позволят. Ему надо долго, согласно индейской поговорке, «походить в мокасинах» американца, чтобы многое понять. Ну и, кроме того, в природе американцев заносчивость, еще Пушкин писал об этом, с чем тоже надо считаться.

Доктор Грант делал илизаровские операции из любопытства к новому методу. Сразу было видно, что он в них не имел

никакого опыта: действовал он медленно и нерешительно. Дани Атар, напротив, был настоящий энтузиаст, ему нужна была скорость.

— Ну, давайте, доктор Грант, ну, давайте! — то и дело восклицал он, перебегая с одной стороны операционного стола на другую. Грант ворчал:

— Где эти е. ные гайки? Черт меня дернул взяться за это дело!.. Для такой операции нужно иметь адское терпение… Ну, а дальше что?..

Сестра сконфуженно смотрела на меня, я подсказывал ей, что нужно хирургу. Мы кое-как управились за три часа, а можно было за полтора… К концу операции настроение у всех поднялось. Грант больше не ворчал, а Атар прямо сиял от восторга:

— Мы сделали это, мы сделали!..

Хирурги из соседних операционных заходили к нам иногда, становились за нашими спинами и молча наблюдали, что мы делаем. Лица их были скрыты под масками, но по поднятым бровям и выражению глаз ясно читалось их удивление и даже скептицизм: «Посмотрим, посмотрим, что из этого получится…»

Удивляться их настороженности не приходилось: по илизаровским операциям не было никаких руководств, никакой статистики по результатам этого лечения. Американцы доверяют своей и западной медицинской литературе, но понятия не имеют о русской. Кроме того, илизаровский метод еще не имел кода в индексе расценок на хирургические операции. Поэтому страховые компании вполне законно могли отказаться платить хирургам. Френкелем руководил задор первооткрывателя. Но, чтобы другие делали новые операции бесплатно, нужно было найти таких же энтузиастов. Можно быть какого угодно мнения об американских хирургах, но заподозрить их в бескорыстии нельзя.

Уже в первые дни работы стало ясно, что мне придется пройти долгий и нелегкий путь преодоления настороженности, скептицизма, а возможно, и сопротивления. Может быть, двух-трех докторов поначалу стимулировала любознательность. Надолго ли ее хватит? Любознательность бывает похожа на искру: если ее не поддержать, она погаснет и огонь не разгорится. Моей задачей становилось любыми возможными путями ее поддерживать.

Наконец среди американцев

Хотя я прошел курс хирургической резидентуры в Бруклинском госпитале и сдал экзамен на лицензию по практической медицине, ортопедическая хирургия была там поставлена слабо. Если я собирался стать американским специалистом в этой области, мне было необходимо знать, какие основы ее преподают резидентам в моем новом госпитале. Я решил по утрам, до работы, ходить на ежедневные занятия. Для этого требовалось получить разрешение у Френкеля. Беспокоить его, занятого человека, я стеснялся. Но в стиле работы Френкеля была редкая для большого начальника деталь: дверь в его кабинет почти никогда не закрывалась, сотрудники и посетители заходили к нему запросто, лишь назвав свое имя его секретарше Айрин. Я видел много директоров-профессоров, и сам был в Москве одним из них. Большинство держали с подчиненными дистанцию, многие проявляли даже высокомерие. Была такая советская поговорка: «Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак». Но другое дело — в Америке.

Чтобы поговорить с Френкелем, я выждал момент, когда от него вышел очередной посетитель.

— Доктор Френкель, можно войти?

— Конечно, заходите, Владимир! Вам всегда можно.

— Я хотел бы походить на утренние занятия для резидентов.

— О чем вы спрашиваете! Я сам собирался предложить вам это. Кстати, я приготовил для вас последнее издание вопросника экзамена по ортопедической хирургии — вот оно. Вы наш сотрудник и можете ходить на любые занятия и конференции, которые вам интересны.

Так я стал начинать каждый свой рабочий день в полседьмого утра вместе с резидентами. Когда я оказался среди них, то поразился: какая разница по сравнению с теми резидентами-иммигрантами, среди которых я провел пять лет в Бруклине. Вместо скованных, угрюмых и заискивающих перед старшими докторов из Индии, Пакистана, Филиппин и других бедных стран здесь все были американцы: тридцать один молодой парень и одна девушка. Высокие, энергичные, приветливые, веселые. В резидентуру к нам отбирали только лучших выпускников лучших институтов страны. Передо мной было то, что называется «creme de la creme», «крем кремовый», сливки молодой американской медицины.

Когда-то, живя в Союзе, в своем воображении я представлял себе американцев именно такими. Теперь, глядя на этих ребят, я

думал: «Наконец-то попал в настоящую Америку!»

Занятия проходили в той самой аудитории, в которой недавно читал лекцию Илизаров. Еще до занятий, с половины шестого, резиденты должны были обойти больных на этажах, сделать необходимые назначения и записи в историях болезни. К их приходу в аудитории стояли столики с сэндвичами, банками с кока-колой и кофейники с горячим кофе. Ребята сразу налетали на еду. Но никакой толкучки, все выстраивались в быструю очередь. Доктор Френкель и еще несколько профессоров тоже становились в очередь за завтраком. Приятно поражала непринужденность отношений между старшими и младшими. Готовые к конференции, все рассаживались с сэндвичами на бумажных тарелках, попивая кофе.

Начинались занятия. Старшие поочередно читали короткие лекции с демонстрацией слайдов, резиденты очень толково делали короткие сообщения. Все всегда шло динамично, на высоком научном уровне. Однако даже самый серьезный разговор перемежался шутками. Молодые не стеснялись при случае отпустить острое словцо в адрес старших, не исключая Френкеля. И никто не обижался.

Сам я всегда любил шутки в работе, но прежним опытом был научен, что шутить надо с оглядкой.

Когда-то в Москве я пытался привить сотрудникам своей клиники легкое отношение к шуткам. Ничего хорошего из этого не получилось: люди шуток боялись, даже безобидных. На шутников писали анонимки в парткомы. На меня тоже писали.

В Бруклинском госпитале резиденты-иммигранты боялись шутить со старшими, а из-за национальных интриг предпочитали не шутить и между собой. Теперь я впервые попал в совершенно другую, освежающую атмосферу. Передо мной был настоящий повседневный американский демократизм.

В один из первых дней единственная девушка-резидент по имени Морин налила две чашки кофе и одну принесла мне.

— Это вам, доктор Владимир, — просто сказала она.

Я был тронут.

Все резиденты относились ко мне приветливо, но при этом не проявляли никакого любопытства. Как все молодые, они быстро освоились с новым человеком и обращали на меня мало внимания. Это означало, что они просто приняли меня в свою среду.

В 7.30 конференция заканчивалась, и все расходились — кто в операционную, кто на прием больных, кто в лабораторию. Операции должны были начинаться строго в восемь, и Френкель следил, чтобы это правило не нарушалось.

В один из первых дней работы я ассистировал ему. Накануне он позвал меня вместе с молодым доктором Стюартом Голдом, недавно окончившим здесь резидентуру, обсудить завтрашнюю операцию. Стюарт уже дважды ассистировал на илизаровских операциях и поэтому считал себя их знатоком. Почему-то и Френкель так думал, наверное потому, что Стюарт был его любимый ученик.

Пациент, учитель пятидесяти лет, был один из первых, кто явился к Френкелю, увидев рекламу илизаровского метода по телевидению. Когда ему было три года, у него был тяжелый перелом ноги, и она отстала в росте на 15 сантиметров. Всю жизнь он вынужденно наступал на пальцы стопы, развилась так называемая эквинусная деформация. План Френкеля состоял в том, чтобы сделать операцию двумя разрезами и постепенно удлинить укороченную ногу. Стюарт предлагал заодно исправить положение стопы. Мне казалось, что для недоразвитой ноги это слишком рискованная операция, кровообращение могло не выдержать. В моем положении я мог лишь скромно возразить:

— Илизаров рекомендует исправлять подобные сложные деформации постепенно, в несколько приемов.

Стюарт был довольно высокомерен, даже заносчив. Говорил он с манерой южанина, цедил слова сквозь зубы; так говорит киноактер Марлон Брандо. На мою реплику он даже не посчитал нужным ответить. Френкель же был, как всегда, любезен. Он спросил:

— Почему, Владимир? В Кургане я видел, что они сразу исправляют сложные деформации. Надо начинать и у нас.

Но в Кургане работал сам Илизаров, и многие его хирурги имели большой опыт в таких операциях. Чего-чего, а курганского опыта у нас в госпитале не было.

Но спорить не приходилось. Не только потому, что Френкель был мой босс, но и потому, что это был его частный пациент. По законам частной американской медицины врач несет полную ответственность за своего пациента, и никто не должен вмешиваться. Хирургия вся основана на опыте. Когда хирург берется за операцию, у него должно быть особое хирургическое предчувствие — профессиональное шестое чувство хирурга, — что результат будет хорошим. Мое предчувствие подсказывало мне, что результат будет неверным. Но спорить не приходилось.

Дома вечером я размышлял, как все получше сделать, рисовал разные варианты. Утром показал рисунки Френкелю.

— Владимир, вы же — художник!

Я знал, что я художник. Но в данном случае хотел, чтобы оценили не мое искусство, а мою идею. Изучив рисунки,

Френкель все же сказал:

— Будем делать, как решили. Я так хочу.

Френкель был хороший хирург — быстрый, точный, решительный. Сам про себя он говорил, что его «хирургический конек» — протезирование тазобедренного сустава. Операции Илизарова для него были новы, он прислушивался к советам Стюарта и многое давал делать ему самому. Моя обязанность была чисто ассистентская. Операция получилась долгая и тяжелая, больному перелили много крови, мы едва управились за пять часов. Но все-таки план был выполнен, аппарат Илизарова наложен, положение стопы исправлено. Мы со Стюартом зашивали операционный разрез, когда Френкель весело спросил:

— Владимир, вы китайскую еду любите? По традиции я заказываю ланч на всех.

— Спасибо, я могу есть все, даже гвозди, если не очень ржавые.

Все в операционной расхохотались. Френкель тут же по телефону заказал на всю бригаду еду из недорогого местного китайского ресторана. Через несколько минут принесли набор блюд в бумажных коробках, много риса и подлив. Еда была, по-моему, немногим вкуснее гвоздей.

Многие годы потом я делал то же самое, только еду покупал вкусней.

Новый прилив энергии

Душе бывает нужна передышка. Девять лет добивался я своего места под американским солнцем, девять лет мои душевные силы были на пределе. Теперь во мне жило предчувствие, что новый госпиталь — мое последнее пристанище. Я всегда доверял своим предчувствиям, потому что основывал их на знании самого себя. Бывает так: примеряешь на себя какую-нибудь новую вещь, надел — и сразу ощутил, что она как раз по тебе. Именно это чувство я испытывал с первого рабочего дня. Конечно, могло случиться, что я, пожилой русский доктор, не впишусь в коллектив. Но предчувствие подсказывало, что я сумею и приспособиться к новым условиям, и остаться самим собой.

Есть американская поговорка: «Если дерево не гнется, оно ломается». Вся моя жизнь учила меня гнуться — не сгибаться, а гнуться — и опять выпрямляться. И теперь я чувствовал, впервые за девять лет, что выпрямляюсь.

Я работал по десять часов в день, но не уставал. Каждую неделю мы с Френкелем делали по три-четыре операции по методу Илизарова. У того учителя, которому сделали мы тяжелую операцию, развились серьезные осложнения, пришлось их исправлять. Френкель понял, что я тогда был прав, и все больше мне доверял. Я регулярно планировал наши операции, заранее подготавливал рисунки. Во время операций Френкель вешал их на стене, и по ним мы учили других, как работать «по Илизарову». В этом не было ничего удивительного: у меня был опыт, которого не было у них. Удивительным было то, что впервые американские хирурги слушали русского.

Впрочем, шел 1988 год, наступило потепление отношений между Америкой и СССР. У многих американцев появился интерес к России и ко всему русскому. Возросли и мои акции. Многие коллеги задавали мне вопросы о России, чаще всего спрашивали, что я думаю о Горбачеве.

По случайному совпадению у Илизарова в Кургане работал молодой референт-переводчик Олег Горбачев. Когда мы с Френкелем звонили в Курган, чаще всего связывались именно с Олегом. Френкель, большой любитель пошутить, иногда в присутствии других докторов громко спрашивал:

— Владимир, вы звонили вчера Горбачеву?

Наивные доктора настораживались. Наверное, думали, что раз я оттуда, то должен его знать.

Мои молодые приятели-резиденты больше других интересовались всем русским, и особенно, конечно, методом

Илизарова.

— Как Илизарову пришла в голову идея изобрести свой аппарат?

Я рассказывал, что работал с ним в Сибири зимой 1965 года, что там было очень холодно. И начинал рассказ, как в 1940-х годах он, работая в глуши, был единственным доктором на район размером с небольшую европейскую страну. Не имея настоящего хирургического оборудования, он не был удовлетворен результатами лечения переломов

Новый прилив Энергии

и стал искать новых путей… Но им, выросшим в условиях богатой американской цивилизации, это казалось непонятным: почему он работал в глуши изолированно?., почему без оборудования?., почему до него никто не задумался над результатами?., почему новые методы не были описаны в учебниках?.. Для них 1940-е российские годы были так далеки и непонятны, как времена дремучего Средневековья.

Тогда я нарисовал шарж: Илизаров в костюме европейца XVII века сидит под деревом, а с ветки ему на голову, как Ньютону яблоко, падает его аппарат.

Френкель, увидев рисунок, пришел в восторг:

— Владимир, мы готовим специальный выпуск госпитального журнала, посвященный Илизарову. Вы напишете статью о нем, и мы опубликуем этот шарж!

Обо всех новостях я рассказывал по вечерам Ирине. Все предыдущие годы она переживала за меня и теперь была счастлива, что наступили перемены в нашей жизни. Она тут же делилась новостями с моей старой мамой, которой было под девяносто лет. Мама жила на одной улице с нами, через дорогу. Обе гордились моими успехами, быть может, несколько преждевременно.

С новым приливом энергии во мне вдруг пробудился интерес к внешнему виду. Чтобы выглядеть, как говорят, не хуже других, я купил на распродаже в самом большом Нью-йоркском магазине «Мейсиз» два приличных костюма. Выбрать их было непросто: от изобилия товаров у меня началось головокружение. Я готов был уйти без покупки: или цвет не нравился, или цена не подходила. Но у «Мейсиз» есть реклама: «Если вы сами не знаете, чего вам хочется, то у нас это есть!» И действительно нашлось. Нужны были еще галстуки. Я купил их на улице у лоточника: товар дешевый, а выглядит прилично. И Ирина тоже стала покупать недорогие, но элегантные наряды, чего не делала много лет. Теперь нам предстояли новые знакомства и новые развлечения, надо было «держать фасон».

Появились у нас и новые интересы и возможности, мы стали больше читать по-английски, выписали «Нью-Йорк тайме». Я стал собирать вторую в своей жизни библиотеку, на этот раз на английском языке. В Америке очень интересно пишут биографии и популярные книги по истории, их я и начал собирать. Книги дорогие, в магазинах могут стоить 20–30 долларов, а то и больше. Но для покупки не обязательно ходить в магазин: книги с

большой скидкой рекламируются в газетах, нужно только послать чек и их доставят по почте.

Добирался я до работы на метро — всего 35–40 минут от двери до двери. Жители Манхэттена почти никогда не ездят на работу на машине: это занимает больше времени и энергии. А я как раз недавно купил новую синюю «Тойоту», и теперь она стояла в гараже возле дома. Она стояла, а плата за гараж возрастала. И мы решили ее продать. Жаль было с ней расставаться, но надо быть рациональным американцем! А если хотелось поехать куда-нибудь на день-два, без проблем можно было взять напрокат любую марку.

Наступило время перемен и в иммигрантском мире. С потеплением отношений с Советским Союзом начался новый приток иммигрантов, а к старым иммигрантам стали приезжать в гости их родственники и друзья. Это было чудом: советские власти разрешали своим гражданам общаться с иммигрантами, они проявляли человечность — небывалое! Приезжали и наши знакомые и с возбуждением рассказывали о новых изменениях — о политике перестройки и гласности:

— Теперь у нас в прессе открыто критикуют прошлое и публикуют запрещенные ранее книги Солженицына и других.

— Ну а как у вас жизнь вообще?

— Жизнь? Жизнь все еще трудная: продуктов мало, товаров вообще нет, по целым дням стоим в очередях.

Значит, в политике изменения были, а улучшений в жизни не так и не наступало, товарный и продуктовый голод коммунизма все равно оставался, как было все годы советской власти. Мы в Америке уже отвыкли от того, что в магазинах чего-то нет и что надо стоять в очередях. А гости удивлялись — до чего в Америке быт легкий! Поэтому приезжавшие гости, даже с небольшими деньгами, которые могли им дать их еще неустроенные родные, старались скупить как можно больше в дешевых районах Нью-Йорка и других городов — все, что годами валялось на прилавках. Особенно любили раскупать дешевую одежду и электронную технику. И делали это с такой жадностью и активностью, что иммигранты в шутку прозвали их «пылесосами». (Некоторые из тех «пылесосов» на перепродаже сумели сделать себе большие деньги и стали потом богачами — «новыми русскими».)

Американская стамина — особая выносливость

Все больше я внедрялся в жизнь госпиталя. Когда бывал свободен от илизаровских операций, старался учиться у американцев. Каждый день шел поток разнообразных операций, многих из которых я почти не знал. Мне надо было «догонять и перегонять Америку». (Выражение Никиты Хрущева.)

Больше всего у нас делали операций по замене больных суставов на искусственные. Ничего подобного в России не было. Медицинская промышленность по сравнению с американской там была, как телега по сравнению с «Кадиллаком». Соответственно и техника операций там была намного более отсталая.

Френкель был большим мастером этих операций. Я напросился помогать ему. Однажды хотел о чем-то спросить:

— Доктор Френкель…

Он улыбнулся и прервал:

— Владимир, зови меня просто Виктором.

Так мы перешли на «ты».

Мне нравилось наблюдать за его работой. Поразительная у него была способность схватывать любую идею на лету. В возрасте уже за шестьдесят он помнил абсолютно все, о чем бы мы ни говорили. Каждую неделю делал не менее пяти операций, принимал в частном офисе два дня по 10–15 пациентов, заседал на многочисленных деловых совещаниях, ежедневно прочитывал и диктовал на магнитофон десятки деловых бумаг и писем. Меня поражало, как он все успевал и как мог выдержать такую нагрузку. На людей, занимающих положение, требующее ответственности, почти всегда накладывается отпечаток общественной формации и доминирующих традиций их стран. В России это безалаберность, в Германии порядок, во Франции легкость, в Бразилии необязательность, в Англии непредсказуемость, ну а в Америке — выносливость.

Чем больше работал с американцами, тем больше поражался их выносливости. Коллеги мои делали в день по 3–4 большие операции, многие оперировали еще и в других госпиталях. Стимулировали их, конечно, деньги, однако деньги деньгами, но не поражаться работоспособности американских докторов — невозможно.

Правда, хирурги наши нередко выглядели утомленными и любили пожаловаться:

— Как мне это все надоело!..

В перерывах между операциями они разваливались на диване вздремнуть или просто расслабиться.

Но я никогда не видел Виктора лежащим на диване или жалующимся на усталость.

У него была прямо противоположная манера поведения — он всегда был на людях и никогда не выглядел при них скучным, больным и ничего не делающим. Он был доброжелателен ко всем, ни на кого не сердился, не повышал голоса. И я ни разу не слышал, чтобы он хоть на что-то пожаловался. Если бывал простужен, то принимал таблетку тайленола (жаропонижающее) и никогда не показывал вида больного человека. Я с восторгом рассказывал о нем Ирине:

— Знаешь, всю жизнь я мечтал о таком шефе — деловом, энергичном, умном, добром и веселом. Какая у него память! Только скажи ему что-либо по любому поводу, он, оказывается, все помнит. Впечатление такое, будто в его голове все лежит на поверхности мозга и ему ни для чего не надо копаться в памяти.

В другой раз я опять выражал ей свое удивление им:

— Трудно представить — откуда у него берется столько энергии? Вчера мы с ним ушли из операционной в 10 часов вечера. Я приехал домой на такси и завалился спать без задних ног. Утром я опоздал на конференцию, а когда пришел — он уже рассказывал резидентам какой-то веселый анекдот. И хоть бы хны — свеж, как огурчик!

У Ирины нашлось объяснение:

— Я думаю, у твоего Виктора особая американская выносливость (по-английски stamina).

— Пожалуй, ты права — это американская stamina, особое качество выносливости.

Мне все больше доводилось узнавать американцев на работе. Я сравнивал их с докторами других национальных групп, на которых насмотрелся за пять лет в Бруклине. Работать с американцами намного приятнее и легче. Их поведение всегда профессиональное, они не интригуют между собой, увлекают своей выносливостью и доброжелательностью, многие охотно помогают и почти всегда приветливы.

Больше всех работал и более всех был приветлив, конечно, Виктор.

18 марта — ирландский праздник Святого Патрика, традиционно отмечаемый многими американцами. В середине XIX века в Америку иммигрировали, спасясь от голода в своей стране, полтора миллиона ирландцев. Они, католики по религии, быстро влились в протестантское общество страны, стали заметной группой и привезли с собой много своих традиций.

Одна из них — праздновать весной день их святого.

Мы с Ириной знали об этой традиции, но были, конечно, далеки от нее. На этот раз Виктор с женой Руфи пригласили нас поужинать в роскошный клуб элиты Нью-Йорка. Они были членами этого «Клуба актеров», размещенного в красивом старинном особняке.

Ответить им на эту любезность я решил шутливым подарком. Несколько вечеров я рисовал в красках на большом картоне картину под названием «Сотворение илизаровского человека». Идею я позаимствовал у Микеланджело, из его фрески на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, где Бог-творец вселяет в дремлющего Адама жизнь, пальцем касаясь его пальца. На моей картине Богом был Илизаров (с медалью Героя Социалистического Труда на груди), оживотворяющий обнаженного Френкеля-Адама. Вместо фигового листа Френкель прикрыт был эмблемой нашего госпиталя, а соприкосновение пальцами происходило через аппарат Илизарова. Сам я на картине лечу следом за Илизаровым, а вокруг в виде ангелов парят доктора нашего госпиталя, делающие илизаровские операции. Зная, как Виктор любит шутки и розыгрыши, я собирался не просто подарить ему этот картон, а хотел еще и разыграть его.

Приехав с Ириной в клуб, я оставил прикрытый бумагой картон на лестнице у гардероба. Уже собралась толпа нарядных людей, держа в руках стаканы с коктейлями. Виктор возвышался среди них.

Я отвел его в сторону:

— Хочу поговорить с тобой по секрету.

— По секрету?! Почему — по секрету?

— Знаешь, я привез тебе в подарок одну картину.

— Картину? Спасибо, конечно. Но почему — по секрету?

— Потому что картина — краденая.

— Краденая картина? Мне? О чем ты говоришь, Владимир?!

— Ну да, я украл картину Микеланджело из Сикстинской Капеллы Ватикана.

На лице Френкеля застыло непонимание и недоверие. Я подвел его к прикрытому бумагой картону. Еще не видя изображения, он понял, что под бумагой и впрямь должна быть картина, и поразился еще больше. Тогда я снял бумагу. Виктор мигом оценил и мою работу, и шутку. На его громкий смех стали оглядываться и с любопытством подходить его знакомые. Держа картон над головой, он указывал им на меня:

— Это автор, русский профессор-хирург, художник и писатель Владимир Голяховский. Теперь он работает со мной. А

это его очаровательная жена Ирина.

В тот вечер мы с Ириной познакомились со многими известными людьми. Там были мэр Нью-Йорка, сенаторы, писатели и знаменитые актеры. Когда-то в Москве мы часто бывали среди элиты советского общества и сами принадлежали к ней. В самые трудные первые годы нашей эмиграции мы превратились в то, что американцы называют «пыль на дороге». Но во мне всегда жило предчувствие, что я смогу подняться. Нет, не зря я верю в свои предчувствия.

В тот раз мы с Виктором впервые хорошо выпили вместе, что продолжаем делать и до сих пор, и зачастую в том же самом клубе.

А картина моя, в большой раме и под стеклом, висит в нашем госпитале.

Советские иммигранты — наши больные

Почти каждую неделю среди рабочего дня меня вызывал по бипперу телефонный оператор госпиталя и соединял с каким-нибудь из отделений.

— Это вы русский доктор? — спрашивали меня.

— Да, это я.

— Извините, не могли бы вы прийти в наше отделение? К нам поступила русская больная (или больной). Она (он) не говорит по-английски, и мы не можем получить письменное согласие на операцию. Доктор очень просит вас помочь.

С притоком новых иммигрантов из СССР в наш госпиталь стали все чаще поступать русскоговорящие больные. Их направляла благотворительная организация «НАЙАНА», оказывающая поддержку новым американцам. Она располагалась в нескольких кварталах от нас, и мы были для нее самым удобным госпиталем. На первый прием присылали с больными сопровождающих переводчиков; общаясь через них с пациентами, доктора проводили обследования и назначали операции. Но после переводчиков им уже не предоставляли.

Почти все они были старики с артритом и артрозом или с несросшимися переломами. Некоторым из них уже делали операции в СССР, но неудачные. Они ходили на костылях или с палочками, а кого-то привозили в инвалидном кресле. Они не говорили и не понимали по-английски и были напуганы перспективой операции. Старые люди живут старыми представлениями, для них операция — это мучительные боли, страдания и чуть ли не верная смерть. Понятно, что они были подавлены.

Ко всему в придачу, они испытывали растерянность от непривычной обстановки американского госпиталя, где не могли ничего понять. У них возникал так называемый культурный шок, характерный для многих иммигрантов, настоящий психологический сдвиг.

Когда я к ним приходил, освободившись от своих дел, видел всегда одну и ту же картину: на постели сидит старая седая женщина или, реже, мужчина, с безумными от ужаса глазами, и горько плачет. Перед ней стоит медицинская сестра и кто-нибудь из молодых резидентов. Оба растерянно смотрят на больную и говорят:

— Мы не понимаем, почему она плачет. Мы стараемся ее

успокоить, и не можем. Все русские больные какие-то странные, все плачут.

Я подхожу к больной, трогаю ее за плечо и спрашиваю:

— Почему вы плачете?

Она не реагирует, и мне приходится повторить вопрос. Тогда она поднимает на меня глаза и вскрикивает:

— Ой, вы говорите по-русски!

— Да, я говорю по-русски и пришел, чтобы помочь вам.

Она сама себе повторяет несколько раз:

— Ой, он же говорит по-русски! — И все никак не может прийти в себя от счастья.

Я подсаживаюсь к ней на кровать, щупаю пульс. Наконец мне удается ее успокоить. Я говорю:

— Вам завтра будут делать операцию, надо, чтобы вы подписали вот эту бумагу.

— Какую бумагу? У нас в Одессе никаких бумаг не подписывали!

— Но мы с вами теперь не в Одессе, а в Америке. Здесь полагается подписывать согласие на операцию.

— А кто мне будет делать операцию? Этот молодой будет делать?

— Нет, он будет только ассистировать вашему доктору.

— А доктор такой же молодой, как этот?

— Нет, доктор пожилой.

— А он говорит по-русски, тот пожилой?

— Нет, он американец.

Старуха испытующе смотрит мне в глаза:

— Я хочу, чтобы вы мне делали операцию!

Неожиданный поворот!

— Это невозможно. Я не ваш доктор, у вас очень хороший хирург.

— Доктор, я вас умоляю! — Она заламывает руки.

— Но поймите: я не ваш доктор. Меня попросили только вам переводить.

Резидент и сестра следят за беседой с нетерпением. Им всего-то нужна подпись, а вместо этого идут непонятные дебаты. Мне тоже неловко, что разговор затягивается. Резидент протягивает ей бумагу. Я даже не решаюсь сказать ему, о чем она меня просит, настолько это нелепо. И я не хочу, чтобы ходили разговоры, что русские больные предпочитают меня. Я продолжаю уговаривать ее. Она — угрюмо:

— А как я буду с ним разговаривать, с тем пожилым доктором, а?

— Кто-нибудь из ваших родственников знает английский?

— Ой, что вы!.. Мы все только недавно приехали.

— Вы сейчас подпишете эту бумагу, а завтра утром я приду к вам и помогу перевести ваш разговор с доктором. Я обещаю.

Она неловко подписывается латинскими буквами, мне приходится ей помогать и тоже подписаться как переводчику. Резидент ставит свою подпись как свидетель и сразу исчезает. Сестра просит меня объяснить больное все, что необходимо для предоперационной подготовки, при этом она помогает себе жестикуляцией: куда вставлять градусник, куда клизму. Но старуха не хочет отпускать меня:

— Ой, что я тут буду делать одна? Они же не говорят по-русски…

— Я обещаю, что приду завтра утром.

Это и называется «культурным шоком» иммигрантов (cultural shock), он возникает от непонимания при столкновении с обстановкой в новой стране. Все иммигранты переживают его в той или иной степени. Но нигде это так отчетливо не выявляется, как в госпитале, особенно — когда нужна операция: к языковому барьеру и страху перед операцией здесь прибавляется ужас беспомощности и беззащитности. В госпитале русские больные впадали в настоящую панику. Это надо понимать!

Назавтра утром, рано — до своих операций, я спешу навестить ту больную в предоперационной (waiting area). Хотя мне абсолютно некогда, но врачу обманывать доверие больного — это страшный профессиональный грех.

Она лежит на каталке рядом с другими больными и опять плачет. Но, завидев меня, сразу начинает улыбаться: мы уже друзья. Подходит ее хирург:

— Это ваша знакомая? Почему она плачет?

Я объясняю коллеге, что меня вчера попросили переводить, а ей — что это и есть ее доктор. Он ее раньше не видел: обследование проводили резиденты. Она испытующе всматривается в него. Улыбаясь, он успокаивает больную. Немного успокоенную, ее увозят в операционную.

Такие случаи стали повторяться все чаще. Потом уже все сестры знали, что в госпитале есть русский доктор Владимир, и меня регулярно вызывали ко всем русским пациентам. И сотрудники «НАЙАНЫ», разузнав, что в нашем госпитале есть единственный на весь Нью-Йорк русский ортопед, присылали нам их все больше.

Виктор был доволен наплывом русских пациентов. Благодаря им у госпиталя выросли доходы. Практически все иммигранты из Союза имели в Америке статус беженцев. Поэтому им автоматически давалась медицинская страховка для неимущих

«Медикэйд». Эта страховка полностью покрывает расходы на госпитальное лечение. А стоимость лечения, в котором нуждались многие русские иммигранты, составляла от пятидесяти до ста тысяч долларов. Однако «Медикэйд» мало платит хирургам, всего пятьсот долларов за серьезную операцию. Но и эти деньги полагалось жертвовать на организационные нужды резидентуры.

Частные страховые компании за такие операции платят от двух до пяти тысяч. Поэтому в нашем госпитале немногие соглашались оперировать русских иммигрантов. Обязать делать это их не мог никто, в Америке медицина — свободная профессия, над докторами начальников нет. Но Френкель уговорил наших докторов делать операции иммигрантам — для выгоды госпиталя.

Американские хирурги — высококлассные специалисты, оперироваться у них можно почти без риска. Но они люди деловые, любят делать деньги, постоянно заняты «деловой медициной» — и можно ли их за это осуждать? Операции они проводили на высоком уровне, но обращали мало внимания на «медикейдных» пациентов до и после операции. Особенно на таких, с которыми даже нет общего языка. Поэтому русских они полностью передавали резидентам. Для их выздоровления ничего плохого в этом не было, лечение шло по принятым высоким стандартам (антибиотики сильные, лекарства хорошие). Но русские больные не могли понять, почему после операции они не видят своего хирурга, страдали от того, что с ними не разговаривают.

Мои коллеги в госпитале не знали психологических особенностей русских больных. Хотя в России чаще всего лечили «по старинке», но больные привыкли к вниманию доктора, к тому, что с ними разговаривал «хороший доктор».

Резиденты забегали в палаты к русским больным ненадолго, проверяли по записям, как идет выздоровление, и тут же убегали. Выздоровление почти всегда шло успешно, но больные были недовольны и опять плакали. Меня вызывали к ним, и мне вновь приходилось их успокаивать. Резиденты с недоумением спрашивали:

— Владимир, почему все русские пациенты такие нервные?

Я начинал мягко объяснять, что это «культурный шок». Резидентам было трудно меня понять: они-то выросли в Америке, что это еще за «культурный шок»?..

Новая встреча с Илизаровым. Ирина едет в Москву

В мае 1988 года в Америку опять приехал Илизаров. Как и в первый раз, организовал его лекцию и симпозиум Виктор Френкель вместе с молодым ортопедом Дрором Пэле из Балтимора. Дрор настолько заинтересовался методом русского хирурга, что на полгода ездил в Курган — обучался операциям, а заодно русскому языку. Другой американский хирург, Стюарт Грин, тоже побывал в Кургане и теперь делал илизаровские операции в Лос-Анджелесе. Так из нашего госпиталя началось их распространение по всей Америке.

На этот раз Илизарова пригласили в Вашингтон. Весна там — самое красивое время года: по всему городу пышно цветут японские вишни. В столицу съехалось более ста докторов со всей страны. Оплачивала симпозиум компания хирургического оборудования «Ричардс». Они сняли в центре города гостиницу для участников симпозиума и хорошо заплатили Илизарову, надеясь подписать с ним выгодный контракт на производство его аппаратов. На этот раз «Ричарде» официально пригласил меня, как инструктора для занятий с участниками. К тому же, конечно, я должен был переводить ему. Я радовался предстоящей встрече, мне хотелось, чтобы он узнал, как успешно мы с Френкелем внедряем его операции в нашем госпитале и распространяем их по всей стране. Впервые за всю историю русский метод становился популярным в Америке. И впервые на английском была напечатана статья о методе Илизарова. Это был мой подарок ему: в номере Бюллетеня госпиталя были статья за подписью Илизарова и моя статья о нем самом с моим шаржем на него в виде Исаака Ньютона. Для него это был сюрприз, потому что… сам он свою статью не писал. После первого приезда он не оставил текста своей лекции, но я успел сделать заметки и снимки с его слайдов прямо с экрана. Редактор Бюллетеня настаивала, чтобы я дал ей текст для публикации. Я несколько раз просил его об этом по телефону, но он ничего не прислал. И мне пришлось восстанавливать его по памяти. Конечно, это не была подделка, хотя написано не им — все соответствовало принципам его метода и было близко к тексту. Но нелегко было мне самому писать первые статьи на английском. Я был рад, что справился.

На время моего пребывания в Вашингтоне Ирина решила съездить в Москву — навестить свою маму Мирру Моисеевну

Вермонт. Моя теща была умная и властная женщина, избалованная принадлежностью к артистической элите Москвы. Ее муж, Иринин отец, писатель Евгений Вермонт, был известный фельетонист, он умер от лейкемии в 1948 году, когда Ирине было 16 лет. После этого Мирра Моисеевна еще не раз выходила замуж. Теперь она доживала свою бурную жизнь в тесной квартирке вместе с четвертым мужем, альтистом Давидом Абрамовичем Раппопортом, тихим и послушным интеллигентом, которого она полностью подавила. С Ириной теща не виделась более десяти лет, а здоровье ее становилось все хуже, и она, конечно, хотела вновь после стольких лет увидеть свою единственную дочь.

Поездка в прошлое волновала Ирину. Мы так долго и так прочно были отдалены от России железным занавесом, так оторваны от прежней жизни, что даже не знали, все ли наши друзья и родные живы. Уезжая, мы были уверены, что тот мир был полностью для нас потерян. Но, по американской пословице, never say never — никогда не говори никогда, — теперь люди ездили туда и обратно. И все-таки мы не доверяли советским властям. Поэтому Ирина решила ехать не по приглашению матери, а как туристка. Конечно, туризм стоил денег, но для этого они у нас были.

Туристический агент заказал ей номер в роскошной гостинице «Националь» и «Чайку» для встречи и проводов в аэропорту. Моя Ирина, покинувшая родину как беженка, теперь возвращалась туда состоятельной американской туристкой. Когда-то мы изредка видели таких туристов на улицах Москвы. Тогда мы даже боялись подходить к ним близко, чтобы нас не засекли вездесущие агенты КГБ. Но теперь…

Теперь, собираясь в путь, Ирина, говорила:

— Насколько приятнее мне приехать из Америки именно сейчас, когда наша жизнь здесь уже наладилась, а не когда мы каждый день боролись за существование. Теперь я могу рассказывать друзьям и родственникам, что ты работаешь в одном из лучших госпиталей, что мы добились успеха, устроили нашу жизнь в Америке, как хотели.

Я не завидовал Ирине, что она едет в Москву: мне совсем не хотелось возвращаться в прошлое. Тем более — «к теще на блины» (хотя я знал, что у моей тещи блинов не подадут). Я не оставил в России ничего, что тянуло бы меня туда. Я был полон настоящим, а в настоящем была интенсивная работа, приезд Илизарова.

Мы встретились в холле гостиницы и обнялись. На этот раз он был в окружении сотрудников советского посольства, которые

встречали его в аэропорту, — ведь Илизаров был народный депутат. Они с удивлением косились на меня, говорившего по-русски и обнимавшегося со светилом-депутатом. Я сразу заметил, что Илизаров хромает на правую ногу. Надо будет спросить, что с ним, подумалось мне.

На следующий день он прочитал две лекции. Воображение аудитории опять было поражено слайдами с показом удивительных результатов лечения. Его забрасывали вопросами, я едва успевал переводить. Когда мы наконец остались одни в его номере, я заказал туда из ресторана еду и стал расспрашивать его о жизни в России.

— Людям живется трудно, — сказал он. В отличие от прошлого приезда он не говорил с энтузиазмом о важных переменах и том, что я поспешил уехать.

Я подарил ему журнал с его и моей статьей и с шаржем на него в костюме и парике Исаака Ньютона. Гавриил детально расспрашивал, параграф за параграфом, что написано в статьях.

— Так-так, значит, это моя американская статья? Надеюсь, ты при переводе не наделал ошибок?

— Я старался.

Шарж он долго рассматривал, смеясь, й попросил сделать ксерокопии, чтобы раздаривать всем докторам на симпозиуме со своим автографом. Тут я спросил:

— Ты хромаешь. Почему?

— Ерунда, просто новые туфли жмут.

— Дай я осмотрю твою ногу.

— Зачем? Говорю тебе, это новые туфли. Надо разбить задники. Достань где-нибудь молоток и помоги мне.

Я знал, что он упрямый, и пошел просить молоток в технической службе отеля.

— Вы не беспокойтесь, — сказали там. — Мы пришлем вам мастера с инструментами, он все починит.

Я объяснил, зачем нужен мне молоток. Они очень удивились, узнав, что с его помощью я собираюсь «чинить» туфли. Наверное, техники поразились бы еще больше, узнав, что туфли молотком «оперируют» два профессора хирургии (правда, оба из России).

Несмотря на наши старания, Гавриил продолжал хромать. Я предложил ему купить кроссовки. Он упрямо отказывался.

— Да ты попробуй надеть их! Сразу почувствуешь, что они удобнее туфель. Вся Америка в них ходит.

— Твоя Америка мне не пример. Ты думаешь, что американцу хорошо, то и русскому здорово? Так, да?

Но все-таки поехал со мной в магазин. Там он долго осматривал и ощупывал разные кроссовки, надевал, ходил перед

зеркалом. Наконец выбрал черную пару, с виду не отличить от модельных туфель. В них ему стало удобнее, но хромота не проходила. Только на третий день уговоров он согласился, чтобы я осмотрел его ногу. Пальцы были холодные и бледные, пульс почти не прощупывался — признаки нарушения циркуляции крови. Оказалось, что у него давно уже диабет, ему были прописаны лекарства, но Гавриил часто забывал их принимать. Он, как истый горец, не обращал внимания на болезни.

— Тебе надо обследовать сосуды. Пока ты в Америке, давай попросим сделать тебе ангиограмму. Американские специалисты хорошо это делают.

— Хорошо, говоришь? У вас в Америке все хорошо, да? А сколько это будет стоить?

— Точно не знаю, наверное, две-три тысячи.

— Ого! Две-три тысячи!.. А кто будет платить?

— Я попрошу Френкеля, может, он уговорит кого-нибудь сделать это бесплатно или хотя бы дешевле для знаменитого иностранного коллеги.

Тем временем представители фирмы «Ричарде» встретились с ним для переговоров о лицензии на аппараты. Хотя Илизаров был и депутат, и герой Соцтруда, и лауреат Ленинской премии, но, как советский гражданин, он не имел права вести официальные переговоры сам. Для этого в гостиницу приехали представители советского торгпредства. «Ричардс» предлагала очень выгодные с моей точки зрения, условия: Илизаров передаст им чертежи изобретения и право производить аппараты, доходы они разделят пополам: 50/50.

Но недоверчивый характер Илизарова брал свое, и советские представители его поддерживали. Он знал, что деньги будет забирать Внешторг, давая ему только часть, да и то не прямо, а через институт в Кургане. Он горячился, спорил, требовал больше. Американцы удивлялись и вежливо его уговаривали. Переговоры шли полдня, но подписать приготовленный заранее контракт он так и не согласился.

По моей просьбе Френкель с Грином нашли известного профессора-специалиста по ангиограммам, рассказали ему, кто такой Илизаров, и он согласился не брать с него денег. Оказалось, что вся процедура стоит десять тысяч, а не две-три, как я по неопытности предполагал, из них доктору полагались четыре, но он от них благородно отказался. Техническую часть обследования обещала оплатить фирма «Ричардс», все еще не теряя надежды на подписание контракта. Илизаров ворчал, нервничал и весьма неохотно согласился на исследование.

Для этого в сосуды вводится контрастная жидкость и

делается серия быстрых рентгеновских снимков. Они показывают проток крови, и есть ли затруднения для него. У Илизарова обнаружилась почти полная закупорка основной артерии бедра, снабжение ноги кровью было лишь за счет небольших вспомогательных артерий — следствие далеко зашедшего диабета. В таких случаях в Америке делают операцию: вместо закупоренного сосуда вшивают вену с другой ноги больного или вставляют искусственный сосуд.

Илизаров об операции и слышать не хотел:

— Я поеду к себе в Курган и вылечусь сам.

— Как ты это сделаешь?

— Как? А вот увидишь! В следующий раз приеду, и ты сам убедишься, что я себя вылечил без вашей сосудистой операции. Если уж припрет, мне сделают операцию и там. И не хуже, чем в вашей Америке.

Он, конечно, был великий хирург, но очень трудный пациент…

Улетал Гавриил из Нью-Йорка. Френкель дал свою госпитальную машину, чтобы я возил его по городу и провожал в аэропорт. За день перед отлетом Илизаров сказал, что ему нужно сделать покупки для жены и дочки.

— Что они просили купить?

— Сейчас достану записку, — он стал рыться по карманам пиджака. — Куда она задевалась? Вот ведь Светка дотянет всегда до последнего момента, а потом на ходу сунет мне в руки какую-то бумажку… Ага, нашел! Вот она, прочитай — чего там?

Он дал мне смятый клочок, на котором вкривь и вкось, наспех было написано: «Зимняя шуба внуку, кукурузные хлопья внуку, альбом Сальвадора Дали мне, колготки мне и маме, сумку мне…» и еще длинный список всякой всячины.

— Знаешь, я повезу тебя в самый большой магазин «Мейсиз», это недалеко, в Манхэттене. Там все есть.

— Дорогой магазин?

— Не самый дорогой, но и не дешевый.

— Нет, поедем туда, где подешевле…

Мы долго ездили по дальним районам в Бруклине, на Орчард-стрит и по 14-й стрит, где были самые дешевые товары. Почти везде были русскоговорящие продавцы. Заходим в магазин готовой одежды. Гавриил обстоятельно всматривается в развешенные товары.

— Ты спроси их, есть у них зимняя шуба для мальчика?

— Сколько ему лет?

— Пять, но ты проси на шесть-семь. Чтобы на вырост.

Нам приносят шубу. Илизаров рассматривает, щупает,

недоверчиво спрашивает:

Это на шесть-семь лет? Не мало ли? А побольше нет?

Продавец приносит другую шубу и говорит:

— Это на восемь-девять лет.

Я вижу, что шуба большая и осторожно вставляю:

— Слушай, для пяти лет это, пожалуй, великовато; у него рукава будут висеть до пола.

— Ничего не будут, подвернем — и все. Зато хватит на несколько зим.

Он достает из кармана тугую пачку свернутых долларов. В Америке все банкноты одного размера, это ему непривычно. Он просит:

— Отсчитай.

Едем дальше, выбираем, расспрашиваем, покупаем. Особенно долго рассматриваем яркие пакеты с разнообразными колготками всех оттенков. В России их мало, а здесь слишком много. Он перекладывает красивые пластиковые пакеты в руках, ворчит:

— Черт знает, какую ерунду они меня просят, откуда я знаю, какие покупать?

В номере гостиницы он укладывает покупки в без того набитый чемодан.

— Гавриил, крышка не закроется.

Он хитро смотрит на меня:

— Не закроется, говоришь? У тебя не закроется. Давай спорить, что я — закрою.

Он каким-то образом свертывает шубу так, что она съеживается до размера небольшого пакета. Потом так же умело уминает все остальное, и поверх всего кладет большую коробку с кукурузными хлопьями, которые обожает внук. Он жмет, жмет на крышку; хлоп — и она закрылась. Илизаров победоносно смотрит на меня:

— А ты говорил, что не закроется. У американцев не закрылась бы, а с русской смекалкой все можно сделать. Уметь надо, вот!..

Не знаю, какой вид имел в Кургане утрамбованный таким образом товар, но уверен, что кукурузные хлопья превратились в кукурузную пыль.

Проводив Илизарова, я вскоре встречал Ирину в том же аэропорту «Кеннеди». Едва завидев меня, она воскликнула:

— Ой, дорогой мой, ты не представляешь, какая там жизнь ужасная!..

По дороге домой возбужденно рассказывала:

— Мама, конечно, очень изменилась: плохо видит, плохо ходит. И характер ухудшился — все больше достается бедному,

забитому ею мужу. А он все терпит… Зато со всеми нашими старыми друзьями у меня была настоящая феерия встреч. Все про тебя расспрашивали, я им рассказывала, чего ты добился, и они за тебя радовались. Я тебе все подробно расскажу…

Несколько дней длились ее рассказы. При всех положительных эмоциях от встреч с друзьями она не переставала с удивлением описывать бедность, которую увидела в Москве:

— Самое главное, что за десять лет там ничего не изменилось, ничего нового не построено. А то старое, что было, все дома, улицы, площади, — все пришло в дряхлость. «Националь» в запущенном состоянии: мебель паршивая, светильники тусклые, радио не работает, телевизора вообще нет. И обслуживание ужасное. В ресторане нам подавали чай с каким-то сухим хлебом. А бумажные салфетки на столах были разрезаны на восемь клочков. В магазинах — просто пусто. Я ходила в гастрономы, в которых раньше всегда могла хоть что-то купить. Теперь на прилавках ничего нет. Но куда бы меня ни звали в гости — столы везде были на удивление обильно уставлены. Впечатление такое, что у них скатерти-самобранки.

И добавляла:

— Да, дорогой, мы вовремя оттуда уехали…

Наш сын

Действительно, мы вовремя уехали из Союза, и все у нас было бы хорошо, но одно огорчало глубоко — судьба сына, Владимира-младшего. После двух с половиной лет успешной учебы в Медицинском институте он потерял интерес к медицине. Сначала он не сдал один экзамен, но сумел его пересдать, после этого не сдал еще один, по акушерству и гинекологии, попытался пересдать, но ему не зачли. И исключили из института. Правила в американских университетах жесткие: не хочешь или не можешь учиться — сразу уходи.

Очевидно, он сам не ждал такого поворота, в растерянности позвонил нам и сообщил упавшим голосом:

— Меня исключили.

Мы не знали, что у него были осложнения в учебе. Как обычно, он ничего нам не рассказывал. И это была еще одна его ошибка. Может быть, знай мы такое дело, смогли бы ему помочь… Сколько потерянных надежд, сколько переживаний и волнений, сколько потраченных духовных и физических сил! И ведь вступительный экзамен он сумел сдать на высокую оценку, его приняли даже в два института. У него был выбор, и он выбрал медицинский факультет в городе Сиракузы, на севере штата Нью-Йорк.

Морально убитые этой новостью, мы с Ириной в первую очередь испугались за него — чтобы по молодости не сделал какой глупости. Мы знали несколько случаев, когда молодые иммигранты в Америке, раз споткнувшись, кончали с собой или опускались до наркотиков.

Сыну срочно нужна была наша поддержка. Мы сказали, что тут же выезжаем к нему, чтобы он нас ждал. И помчались туда на машине — езды всего пять-шесть часов.

Тревожные то были часы. В дороге мы с Ириной почти не разговаривали, каждый думал свое, но об одном и том же. Эх, дети, дети, сколько от вас радости и сколько огорчений!..

Я уже раньше чувствовал, что медицина его мало привлекает: при редких встречах, когда мы приезжали к нему или когда он приезжал к нам на каникулы, Владимир без энтузиазма говорил об учебе, с неуважением, даже с пренебрежением, рассказывал о своих преподавателях. У меня, как у доктора и бывшего профессора медицинского института, это вызывало душевное страдание. Не может молодой человек учиться будущей профессии безо всякого к ней интереса!

Никто не заставлял Младшего учиться на доктора, он сам

захотел продолжать то, что начал еще в Москве, где был студентом-медиком. Но даже если исчезает интерес, опыт жизни показывает, что человек должен уметь добиваться своего при любых условиях. Если ему там не нравилось, то доучиться до конца ему оставалось всего полтора года (в Америке учатся в медицинском институте четыре года после четырех лет учебы в колледже). Простая логика подсказывала, что лучше уйти из профессии с дипломом в кармане и потом заниматься другим делом, чем бросить учебу на полпути. А он вместо учебы гонял на своем «Фольксваген-Гольф», который мы ему подарили после второго курса, чтобы ездить в клиники института. Там нет общественного транспорта. Я знал, что ему хотелось иметь полуспортивную машину, и решил побаловать его. Ничто мне не подсказывало, что эта машина может стать для него заменой учебы. Но что произошло, того не исправить…

Грустной была встреча с сыном. Мы ни о чем его не расспрашивали, не корили, не жалели, только стали успокаивать: жизнь вся впереди и еще многое можно сделать, чтобы чего-нибудь в ней добиться.

Я пытался помочь ему восстановиться, написал письмо к декану факультета и ходил к нему на прием, объяснял, сколько труда было вложено всей нашей семьей, чтобы сын мог стать потомственным доктором. В кабинет вызывали преподавателей сына, их мнения о нем были разноречивы: одни сурово критиковали, другие даже хвалили. Но декан занял жесткую позицию: исключить. Несправедливо? Что же делать! Американцы знают, что однажды сказал их любимый президент Джон Кеннеди: жизнь во многом несправедлива.

Чтобы сыну не болтаться без дела, Ирина устроила его лаборантом в Колумбийский университет, где рядом работала она сама. Так он был занят, всегда с людьми и даже зарабатывал. И она могла хотя бы иногда наблюдать за ним. Поселился сын не у нас, но близко, с моей мамой, обожавшей его бабушкой. У нее была сильная натура, при ней он чувствовал себя спокойнее. А нам она примирительно говорила:

— Ну, ошибся человек, со всеми бывает. Не казнить же его за это!..

Сам он глубоко в душе казнил себя и был мрачно настроен. И у нас с Ириной долгое время было грустно на душе. Эта душевная рана никогда полностью не зажила и оставила грубые рубцы несбывшихся надежд.

Но и до сих пор я сам с собой рассуждаю так: если бы Младший закончил учебу, он, может, и стал бы каким-нибудь доктором, но доктору нельзя быть «каким-нибудь». Не должен

врачевать человек, который не увлечен медициной.

Без побуждений и целеустремленности в своей профессии доктор не только не принесет пользы, но может по ошибке и навредить кому-то из своих пациентов. Тогда это вызовет трагедию еще большую, чем исключение из института. Да, мне хотелось, чтобы сын стал доктором, как его дед, я сам, хотелось, чтобы его профессиональный уровень был не ниже моего. Но отводя в сторону родительские соображения, я признаю, что с таким отношением к медицине он не мог стать врачом: не должен врачевать человек, который не увлечен медициной.

По прошествии нескольких лет судьба сына устроилась: он нашел, как говорится, свою нишу в жизни. Занялся научными исследованиями в фирме по производству медицинского оборудования, женился на американке, которая тоже не имеет профессии, они скромно зарабатывают на жизнь своим трудом. А мы время от времени материально их поддерживаем, и с удовольствием. Ведь лучше давать детям из рук пока еще теплых, чем уже холодных. И наша любовь к сыну перешла на троих его детей, наших внуков. Но об этом — потом…

Болезнь Илизарова

Наступило душное нью-йоркское лето. С июня по сентябрь жители города спасаются прохладой кондиционированного воздуха. Кондиционеры жужжат повсюду — в домах, в машинах, в учреждениях, в вагонах метро и в автобусах. В здании нашего госпиталя была своя сильная система охлаждения, в каждой из двадцати операционных комнат в подземных этажах мы могли регулировать температуру по своему желанию, какую хирургу хотелось. Нам с Френкелем хотелось попрохладней — мы два-три дня в неделю проводили в операционной по шесть — восемь часов, вместе делали четыре-пять операций по илизаровскому методу, кроме того, у Виктора еще были частные пациенты.

Частная практика — основная форма американской медицины, она составляет более 80 % всего лечебного дела. Остальное — госпитальная или поликлиническая работа на твердой ставке. Хотя Френкель получал за свое директорство большие деньги, но основной доход ему приносила его частная практика. Однако справиться с новым наплывом пациентов для илизаровских операций ему одному было трудно. И я стал помогать Виктору принимать больных два раза в неделю в его частном офисе.

Мне было полезно присматриваться к работе в офисе, учиться вести прием частных больных. Эта работа во многом отличается от безличного приема в поликлинике: частные больные платят прямо доктору (через секретаря — доктор никогда ни деньги, ни чеки в руки не берет, а если у пациентов есть страховки, то плата из страховой компании тоже идет в карман доктора через секретаря). Поэтому и внимание к частным пациентам повышенное.

У нас была налаженная поточная система приема: пока Френкель заканчивал осмотр пациента в одной из двух смотровых комнат, я начинал осмотр следующего в другой комнате. Моя функция была лишь вспомогательная, чтобы он не тратил время на технические детали. Когда Френкель входил в мою комнату, я подготавливал рентгеновские снимки и коротко ему рассказывал. Оставалось установить диагноз и предложить план лечения.

В обращении с пациентами Френкель был приветлив, бодр и прост. Он по-доброму всем им улыбался и у многих вызывал ответную улыбку. Взрослые приходили в сопровождении своих мужей-жен; детей, понятно, сопровождали родители. Их надо было умело успокоить, ободрить. Френкель делал это легко, и они сразу чувствовали в нем доброго многоопытного доктора. Его

разговор с ними звучал приблизительно так:

— У вас укорочение ноги на 6 сантиметров с искривлением. Раньше у нас не было хорошего способа исправить это. Но теперь я могу предложить вам лечение новым методом русского профессора Илизарова.

Тут же он представлял меня:

— Это доктор Владимир из России. Он работал с профессором Илизаровым. Через Владимира я поддерживаю с профессором прямой контакт. У Илизарова есть для этого специальный телефон. — Тонко рассчитанная шутка, чтобы подкупить заинтересованность пациента.

Пациенты уже ранее слышали об этом методе или видели быстрый его показ по телевизору. В ту пору новых отношений между двумя странами слова «новый русский метод» им импонировали. А непосредственная связь Френкеля с русским ученым тоже производила впечатление. На меня как бы падала отраженная слава автора.

Многие расспрашивали:

— Это правда? Вы работали в России с самим профессором Илизаровым?

— Как давно вы приехали в Америку?

— Как вам нравится здесь, в Америке?

— Скажите, а профессор Илизаров еще приедет в Америку?

Я отвечал на вопросы, рассказывал, и у меня с пациентами тоже образовывались личные отношения; с некоторыми даже лучшие, чем у занятого разными делами их частного доктора.

Мы действительно часто перезванивались с Илизаровым, и как-то раз он признался мне:

— А ты был прав, нога у меня болит все больше. Наверное, надо делать операцию.

— Так приезжай в Нью-Йорк, здесь тебе ее сделают.

— Да вот наш министр здравоохранения Чазов уговаривает меня, что в его институте мне сделают операцию не хуже.

— Гавриил, я не знаю, какой у них там опыт в этом деле. Ты подумай.

И однажды среди ночи мне позвонила из Москвы Светлана, дочь Илизарова. Голос был встревоженный, она почти кричала:

— Папе очень плохо, он лежит в реанимационном отделении, мы не знаем, что делать!

— Что с ним? Где он?

— Он в Москве, Чазов положил его в свой институт. Ему делали обследование, и первые дни он был в приличном состоянии, но потом что-то случилось. Нам не говорят, но мы узнали, что у него была остановка сердца, и ему пришлось делать

электрошок сердца. Сейчас он уже лучше, но очень ослаб.

— Слушай, перезвони мне через полчаса, я сейчас поговорю об этом с Френкелем.

Разбудив Френкеля среди ночи, я рассказал ему о странной болезни Илизарова. У Виктора всегда на все были готовые решения — ни минуты не раздумывая, он сказал:

— Пусть его привозят сюда. Я договорюсь с лучшими специалистами по хирургии сосудов, и мы устроим ему операцию здесь.

Это я передал Светлане, когда она перезвонила. И добавил:

— Привозите его, чем скорее, тем лучше. Только договоритесь с министром об оплате лечения в Америке, это должно дорого стоить.

На следующий день она сообщила, что вылетает вместе с отцом и сопровождающим доктором-анестезиологом. Мне подумалось: если с анестезиологом, дело серьезное. Френкель забронировал в отеле «Грамерси-Парк», рядом с госпиталем, номера для Илизарова, его дочери и русского врача.

Встречая их в аэропорте, я еще издали увидел, что Илизарова везут в инвалидном кресле. Правая нога его лежала на подушке. Светлана шла рядом, неся его трость. Горько мне было увидеть старого друга в таком состоянии. Он слабо улыбался. После осторожного объятия я спросил:

— Что с тобой случилось?

— Да, понимаешь, ничего особенного. Это все дочка с женой — зря подняли панику.

Из кресла в машину он пересаживался с трудом, и сопровождающий доктор его поддерживал и приговаривал:

— Осторожней, Гавриил Абрамович, осторожней.

Доктор этот был мой старый знакомый — профессор Бунатян, главный анестезиолог Министерства здравоохранения. С одной стороны, это была честь для Илизарова, с другой стороны, знак, что заболевание его очень серьезное.

После десятичасового перелета он в машине дремал, и я не стал при нем расспрашивать, что случилось. Но в гостинице, улучшив минуту, я отвел Бунатяна в сторону. Вот что он рассказал:

— Илизарова положили с сильными болями в ноге и посиневшей стопой. Могла вот-вот начаться гангрена. Хирурги обследовали его для операции по замене артерии. Но у нас в России такие операции делают пока всего несколько хирургов, никто не имеет большого опыта.

— А что произошло с сердцем, почему потребовалась реанимация?

— Ему начали внутривенно вводить сосудорасширяющие жидкости с антибиотиками, чтобы успокоить воспаление и поддержать организм. На третий день была смена дежурных сестер, одна ушла, а другая поставила ему вливать внутривенно жидкость из оставленной на столе стеклянной бутыли. Она думала, что раз это бутыль из аптеки больницы, то в ней — приготовленный раствор. На бутыли не было написано — что за жидкость.

— Не было написано? Как же она могла вливать, не зная?

— В том-то и дело. Во время вливания он почувствовал себя плохо, звал сестру, но никто не подходил. Он сам вырвал иголку из вены. Но у него началась мерцательная аритмия сердца. Через некоторое время его нашли в палате уже без сознания, и пришлось три раза делать электрошок. Он до сих пор так и не знает, что ему это делали.

— Что же это была за жидкость?

— Так никто и не узнал. Был, конечно, скандал. Но семья Илизаровых сказала, что уже не доверяет тому лечению. И позвонили тебе.

Когда я пересказывал все это Френкелю, он ушам своим не верил:

— Неужели такая отсталость в специальном институте?

— Да, и это их лучший институт, и там лечат больших боссов.

Действительно, из этой истории вырисовывалась картина того, что академик Сахаров написал про советскую медицину: отсталый и нищенский уровень. Американскому доктору понять это было просто невозможно. В Америке пластические операции на сосудах были распространенным стандартным методом лечения во всех больших госпиталях уже двадцать лет, а там их еще не умели как следует делать даже в специальном институте. Значит, отставание было на двадцать лет! В Америке строгое правило — сообщать больным и их родственникам обо всех осложнениях. Иначе доктор и госпиталь несут судебную ответственность. А там это скрывали даже от больного, который сам был доктором, и от его семьи. В Америке все внутривенно вливаемые жидкости производятся фабричным способом и рассылаются в пластмассовых емкостях с напечатанной на них информацией — название, процентное содержание, срок изготовления и срок годности. А там эти жидкости разливают по стеклянным бутылям в аптеках больниц и даже не наклеивают названия. У меня десять лет ушло на то, чтобы «догнать» американскую медицину. Не знаю, как бы после этого я смог работать в тех отсталых и бедных условиях.

— Уму непостижимо!..

Поздно вечером, когда Гавриил заснул, Светлана рассказала, как она добивалась разрешения правительства на оплату его лечения в Америке. С трудом ей удалось соединиться по телефону с заместителем министра здравоохранения. Когда она сообщила ему, что произошло в институте, он закричал в трубку:

— Так вы что, хотите повезти его в Америку, чтобы там позорить советскую медицину?!

Положение было почти безвыходное.

— А у отца нога была уже в синих пятнах, он с трудом мог шевелить ей. Не могла же я сказать ему, что денег не дают.

Однако нашлись высокие покровители, которые добились разрешения, чтобы счета за лечение Илизарова оплачивало советское посольство в Вашингтоне. Для этого посольство должно было выдать гарантийное письмо с номером счета в банке. Пока шли переговоры, состояние Илизарова стало критическим. Его повезли в аэропорт, а дочь в это время еще добивалась билетов и заграничных паспортов. Взмыленная, она примчалась в аэропорт чуть ли не в последнюю минуту. Он ничего не знал о ее стараниях и накинулся на нее:

— Где тебя носит? Уже посадка идет, а ты все шатаешься!..

Потом оказалось, что гарантийного письма в Нью-Йорке еще нет. А без гарантии оплаты в американском госпитале лечить его не станут. Опять пришлось просить Френкеля договориться, чтобы лечение начали под его честное слово. Бумагу с надписью «Посольство СССР в США» прислали через несколько дней. Мне приходилось ежедневно ее показывать при каждой новой процедуре. Ее подолгу рассматривали, удивлялись, делали с нее ксерокопии и вкладывали в историю болезни. Еще несколько месяцев я должен был следить за пересылкой счетов и их оплатой.

Без меня Гавриил был как без рук, потому что не владел языком. Его дочь слабо знала английский и разговаривать с докторами и сестрами не могла. Высокая и красивая молодая женщина, она три года назад окончила медицинский институт в Челябинске. Отец взял ее работать к себе в Курган, чтобы она пошла по его стопам и стала ортопедическим хирургом. Светлана была развитая, но чрезвычайно застенчивая, настоящая провинциалка первый раз в столице. К тому же в Кургане остался ее маленький сын, и она, как ни жалела отца, душой рвалась к ребенку. По всему выходило, что, пока Илизаров болен, мне придется буквально прилепиться к нему.

На следующее утро я повез его в Медицинский Центр Нью-Йоркского университета к доктору Джиму Райлзу, с которым

договорился об операции Френкель. Доктор выглядел молодо, да он и был молодой, меньше сорока, но уже имел большой опыт и громкое имя, заведовал отделом хирургии сосудов. Конечно, профессиональная жизнь этого доктора была нелегкая — чтобы добиться такого положения и успеха, он должен был работать на износ. Но как раз износ в нем и не наблюдался. Американцы вообще долго выглядят моложаво. Илизаров недоверчиво на него поглядывал, и я вспоминал, как он в прошлый приезд ворчал: «У вас в Америке все хорошие специалисты…»

Райлз был типичный американский специалист: не тратил времени на лишние разговоры, ему сразу было понятно, что с пациентом и какое нужно лечение. Хотя он смотрел на Илизарова с большим уважением, но времени на расспросы зря не тратил: сразу попытался определить пульс с помощью доплера, аппарата, который усиливает звук от пульсирующей крови, — никакого звука не было. Он выразительно глянул на нас с Бунатяном и сказал секретарю, чтобы она срочно заказала ангиограмму — рентген сосудов с контрастной жидкостью. Я перевел Илизарову. Он горько усмехнулся в свои густые усы:

— Так… дела, видно, неважные.

— Ну, может быть, не такие плохие, — успокаивали мы его.

Но он, конечно, все понимал. Я отвез его на инвалидном кресле в рентгеновское отделение. Новые снимки показали закупорку бедренной артерии еще хуже, чем раньше. У Райлза решение было однозначное: нужна операция.

Тысячи раз в жизни мне приходилось говорить своим пациентам: «Вам нужна операция». Хирургу бывает совсем не просто это сказать, потому что он знает, что больному это совсем не просто услышать. Поэтому зачастую нельзя давать прямую рекомендацию, а приходится начинать издалека, приводить примеры. Но американские специалисты на это время не тратят. И Райлз тоже выпалил решение прямо. Когда я перевел его слова Илизарову, он принял это по-мужски спокойно:

— Я и без твоего перевода понял. Надо так надо. Когда?

— Завтра, — коротко ответил Райлз.

Вечером мы с Илизаровым и Светланой уже были в приемном отделении госпиталя.

Регистратор не могла решить вопрос о госпитализации без страховки и без какой-либо бумаги. Звонили в администрацию, администрация звонила в советское посольство. Мы сидели и ждали. Гавриил молчал, мы со Светланой тихо переговаривались: ей надо было освобождать номер в гостинице, и я уговаривал ее переехать к нам с Ириной.

Наконец все разрешилось, больного стали регистрировать. Я

переводил вопросы и ответы. В американских госпиталях полагается указывать религию, к которой принадлежит пациент: ко многим приходят по их желанию священники. Илизаров поразился:

— Какая такая религия?! Зачем им? Я вовсе не религиозный, я атеист.

— Тогда какая у него национальность? — спросила регистратор.

Светлана сидела позади него и тихо шептала, как бы про себя:

— Он еврей, еврей.

Гавриил по отцу был тат, горский еврей, а его мать, Голда Розенталь, из белорусского местечка. Но всю жизнь ему приходилось скрывать свое происхождение, прикрываясь национальностью «тат» как щитом: никто об этом маленьком народе не знал.

После заминки я сказал, чтобы Илизарова записали агностиком (не верующим, но и не отрицающим Бога).

Санитары положили его на каталку и повезли в палату, а мы грустно шли следом. Светлана вскоре отправилась собирать вещи, я остался. Подготовка к операции начинается обычно за несколько дней, но в нашем случае надо было успеть до утра.

Каждые пять — десять минут к Илизарову в палату заходили врачи, лаборанты, сестры, расспрашивали о прежних болезнях, проверяли сердце и легкие, делали рентгеновские снимки, брали анализы крови, снимали кардиограмму, внутривенно вливали растворы. Нельзя было не поразиться, как быстро и четко шла такая сложная подготовка. Илизаров приговаривал:

— Здорово это у вас все налажено, молодцы!

Он, похоже, не нервничал, не задавал вопросов. Если его ненадолго оставляли в покое, сосредоточивался на чем-то своем. Мне представлялось, что в те часы перед ним проходила вся его жизнь — нищее детство в горном поселке Кусары, в Дагестане, трудности жизни и работы в глухой провинции и взлет к международной известности.

Потом дали ему подписать бланк согласия на операцию. Там сказано, что в случае угрозы для жизни больной соглашается на высокую ампутацию. Он секунду посмотрел в сторону темного окна — и подписал. Думаю, горько ему было подписывать такое. Но куда деваться?..

С тревогой я оставил его одного уже за полночь, положив на тумбочке у кровати листок, на котором написал крупными цифрами номер своего телефона — чтобы звонили в любой момент. В шесть утра я уже снова был в его палате. Он так и не

заснул, ему и ночью продолжали делать разные процедуры:

— Я не хотел, чтобы тебе звонили и беспокоили. Да и они хорошо знают свое дело, твои американские специалисты.

Перед операцией зашел Райлз, улыбнулся ему, сказал несколько слов. Я спросил, нельзя ли мне быть с больным до момента, когда ему дадут наркоз, чтобы переводить.

— Конечно, можно, Владимир. Если он сам не против, ты, как доктор, можешь присутствовать во время всей операции.

Гавриил улыбнулся и пожал ему руку:

— Скажи ему, что он мне нравится, что я ему доверяю и желаю успеха, — сказал он.

Десятки лет простоял я у операционного стола, но каждая операция для меня — своего рода священнодействие. Ведь операция даже по форме своей подготовки напоминает религиозную церемонию: как бы ритуальное мытье рук хирургов, переодевание их в стерильные халаты и маски, а когда они подходят к больному, то держат перед собой руки в резиновых перчатках, как будто готовятся колдовать. Да и сама операция — от разреза до зашивания кожи, тоже как колдовство, когда хирурги молча и слаженно манипулируют на кровящих тканях, перевязывают сосуды, отсекают больное, сшивают здоровое.

Я стоял у изголовья Гавриила, переводил и объяснял, что ему делают. Сначала «колдовал» анестезиолог, налаживая вливание жидкостей через вену и вводя катетер в артерию, устанавливая «артериальную линию» на случай необходимости.

— Ну вот, а теперь вы станете засыпать, — сказал он Илизарову.

В его гортань он вставил эластичную трубку, через которую ритмично подавался воздух.

После этого больного уложили в позицию для операции и стали тщательно промывать кожу ног дезинфицирующими средствами. Потом из распылителя покрыли ее слоем бетадайна, раствора йода. Хирург и двое ассистентов накрыли его стерильными простынями, оставив открытыми лишь места для операции.

Чтобы заменить закупоренную артерию, через длинный разрез взяли вену с другой ноги. Райлз объяснил мне:

— Если вена окажется слабой, придется вместо нее поставить искусственную.

Рассмотрев вену, он счел ее недостаточно крепкой.

— Как ты думаешь? — спросил он меня. — По-моему, лучше поставить протез.

Я не имел в этом никакого опыта, но он, очевидно, считал нужным информировать меня о своих действиях.

Теперь ему предстояло главное: вшить концы искусственного сосуда выше и ниже места закупорки, и восстановить через него кровообращение. Нужна точность выбора места вшивания и быстрота действия. Если ток крови восстановится до самой стопы — нога спасена. Если не удастся — не останется другого выбора, кроме ампутации.

Я следил за движениями его рук, как завороженный. Выделив артерию из мышц, он перерезал ее дальний конец.

— Смотри, какой плохой ток через артерию, — сказал он.

Действительно, с пульсовой волной из перерезанного конца артерии едва сочилась тонкая струйка крови, как из водопроводного крана со слабым напором.

— Это едва ли пятая часть того, что нужно для нормального кровотока, — продолжал Райлз. — Твоему другу давно уже надо было делать операцию.

— Конечно, да он все оттягивал, — согласился я.

Райлз перевязал артерию и вшил в нее коцец протеза.

— Смотри теперь, — он снял с артерии зажим.

Через протез с напором прошел первый ток крови, и сильной струей забил с другого конца. Хирург остановил его зажимом.

— Видишь, какая разница.

Теперь на открытой артерии он определил место для вшивания другого конца протеза и ловкими движениями стал быстро его вшивать. Казалось, то, что он делает, — очень просто, но я представлял, сколько труда было вложено в эту кажущуюся простоту.

Он снял зажимы с протеза:

— Теперь просмотрим, как станет меняться цвет стопы.

Все мы впились глазами в оживляемую новым током крови стопу. На наших глазах она розовела. У меня отлегло от сердца: нога спасена!

Райлз для верности проверил звук пульсации доплером — звук был громкий и четкий: тушш-тушш-тушш…

Только два пальца оставались темными.

— Главное закончено, — сказал Райлз, — но эти пальцы уже неживые. Что с ними делать?

Ну, это и мне было ясно:

— Если они неживые, лучше их убрать. А то потом придется делать их ампутацию.

— Да, но, понимаешь, я не вписал это в его согласие на операцию. Если ты потом ему объяснишь, я их уберу. На твою ответственность.

Хотя два пальца на ноге — ничтожно малая часть тела, но я смутился: как мне взять на себя ответственность за чужие

пальцы? А с другой стороны — если в них возникнет гангрена (а она должна возникнуть), то я буду себя еще больше корить.

— Хорошо, я беру на себя ответственность.

Я был уверен, что Гавриил не станет на меня сердиться.

Главное, его нога и его жизнь вне опасности!

Вторая операция

Даже самая прекрасно сделанная искусным хирургом операция может не дать хорошего результата, если после нее нет настоящего внимательного выхаживания больного. А оно проводится медицинскими сестрами. Когда хирург закончил операцию, больного перевозят на несколько часов в палату восстановления (recovery room по-английски). Первое склоненное лицо, которое он, проснувшись от наркоза, видит перед собой, — это лицо медицинской сестры. Она улыбается ему, говорит слова ободрения, дает кислород для дыхания, укрывает, если у него озноб, дает пить, вводит обезболивающие лекарства — она начинает его выхаживание. И если замечает, что что-то не в порядке, срочно вызывает к нему доктора.

Медицина — самая человечная из всех видов людской деятельности, и медицинские сестры символизируют ее человечность больше, чем доктора. Особенно в хирургии. Да, хирург спасает жизнь и здоровье, вкладывая в это свое уникальное умение работать инструментами. Он, по сути, и есть инструменталист медицины. И чем больше инструментов в его руках, тем меньше остается ему времени и меньше места в его душе для простой человечности. Как все это вместить в одну душу? Хирург спасает, но ощущение теплоты и заботы выхаживания дает больному так называемый средний и младший персонал — если он натренированный и внимательный.

Все это я наблюдал с первого момента после операции, когда проводил долгие часы у постели Илизарова. Для меня, хирурга, это была уникальная возможность видеть, что и как делают сестры, когда после операции мы оставляем им наших больных. Это были интересные и полезные наблюдения со стороны за больным и персоналом. Я часто думал: даже если бы Илизарову и сделали операцию в том московском институте, то все равно — какой был бы результат, когда сестра влила ему в вену неопознанную жидкость?

Доктор Райлз всегда торопился. Ранним утром он заходил в палату Илизарова на две-три минуты до своих новых операций. Я уже был там, приезжая для перевода и объяснений. Доктор деловито улыбался, спрашивал:

— Ну, как сегодня наш профессор — о'кей?

Я коротко рассказывал, он быстро проверял пульс на ноге, улыбался, опять говорил свое «О'кей» и поспешно уходил на целый день, на ходу давая указания сестрам. Он торопился в операционную — спасать других. Это и было его, специалиста

высокого класса, основное рабочее место. А выхаживали Илизарова именно сестры. Ведь одно дело — назначить нужное лечение или процедуру, а другое дело — КАК это выполнить.

Опытная и внимательная медицинская сестра может быть не только хорошим исполнителем, она может и подсказать, и даже, если надо, поправить доктора. Много нужно для этого умения и терпения. И ведь больные разные, не только все они обессиленные и беспомощные, но бывают и ворчливые, всем недовольные, капризные, злые, кляузные. При докторах они стесняются и ведут себя спокойнее, но только сестры по-настоящему знают, как тяжело выхаживать таких людей. Действительно, сестрам надо иметь много терпения и душевной доброты, чтобы вновь и вновь вкладывать их во все новых больных.

Но Илизаров не был капризным больным, он легко и спокойно переносил все процедуры, как настоящий мужчина. И они словно колдовали над ним: целыми днями они входили-выходили, проверяли показания телевизионного монитора над его кроватью, температуру, пульс, кровяное давление, слушали, как работает сердце, давали лекарства, брали кровь на анализы, вводили внутривенно растворы, регулировали частоту капель вливания, протирали его, меняли белье и еще многое-многое другое. Они это делали терпеливо и искусно, я удивлялся и восхищался, иногда им помогал, иногда с ними не соглашался, просил вызвать доктора. Но общая квалификация сестер была очень высокая.

Много среди них было черных, и Илизаров, не привыкший к людям других рас, с удивлением косился на них и говорил мне:

— Вот ведь, смотри-ка — негритянка, а работает хорошо, тщательно. Не так, как в том московском институте, где сестра влила мне в вену какую-то пакость.

Я всегда легко сходился с людьми, и с первых дней у меня образовались хорошие отношения с сестрами. Для них русский пациент, не знавший ни слова по-английски, был диковинкой. И я, иммигрант из России, а теперь американский доктор, тоже вызывал их интерес.

— Это кто — брат ваш? — спрашивали они.

— Нет, мы не родственники, просто друзья.

Они смотрели на меня подозрительно — в Америке многих мужчин подозревают в гомосексуализме. Но я рассказывал им, кто такой Илизаров, как мы работали с ним в России. Некоторые слышали или читали про его метод, им было интересно увидеть знаменитого доктора. Его солидное спокойствие и его личность производили на них впечатление. И подозрение к нашим

отношениям исчезало.

Положение медицинских сестер в Америке отличается от их положения в России тем, что их труд здесь высоко уважаемый и хорошо оплачиваемый. Они — профессиональная группа и зарабатывают от $50 000 до $70 000 в год, в некоторых штатах даже больше. Сестры оканчивают колледжи, это считается высшим образованием. Потом три года они должны тренироваться для своей работы. Немало среди них мужчин, и почти половина из сестер — черные (в Америке не принято говорить «негр», это считается оскорблением, как «жид» в России). Работают они очень много, все время на ногах, все время в беспокойстве, дежурят по ночам и по праздникам. Для такой тяжелой работы не хватает американок. Поэтому около трети всех сестер — это иммигрантки из других стран: с Карибских островов, из Филиппин, из Китая; есть польки, стали появляться из России и других республик.

Нога Гавриила с самых первых часов вела себя хорошо, боли прошли, про отрезанные пальцы под повязкой он пока не спрашивал.

В Америке лечение после операции очень активное, больных рано ставят на ноги. Через два дня в палате Илизарова появилось новое лицо, да еще какое лицо: молоденькая хорошенькая инструктор физиотерапии. Мы оба загляделись на нее. «Раз уж он, семидесятилетний, в теперешнем своем положении проявляет такие эмоции, значит, дела пошли на поправку», — подумал я.

— Это кто такая? — спросил Гавриил.

— Инструктор лечебной гимнастики. Будет учить тебя ходить.

— Что это у вас в Америке так торопятся?.. Но так и быть, ради нее попробую встать.

Он несколько раз пытался сесть на кровати и даже опускал ноги на пол, но каждый раз у него начиналось головокружение. А она поддерживала его и певуче говорила:

— Ну, дорогой, попытайтесь еще разок…

Илизаров сердился:

— Скажи ты ей, что я не могу. Если бы мог, поднялся бы.

Смущенная красотка так и ушла ни с чем.

На другой день при утреннем обходе Райлза я рассказал ему об этой неудаче. Он пощупал пульс на сонных артериях на шее, которые обеспечивают основное снабжение мозга кровью.

— Владимир, пощупай сам…

Слева пульса не было совсем, справа очень слабый. В тот же день мы повезли Гавриила на новое обследование. У него оказалась полная закупорка левой сонной артерии, правая

работала вполсилы. Можно было каждую минуту ожидать паралича. Райлз предложил сделать новую операцию.

Илизаров воспринял новость мужественно, даже спокойно. Не так, как мы, его близкие и друзья. Вечером у нас дома Светлана плакала, моя Ирина ее успокаивала. Звонили в Курган Валентине Алексеевне, жене Гавриила. Та тоже плакала в трубку: сколько же человек может вынести?!

И вот я опять стоял у изголовья операционного стола, наблюдая искусную работу Райлза. По схеме эта операция была похожа на первую, но гораздо сложнее: близко к сонной артерии лежат другие жизненно важные сосуды и нервы. Одно неверное движение хирурга может убить пациента. Райлз опять показывал мне, как плохо идет кровь через артерию и как быстро и легко она потекла по искусственному сосуду.

Все окончилось благополучно: мозг стал получать достаточно крови для жизни — и новых открытий. Во время операции делали фотосъемку, и Райлз подарил мне потом слайды. Я храню их как память об эпопее спасения моего друга.

Снова напряженные часы и дни выхаживания. Снова сестры «колдовали» над больным. На третий день в палату нерешительно заглянула красотка — инструктор физиотерапии.

Гавриил при ее появлении заулыбался — и сел на кровати, сам, без нашей помощи. Она картинно всплеснула руками:

— Какой вы молодец!

А он радовался, как ребенок, что смог это сделать и еще заслужил похвалу красавицы. Она сияла ему обворожительной улыбкой. С тех пор он ждал ее каждый день, чтобы пройтись по коридору. Мы со Светланой часто сопровождали его в этих прогулках. Он с интересом заглядывал в открытые двери палат. Ему, директору самого большого в мире Центра ортопедии, было многое здесь в диковинку.

— Я вижу, у вас тут немало стариков. Некоторые совсем древние. Что, им тоже делают операции? Делают? Старикам? Ну и ну… И что — не умирают после этого? Помогает им?..

В другой раз он удивлялся, что кому-то принесли не госпитальный обед, а доставили горячую еду в специальной упаковке.

— Это почему его кормят по-особому?

— Он заказал обед из ресторана, за свои деньги.

— Ему что, здешняя еда не нравится? По-моему, в госпитале хорошо готовят, вкусно.

— Как тебе объяснить… Знаешь, среди американцев есть много избалованных едой. Они привыкли есть в ресторанах, больничная еда их не устраивает.

— Но они же не за едой сюда пришли, а за лечением!.. Да, много у вас хорошего, но много и чудного…

Я его понимал. Для него, как человека из другого — советского — мира, где общий уровень медицины был отсталый, а общий уровень жизни людей очень низким, было чем восхищаться и чему удивляться в американском госпитале. Я тоже всегда поражаюсь высокими результатами лечения, но зачастую удивляюсь низкому общему уровню этического поведения американских пациентов. Я никогда не мог понять капризных больных, которые, лишь только окрепнут после операций, начинали ругать больничную еду — по-моему, почти всегда очень хорошую.

Америка — богатая и высокоразвитая страна, но большая часть американского общества никогда не была высококультурной в плане бытового поведения. Откуда здесь быть традициям бытовой культуры и хороших манер, если вся страна состоит из потомков недавних иммигрантов с разным уровнем развития?

Илизаров пробыл в госпитале почти месяц. Я все это время буквально разрывался, как Фигаро из «Севильского цирюльника». Рано утром помогал Гавриилу переводом и составлением расписания его лечения на целый день. Оставив с ним Светлану, мчался на такси к восьми часам в свой госпиталь. Оперировал с Френкелем и принимал пациентов, то и дело звоня в палату Гавриила или отвечая на звонки оттуда: всегда надо было что-то перевести докторам и сестрам. Закончив работу, вечером опять мчался к Илизарову.

Мне периодически звонили из советского посольства, интересуясь, когда же его выпишут: общий счет за лечение приближался к ста тысячам. Ему самому я об этих звонках не говорил — не хотел ни расстраивать, ни удивлять. Стоимость американского лечения — стресс для старого человека, привыкшего к бесплатной медицине. Да, но и качество лечения поразительно!..

Когда наступил день выписки, я почувствовал тройное облегчение: за выздоровевшего Илизарова, за себя, уставшего от месячного напряжения, и за советское посольство.

Мечта старого русского доктора

Френкель часто просил меня показать Илизарову рентгеновские снимки кого-нибудь из своих пациентов и спросить его совет. В следующий раз он говорил пациенту:

— Мы показывали ваши снимки самому профессору Илизарову, и он оценил вашу операцию на «А» с плюсом (в Америке оценки даются не цифрами, а буквами). «Самому профессору Илизарову!» — это добавляло к его авторитету перед больным. Подходило время Гавриилу выписываться из госпиталя. Я ломал голову, где найти для него место на две-три недели — окрепнуть до возвращения в Россию. Мы с Ириной рады были дать ему одну комнату, но у нас было бы тесно. Надо было обращаться за помощью к Френкелю. Эпопея болезни и операций Илизарова была известна всем докторам нашего госпиталя.

Незадолго до выхода Гавриила из госпиталя доктор Альфред Грант, тот самый, с которым я начал делать операции в нашем институте, отвел меня в сторону и спросил:

— Владимир, как ты думаешь, не обидится Илизаров, если я предложу ему с дочерью после госпиталя пожить в одной из моих квартир. Я там не живу, купил для вложения денег. Никто его беспокоить не будет.

— По-моему, он не только не обидится, но будет благодарен.

— Ты скажи профессору, что для меня это будет большая честь.

Толстяк Грант был добрый человек и преклонялся перед Илизаровым. Ему, по его американской наивности, казалось, что если у того мировое имя и за лечение платит посольство, то оно тем более готово будет снять номер в самом дорогом отеле.

Сам Грант вдвоем с женой жил в большом доме в богатом пригороде Лонг-Айленд, у них был также «дуплекс», двухэтажная квартира в одном из небоскребов в центре Манхэттена.

Я перевез Гавриила на квартиру Гранта на авеню Лексингтон, неподалеку от нашего госпиталя. Он еще никогда не был в квартирах американцев и сразу стал осматривать свое временное жилище. Прихрамывая, расхаживал по трем большим и дорого обставленным комнатам, восклицая:

— Ну-ну, квартира прекрасная! Спасибо Гранту, хороший человек. Это столовая, это спальня… а где санузел?

Так, по советской привычке, назвал он ванную.

— Ага, красиво, все в зеркалах… А почему Грант сам здесь не живет?

— У него есть дом и еще квартира, двухэтажная.

— Двухэтажная, говоришь? Интересно… Он что, богатый?

— Наверное, очень богатый.

— Сколько эта квартира стоит?

— Точно не знаю, думаю, тысяч полтораста-двести.

— Так дорого!.. Сколько же тогда двухэтажная может стоить?

— Не меньше миллиона, а то и двух.

— Два миллиона за квартиру?! Да, ваши доктора здорово живут. Я вот всю жизнь работал, а с трудом получил четырехкомнатную в Кургане, да и то по специальному решению обкома партии…

— Здесь разрешения не нужно — плати деньги и покупай квартиры, какие хочешь.

— Так, так, ясно… Но ведь и стоит дорого.

— Если бы такой доктор, как ты, работал здесь, он давно был бы мультимиллионером.

— Ну да?

Я стал рассказывать, что многие доктора нашего госпиталя — настоящие богачи. Они вкладывают деньги в разные выгодные предприятия — в покупку участков земли, домов, квартир, беговых лошадей и старинных автомобилей. Все это с годами растет в цене и через несколько лет они выгодно это продают.

— Все богатые американцы любой профессии платят высокие налоги. Но они любят и умеют делать бизнес на перепродаже с выгодой, — сказал я. Илизаров слушал с интересом, потом удивленно комментировал:

— Значит — спекулируют? У нас в Союзе это считается спекуляцией, а у вас в Америке считается обычным выгодным бизнесом. Так, что ли?

— Выходит — так.

— Да, это интересно…

На работе Грант спрашивал меня:

— Удобно ли профессору в моей квартире?

— Очень удобно. Он просил передать большую благодарность.

— Думаешь, мы с женой можем его ненадолго навестить?

— Уверен, что он будет очень рад.

— Ты тоже будь там. А то как мы станем разговаривать?

На следующий день шумная жена Гранта оглушила нас всех громким хохотом, а ее муж смотрел на своего гостя с тихим и умильным почтением. Благодарный им Гавриил, зная, что перед ним миллионеры, тоже улыбками выказывал внимание и уважение Гранту. Не знаю, кто из них кого больше почитал.

Илизаров был человек очень скрытный. Живя в обществе, где сначала у него было много противников, а потом не меньше

завистников, он привык скрывать свои чувства и мысли. Но теперь я видел, что в результате прямого столкновения с новой, неизвестной ему жизнью в Америке в нем происходили психологические перемены. Он все чаще возвращался в наших разговорах к теме богатства американских докторов. Очевидно, ему самому в первый раз в жизни померещилось богатство. Тем более что тут как раз позвонили из фирмы «Ричардс» и попросили разрешения его навестить.

— Конечно, пусть приходят, я готов продолжить переговоры о продаже им лицензии.

Пришли несколько человек с подарками, расспрашивали о здоровье, улыбались, но от делового разговора уклонялись.

— Ты спроси, спроси их про лицензию! Я хочу продать им. Какие у них новые условия?

После нескольких уклончивых фраз наконец выяснилось, что покупать лицензию они не собираются.

— Почему не собираются?! Я бы им уступил немного.

Я перевел его слова, но гости мягко объяснили, что со времени их последних переговоров их юристы разузнали, что патенты Илизарова недействительны в Америке. Он возмутился:

— Как это так — недействительны?! У меня десятки патентов, и все законные!.. Что это значит? Сами предлагали мне пятьдесят процентов, а теперь совсем не хотят покупать! Выходит, они нечестные люди. Тогда я не дам им разрешения на продажу моих аппаратов в Америке…

Но и это было невозможно. Фирма «Ричардс» перекупала его аппараты у итальянцев, которые приобрели у Илизарова лицензию на десять лет вперед. В контракте было указано, что только они могут продавать аппараты в США. Когда Илизаров подписывал с ними тот контракт, хитрые итальянцы каким-то образом сумели его обмануть. Он не хотел теперь этого понимать, расстраивался, горячился. Фирмачи смущенно ретировались.

Через пару дней молчаливых раздумий он сказал:

— Надо заставить итальянцев вернуть мне право самому продавать мои аппараты в Америке! Тогда бы я здесь много получил!

— Если это и возможно, то только через суд. А для этого нужен очень хороший адвокат.

— Сколько он возьмет?

— Обычно такие юристы берут до сорока процентов от суммы, которую отсудят.

— Сорок процентов?! Во дерут!..

— Зато остальные шестьдесят достанутся клиенту. А так он вообще ничего не получит.

— Да-а… — протянул он помолчав. — Ты мне можешь найти такого?

— Здесь таких, как собак нерезаных. Но тебе нужен особый, имеющий право вести международные дела, между тобой в Кургане и итальянцами в Милане.

— Ты займись, найди. Если выиграю, дам тебе пять процентов… три процента.

Я мог в ответ лишь усмехнуться в душе. Я понимал, что все это очень непросто и выигрыш совсем не гарантирован, к тому же мне было абсолютно некогда заниматься такими делами.

Еще много дней Илизаров был мрачен, вымещая раздражение на Светлане. Ему казалось, что она не так гладит его рубашки, не то покупает в супермаркете напротив, не должна так долго купаться в ванной, никуда не должна от него отходить… и еще многое-многое другое.

— Света, ты меня доведешь! — кричал он.

А она устала от его болезней и сварливого характера и часто жаловалась мне:

— Я по своему ребеночку соскучилась, мне бы на своего ребеночка посмотреть…

Неожиданно Илизарову пришла в голову новая идея, как можно заработать в Америке:

— Слушай, я хочу попросить Френкеля, чтобы он взял Светлану в ваш госпиталь. Если возьмет, сколько ей станут платить?

— Если возьмут на полгода или на год как иностранного специалиста, то будут платить около тридцати тысяч.

— В месяц?! — он рассуждал русскими мерками.

— Нет, это в год. И как иностранке ей не надо платить налоги.

Он стал подсчитывать:

— Если по ценам черного рынка, по десять рублей за доллар, это получается триста тысяч… Ого! Я, директор института, никогда столько не получал. Так пусть хоть дочка разбогатеет…

— Да, но ты учти, что здесь высокая стоимость жилья.

— Что ж, может, Грант разрешит ей жить в этой квартире, бесплатно.

Перед их отъездом Френкель и Грант с женами пригласили Гавриила со Светланой и нас с Ириной на прощальный ужин в роскошный китайский ресторан. После первых тостов Илизаров мне шепнул:

— Спроси у Френкеля, возьмет он Светлану?

Френкель сразу воскликнул:

— Для Гавриила Абрамовича все можно! Конечно, берем!

Пусть приезжает.

Вот так решилась судьба дочери Илизарова. Она и теперь работает в нашем госпитале.

Уезжал Илизаров домой другим человеком. Американские врачи не только починили его кровообращение, но примером своей работы и обеспеченной жизни подсказали много новых идей. Светлана сияла от мысли, что скоро увидит своего ребеночка. Она везла ему чемодан, плотно набитый коробками с кукурузными хлопьями.

Юриста я Илизарову все-таки нашел, хоть и не сразу. Он запросил вперед двадцать тысяч долларов для начала ведения дел. У Илизарова таких денег, разумеется, не было. Его американской мечте не было суждено осуществиться.

Иринина лаборатория

Пока моя рабочая жизнь только входила в берега и я привыкал и налаживал рабочие отношения в новом госпитале, у Ирины ее работа и служебное окружение были уже давно налажены. Восемь лет она работала в научной лаборатории электрофизиологии сердца, в одном из лучших университетов мира — в Колумбийском университете.

Директором лаборатории был сорокалетний профессор Майкл Розен, восходящая звезда в своей области. Научная работа в Америке оплачивается только по грантам, то есть — договорным заказам. Получить это финансирование очень не просто. Имея имя и влияние, Розен умел добиваться средств на исследования в Национальном институте здоровья в Вашингтоне главном научном центре страны. Лаборатория всегда процветала, руководитель он был яркий и необычайно организованный.

Он был тип американского интеллектуала высокого класса, знаток литературы и музыки, собиратель книг и картин, а если этого мало, то вдобавок — еще и добрый и приятный человек. Неудивительно, что все сотрудники его любили. Могу сказать, что Ирине повезло с начальником даже больше, чем мне.

Позиция Майкла Розена была очень солидная, но в американцах нет чванства. Его рабочие отношения с сотрудниками и вся атмосфера работы в лаборатории были очень простые и приятные. И за годы работы там Ирина стала как бы центром этой атмосферы. Хотя ее положение равнялось русскому старшему научному сотруднику, но сама она исследований уже не делала. В ее возрасте — пятьдесят шесть лет — научная карьера ей была не нужна. Зато она всем помогала — была матроной лаборатории.

Сотрудники были молодые, недавно окончившие университеты — так называемые постдоки (после докторантуры) из разных стран: Италии, Бразилии, Франции, Англии, Китая, Израиля, Аргентины, Японии, Голландии, Германии, было и несколько американцев. Почти из всех стран, кроме России, которая все еще была за железным занавесом, затормозившим советскую науку на десятилетия.

Лаборатория была ярким примером интернационализма свободной науки. Молодые ученые энтузиасты стремились попасть в нее на два-три года, привлеченные тематикой исследований и именем руководителя. В науке важно учиться у большого ученого, и совсем не важно — в какой стране. Постдоки приезжали, трое-четверо, каждый год, делали эксперименты,

писали научные статьи или диссертации. Это помогало не только их знаниям, но и карьере: всю жизнь потом они могли писать в своих рабочих резюме, что работали в той лаборатории — им открывалась возможность получить хорошую должность. Были среди них и практические врачи-кардиологи, но и им это было нужно для научного продвижения. Ирине приходилось им помогать и все растолковывать. Почти все были в Америке впервые, удивлялись стилю американкой жизни, не понимали. Она им многое разъясняла. Американцы из других штатов тоже впервые были в Нью-Йорке и тоже многому удивлялись. И Ирина опять рассказами и показом помогала им освоиться здесь, понять новые условия и привыкнуть к ним. Она даже шутила:

— Майк думает, что это его лаборатория. Но я считаю, что она моя.

Самой ей было чрезвычайно интересно наблюдать людей разных стран, культур и традиций. Это было более познавательно, чем чтение книг и просмотр фильмов об их странах.

Хотя сотрудники были почти вдвое моложе Ирины, но относились они к ней как к своей сверстнице.

У меня на работе было свое окружение — практически доктора-американцы, а у Ирины — научные работники всех стран мира. А среды врачей и лабораторных научных работников — очень разные. И мы с ней рассказывали друг другу о них, делились впечатлениями дня. Есть семьи, где мужья и жены любят делиться друг с другом рассказами, а есть и такие семьи, в которых все умалчивается. Мы с Ириной привыкли всю жизнь, сходясь за поздней едой на кухне, рассказывать о событиях и людях и их оценивать. Это обогащает знания об окружении и жизни. А американцы верно говорят: «Жизнь это то, что происходит с другими людьми».

Почти каждый вечер Ирина в красках и лицах изображала мне сцены из жизни ее лаборатории. Она хороший и забавный рассказчик. У нее с детства были задатки юмориста и талант подмечать в событиях и людях самое интересное и типичное (недаром она дочь известного фельетониста из «Крокодила»). И у нее есть мимический талант представлять людей точно и смешно. Делясь со мной рассказами, она изображала все как живые сценки, представляя персонажей своих рассказов в лицах, движениях, позах и интонациях. И делала это так ярко, что я ясно себе представлял и смеялся. Ей-богу, в ней пропадал настоящий комик. Впрочем, не совсем пропадал — потому что я называл эти рассказы «театр одного актера и одного зрителя». И зачастую я ей бурно аплодировал.

Выступление в академии

Я научил своего нового приятеля, администратора нашего госпиталя Мошела, нескольким русским словам. Теперь он радостно приветствовал меня по утрам:

— Дозззвиданя!

— Нет, не «до свидания», а «здравствуй».

— О'кей, ззздрасззвуй.

Мошел был человек умный и деловой, благодаря ему, все в госпитале шло быстро и толково, и его все уважали, потому что слов на ветер он не бросал. Однажды он сказал мне:

— Владимир, когда ты начнешь свою частную практику, я сделаю тебя миллионером.

Мне это обещание показалось избыточно оптимистичным:

— Спасибо, конечно, но я думаю, что миллионы — не для меня.

— Владимир, я знаю, что говорю…

Вечером на кухне я рассказал об этом Ирине. Мы посмеялись: такая возможность казалась нам невероятной. Жизнь показала, что произошло дальше.

Атмосфера некоторого начального недоверия ко мне постепенно рассеивалась. Я всегда был приветлив и шутил с медицинскими сестрами в операционной и отделениях, они относились ко мне дружелюбно. Доктора тоже признали меня своим и все больше мне доверяли. С резидентами я был, как говорится, на дружеской ноге.

— Владимир, это правда, что русские хирурги многое лечат илизаровским методом?

— Правда. Даже насморк лечат аппаратом Илизарова.

— Насморк?! Ты шутишь! Как?

— А вот так: проводят спицы через обе ноздри и зажимают их в кольце. И сопли больше не текут… — Они хохотали.

Но если отношение ко мне день ото дня менялось к лучшему, то к методу Илизарова большинство старших докторов госпиталя все еще относились настороженно. В этом сказывался традиционный в нашей профессии консерватизм мышления: большинство хирургов не любят переучиваться, всю жизнь продолжая делать то, чему научились смолоду. Они хорошо зарабатывают свои большие деньги теми операциями, которые давно и привычно делают. А методы илизаровских операций сильно отличаются от общепринятых. Но, кроме того, в нежелании применять новые методы проглядывало и недоверие к русскому изобретению. Они его просто не знали: к тому времени

в американских журналах было напечатано всего несколько статей на эту тему, а русских журналов они, разумеется, не читали. И кроме Виктора Френкеля, Альфреда Гранта и еще двух-трех докторов-энтузиастов, такие операции никто не делал.

Мы с Виктором уже добились хороших результатов, которые здесь прежде были невозможны. Один из наших больных, молодой юрист Ховард, накануне женитьбы стоял на перекрестке и бросал в почтовый ящик приглашения на свадьбу. На него наехала машина. В ближайшем госпитале с трудом спасли ему жизнь, но его правая нога была размозжена, кости были сломаны в нескольких местах и зияли в больших рваных ранах, часть из них выпала, но еще хуже был разрыв одной из двух основных артерий ноги. Доктора предложили сделать ампутацию. Но его родители уже где-то слышали о новом методе — помогла-таки реклама Виктора — и привезли Ховарда к нам. Долгое и трудное это было лечение, мы сделали не одну, а несколько операций. Нам удалось сохранить ногу, восстановить ее длину и функции. Фактически мы заново создали ногу. Недаром итальянский ученый Карло Маури, пациент Илизарова, называл его «Микеланджело от ортопедии». Ховард уходил от нас на своих двоих.

Подобных примеров у нас было немало. Деятельный темперамент Виктора подгонял его распространять метод. Ему не терпелось показать наши результаты коллегам из других госпиталей. Он решил:

— Надо собрать нью-йоркских хирургов-ортопедов из разных госпиталей и клиник и показать им, насколько илизаровские операции расширяют возможности ортопедии.

И он организовал «Илизаровский вечер-симпозиум» в Нью-Йоркской академии медицины.

Это самое авторитетное медицинское учреждение в городе, красивый большой дом на богатой Пятой авеню, построенный сто лет назад «во вкусе умной старины», как писал Пушкин.

Там созданы прекрасные условия для научных занятий: богатая библиотека на всех языках мира, несколько красивых аудиторий и залов заседаний, ресторан. Виктор запланировал три доклада с показом вылеченных больных. Первый доклад он поручил сделать мне.

— Владимир, ты из России и прямой ученик Илизарова. И ты имеешь самый большой опыт. Они ничего не знают о методе и о самом Илизарове. Расскажи о его открытии, нарисуй картину тех условий, в которых он работал, и покажи в рисунках самые основы метода.

Всего лишь за двадцать минут это было трудно сделать. Но я

хотел представить свой первый доклад перед большой аудиторией на хорошем американском уровне: отобрал лучшие слайды, составил текст, три раза его переделывал, учил наизусть. Перед такой аудиторией хотелось выступить на хорошем американском английском. Бедная Ирина должна была много раз выслушивать и поправлять меня, поправлять и опять выслушивать.

Выступать в академии — большая честь. Но для меня это была еще и особая личная победа. Ровно десять лет назад, осенью 1978 года, вскоре после нашей эмиграции, я впервые пришел в академию. Шло такое же заседание научного общества хирургов. Мой английский был тогда очень слабый, и я попросил Ирину идти со мной: она помогала мне понять то, чего сам я разобрать не мог. Тогда нас поразила почти исключительно мужская аудитория, и очень моложавая. Все для меня было интересным и необычным.

В ресторане у накрытых столов суетились официанты — перед заседанием был сервирован обед для докторов, которые пришли туда после работы. Нам с Ириной тот обед был не по карману. Мы скромно сели в одном из последних рядов зала и слушали доклады. На меня произвел впечатление динамизм выступлений и прекрасные иллюстрации.

Когда мы вышли из академии, я был радостно возбужден всем увиденным и услышанным. Как я хотел бы когда-нибудь оказаться равным с теми докторами! А мне только предстояло начать пробиваться в американскую медицину, и каков будет результат, предвидеть трудно. И все-таки, даже и с будущим в тумане, я знал себе цену и в глубине души верил в свою звезду. Я сказал Ирине:

— Вот увидишь, пройдет десять лет, и я буду делать доклад в этой академии.

Она в ответ недоверчиво рассмеялась:

— До чего же ты оптимист!

И вот — прошло ровно десять мучительных лет. И мы с Ириной сидели за обеденным столом вместе с нью-йоркскими докторами, как равные с равными. А потом я взошел на трибуну академии.

По традиции докладчика представляет председатель заседания. Им был Виктор. Как Бабель писал про Беню Крика, «он говорил мало, но смачно». Виктор рассказал, кем я был в Союзе, как работал с Илизаровым и, когда приехал в Америку, где занимался хирургией здесь. И закончил:

— А теперь — профессор Голяховский, или доктор Владимир, как мы его зовем, ценное дополнение к нашему госпиталю.

Больше десяти лет никто не называл меня профессором. Было даже как-то странно снова слышать это звание применительно к себе. Профессором я был т а м, а здесь стать профессором… я и не мечтал об этом. Усмехнувшись про себя, я начал доклад.

— Дамы и господа…

Как я ни старался, все равно пробивался мой русский акцент. Но меня слушали с интересом и в конце довольно дружно аплодировали. Виктор шепнул на ухо:

— Владимир, ты все им сказал о'кей! Вот увидишь, скоро другие доктора будут приходить к нам учиться. А пока они к нам станут присылать своих пациентов.

Этого ему хотелось больше всего.

Некоторые потом подходили ко мне, пожимали руку, поздравляли, желали успеха. Сияющая Ирина была рядом. Только она знала, какой это был для меня триумф: я сдержал слово, данное ей десять лет назад.

Я стал глохнуть

Уже около года, как я стал замечать, что слышу все хуже, особенно на левое ухо. Сначала я не очень обращал на это внимание. Но мне все труднее становилось разбирать негромкую или не слишком отчетливую речь, хотелось приблизить ухо прямо ко рту собеседника. Делать это было неловко, и я прикидывался, будто чем-то отвлекся. Наигранная рассеянность заставляла меня переспрашивать о сказанном, что делать тоже было неудобно. На конференциях и лекциях я раньше садился в задние ряды, где сидели резиденты, и любил переговариваться с ними. Но там я все хуже слышал докладчика, особенно если он говорил вполголоса. И мне часто хотелось по-стариковски приложить ладонь к уху: «Ась?» Поэтому с каждым разом мне приходилось садиться все ближе и ближе к трибуне. И в конце концов я понял, что начинаю по-настоящему глохнуть.

Обнаруживать в себе старческие физические недостатки всегда трагично. Я знал причину: после скарлатины, перенесенной в детстве, у меня была перфорация барабанных перепонок — одно из типичных осложнений в те годы в России. Потом всю жизнь я страдал воспалением то одного, то другого уха. В Москве был у меня хороший приятель-отоларинголог, светило в своей области. Когда у меня случались воспаления, я приезжал к нему, и он заливал мне в ухо раствор пенициллина. Пенициллин у него был импортный, из Кремлевской больницы, действовал безотказно, намного лучше советского. Потом мы с профессором выпивали бутылку коньяка, и на этом лечение заканчивалось. Я много раз его спрашивал:

— Можешь ты как-нибудь заделать мне эти дырки в перепонках?

— Ишь ты, куда хватил! Такого не придумано, да и вряд ли придумают, — отвечал он.

— Значит, в конце концов я могу оглохнуть?

— Значит, можешь. Но не совсем и не скоро. А пока давай опрокинем еще по рюмочке.

Как он говорил, так и получалось: до поры до времени у меня был слегка пониженный слух, но постепенно от моих перепонок ничего не осталось. А без них нет резонанса от звуковой волны, она все слабее передается вглубь, на сложный механизм среднего уха.

Перспектива была тоскливой. В пятьдесят восемь лет я только собирался начинать позднюю (очень позднюю!) карьеру частной практики. Глухота становилась препятствием этому и последним,

неожиданным звеном в цепи моих неудач. Потерять слух накануне забрезжившего профессионального успеха!.. Если глухота станет прогрессировать, как я буду общаться с пациентами?

На память приходили страдания оглохшего Бетховена. Он мог сочинять музыку, но не мог слышать, как ее играли. И с людьми общался только записками. Хороший буду я доктор, если мне придется переписываться с пациентами!.. Единственное спасение для меня — слуховой аппарат. Я попробовал надеть один, взяв у своей почти девяностолетней мамы. Сразу же в голове загудел фон посторонних шумов. Я смотрел на себя с этой затычкой в ухе в зеркало и понимал, как некрасиво будет появляться перед пациентами с этим устройством, да еще в обоих ушах. И с горечью думал: «Хотя это удар по моим ушам, но на самом деле это удар судьбы ниже пояса».

Я все сильнее переживал, но только в глубине души, чтобы не пугать Ирину. Прошло немного времени, и она сама сказала:

— Тебе надо пойти к ушному доктору.

— Что, уже заметно?

— Давно заметно. И все заметнее.

— Я пошел бы, но не представляю, что можно сделать в моем возрасте и при почти полном отсутствии барабанных перепонок. Тогда, в Москве, крупный специалист сказал, что мне ничего не поможет.

— Найди себе опытного доктора здесь и посоветуйся с ним, — настаивала Ирина.

Мне посоветовали показаться профессору Нью-Йоркского университета. Профессор был старенький, уже в отставке, но его имя еще привлекало пациентов.

Как ни высоко ценил я достижения американской медицины, но шел на прием к доктору почти без надежды. Он консультировал и давал советы по лечению, но сам операций уже не делал.

С круглым зеркальцем на лбу профессор выглядел типичным добрым земским доктором прошлого века. Он и двигался медленно, и говорил мягко, как ворковал. Я даже в душе улыбнулся такому давно не виданному мною «доброму доктору Айболиту». И офис у него был обставлен старым оборудованием. Он внимательно меня обследовал, сочувственно посмотрел, пошевелил губами и посоветовал:

— Вам пора начинать носить слуховой аппарат. Я знаю хорошего мастера, и дам вам его телефон.

— Неужели ничего нельзя сделать радикального, чтобы восстановить перепонки?

— Сомнительно, очень сомнительно. Но если хотите, обратитесь к доктору Стиву Р., моему ученику. Он молодой, а молодые, знаете, все выдумывают, придумывают что-то. И он тоже придумал какую-то операцию. Сам я никогда ее не делал, и даже не видел, так что ничего не могу о ней сказать. Но если хотите…

Я ухватился за совет, как утопающий за соломинку, и позвонил секретарю того доктора Р.

— Какая у вас страховка? — первый вопрос всех секретарей.

Страховку на лечение для меня и Ирины мне давал от солидной страховой компании наш госпиталь, она покрывала 80 % расходов за визиты и лечение. Остальные 20 % полагалось доплачивать самому (по закону врачебной этики, доктора с докторов ничего дополнительно не берут).

Страховка секретаря удовлетворила, но оказалось, что доктор очень занят и может принять меня только через месяц.

— Я бы хотел как можно раньше. Я сам тоже доктор и обратился к вам по рекомендации…

И я назвал имя старичка профессора.

Она переговорила с доктором, и через два дня я был у него в офисе. Этот доктор оказался полной противоположностью «Айболиту»: около тридцати пяти лет, деловой и быстрый, говорил мало, больше действовал, то есть относился к тому же типу американского специалиста, что и Райлз, лечивший Илизарова. Офис его был оборудован современной дорогой аппаратурой. Мне сделали аудиограмму, проверили работу внутреннего уха.

— Что ж, доктор, — сказал он, — я могу предложить вам операцию. Но вы должны знать, что пока я сделал только двадцать таких операций. До сих пор все результаты о'кей. Но гарантий дать не могу. Сделаем сначала левую сторону и, если будет о'кей, через полгода сделаем и правую.

— Я сам хирург и понимаю, что гарантий в хирургии нет. В чем заключается операция?

Он взял бумагу и начал рисовать схему:

— Разрез позади уха, отворачиваю всю раковину вперед. О'кей? Потом выкраиваю новую барабанную перепонку из местной ткани, из апоневроза и надкостницы. О'кей? И акуратно пришиваю ее там, где должна быть перепонка. Как правило, она приживается и работает хорошо. О'кей?

— О'кей, — повторил я механически. — Как долго идет операция?

— Час-полтора. После операции вам нельзя будет шесть недель летать на самолете. И еще вы должны знать, что, если

будет случайно задета близкая ветвь лицевого нерва, — он провел черту расположения нерва на рисунке и косую линию разреза, — может произойти паралич нерва, и навсегда останется перекос лица.

Это, конечно, было совсем не о'кей. Ничего себе выбор: или стать глухим, или остаться с перекошенной физиономией! Что делать — соглашаться или нет?

Нелегкое это решение. В памяти промелькнули сотни случаев, когда мои пациенты в ответ на предложение об операции задавали много вопросов, сомневались, не соглашались, откладывали. Но я также знал, что в современной хирургии вероятность хорошего результата намного превышает возможность осложнения. Доктор не станет предлагать пациенту операцию, не утвержденную Специальной государственной администрацией по новым лекарствам и методам лечения. И я согласился.

С этого момента я перешел в руки секретаря. Сами доктора не занимаются вопросами организации операций, это входит в обязанности их секретарей. У них вся процедура отработана, как на машине.

Секретарь созвонилась с операционным блоком госпиталя Нью-Йоркского университета, назвала мое имя, диагноз и название операции. Там назначили день и час. Потом она позвонила в лабораторию, где назначили день и время амбулаторного обследования за одну неделю перед операцией. Там же меня должен был осмотреть терапевт. Все больные старше сорока лет должны получить допуск к операции от терапевта. Если он найдет какое-либо хроническое заболевание, то его надо вылечить до операции. Там же меня осмотрит анестезиолог, который будет давать на операции наркоз. Все это будет сделано в один день, чтобы я не пробыл на дорогостоящей больничной кровати ни одного лишнего часа.

Секретарь закончила тем, что накануне операции я не должен принимать пищи, в пять утра быть в приемном отделении, откуда меня повезут в операционную.

— В госпитале вы пробудете один или два дня. А через неделю после операции придете для проверки к нам в офис. О'кей?

Ответив привычным о'кеем, я преподнес ей коробку шоколада.

Перед операцией Ирина волновалась больше меня. Я был абсолютно спокоен: приняв решение, уже не волновался. На меня благодатно подействовал пример Илизарова, который шел на свои тяжелые операции абсолютно спокойно, по-мужски. Самому

мне было только интересно: ведь я еще никогда не лежал на операционном столе и не получал наркоз.

Мы с Ириной выехали на такси из дома в половине пятого утра, в шесть меня повезли в предоперационную, а Ирина уехала на работу. Все равно до двенадцати меня обратно в палату не привезут.

Итак, хирург на операционном столе. Анестезиолог был мой знакомый — молодой американец польского происхождения. Он проходил практику в нашем госпитале, мы иногда работали вместе. Он был по-дружески внимателен. Когда меня с каталки переложили на операционный стол, я впервые увидел прямо над собой то, что тысячи раз видел со стороны, — большую операционную лампу. Это было как-то странно.

— Сейчас я введу тебе в вену катетер, и начнем, — сказал анестезиолог. — Вот. А теперь — спать.

Проснувшись, я не совсем ясно увидел над собой лицо анестезиолога:

— Все в порядке, операция закончена.

Я попытался улыбнуться, но все мышцы лица одеревенели от наркоза. Меня перевезли в послеоперационную палату, где надо мной принялись колдовать сестры. Два часа я дремал, изредка безуспешно пытаясь изображать улыбку. Хорошо помню только то, как меня привезли в отделение. К каталке подошли Ирина и какая-то молодая женщина с букетом роз:

— Это вам, доктор Владимир.

Я поблагодарил ее, но все никак не мог узнать. Она быстро ушла, и я спросил Ирину:

— Кто это был?

— Так это же твоя больная, Талия. Ты не узнал? Она пришла к тебе в госпиталь, узнала там, что тебе делают операцию, и прибежала сюда.

Полгода назад мы с Виктором сделали этой девушке операцию на ноге. Потом я выхаживал ее после большой кровопотери, сидел около нее вечерами, приезжал к ней по воскресеньям. Теперь она бегала на своих ногах.

— А как мое лицо? — я вдруг вспомнил про возможное осложнение. — Дай мне зеркало.

Лицо было не перекошенное — и сразу отлегло. На минуту в палату зашел мой хирург.

— Ну как, вы о'кей?

— О'кей. Сделали мне новую перепонку?

— Не волнуйтесь, все получилось очень хорошо, опять будете слышать.

Назавтра я выписался домой, мы с Ириной прошлись пешком.

Еще через два дня вышел на работу. И никого не удивила такая быстрота лечения — это ведь Америка.

Землетрясение в Армении

Приближался 1989 год, и на него у меня были большие планы: предстояло сдать последний экзамен и получить лицензию на право частной практики. Через полгода после первой — на левом ухе — доктор Р. сделал мне операцию на правом ухе, и тоже успешно!

Но жизнь в любой момент может преподнести сюрприз. В декабре пришла трагическая весть: в Армении случилось землетрясение большой силы с массовой гибелью людей. На помощь армянскому народу собралось ехать много волонтеров из разных стран. Всем им не только разрешали въезд, но и создавали условия для проживания. Такого массового и быстрого въезда иностранцев советские люди никогда не видели. И, конечно, это сыграло свою роль в политических переменах в Союзе.

К тому времени отношения между президентами Рейганом и Горбачевым стали почти дружескими, и нововыбранный президент Буш-старший продолжал эту дружбу. Естественно, Америка одной из первых стала помогать Армении. По всей стране собирали средства и медикаменты.

Виктор Френкель одним из первых собрался лететь в Москву, откуда надеялся как можно быстрее добраться до Армении.

— Владимир, летим вместе! Будем оперировать пострадавших.

— Виктор, я не могу еще два месяца, из-за уха. Извини.

— Я понимаю. Тогда мы сделаем так: я полечу на разведку, узнаю, какая им нужна помощь. Тебя там помнят; позвони директору своего московского института и другим докторам, чтобы я мог с ними связаться. А вы с Мошелом пока собирайте инструменты и медикаменты. Когда тебе будет можно лететь, повезем их вместе.

Телефонная связь с Москвой была тогда еще через оператора, я часами висел на телефоне, стараясь дозвониться до старых друзей и бронируя номера в отеле. Друзья, услышав мой голос впервые за одиннадцать лет, радостно вскрикивали:

— Ты приезжаешь?

— Я приеду немного погодя, а пока помогите моему шефу профессору Френкелю.

Виктор с двумя нашими врачами вернулись через неделю. Мои друзья помогли им встретиться с московскими начальниками, но в Армению их не пустили. Френкель жаловался:

— Владимир, там полная неразбериха и страшный

бюрократизм. Землетрясение в Армении, а командует всем Москва. Но тебя там помнят и ждут… Вы поедете с Нилом Кахановицем, специалистом по хирургии позвоночника.

Доктор Кахановиц меня огорошил:

— Владимир, у меня в Москве есть родственники, но мы никогда не встречались.

— Как их фамилия?

— По-русски она звучит Каганович. Говорят, что мой дядя был там большой человек.

— Каганович? Лазарь? — я переспросил, зная, что в Америке многие меняли звучание и написание фамилий.

— Да, кажется, Лазарь. И я знаю, что у него есть дочь, моя кузина.

— Каганович был правой рукой Сталина. Ты об этом знаешь?

— В самом деле? Нет, не знаю. Это интересно.

— Не могу тебе сказать, жив ли он, но Хрущев отстранил его от власти. Хочешь, расскажу тебе про твоего дядюшку?..

Нил слушал мой рассказ о «правой руке» с изумлением, я удивлялся ничуть не меньше тому, что у Кагановича, оказывается, в Америке родственники. Наверняка он не упоминал о них в анкетах. Значит, были у всесильного Лазаря Моисеевича свои «еврейские тайны».

Наш разговор происходил в кабинете Нила, где на стене висела вырезка из газеты: он в костюме клоуна на арене цирка с тремя слонами.

Оказалось, что Нил до поступления в медицинский институт был профессиональным клоуном, и у него было три собственных слона.

Чего я только не видел в жизни, но не приходилось мне встречать человека, который имел трех слонов, — мы ведь живем не в Индии, а в Западном мире. В придачу, этот человек — клоун, ставший хирургом… и внучатый племянник Кагановича! Поистине Америка — страна чудес.

Деловые способности у Нила проявились рано. Он сбежал из дома и поступил клоуном в цирк, быстро разбогател и купил трех слонов. Выступал с ними, потом их продал и на эти деньги учился в медицинском институте. Нил и теперь вел очень необычную жизнь. Он покупал старые, разрушенные пожаром или временем дома, восстанавливал и перепродавал за большие деньги. Кроме того, Нил скупал под Нью-Йорком особняки-развалюхи с хорошими земельными участками, и превращал их в настоящие дворцы. Он много работал на стройках, засветло вставал, приезжал на поезде в Нью-Йорк, делал операции и постоянно был на телефонной связи со своими архитекторами, строителями,

снабженцами: нанимал, распоряжался, указывал. Какое-то время они с женой жили в отреставрированном доме, затем его продавали — и все начиналось сначала. Наши доктора поговаривали, что он зарабатывал миллионы.

В последнем по счету обновленном доме в богатом пригороде Гринвич Нил с женой организовали сбор пожертвований для пострадавших от армянского землетрясения. Ожидалось, что их соседи-богачи дадут много денег и вещей. В субботу утром я приехал туда, чтобы вместе с ними принимать соседей-жертвователей. Я, иммигрант из СССР, для них был как бы и представитель несчастной Армении.

По пути к дому Нила были вывешены плакаты-указатели: «Семья Кахановиц, сбор пожертвований для Армении».

Двухэтажный особняк стоял в парке на берегу озера и блистал свежестью. От его стен веяло запахом новой краски, паркетные полы сверкали, как в императорских дворцах, громадные окна поражали зеркальной чистотой. Было в доме двенадцать или пятнадцать комнат, но хозяева жили только в двух. Остальные стояли пустые, без мебели: все равно скоро продавать. Жена Нила была первый раз беременна, через месяц ей предстояло рожать. Нил показал фотографию дома, когда он его купил: совершенная развалюха после пожара. Если бы мне предложили его за один доллар, я и то не взял бы. Да, надо сильно любить такой бизнес… и надо иметь такую жену.

— Сколько у тебя ушло времени на ремонт?

— Почти два года.

— А теперь что?

— Опять куплю что-нибудь и займусь восстановлением.

— Но ведь у вас скоро будет ребенок.

— Ничего, мы умеем приспосабливаться, — типично американский ответ.

У меня вертелось на языке спросить, сколько он заработает на продаже одного дома. Но американцы охотно говорят о том, сколько зарабатывают другие, а про самих себя — никогда.

Гостей принимали в зале на первом этаже. Там стоял небольшой столик с орехами, фруктами, печеньем и кока-колой, в общем, это не был настоящий прием. В Гринвиче обитают богатые люди, от них ждали короткого визита с привозом каких-нибудь вещей и денег. Многие осматривали дом. Нил был в этом заинтересован и водил соседей по комнатам. Обо мне говорили гостям как о представителе пострадавшей страны. Ко мне подходили, выражали сочувствие. Я объяснял, что поеду туда вместе с Кахановицами и обязательно расскажу, как американцы дружественно отнеслись к пострадавшим.

Гости принесли много хороших вещей, в основном новую одежду, и более двух тысяч долларов. Жена Нила все собирала — она будет раздавать это в Армении.

Москва, Москва…

Приближалось время отлета. Моя задача была везти более тонны груза — инструменты, лекарства и собранные вещи, общей стоимостью больше миллиона долларов. По специальному решению советского правительства грузы для Армении не облагались пошлиной. Так что не приходилось ожидать задержек с их получением. Часть пожертвований пойдет в московские больницы, где лежали привезенные из мест землетрясения раненые, основную часть надо везти дальше, в Армению. Мы с Мошелом упаковали все в большие картонные ящики, на каждом я написал свое имя крупными буквами, по-русски и по-английски, чтобы не было ошибок при их получении.

Кахановицы хотели найти в Москве родственников и улетели на два дня раньше, налегке, везя только пожертвованные деньги. Для них был зарезервирован номер в гостинице «Белград». Поскольку работать мы должны вместе, Нил обещал там же зарезервировать номер для меня.

В Москве и у меня жили родственники, теща с мужем, двоюродные братья с семьями и еще много хороших старых друзей. Я не видел их одиннадцать лет и хотел привезти им подарки. Зная советский товарный дефицит, я старался подобрать что-то нужное, особенно для племянников. И еще я знал, что по делам мне придется иметь контакты с разными бюрократическими инстанциями, поэтому запасся массой недорогих сувениров: наручные часы на батарейках, калькуляторы, наборы косметики, шариковые ручки — все возьмут. Я захватил и несколько экземпляров своих воспоминаний, чтобы подарить друзьям. Но разрешат ли ввезти книги, я не знал — этот товар всегда был под подозрением властей, следивших за «чистотой» коммунистической идеологии.

За день до вылета к госпиталю подкатил грузовик, и я вместе с шофером перетаскал всю тонну груза в кузов.

И вот — лечу в Москву…

…Когда в 1978 году, в старое время правления Брежнева, мы из нее уезжали, у нас не было никакой надежды еще раз ее увидеть. Мир коммунизма повернулся к нам спиной, как к изменникам Родины. И хотя я был профессором и занимал видное положение, ко мне тоже повернулись спиной — никто из моих коллег, кроме очень близких друзей, со мной не простился, не сказал на прощание доброго слова. Все боялись показать связь со мной. Происходящее теперь казалось почти нереальным: Советский Союз все больше поворачивался лицом к миру. И вот я

лечу ТУДА. В доброй встрече с друзьями я был уверен, но повернутся ли ко мне лицом мои бывшие сослуживцы, те, кто меня предал?

«Боинг-747» подлетал к тому же Шереметьевскому аэропорту, с которого я улетал из Москвы. Я прильнул к окну — внизу показалась все та же убогая русская деревенька, которую я видел, когда улетал. Вспомнились слова Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная…» Аэропорт тесный и бедный. Паспорта проверяли долго, подозрительно всматриваясь в лица. А когда мы прошли бюрократический паспортный контроль, началась русская неразбериха. Чемоданы выезжали на двух не сообщающихся друг с другом лентах-транспортерах. Люди кидались от одной ленты к другой. И я тоже бегал туда-сюда, пока наконец не ухватил свои два чемодана.

Сумрачный таможенник попросил меня открыть один из них. Первое, что он увидел, было штук двадцать шариковых ручек. Под ними были мои книги.

— Это зачем столько ручек?

— Для подарков.

— Зачем так много? Подарки ввозить запрещено.

Опять яркое воспоминание: «нельзя», «не разрешается», «запрещается»… самые популярные слова из официального советского лексикона. Однако на любые запрещения были способы их обходить. Я протянул таможеннику три красивые ручки:

— Возьмите, это вам подарок.

Выражение сумрачности сменилось мягкой улыбкой. Самый искусный актер позавидовал бы такой богатой мимике. Значит, ему подарки делать — можно. Дальше он ничего смотреть не стал, и книги мои его никак не заинтересовали.

Встречали меня два старых друга, Вахтанг Немсадзе, грузин, и Оганес Оганесян, армянин. Они оба давно жили и работали в Москве, оба были профессорами. С Вахтангом я учился в медицинском институте, Оганес (мы звали его Овик) работал со мной в ЦИТО — первом пункте перевозки моего груза. Теперь он одновременно представлял и наш институт, и пострадавшую Армению. Объятия, похлопывания по спине:

— Здравствуй, дорогой! Да ты ничуть не изменился!

— Здравствуй, дружище!

— Наконец-то приехал, как я рад тебя видеть!

— И я рад ужасно!

— Можно ли было себе представить, что еще увидимся?

— Да, да, и я тоже не представлял…

— Куда поедем теперь?

— Первым делом — в отель «Белград». У меня там заказан номер, я оставлю чемоданы. Завтра надо снова приезжать сюда за получением груза. Будет грузовик?

— Володя, дорогой, все устроено…

По дороге из Шереметьева я жадно смотрел по сторонам. Путь знакомый, здесь я провел детство и юность. Вот развилка с Волоколамским шоссе, вот станция метро «Сокол» и церковь Всех Святых бывшего села Всесвятского. Сюда моя бабушка Прасковья Васильевна ходила святить куличи. А вот уже и метро «Аэропорт», рядом с которым наш писательский жилищный кооператив. Но вот что меня удивляло: на всем пути был только один новый дом, построенный за столько лет. Все остальное — ужасно знакомое, но постаревшее и обветшавшее. Рад ли я был видеть все это снова? Конечно, рад. Но смотрел я глазами жителя Нью-Йорка, где новые дома растут, как грибы, где столько величественных небоскребов. И мне казалось, что все дома, вся Москва за эти одиннадцать лет как будто съежились.

Вот и гостиница. У стойки регистрации небольшая толпа, я бодро обращаюсь к миловидной молодой женщине-портье.

— Здравствуйте, я доктор Голяховский, из Америки. Для меня должен быть номер.

Она проверяет.

— Вашего имени в списке нет.

— Как нет?! Проверьте. — Бодрость моя пропадает.

— Я смотрю, но вас не нахожу.

— И никакой записки для меня нет?

Я подумал, может, Нил написал, что ждет меня в другой гостинице.

— Ничего на ваше имя нет.

— А мистер Кахановиц из Америки живет у вас?

— Кахановиц? Нет, гостей с такой фамилией у нас нет.

Вот это номер! Я и без номера, и Нила потерял. Уж не остановился ли он у своих могучих родственников? Что же делать? Оба моих друга разгорячились — в них заговорила буйная кавказская кровь. Они стали доказывать, что я важный человек, что приехал для помощи Армении, что мне надо дать номер:

— Да он знаменитый американский хирург!

— Да его пригласили делать операции жертвам землетрясения!

На лице регистраторши отразилось лишь слабое сочувствие:

— Что я-то могу поделать? Нет его в списке, и все.

Тут мне опять пригодилось подзабытое мной в Америке слово «взятка». Я предвидел, что кому-нибудь в гостинице надо будет

что-то дать, поэтому в кармане лежал косметический набор в изящной пластмассовой коробке. Я положил его перед ней:

— Это для вас, подарок из Америки.

Она ловким движением смахнула коробку в ящик и заулыбалась так же мгновенно и так же талантливо, как таможенник в Шереметьеве:

— Что же мне с вами делать… Дать полулюкс, что ли…

— Давайте полулюкс.

Номер был хороший, но когда я пошел в ванную принять душ с дороги, нашел там половину кусочка мыла и два маленьких вафельных полотенца. Кое-как вытершись, я достал подарки для тещи и ее мужа.

— Теперь везите меня к теще. А вечером я с вами.

— Будут все ребята из нашей старой компании, — сказал Вахтанг.

Дорогие мои друзья! Если я и скучал все годы хоть по чему-то, оставленному в Москве, так это были вы. Дружбу с вами я всегда считал одной из самых больших удач моей жизни, дружбу нашей молодости. Как много общих дум и чувств разделили мы в дружеском согласии за те тридцать лет, что были вместе. И радость новой встречи с вами была для меня как награда.

В Гнездниковском переулке, в квартире Вахтанга и его жены Марьяны, — восклицания, поцелуи, объятия, возбуждение. За одиннадцать лет в Америке я не обнимался так много и так крепко. Теперь нам всем было под шестьдесят, многие стали профессорами, у многих были внуки, некоторые овдовели, а некоторых и вовсе не стало… Собрались почти все: Борис Катковский, Инна Гурьян, Автандил Чоговадзе с женой Мариной, Софа Кантер с мужем Марком, Изя Зак с дочкой Наташей (она уже тоже доктор), Саша Калмансон, еще кто-то… Вопросы, рассказы, счастливые слезы, смех — сколько радости! У меня от счастья голова шла крутом. И, конечно, от тостов тоже. Стол был уставлен разными блюдами так тесно, что между ними даже рюмку невозможно было поставить. Да и ставить ее почти не приходилось.

Тогда я был единственным из всей компании, кто эмигрировал. И в течение вечера меня отводил в сторону то один, то другой из друзей и приглушенно говорил, что тоже хотел бы эмигрировать сам или чтобы дети уехали. И просили моего совета. Обстановка была не для серьезных разговоров, и я предлагал им зайти ко мне в отель.

Теперь уже больше половины из тех, кто был со мной в тот вечер, живут в Америке или в Израиле…

Ранним утром ко мне в номер кто-то нетерпеливо постучался.

Вскочив с постели, не выспавшийся после вчерашних излияний и возлияний, я решил, что это Нил Кахановиц. Но нет, в номер почти вбежал мой закадычный друг Норберт Магазаник. Все годы мы с ним часто переписывались. Он был «отказником»: ему с семьей много раз отказывали в разрешении на выезд из СССР. Никакой к тому не было причины, но мало кому тогда давали разрешение (Норберта мучили потом еще два года).

Хотя от Нила не было никаких сведений, все равно надо было получать груз в Шереметьеве. За мной на двух пикапах заехали два молодых симпатичных доктора из ЦИТО, «племя младое, незнакомое».

В громадном пакгаузе кладовщик сказал:

— Груз ваш здесь, но вы должны заплатить пошлину, две тысячи семьсот долларов.

— Как заплатить пошлину?! Это пожертвования пострадавшим от землетрясения. Мне известно, что они пошлиной не облагаются.

— Вам известно, а мне неизвестно, что в ящиках. Дайте справку, что это пожертвования…

Я протянул ему ручку, чтобы задобрить. Кладовщик подобрел, но против почти трех тысяч долларов моя ручка не тянула.

— Что же мне делать?

— Пусть наше министерство здравоохранения подтвердит, что это пожертвования.

— Могу я от вас позвонить в министерство?

Вопрос был, конечно, наивный: я привык, что в Америке многое делается по телефонному звонку. Но тут была не Америка.

— Нет. Вывозить груз без письменной справки нельзя, за-пре-ще-но, — произнес он с ударением на каждом слоге.

Вот тебе и перестройка, о которой в Америке так много писали и говорили. Все «нельзя» и «запрещено» оставались в силе. За бумагой надо было ехать в министерство, где бюрократы заставят меня провести часы. Сегодня будет уже поздно получать груз. Но что делать — поехали обратно.

В старинном здании министерства, в Рахмановском переулке, мне пришлось долго ходить из кабинета в кабинет. Мелких чиновников ничем невозможно было пробить.

— Я привез груз на миллион долларов, и не могу его получить.

— Ну и что?

— Мне нужна справка.

— Ну и что?

Когда я сунул одному из них ручку, он сказал, что такую справку может подписать только заместитель министра, но сегодня его нет.

Назавтра с утра я поехал туда, но добился приема у заместителя министра только во второй половине дня. Всегда я терпеть не мог советских бюрократов от медицины.

Этот выглядел типично: с головы до ног лощеный, взгляд суровый, мимо собеседника, слова цедил сквозь зубы. Взамен благодарности за гуманитарную помощь и за мои усилия ее доставить, он лишь холодно меня выслушал. Не скрою, что и я разговаривал с ним не очень любезно. И подарков делать ему не собирался (хотя уверен, что он взял бы).

— Справку получите у моей секретарши, — процедил большой босс.

Секретарша долго не печатала справку, потом босс ушел на важное совещание. Мы с докторами были голодные, я повел их в соседний узбекский ресторан. Ребята ели жирный плов с наслаждением — молодые всегда голодные. Когда подошло время расплачиваться, они слегка загрустили: ресторан им был не по карману. Конечно, я заплатил.

— Владимир Юльевич, мы вам отдадим, ей-богу отдадим!

— Да что вы, ребята, для меня удовольствие накормить вас! Я когда-то сам был молодым и еще помню сумму своей первой зарплаты.

В их глазах мой авторитет поднялся еще выше.

Разомлев от еды и пива, они признались, что хотели бы поговорить со мной о том, как им приехать в Америку на стажировку.

— Как у вас с английским?

— Читаем и пишем, но разговорный пока слабый.

— Ладно, принесите мне ваши резюме, я постараюсь узнать, когда вернусь.

Восторгу не было предела.

С третьего захода в приемную замминистра я преподнес его секретарше косметический набор в коробке. И сразу возникла справка. Надо было мне догадаться дать взятку сразу.

В пять утра мне позвонил Кахановиц (он привык вставать рано):

— Владимир, наконец-то я нашел тебя! Понимаешь, нас из аэропорта привезли прямо в отель «Националы», а я думал, что это «Белград». Зарезервировал тебе номер и жду. Тебя все нет и нет, и только вчера я выяснил, что мы не в «Белграде»… Ну как, получил груз? Когда будем распределять? Послезавтра нам лететь в Армению, у меня уже есть билеты.

— В том-то и дело, что не получил, — и я рассказал ему историю со справкой.

Ну и бюрократия здесь! — удивлялся Нил. Договорились встретиться в ЦИТО, куда уже привезли из Армении пострадавших с переломами позвоночника, которых нужно было срочно оперировать.

Утром опять поехали за грузом. Ребята принесли мне свои резюме, но составленные так, что в Америке их и читать не станут. Я подсказал, как переписать. В пакгаузе кладовщик бегло посмотрел на важную справку:

— А где печать?

— Какая печать? Это ведь бланк министерства и подпись замминистра. Вот, читайте.

Чего мне читать? Без печати справка недействительна. Привозите завтра, с печатью…

РУССКАЯ БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ

Народы всех стран
За порядок и правильность —
От корки до корки,
Но русская безалаберность
Вошла в поговорки.
Не прихоть она,
Не чудачество,
А древнее наше качество,
Народа черта гражданская;
А в ней — и раздолье лихачества,
И тихая грусть славянская,
И силы великой брожение,
Буйное и смиренное…
И всех этих черт смешение
Для русских — обыкновенное.
В нем и тоска, И потеха,
Грех наш и наша праведность,
Помощь нам И помеха —
Русская безалаберность.

Так двадцать лет спустя после того стихотворения я и ездил по Москве туда-сюда.

Хорошо еще, что движение по городу было не очень интенсивное (по сравнению с Нью-Йорком). Только на пятый день

я получил груз и привез его в ЦИТО, на улицу Приорова.

Я проработал там девять лет, вырос до профессора и члена ученого совета, все меня знали, хотя завистников хватало, но когда я уезжал, ни одна голова не повернулась в мою сторону. После отъезда было устроено заседание ученого совета для моего заочного исключения, нечто вроде гражданской казни. Я не был членом КПСС, но такие распоряжения обычно приходили из райкома партии. А исполнялось все послушным директором и партийным комитетом института.

И вот я опять в тех же стенах и иду по знакомому коридору в кабинет директора. Там теперь сидит новый человек, старого за что-то уволили с позором. Новый директор — профессор и генерал Юлий Шапошников, тоже мой знакомый. В ЦИТО он сидел явно не на своем месте: он был общий хирург, а не ортопед. Но важнее оказалось то, что он женился на Валентине Терешковой, которая была членом ЦК партии и выхлопотала ему это место. Юлий тепло со мной здоровается, улыбается:

— Спасибо за то, что приехал помогать, а особенно за инструменты и антибиотики. У нас, знаешь, с этим не так хорошо, во всем недостаток.

— Ты отбери, что вам надо для лечения жертв, остальное повезем в Армению.

— Конечно, конечно, пригласим постпреда Армении и все с ним разделим…

Постпред потом жаловался, что ЦИТО забрал себе львиную долю.

Когда я вышел в коридор, весь институт уже знал: Голяховский разговаривает с директором. Навстречу мне, раскрыв для объятия руки, картинно бежала Вера Мельникова, бывший секретарь парткома:

— Володя, дорогой, как я рада вас видеть! — И она заключила меня в свои коммунистические пламенные объятия.

Вера была неплохая женщина, только занимала плохое место. За ней спешили ко мне другие сотрудники, улыбались, пожимали руки. Что это — игра или они вправду больше не боятся показывать свои чувства? Заведующий научным отделом потащил меня показывать стенд истории института, где красовалась и моя фотография. И я опять спрашивал себя: что это — показуха или в людях происходит перестройка, перемена к лучшему?..

На следующий день с утра были две операции. Оперировал Кахановиц, я и заведующий отделением хирургии позвоночника ему ассистировали. Тринадцать лет назад я работал в этой самой операционной, и тогда все здесь казалось мне вполне приличным, особенно по сравнению с обычными больницами, а тем более в

провинциальных городах и поселках.

Теперь все в этой операционной казалось мне бедным и ветхим. А Нил буквально остолбенел, когда санитарка поставила перед нами облупленные эмалированные тазики с раствором нашатыря и подала старые деревянные щетки с редкой щетиной.

— Владимир, — спросил Нил, — это что, так в России хирурги обрабатывают руки перед операцией?

— С тех пор как я себя помню еще студентом, было так. Это называлось «мытье рук по способу доктора Спасокукоцкого», который он предложил в начале века.

— В начале века?! — воскликнул Нил.

Напомню: когда мы разговаривали, шел 1989 год…

Еще большее потрясение ждало Нила, когда операционная сестра протянула нам стерильные, но старые резиновые перчатки. Нил тихо спросил меня:

— Что, у них нет одноразовых перчаток?

Я не удержался и перевел его вопрос сестре. Она даже с каким-то испугом посмотрела на Нила:

— Одноразовых — нет. После операции мы все перчатки проверяем на дырки, если находим дырку — заклеиваем, а потом сушим и стерилизуем для следующей операции.

— Но это же Средневековье! Как они вообще здесь оперируют?!

Когда сестра пододвинула к нам столик с инструментами, мы с Нилом переглянулись: на нем не было и половины того набора, который мы привыкли иметь под рукой в Америке. Там сестра стоит в окружении трех столов с инструментами, а иногда на операции необходима работа двух сестер. Я подумал: «Как мы справимся?..»

Все это было похоже на специально инсценированную фразу академика Сахарова о нищенском уровне советской медицины. На самом деле так и выглядело ее повседневное состояние.

Плохими скальпелями, но мы все-таки сделали разрез кожи и начали операцию. Нил втихомолку ругался:

— Черт знает, что за инструменты!.. Как они могут ими оперировать?.. В следующий раз привезу свои…

Наш коллега, русский доктор, не знал английского, но по тону Нила догадался, что американец недоволен. Я видел, как над белой марлевой маской у него грустнели глаза. Когда мы вышли из операционной, он сказал:

— Я понимаю, конечно, что наши условия хуже ваших, но это не наша вина, а наша беда.

И добавил, вздохнув:

— Ничего не поделаешь…

Вот так всегда в России говорили: «Ничего не поделаешь». А надо было бы что-то делать, чтобы все было не так плохо.

Потом мы с Кахановицами раздавали подарки больным детям. Армянские пострадавшие лежали вместе с другими ребятишками, и нельзя было обижать их. Мы с женой Кахановица и местными докторами быстро распределили все вещи, разложили по кучкам на трех столах и раздавали их всем без разбору. Дети были явно смущены обилием и яркостью заграничных подарков. Те, кто мог ходить, быстро отбегали, взяв их в охапке, и хвастались друг перед другом. Тем, которые не могли встать с постелей, мы раскладывали подарки на кроватях и тумбочках. Чуть в стороне стояли доктора, сестры и санитарки, аплодируя после вручения каждого подарка. Получилось что-то вроде веселого детского праздника.

Потом санитарки подходили ко мне и тихо шептали на ухо:

— Зря эти ваши американцы так стараются. Вы уедете, и половину вещей наши же сотрудники разворуют, или возьмут себе, или отнесут на продажу на рынок.

Дух взаимной подозрительности, культивируемый советской властью, оставался прежним. И традиционное русское воровство и обман тоже еще долго не попадали под горбачевскую перестройку (потом мне приходилось узнавать, что из миллионных пожертвований вряд ли и половина досталась тем, кому адресовывалась). Я не переводил Кахановицам, что говорили санитарки, — мне было стыдно за людей моей прежней страны.

Но услышав это, я отвез часть вещей в Филатовскую детскую больницу, где когда-то учился хирургии. Там тоже лежали жертвы землетрясения.

Из-за долгих задержек с получением груза мне не удалось полететь в Армению вместе с Кахановицами.

Два скучных вечера я провел с тещей и компенсировал это общением с друзьями. Многие из них с энтузиазмом говорили о переменах в стране. Особенно вдохновляло их то, что они впервые свободно читали описания зверств КГБ, книги о замученных в ГУЛАГе миллионах самых ценных людей. На меня описания тех зверств наводили только грусть. Кто надолго оторвался от прежней нечеловеческой жизни, тот уже не способен сопереживать ее горечь. Впрочем, рукопись одной книги я взял с собой и решил начать читать в самолете. Называлась она «Погружение во тьму» и была написана моим давним знакомым Олегом Васильевичем Волковым.

Но друзья развлекали меня не только грустными историями из прошлого, они с энтузиазмом водили меня в первые частные

кафе и рестораны на Арбате, гордясь тем, что они — частные. Семьдесят лет в России не разрешалась частная, свободная торговля, и вот… Правда, пока что эта торговля выглядела довольно бедно и просто, но перед входами стояли очереди. Мне было любопытно все это и многое другое наблюдать, но я чувствовал: Москва перестала быть для меня родным городом, я осматривал ее, как иностранный турист. И люди вокруг, за исключением очень близких, тоже не были своими, я тоже их «осматривал». Я сам находил странным то, что смотрел теперь на мой бывший родной город и на бывших своих сограждан как бы со стороны. Мне казалось странным даже то, что все вокруг говорили по-русски. Я тоже говорил и говорил, все по-русски, рассказывая про Америку, про нашу в ней жизнь. И под конец поездки с удивлением понял, что, кроме всего прочего, устал от разговоров на своем природном языке. Я чувствовал, как при длинных периодах речи мой рот утомляла артикуляция, от которой я отвык. Все одиннадцать лет напряженной активной жизни в Америке я говорил, читал и прислушивался к тому, что говорят исключительно по-английски. Даже дома, хотя мы с Ириной общались на русском, но большую часть времени оба читали книги, газеты и журналы, слушали радио и смотрели ТУ только на английском.

Конечно, родной язык не умирает, он продолжает жить в тебе, в клетках твоего мозга, ты продолжаешь думать и писать на нем — вот как сейчас я пишу эту книгу. Но в качестве инструмента для связи с окружающим тебя миром в новой стране родной язык постепенно замещается языком этой страны…

Когда в аэропорту за мной защелкнулся пограничный барьер, я почувствовал большое облегчение. Багаж мой не проверяли, рукопись книги Волкова была со мной. Отлет задерживался, и, бродя в ожидании посадки в самолет, я зашел в ресторан. Там было много людей, у входа стояли две растерянные американки средних лет.

— Хэлло, чем я могу вам помочь?

— О, хэлло, хэлло, наконец кто-то здесь говорит по-английски. Мы никак не можем получить столик. Мы зовем официантку, но она все мечется и не обращает на нас внимания. Что нам делать?

— Я постараюсь вам помочь.

Официантка действительно была очень озабочена и металась. Я изловчился приблизиться к ней и протянул последний калькулятор-сувенир. Как она обрадовалась калькулятору!

— Ой, вот спасибо-то, спасибо! У меня дочка школу заканчивает и давно просит эту штуку. А где я могу взять? За

валюту — дорого. Вот она будет рада! — и спросила, понизив голос. — Что вам нужно?

— Пожалуйста, дайте нам с теми двумя американками столик и соорудите нам ланч.

— Господи, да это я сейчас, в один момент! Только ланчей мы уже не подаем. Я лучше вам обед подам, самое вкусное.

— Хорошо, давайте обед.

Тут же появился свободный столик, она накрыла его свежей скатертью и начала носить нам блюда обильного русского обеда (за доллары, конечно).

Американки благодарили и интересовались:

— Что вы сказали ей такое магическое, что она сразу все сделала?

— Ничего магического. Просто я знаю русский подход к делу.

Русский барин

В самолете я достал рукопись книги Олега Волкова «Погружение во тьму» — и все глубже сам в нее погружался, и не мог оторваться.

Его арестовали молодым человеком в 1926 году, выпустили стариком в 1956-м. Хотя — каким стариком? Волков прожил еще тридцать лет. Но в книге была не только его судьба — вся многострадальная история России XX века проходила передо мной. А между строк всплывали и мои собственные воспоминания…

В 1941–1943 годах мы с мамой жили в эвакуации в маленьком городе Чистополе, на Каме. Когда немцы стали приближаться к Москве, мы бежали от нашествия в глубину России. От Чистополя рукой подать до лесистой Пермской области и Башкирии, а оттуда прямая дорога на Сибирь. Географию своей страны я тогда знал плохо, а что такое внутренняя политика Советского Союза, представлял только по пропаганде в пионерской организации школы. Если бы не это, я смог бы понять, почему по улицам нашего городка часто проводили длинные колонны осужденных. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, они двигались километровой лентой по середине мостовой. Вид у них был до отчаяния жалкий, лица изможденные и хмурые, одежда — грязная рванина. По бокам шествия вышагивали солдаты с винтовками с примкнутыми штыками наперевес. Летом колонны поднимали столбы пыли, и еще до их приближения ветер доносил смрад и едкий запах пота. Зимой они еле плелись между сугробами, продрогшие до синевы. Ребята на улице кричали: «Арестантов ведут, арестантов ведут!..» Я смотрел на них из окна нашего дома и еще — стоя у городской тюрьмы, когда их вводили или выводили через ворота. Тюрьма соседствовала со школой, так что я десятки раз смотрел издали на тех арестантов.

Подавленный их видом, я спрашивал у взрослых: «Кто эти люди?» Мне разъяснили, что это преступники — воры, грабители, убийцы. Я не сомневался: раз они осуждены, значит — преступники. Смущало лишь то, что их было слишком много. Ведь в СССР низкая преступность… И еще, как ни был я наивен, в толк не мог взять: почему в тяжелое время войны нужно посвящать им столько времени и сил? Я не разбирался в политике, но мои детские сомнения, не получавшие ответа, были в основе правильные: далеко не все в тех серых колоннах были воры и убийцы, большинство составляли «политические» —

крестьяне, специалисты, партработники, военные, интеллигенты и дворяне. Это их гнали мимо меня по дороге в сибирские лагеря…

Но вот прошло время погружения России во тьму, и стали появляться в печати воспоминания тех, кто выжил и сохранил рассудок, в основном представителей номенклатуры и писателей. Не было только книг русских дворян — их принялись уничтожать в первую очередь и мало кто из них дожил до XX съезда партии. Дворяне-декабристы почти все дожили до глубокой старости, но случаи выживания «бывших» в СССР были крайне редки. Поэтому примеры сохранения их как личностей — носителей чести и достоинства были поистине уникальны. И самым ярким из них был Олег Васильевич Волков.

Я вряд ли мог видеть его в одной из колонн арестантов в Чистополе, но мне посчастливилось узнать Олега Васильевича в 1970-х, и могу с гордостью сказать, что был удостоен его бесед. А он, истинный аристократ, не всех удостаивал общения.

Теперь я читал его горькое творение — не просто книгу воспоминаний, а именно творение непобежденного интеллекта, где он пишет об одном из людей своей среды и судьбы: «В Б. были все приметы русского барства: вежливость, исключающая и тень фамильярности; сознание собственного достоинства, и даже исключительности, при достаточно скромной манере держаться; благосклонность с еле проступающим оттенком снисходительности; забота о внешнем благообразии и — вскормленное вековыми привычками себялюбие». Все это было сразу видно в самом Олеге Васильевиче, все выдавало благородство и породистость: высокий и стройный, не по своим семидесяти, с гордо посаженной на длинной шее головой, украшенной прядями поредевшей шевелюры и длинной седой бородой; глаза с легким прищуром и с неизменно внимательным выражением, все понимающие с первого взгляда; нос изящной пропорции, с горбинкой, на которой сидели небольшие очки, и с тонкими ноздрями; волевые губы тоже с тонкой каемкой. Одет Олег Васильевич всегда был в один и тот же поношенный серый костюм, наверное, из дешевого ширпотреба, однако на нем и это одеяние смотрелось элегантно.

Это его описал Солженицын в повести «Один день Ивана Денисовича»: когда поздно вечером Иван Шухов едва поспел в лагерную столовку, чтобы впервые за целый день работы хлебнуть горячей баланды, туда пришел и другой заключенный — высокий, с аристократическими манерами. До Ивана доходили слухи, что этим зэком «по всем лагерям было невесть сколько сижено-пересижено». И голодный Иван, только что с жадностью

высосавший свою порцию прямо из жестяной плошки, через край, с почтением простолюдина наблюдает, как тот, высокий, сперва вынимает из кармана чистую белую тряпочку и расстилает перед собой, потом «ложит» на нее свою порцию хлеба и не спеша начинает есть баланду из плошки, будто перед ним сервиз, а он сам — за барским столом…

Как и почему этого русского барина не согнули, не сломали, не искалечили десятилетия мучений, голода, холода, лишений и унижений в его скитаниях по адовым кругам российских тюрем и лагерей? Как и почему?

Через двадцать лет после освобождения Волкова, стоя рядом с ним у окна в вагоне поезда, я спросил его об этом.

Я робел перед ним и не мог так прямо сформулировать свой вопрос: «Как вам удалось уцелеть и сохраниться?» Но по его быстрому взгляду я увидел, что он понял меня прямо. И ответил прямо.

В железнодорожных странствиях случается много интересных собеседований, очевидно, мирный стук колес способствует рассказам:

— Знаете, мне помогал общий уровень моей культуры. Я не имею университетского образования — как сына помещика, меня не принимали в советские университеты. Но я с детства знал несколько языков. Французский, несмотря ни на что, крепко сидел в моем сердце. Я много читал и многое помнил наизусть. В самые тяжелые и грустные моменты испытаний, чтобы не поддаться ни на муки, ни на провокации, я памятью цеплялся за прочитанное, концентрировался на воспоминаниях детства и всей моей тогда еще недолгой жизни. Я научился уходить в себя, в свое прошлое, как черепаха прячется в свой панцирь. Это было мое моральное преимущество перед мучителями: в такие минуты я им не принадлежал. Иногда это давало мне и практические преимущества: как-то начальник одного из лагерей приставил меня учить своих детей немецкому языку, что спасло от изнурительных работ в морозном лесу. Да и кормили меня лучше, и в баню посылали чаще, чтобы вшей им не занес. Иногда, если начальник был не зверь, поручали мне какую-нибудь конторскую работу… В общем, закваска моей юности помогала. Но чаще это служило источником дополнительных осложнений. Охранники всех рангов всегда тыкали меня носом в мою интеллигентность. В их глазах она усугубляла мою и без того преступную сущность. У них был просто какой-то зуд выкорчевать мое чистоплюйство…

Слушать рассказ Волкова было тяжело, я не знал, куда девать глаза. Становилось не по себе от сознания, что на мою долю не выпали подобные испытания. Родись я на десять лет раньше, и

мне могло бы достаться такое же. Тем более что мама моя была дворянка, а отец — еврей. На этот счет у русского народа есть пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

— Да в чем же все-таки вас обвиняли?

— За четыре судимости разное было: и контрреволюционер, и шпион, и даже министр какого-то тайного правительства: и доносы, и просто выдумки. Но не это главное. Я все время шел по 58-й статье, политической, поэтому к концу каждого срока мне давали повторный. Подходил конец одного срока — мне шили новое дело. А то и так бывало: приводили к следователю, тот говорил: «Мы вас ни в чем не обвиняем, но оставить на воле не можем. Вы повторник, — вот ведь и новый термин выдумали! — и мы вынуждены вас изолировать. Даем вам минимальный новый срок». А минимальный для таких, как я, был десять лет. «Вот, — говорил следователь, — прочитайте и распишитесь». И я понимал, что ни возмущаться, ни спорить нет смысла. И расписывался не читая. И меня опять уводили под конвоем. Но, знаете, все эти сцены я видел как будто со стороны, словно не со мной то было. Я понимал: конец тебе, человече, в лагерях. Нет у тебя ни прав, ни возможности вырваться отсюда.

С Волковым в поезде ехала его жена, вдвое моложе его, и дочка-подросток. Выходило, что он не только устоял против разрушения своей личности, но оказался сильнее судьбы, немилосердной к самому факту его существования.

В своей книге Волков много пишет об аристократах, встреченных им на лагерных перепутьях, подробно останавливается на их происхождении, на тесных друг с другом родственных связях. Но еще больше в его книге уважительного отношения к крестьянам, знания их нужд и быта. Кажется, что сам Лев Николаевич Толстой, другой русский барин, не смог бы лучше о них написать. Самые горькие лагерные сожаления Волкова — не за аристократов и интеллигентов, а за мужиков, которых он там перевидал и проводил в могилы многими тысячами. Читая его, понимаешь глубокую связь всего многострадального русского народа, каждого со всеми другими, понимаешь, что настоящий барин — та же кость от кости крестьянской, все — русские люди…

Самолет гудел и покачивался, я изредка отрывался от рукописи и думал: разрушающая сила невежества, дикости всегда брала верх над силой созидательной, перед ней не могли устоять неприступные стены великих городов, и единственное, что может не поддаться ей, — гордый человеческий дух. Русский барин Олег Волков доказал это чудом своей долгой и красивой жизни, самим обликом своим.

И вот что случилось со мной, когда, летя высоко над землей, погружался я во тьму, описанную Волковым: я вдруг осознал, почему люди в покинутой мной России с таким энтузиазмом встречали перестройку и гласность. Я должен был сам себе признаться, что за одиннадцать лет жизни в демократической стране моя душа заржавела, стала менее отзывчива на чужие страдания, не отдельного человека, а несвободного общества в целом. Хорошее всегда избаловывает. Книга Волкова и воспоминание о разговоре с ним дали мне почувствовать то, что я недопережил, недопонял, недоосознал в суете краткого приезда в Москву. И с какой-то новой теплотой подумал я об оставленных друзьях и моем родном городе.

Лас-Вегас — символ Америки

Громадные неоновые буквы над павильоном возвещали «ILIZAROV TECHNIQUE — ИЛИЗАРОВСКИЙ МЕТОД» — так фирма «Ричардс» рекламировала свою продажу аппаратов Илизарова. Павильон стоял в центре выставочного зала в городе Лас-Вегас, где шел Конгресс Академии Ортопедической хирургии. «Ричардс» не имел лицензии от автора, но фирма перекупала аппараты у Италии, имевшей лицензию, и продавала их в Америке чуть ли не в три раза дороже — в богатой Америке покупали и за такие деньги. Илизаровский бизнес фирмы разросся в многомиллионное предприятие. Это был типичный пример активного американского предпринимательства: вложение больших средств давало фирме возможность получить обратно во много раз больше. Конгресс американских ортопедических хирургов — это самый авторитетный научный форум по специальности. Он устраивается ежегодно по очереди в больших городах, где есть специальные гигантские Центры Конгрессов. В 1989 году была очередь Лас-Вегаса. Туда съехалось более десяти тысяч американских докторов и несколько тысяч гостей — доктора со всего мира. Как все в Америке, конгресс тоже был многомиллионным предприятием и делался на средства академии и участников — каждый платил от 300 до 500 долларов. Были сняты лучшие отели с большими конференц-залами (за отели доктора платили сами, но поскольку это «Business expenses — деловые затраты», то всю сумму расходов они списывали со своего годового дохода, чтобы платить меньше налогов).

В залах одновременно шли доклады по подразделам специальности. И каждый год перед концом конгресса выбирается президент академии — на один год. В Америке академия специалистов это то, что соответствует научному обществу специалистов в России. Все ортопедические хирурги могут быть членами академии, за это они должны платить членские взносы. Принадлежность к ней дает им права специалистов высшей категории, то есть право получать больше денег за операции (что и является основным движущим стимулом работы докторов).

Все крупные медицинские фирмы мира присылают на конгрессы образцы своего производства. Их показывают на стендах и в павильонах выставки более пятнадцати тысяч «фирмачей». Выставка в Лас-Вегасе размещалась в Центре конгрессов, пройти его из конца в конец занимало около получаса.

Самой большой новинкой конгресса были доклады и стенды по илизаровскому методу, а самой большой новинкой выставки были илизаровские аппараты. Поэтому в самом ее центре и размещался павильон «ILIZAROV TECHNIQUE» с громадными неоновыми буквами и множеством аппаратов на стендах. Это привлекало участников конгресса, они толпами шли в павильон, интересовались аппаратами и покупали их. Все было представлено ярко и толково — организованная демонстрация продукции была примером деловой американской рекламы (которая, как известно, и есть двигатель торговли). Каждый день с утра до вечера там шел показ аппаратов и фильмов операций, объяснялись детали техники и раздавались красиво изданные рекламные брошюры и множество сувениров. Для этого в павильоне работали инженеры фирмы «Ричардс» и доктора — специалисты по илизаровским операциями. В их число пригласили и меня.

Невозможно не поражаться размахом и богатством американских научных конгрессов и их четкой организацией. Престиж американской науки особенно ярко виден в том, как много ученых и специалистов со всего мира привлекают к себе эти конгрессы. Каждый стремится попасть на них, чтобы доложить о своих работах или услышать доклады других. А Лас-Вегас привлекает самое большое число участников, потому что их манит этот уникальный город — известный всему миру американский центр развлечений.

Лас-Вегас — это конгломерат роскошных и дорогих отелей-гигантов, похожих на сказочные дворцы с фонтанами и скульптурами; это сотни шикарных магазинов и ресторанов, заполненных предметами роскоши и блюдами изысканной кухни со всего мира; это десятки многотысячных концертных залов. В Лас-Вегасе можно купить все и развлекаться разнообразнее всего. Но более всего город Лас-Вегас — это тысячи игорных домов, и богатых и бедных злачных заведений на любой вкус и любой стоимости, от самых дорогих до самых дешевых. Есть заведения для гомосексуалистов, есть для лесбиянок. Есть в нем и единственный официально разрешенный в стране публичный дом. Организованная проституция в стране преследуется законом, но не в этом городе — столице развлечений. В первый же вечер после прилета все наши резиденты и доктора уже куда-то исчезли. На следующее утро я спросил резидентов:

— Ребята, где вы были прошлой ночью?

Они лукаво переглянулись:

— Владимир, мы ходили в бурлеск, на представление стриптиза. Какие девочки! А в России есть представление

стриптиза? Ты когда-нибудь бывал на них?

Я представил себе не мог, как коммунистическая партия и комсомол могли бы отнестись к таким представлениям.

— Нет, при мне такого не было.

— Хочешь пойти вечером посмотреть?

— Н-н-е знаю… Вы молодые, вам это к лицу. А мне, пожилому доктору, неудобно идти на такое. К тому же там, наверное, собирается много всякого подозрительного народа.

— Владимир, ты что — шутишь? Да там сидели все доктора с нашего конгресса, многие еще и постарше тебя. И все любовались танцующими голенькими девочками и совали им доллары за трусы.

Меня опекали фирмачи «Ричардса», показывая город. После дневных докладов и демонстраций на выставке, они возили меня по нему. Лас-Вегас считается самым богато иллюминированным городом мира. С первой поездки я понял, что отличить лас-веговскую ночь от дня невозможно: «Знаете ли вы лас-веговскую ночь? О, вы не знаете лас-веговской ночи» (перефразируя Гоголя). Вдоль улиц сплошным морем яркого огня льются зазывающие и заманивающие многоцветные двигающиеся рекламы. Они заманивают на все: в бесконечные казино и отели, в рестораны, на концерты, в бурлески. Ярче других сверкают рекламы покупки в кредит — можно приобретать все по карточкам «Visa», «American Express», «MasterCard» и другим. Огни реклам призывают вас: ВСЯ ЖИЗНЬ — В КРЕДИТ! Можно играть — в кредит, можно жениться и разводиться — в кредит, можно жить и умереть — в кредит! Все в кредит!..

Мои провожатые сказали:

— Сейчас покажем тебе подтверждение — лас-веговскую улицу мгновенной женитьбы.

Мы проезжали мимо пятидесяти часовен-полуцерквей всех вер, над которыми горели рекламы: «Нигде в мире — только у нас: бракосочетание за десять минут! Все в кредит! Работаем круглосуточно!» Как это делается? Машина с желающими сочетаться браком въезжает под навес; там сверкает окно, за ним сидит регистратор браков, имеющий на это лицензию; не выходя из машины, брачующиеся протягивают в окно кредитную карточку и документы — и через десять минут они уже официальные муж и жена. Стоит от 25 до 200 долларов, в зависимости от шика мгновенной регистрации. Когда новоиспеченная семья отъезжает от окошка, чтобы уступить место следующей машине, их благословляющим жестом останавливает священник. Тут приходится вылезти, чтобы подойти под благословление. Заодно «Полароидом» он мгновенно делает

свадебное фото. За это надо заплатить наличными еще $10-$20 (наверное, за дополнительную плату он может перекрестить их и вместе с машиной — Бог стерпит).

Мне объяснили: каждый день в Лас-Вегасе совершается 450 таких бракосочетаний — одно каждые три минуты. Поразительная скорость! И поразительно, как быстро вырос этот город чудес в сухой жаре пустынного западного штата Невада, вдали от всего на свете. Лишь полвека назад группа предпринимателей создала его на свои средства, как единственный разрешенный игорный центр страны (с тех пор их стало много). Во второй половине XX века Америка быстро богатела, и параллельно с этим Лас-Вегас развил небывалую энергию, направленную на единственную цель: на выкачивание денег из людей, падких на игры и развлечения. Лас-Вегас — это центр и символ развлекательной жизни Америки. Он высасывает деньги из миллионов посетителей, как пылесос всасывает пыль. Но совсем не одни богачи приезжают сюда — искатели приключений всех возрастов и состояний заполняют его игорные дома. Там шпалерами стоят яркие игральные машины разных типов — так называемые однорукие бандиты. Бросив жетон в щель машины, надо дергать ручку и ждать — посыпятся монеты или нет? Выигрыши бывают по тысячам долларов, но выигрывают редко. Большей частью тысячи проигрывают. Люди понуро сидят, дергают ручку и теряют деньги. Много и пенсионеров из среднего класса; на старости лет они любят будоражить себя азартом игры, их манит привлекательный способ заполнения времени в игорных залах. Денег им не жалко, у большинства пенсионеров есть накопления. И старики и старухи сидят около игорных машин круглые сутки, бросают в них жетоны, ждут выигрыша, посасывают кофе и иногда там и засыпают. А проснувшись — продолжают играть.

А все-таки слаб человек: хоть я и колебался, но меня повели в бурлеск. Все гости в большом темном зале были почти исключительно мужчины, лишь одна-две женщины, возможно — жены, не отпускающие своих мужей никуда. Все сидели за столиками и пили вино или пиво, это входило в плату — 20 долларов с каждого гостя. Гремела музыка, и посреди зала возвышалась ярко освещенная прожекторами круглая сцена. На нее поочередно эффектно выскакивали молоденькие красотки, по двое-трое. Всем лет 18–20, и все со слегка прикрытыми стройными телами. Под музыку они пластично двигались по сцене, завлекая внимание зала эротическими позами и движениями. И так же пластично снимали с себя то немногое, что на них было. Некоторые искусно изображали сцены лесбийской

любви и имитировали всевозможные виды и позиции секса. Зрелище довольно завлекательное.

Гости протягивали доллары тем, кто больше нравился. Тогда они томно подплывали к краю сцены, будто готовые на все. Им засовывали доллары за трусы и лифчики (пока они еще были на них). Трогать девочек гостям запрещено, за это выставляют из зала. Но сами они иногда спускались со сцены и усаживались прямо на колени к тому, кто дал больше долларов. Для этих «сахарных пап» они имитируют секс вплотную перед их носом. Тут же к столику подносят бутылку шампанского (за 100 долларов) — полагается угостить их вином и дать еще денег. Но трогать все равно нельзя. Правда, говорят, что это превозмогаемое воздержание можно компенсировать после представления — по согласию. Тогда уже позволяется всякое…

Многие доктора приехали на конгресс с семьями — с женами и детьми (некоторые с любовницами). Особенно много семейных было среди иностранцев — со всего мира. Для них это особое развлечение — провести время в Лас-Вегасе. Пока мужья и отцы сидели на заседаниях, делали и слушали научные доклады, их жены и любовницы бегали по магазинам, плавали в бассейнах, загорали под невадским солнцем, упражнялись в гимнастических залах, получали сеансы массажа или — играли в разных казино. Вечерами уже все вместе сидели в ресторанах или на многочисленных шоу — представлениях лас-веговского типа. Это представления особого вида: всегда слишком пышные, всегда с чересчур громкой музыкой, и выступлением звезд эстрады и, конечно, с парадом красивых девочек. Все гремит, все сверкает. Меня пригласили на такой концерт. Я думал, что от грохота и шума лопнет моя свежесделанная барабанная перепонка.

Конгресс продолжался пять дней, и когда программа подходила к концу, все участники были усталые — то ли от насыщенности программы, то ли от пресыщенности Лас-Вегасом. Но это был очень удачный конгресс для илизаровского метода — тысячи докторов со всего мира получили представление о нем. Было в этом и наше с Виктором Френкелем участие. Под самый конец конгресса было организовано новое международное научное общество АСАМИ «Ассоциация лечения методами Илизарова». Это, конечно, явилось всемирным признанием и высокой честью для основателя метода. Но сам Илизаров там не присутствовал и не видел рекламы и процветания его изобретения, фирма «Ричардс» не пригласила его на конгресс, чтобы не показать, как много она на нем зарабатывает. Я знал, что он очень бы расстраивался и злился, понимая, какие доходы проскользнули у него между пальцами, когда он вовремя не

захотел заключить предложенный ему контракт. Это тоже был типичный пример бизнеса, но другой стороны — пример советского непонимания законов предпринимательства.

Мой последний экзамен

Начавшийся 1989 год был насыщен переломными событиями, повлиявшими на судьбу Советского Союза и через нее на весь мир. В том году, после десяти лет бесцельной войны, произошло бегство Советской армии из Афганистана. В том году начали укрепляться реформы Горбачева, которые вели к распаду коммунистической системы (хотя Горбачев этого не признавал) и к развалу экономики страны (хотя он этого не хотел). Тогда же началась массовая эмиграция советских людей в Америку и Израиль.

И для меня 1989 год тоже был переломным. Я не предполагал, каким ему суждено стать насыщенным, как закрутит он меня вихрем поездок. Но прежде всего мне предстояло сдать FLEX — Федеральный экзамен на лицензию для частной практики.

Я описал в книге «Русский доктор в Америке» обязательный для всех иностранных врачей экзамен на право стать американским доктором, ECFMG, включающий 550 вопросов по всем разделам медицины. FLEX намного труднее: это трехдневный экзамен из 1200 вопросов. Сдают его после прохождения практики в резидентуре. Для студентов медицинских институтов Америки он включен в учебный курс. Экзамен разделен на две части: полтора дня письменных ответов на 600 вопросов по всем разделам теоретической медицины: анатомии, генетики, гистологии, физиологии, биохимии, микробиологии, патологоанатомии и т. д. и полтора дня по практическим вопросам лечебного дела (эту часть я сдал раньше).

Нечего и говорить, как трудно лечащим врачам отвечать на вопросы по теории. Молодые доктора со свежими знаниями институтских лет еще держат это в голове, но я учился тридцать пять лет назад и лишь наскоро повторил их перед первым американским экзаменом. Теперь мне надо было снова погружать свои немолодые мозги в эти отвлеченные вопросы. Отвлеченные? В том-то и дело, что на современном уровне развития медицина становится в ряд точных наук. Теперешние врачи-специалисты уже не могут лечить больных без знания теоретических основ медицины.

Мой экзамен состоял из пяти частей; для каждой выдавалась индивидуальная пронумерованная книга-буклет со 120 вопросами, так что подглядывание и списывание были исключены. На ответы по каждой части отводилось два с половиной часа, то есть чуть больше одной минуты на вопрос.

Вопросы могли быть поставлены не прямо, а с подковыркой. Например, надо было указать не просто определенные гормоны и их действие, а отсутствие каких из них НЕ может вызвать такого-то заболевания. При быстром чтении легко пропустить это НЕ и дать прямо противоположный ответ. Или так: в одном столбце указаны энзимы клеточных структур, а в другом — врожденные болезни. Надо поставить их в соответствие друг с другом; западня в том, что заболеваний указано больше, чем энзимов. Вот и гадай, какие к чему?

Верный ответ следует выбирать из пяти предложенных под буквами А, В, С, Б и Е и отмечать в кружках возле этих букв. Ответы иногда так близки по смыслу, что тоже могут легко сбить с толку. Ответ может быть и единичным, и множественным. Например: если правильны все три первых ответа, надо отмечать А; если первый и третий, надо отмечать В; если второй и четвертый — С, если только пятый — Б, если правильны все пять, отмечается Е…

С тех пор экзамен усложнился — вопросы и ответы даются не на бумаге, а на экране компьютера; экзаменующиеся сидят перед компьютерами и стрелкой «мышки» отмечают ответы. Сложность вопросов тоже возрастает с углублением научных знаний.

Подсчитано: чтобы сдать экзамен, надо знать около десяти тысяч ответов. Это стандарт знаний для американских докторов, и каждый, кто собирается работать врачом в Америке, должен соответствовать этому стандарту. Правильно ответить на все вопросы не может никто; сдавшим экзамен считается тот, кто ответил на более чем 50 процентов вопросов. От этого зависит и оценка: от 75 до 100 баллов. Правда, 100 баллов опять-таки не получает никто, максимум — 90, и то редко.

С этими 10 000 вопросов в мозгах я жил все последние годы. Без них, лежащих в моей сумке или в кармане, я не выходил из дому, каждый день их зубря в редкие свободные минуты. Настал день, когда я попросил Френкеля дать мне неделю отдыха на подготовку.

— Владимир, о чем ты говоришь! Мы все заинтересованы, чтобы ты скорее получил лицензию и начал частную практику. К нам поступает все больше русских иммигрантов. Когда ты получишь лицензию, мы отдадим тебе их всех и создадим при нашем госпитале первую специальную русскую клинику.

И вот в громадном зале Центра конгрессов имени сенатора Джавица собралось около трехсот врачей-иммигрантов из Индии, Пакистана, Филиппин, Польши, Румынии, Греции и, конечно, СССР. Посмотрев на эту разноликую массу не просто беженцев, но представителей самой важной в мире профессии, можно было

понять, как трагично устроен сегодня наш мир и как щедро Америка принимает к себе обделенных. А ведь здесь была только нью-йоркская часть новых американцев; по всей стране FLEX одновременно сдавали тысячи иммигрантов.

Даже для молодых людей вынести напряжение такого экзамена физически трудно. В полной тишине зала необходимо так сосредоточиться на вопросах, что энергия всего организма сводится к сидению в напряженно-скованном положении, как в скульптуре Родена «Мыслитель». Глаза прикованы к листу бумаги, отвести их в сторону нельзя ни на секунду. Нейроны коры мозга работают так быстро, что в них происходит настоящая буря электробиохимических реакций; начинаешь ощущать, как вспыхивают и гаснут бесчисленные связи нейронов, и уже через час от этих вспышек мозг начинает распухать.

К концу каждой части сдающие один за одним встают и сдают свои буклеты проктору. Если остается время, можно, вернуться к вопросам и быстро проверить ответы. Но лучше этого не делать — иногда можно начать сомневаться и в результате переправить ответ на ошибочный. Первое впечатление всегда вернее.

Первыми обычно заканчивали молодые индусы, они теоретически подготовлены лучше других, потому что учились на английском языке и по американским учебникам. Славяне сдавали буклеты последними, их затрудняло слабое знание английского и слабая подготовка в медицинских институтах. И я был среди славян.

Когда я вышел с экзамена, облегчение тоже не наступило.

Мозг все еще продолжал вспоминать вопросы, на которых ты споткнулся, и анализировать ответы: правильный или неправильный? правильный или неправильный?

Дома Ирина тревожно заглядывала мне в глаза и угощала вкусным обедом. Вяло пережевывая пищу, я рассказывал ей о своих ошибках, она сочувственно слушала. Потом осторожно спросила:

— Но как ты все-таки думаешь, сдал или не сдал?

— Мне кажется… может быть… сдал… но я не уверен.

А уверенным стать можно только когда придет результат — через полтора-два месяца.

Единственное, что нас обоих успокаивало, — это запланированный через месяц наш первый отпуск. Мы купили путевки на поездку по островам Британии. Мечта о предстоящем отдыхе грела нас с Ириной.

Назавтра, придя на работу, я попал прямо на операцию. Френкель вежливо поинтересовался моим впечатлением от

экзамена, а резиденты ничего не спросили, только сказали:

— Наконец ты здесь!..

Что ж, я уже делал эти операции, когда они еще, как говорится — под стол пешком ходили. Освоение разных операций требует много времени от хирурга, все достается опытом. И не все операции одинаково даются разным докторам. Как в искусстве есть мастера разных видов исполнения, так и в хирургии есть специалисты разных операций. Все, что делается руками, все индивидуально — может быть ремеслом, но может стать и искусством. И в хирургии тоже много ремесла и ремесленников. Но в отдельных руках и в отдельных операциях хирургия — это искусство особого сложного вида.

И начались обычные будни хирурга: обходы, перевязки, операции. Теперь всего этого стало еще больше, потому что в госпитале лежало много жертв армянского землетрясения. Пока я сдавал экзамен, деятельный Кахановиц сумел организовать полет в Армению на специально зафрахтованном самолете и привез оттуда десятки покалеченных детей. Мне надо было помогать ему.

Все чаще стали поступать к нам русские иммигранты. В тот год их приехало в Нью-Йорк семнадцать тысяч, а в предыдущем было всего пять.

Нью-йоркская организация новых американцев (НАЙАНА) направляла их к нам, зная, что я — единственный русский ортопед, и мне целыми днями приходилось уделять им много внимания и времени — переводить и объяснять. Обстановка американского госпиталя, непонятная им речь — все для них было новое и настораживающее, все вызывало волнение и недоверие.

Некоторые привозили с собой рентгеновские снимки такого плохого качества, что на них ничего нельзя было видеть. У многих были плохие результаты русских операций. Ясно было, что это отражало отсталость и бедность советской хирургии оснащением аппаратурой и инструментами. Я еще помнил, как мне самому бывало там трудно оперировать без достаточного набора инструментов. Но американские доктора просто не представляли себе такой бедности и не переставали спрашивать:

— Владимир, что же это за медицина в России? Как могут хирурги так неграмотно оперировать? Ведь после таких операций пациенты могут их засудить.

— Медицина, конечно, отсталая. Но у них большой недостаток инструментальной техники. А к тому же в России нет закона судить докторов за ошибки.

— Нет такого закона? Ну, это их счастье, — комментировали

они.

А русские пациенты от непонимания и страха, не знали — могут ли доверять американским хирургам. Если необходима была операция, они буквально хватали меня за рукава:

— Доктор, миленький, ой!.. Я вас умоляю — не отдавайте меня американцу!.. Ой, делайте операцию сами!.. Ой, я только вам доверяю!..

— Но я не ваш доктор. А ваш американский доктор — прекрасный опытный хирург.

— Ой, доктор, ради бога!.. Ой, я вас умоляю!..

Я обещал, что буду на операции. А обманывать больного — это профессиональный грех. И я все чаще после своей работы ассистировал нашим докторам. Для моей будущей практики это было полезно: если я помогал другим учиться на илизаровских операциях, то на этих операциях я многому учился у других хирургов. Особенно при переделке русских операций — в хирургии это называется «ревизия». А переделывать операции намного сложней, чем делать их в первый раз.

Но скорее бы уже пришел ответ, что я сдал экзамен и могу начинать свою практику…

Ленинград

Однажды Грант спросил меня:

— Владимир, у тебя есть знакомые доктора в Ленинграде?

— В Ленинграде? Конечно, есть. А почему ты спрашиваешь?

— Не сможешь ли ты поехать за меня в Ленинград?

— За тебя? Когда? Для чего? Почему ты сам не хочешь ехать?

— Ехать надо через пять дней. «Варайети клаб» меня просит полететь туда с их президентом. Это один из самых богатых благотворительных клубов. Они хотят сделать пожертвование на больных советских детей. Я им нужен, чтобы помочь выбрать нуждающуюся в их помощи больницу.

— Там все больницы нуждающиеся… Слушай, поезжай сам, это великолепный город.

— Я не могу: один больной решил засудить меня на миллион, и переносить суд уже поздно.

В Америке пациенты вправе подать в суд на своего доктора за ошибки и осложнения в лечении. Хотя две трети судов выигрывают доктора, но в случае проигрыша им приходится платить большие деньги. Для защиты у докторов есть «страховка от ошибок в практике».

Я не стал расспрашивать Гранта, что да как. Его дело. Но предложение было заманчивое. Ленинград я любил, знал там директора института детской ортопедии Владимира Андрианова, моего однокурсника. Реальная возможность помочь институту. К тому же в это время года будут знаменитые ленинградские белые ночи.

Назавтра Грант повез меня в «Варайети клаб», в центре Манхэттена, знакомить с самим президентом. Воображение рисовало стандартную картину: в богатом кабинете сидит в кресле толстый старик с сигарой в зубах, он станет цедить слова, не раскрывая рта. К моему изумлению, в довольно скромном кабинете навстречу мне из-за стола вышел моложавый, приветливый и простой в обращении человек лет пятидесяти.

— Хэлло, Владимир. Я Стив. Спасибо, что захотели нам помочь.

И рассказал историю их клуба:

— Все началось более ста лет назад. Десять богатых людей из Филадельфии раз в неделю собирались для отдыха и деловых переговоров. Однажды по дороге в клуб, один из них нашел на пороге младенца-подкидыша. Не зная, что с ним делать, он принес ребенка с собой. Члены клуба решили вырастить младенца на свои средства. С тех пор в нашем уставе записано:

ежегодно жертвовать на детей 10 % доходов членов клуба. Мы по всему миру дарим нуждающимся детям много миллионов, но никогда раньше не помогали советским детям. Теперь, с потеплением отношений, мы решили поправить положение и выбрали Ленинград. Но Россия — неизвестная нам страна, мы там никого и ничего не знаем. Я уверен, что с вашей помощью поездка станет успешной.

Пока Стив рассказывал историю клуба, мне вспомнилась одна похожая русская история, которой я с ним поделился:

— В 1890 году в старом Петербурге группа членов «Петровского Общества Синего Креста» задалась целью создать приют для детей-калек. На частные средства они построили небольшой госпиталь, который потом разросся и стал называться Институт детской ортопедии имени профессора Турнера. Я дружен с его директором Андриановым, моим сокурсником. Теперь этот институт нуждается в помощи.

— Так надо помочь! Как с ними связаться?

Прямо из кабинета Стива я позвонил Андрианову.

— Конечно же, мы очень нуждаемся в помощи! Привози своего богатого американца!

По ходу разговора я переводил его Стиву. Уже совсем по-дружески он похлопал меня по плечу:

— Владимир, я вижу, ты деловой парень. Сделаем так: ты вылетишь раньше, встретишься со своим другом, спланируешь наше деловое расписание. Я прилечу через день с сыном, ему двенадцать лет. Какую посоветуешь заказать гостиницу?

В который уже раз получалось, что в новой политической атмосфере сближения между двумя странами мое происхождение — из России — оборачивалось для меня разными преимуществами, включая даже эту небольшую деловую поездку. Но, конечно, это было возможно только потому, что я «вписался» в американское общество, стал доктором в одном из лучших госпиталей. Если бы я сидел в своем офисе где-нибудь в Бруклине, где селилось большинство русских иммигрантов, и лечил бы там только их, никто обо мне не знал бы и никуда не приглашал.

Я назвал его секретарю лучшие отели, чтобы она звонила. Но «Астория» и «Европейская» были на ремонте, в «Ленинграде» был только один свободный номер. Этот отель стоит на Неве, напротив Эрмитажа. Поэтому номер зарезервировали для него. Мне достался номер в другом, новом и не таком шикарном отеле «Москва».

Ехал я к Стиву, совсем его не зная, а теперь он провожал меня до порога конторы, как старого приятеля:

— Владимир, я очень рад, что познакомился с тобой. Я уверен, что мы сделаем в Ленинграде хороший бизнес.

Это особое искусство в Соединенных Штатах — контактировать с людьми, с ходу понять их, показать им себя. Нельзя быть ни слишком скованным, ни слишком развязным, но уметь создать в короткое время то, что американцы называют «chemistry», то есть как бы «химическую реакцию». По-русски я назвал бы это артистизмом. Контакты с людьми мне всегда легко давались в России, за исключением самых матерых коммунистов, но там помогал родной язык. Теперь я радовался, что умею налаживать контакты в Америке, на их языке.

Прямого полета из Нью-Йорка в Ленинград в то время не было, я летел транзитом самолетом «Финнэйр» до Хельсинки.

В первом классе нас было всего шесть пассажиров. Развалившись в креслах, мои спутники спали почти весь перелет. И напрасно: всю дорогу по нашему салону расхаживала с икрой и шампанским изящная стюардесса, финка-блондинка. Три раза меняла она платья за время полета, и каждый раз выглядела все красивее.

— Скажите, ваша семья не из Лахденпохья? — спросил я.

Она удивилась:

— Да. Как вы узнали?

— Потому что я знаю, что самые красивые финские девушки из того города, и люди нарочно приезжают туда выбирать невест.

Стюардесса рассмеялась:

— У вас точные сведения. Но только не приезжают, а приезжали. Потому что Лахденпохью после войны забрал себе Советский Союз. Моя семья успела бежать в Финляндию. Но откуда вам это известно?

— Хотете знать? Я служил в Лахденпохье советским офицером.

— Вы?., советским?., а сейчас вы?.. — она совсем растерялась.

— Тогда я был советским гражданином и молодым доктором. А теперь я американский гражданин и старый доктор.

Я рассказал ей свою историю и показал мою книгу. По правде говоря, рассказывая, я сам удивлялся: какие происходили со мной в жизни чудесные события! И одно из них совершалось теперь — возвращение в Ленинград.

Хотя я москвич, но всегда радовался каждой встрече с Ленинградом, единственным европейским русским городом. Москва — это зеркало России, она сфокусировала в себе и отражает все противоречия страны, все положительные и отрицательные стороны жизни русского народа. Но Ленинград — это символ всего лучшего в стране. По воле единственного

прогрессивного русского царя Петра Первого он искусственно вырос на границе северных просторов. И взяв начала от своего создателя, он всегда и во всем был более прогрессивным, чем Москва. Триста лет он воплощал в себе надежды на обновление страны. Когда в 1917 году русским людям уже казалось, что обновление явилось к ним бесповоротно, Москва отняла у «колыбели революции» ведущую роль. И что из этого получилось? А то, что Москва в конце концов обманула чаяния народа… Правда, в то время Ленинград назывался Петербургом — кто бы знал, что первоначальное название города вернется к нему!

В аэропорту меня ждала черная «Волга» с предупредительным шофером. Он ожидал встретить американца, но, когда я поздоровался с ним по-русски, обрадовался, расслабился и болтал всю дорогу:

— Вот говорят, у нас теперь новая политика. А продуктов еще меньше, чем раньше было. Какая же это «новая политика»?!

Номер в гостинице «Москва» был бедный, с дешевой мебелью и узкой кроватью. Ладно, мне в нем долго не жить, не затем я сюда прилетел. Пустил воду в ванну, пошел звонить Андрианову, чтобы договориться о встрече назавтра. Раздевшись, отправился купаться — и остолбенел на пороге: в ванну лилась вода темно-коричневого цвета, крепко вонявшая ржавчиной. Что делать? Звать слесаря? Даже с помощью подарков я добьюсь чистой воды не скоро. Я решил сам заняться спуском и наливанием воды. Каждый раз вода постепенно светлела: после коричневой потекла оранжевая, после оранжевой — лимонная. Но все мои старания так и не довели воду до прозрачности, и я встал под желтоватый душ. Вот когда я пожалел, что мне не достался «Ленинград»: уж там наверняка течет прозрачная невская водица!

Я спустился в ресторан отеля — закрыт. В буфете на шестом этаже только растворимый кофе и сухой хлеб. В ближайшем магазине — пустые полки. Все-таки мне попалась маленькая уличная лавочка, в которой оказалось в продаже сухое печенье. А я ждал гостей. Ко мне в гостиницу ехали Ефим Лившиц и Марк Берман.

В 1953 году, когда я начинал свою карьеру в Петрозаводске, там работали и эти два молодых доктора. В те годы государственного антисемитизма туда посылали много молодых врачей-евреев из Ленинграда и Москвы. Я тогда сочинил про Карелию стихи:

Край далекий, Берендеев, Край непуганых евреев…

Теперь оба мои друга занимали солидное положение в Карельском университете. Ехали они ко мне шесть часов на поезде, триста километров. Во всем мире доктора сели бы на свои

машины и по скоростной трассе покрыли расстояние за два часа. Но только не в России: автомобилей у моих друзей-профессоров не было, и скоростной трассы между городами тоже не было.

Друзья рассказывали о тяжелых условиях жизни и докторской работы. Я вспомнил:

— Ефим, а ведь в последний раз я встретил тебя как раз в Ленинграде, на улице. Ты мне тогда сказал, что жена послала тебя купить капусту — в Петрозаводске капусты не было.

— Верно. А теперь и картошки нет! — воскликнул он.

Забегая вперед, скажу, что Ефим вскоре уехал в Америку, а Марк — в Израиль…

Мы вышли из гостиницы, отправились на метро на станцию «Невский проспект». Я хотел пройти по проспекту, полюбоваться им, выйти на Дворцовую площадь и набережную Невы. С замиранием сердца поднимался по лестнице из подземного перехода. Передо мной возникли облупленные серые дома.

— Где Невский? Правильно ли мы вышли?

— Это Невский.

— Это — Невский?!.

И все-таки город оставался прекрасным. Так бывает: остаются красивыми глаза, хотя улыбаются они на потускневшем лице.

На следующий день я позвонил Стиву в отель «Ленинград».

— У нас такого гостя нет.

Обзвонил еще несколько отелей — нет. Вот так история, что я тут буду делать один? У меня же нет миллионов, чтобы их жертвовать. Может, Стив поменял день вылета?

Под вечер он сам постучал в мою дверь.

— Стив, наконец ты нашелся! Где ты был?

— Понимаешь, нас привезли в отель «Ленинград», но оказалось, что там нет воды. Мы ждали, но вода так и не появилась. Тогда нас привезли сюда. Нам с сыном дали комнату на одном с тобой этаже.

А я еще ему завидовал!

— Что, здесь часто бывают перебои с водой?

— Не знаю. Раньше не было. Во всяком случае, в первоклассных отелях не было.

— А как ты моешься?

— У себя в ванной.

— И вода у тебя чистая?

— Не идеальная, но терпимая.

— Покажи.

Когда я пустил струю воды, он воскликнул:

— Как ты этого добился? У нас вода темно-коричневая! Позвони, пожалуйста, в техническую службу, чтобы нам наладили

воду.

— Не стоит звонить, это займет слишком много времени.

— Вызвать слесаря займет много времени?

— Стив, ты теперь в России, привыкай к чудесам.

Я пошел к нему в номер и полчаса проливал там воду. Стив с сыном завороженно следили за моими манипуляциями.

Андрианов хотел пригласить нас вечером поужинать в ресторан нашего отеля. Оказалось, что ресторан только за доллары. Я сказал ему:

— Я зарезервирую столик, ты заказывай, а платить будет американец.

— Что ты! Это неудобно, вы наши гости!

— Очень удобно: поездка оплачивается из миллионов его клуба.

— Но я не представляю, как мне сказать гостю: «Платите вы».

— Это я беру на себя.

Выбор блюд в ресторане был неплохой: за доллары все лучше. А выпивки было даже слишком много. Стиву и его сыну все было внове: сначала на стол была тесно выставлена обильная русская закуска: соленые грибочки, малосольные огурчики, разные салаты-винегреты и, конечно, красная и черная икра. Еще больше их поразил настоящий жирный русский борщ: они пробовали его осторожно, зачерпывая с краю ложкой. До шкварчащих жирных битков с гречневой кашей едва дотронулись. Но клюквенный кисель ели с удовольствием.

Однако больше всего произвело на них впечатление обилие тостов. Андрианов разошелся и провозглашал их каждые пять минут, а мне приходилось переводить:

— Первым делом выпьем за дружбу между нашими двумя странами! Надо пить до дна!

— Теперь давайте выпьем за нашу дружбу! Обязательно до дна!

— Теперь выпьем за женщин! Нет, нет, за женщин полагается пить стоя и до дна!

Стив покорно вставал и поднимал своего засыпающего сына. С нами была одна только женщина, красивая молодая жена Андрианова. Я помнил время, когда она работала в патентном отделе ЦИТО, где мы с Андриановым были молодыми профессорами. Тогда он оставил свою прежнюю жену с двумя дочерями и уехал из Москвы с этой новой женой Ириной.

Следующий тост — за благородную миссию Стива. Конечно, надо было выпить и за его сына. Как только за него выпили, он отправился в номер спать. Потом за Ленинград, потом… шел весь традиционный набор тостов. Стив не переставал поражаться:

— Как, опять тост?!.

Подошло время расплачиваться, у меня заплетался язык, я мешал русские и английские слова. А Стиву было уже все равно. Я сказал официанту, чтобы счет записали на его номер.

— О'кей… на мой… номер… — нетвердо подтвердил Стив.

Я вел его по коридору, и мы раскачивались от стенки к стенке.

За завтраком Стив стонал и залпом глушил черный кофе.

— Вы, русские, пьете очень много водки. И тостов очень много. О, моя голова!..

Я тоже был несвеж, но виду не показывал.

Ирина Андрианова приехала за нами на «Жигулях», сказала, что муж встретит нас в институте. Очевидно, и он был не в форме.

Институт детской ортопедии находится в пригороде Ленинграда — городе Пушкине. Когда-то это место называлось Царским Селом и там в Лицее учился Пушкин. Пока мы туда ехали, я рассказывал Стиву и его сыну про поэта и про историю этих мест. О Пушкине они ничего не знали.

— Владимир, откуда ты так хорошо знаком с литературой и историей? — воскликнул Стив.

— Для культурных русских людей всегда было необходимо знать историю, особенно связанную с Пушкиным — национальным поэтом России.

Стив назидательно обращался к сыну:

— Вот видишь, культурному человеку надо изучать историю!

Его отпрыск в ответ шмыгал носом. В американских школах история преподается слабо. Что происходило до и после открытия Колумба, большинство школьников не знают.

Андрианов водил нас по лабораториям и палатам, представляя как важных американских гостей. Ему помогала библиотекарь института, молодая миловидная женщина, неплохо говорящая по-английски, но, по-видимому, не пользующаяся дезодорантом.

В кабинете директора был накрыт стол — чай с бутербродами. Стив сразу предложил Андрианову составить список всего недостающего им. Оказалось, список уже составлен; библиотекарша подсела поближе к Стиву и стала зачитывать его по-английски. Бедный Стив старался как-нибудь незаметно вдохнуть свежего воздуха.

После чаепития нас как почетных гостей повели осматривать Царскосельский дворец. Но моя мечта была снова побывать в Лицее. В молодые годы я бывал там не раз и знал чуть ли не все уголки. Оставив Стива на попечение ароматной библиотекарши, я

поспешил туда, где расцветал гений Пушкина. Посетителей там не было, но я бродил не один: со мной бродили тени юного поэта и друзей его юности.

Еще одно нельзя было никак пропустить: знаменитый ленинградский балет. Хотя и не знакомый с русской историей, о русском балете Стив знал. Когда-то я бывал там не раз и даже лечил нескольких его звезд того времени. Но оказалось, что на вечернее представление «Лебединого озера» было только два билета. Я сказал Стиву:

— Идите вы с сыном. Я много раз видел этот балет.

— Владимир, ну как же так?..

— Я с удовольствием поброжу по вечернему городу. А когда вы вернетесь, я приготовлю вам ужин в номере по своему вкусу.

Лучше бы я этого не обещал. Когда, возвращаясь с прогулки, я попытался купить что-нибудь в магазинах на Невском проспекте, оказалось, что там почти ничего не было. Как?! Я же помнил, что Невский всегда славился своими красивыми и полными магазинами. Разочарованный, я вернулся к одиннадцати вечера в отель и пошел в буфет. Все, что мне досталось, были два вареных в крутую яйца и черствый хлеб. Я разложил эту «трапезу» на столе. Стив с сыном вернулись возбужденные красивым представлением и — голодные. Потирая руки, он сказал:

— Это было действительно прекрасно! Да, русский балет — это достижение!.. А теперь, Владимир, что у тебя на русский ужин?

— Вот это и есть мое достижение на русский ужин, который я смог купить, — и я показал им на скудный стол.

На следующий день мы с Андриановым обсуждали список того, что ему нужно в первую (и во вторую) очередь. Стив обещал все, включая микроавтобус. Потом нас повезли в Эрмитаж. Наша библиотекарша очень толково рассказывала про картины и экспонаты. Мы со Стивом решили, что в благодарность за экскурсию подарим ей духи из валютного магазина при нашем отеле.

Потом была поездка в Петродворец. Пока Стив с сыном рассматривали Самсона, разрывающего пасть льва, из которой бил мощный фонтан, библиотекарша отвела меня в сторону:

— Я хочу попросить вас об одном важном личном одолжении.

— Пожалуйста.

— Не можете ли вы мне помочь уехать в Америку?

— Но ведь это делается официально, по разрешению власти. Вы заявляете, что хотите ехать в Израиль, соединиться там со своими родственниками. А сами едете в Америку.

— Я знаю. Ах, если бы я была еврейка! Но я не могу подавать

документы на эмиграцию — тогда меня сразу уволят. А у меня мама старушка…

Вечером нас пригласила на семейный ужин жена Андрианова. Мы приготовили подарки ей и купили парфюм для библиотекарши. Стив жалобно просил:

— Владимир, скажи профессору, что я не могу пить так много, как тогда в ресторане…

Чего только на столе не было! Каждому из блюд сопутствовал комментарий Андрианова:

— Эту соленую рыбу, настоящий ростовский рыбец, мне привезли за операцию вправления вывиха бедра пятилетней девочке.

— А вот эту телятину отец другой девочки привез мне за операцию исправления сколиоза.

— А вот эти фрукты мне привезла из Грузии мать мальчика, которому я исправил косолапость.

Стив поражался хирургическо-гастрономическим комментариям:

— Очень хорошо, что русские пациенты такие благодарные. Но если они хотят отблагодарить доктора, то почему дают ему продукты, а не подарки или деньги?

Андрианов улыбался:

— На это есть русская поговорка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Ни за какие деньги я не смог бы иметь все эти продукты.

И, обращаясь ко мне, вполголоса добавил:

— Деньги и подарки, конечно, тоже дают. Но не стану же я говорить об этом американцу, да еще в присутствии своей сотрудницы.

Я потом долго растолковывал Стиву смысл поговорки про друзей и рубли. Он никак не мог понять, почему друзья лучше денег:

— У меня есть друзья; это приятно, конечно. Но какая от них польза? Для бизнеса лучше иметь деньги!..

В полночь я усадил Стива с сыном в поезд «Красная стрела». В Москве их встретит представитель посольства США. На прощание Стив обнимал меня:

— Спасибо, Владимир. Не знаю, как бы я мог обойтись без тебя!

— Заплатил бы, и тебе бы помогли.

— Нет, за деньги этого не купишь.

— Ага, теперь ты понимаешь, что иногда друзья важней денег?..

Рабочее место хирурга

После поездок в Москву и Ленинград с посещением скудных русских больниц и институтов мне приятно было вернуться в более привычный американский госпиталь. Разница была, будто из прошлого столетия я перенесся в будущее. Приходя в большие, светлые и богато оснащенные операционные, я просто физически ощущал радость от того, что работаю в таких прекрасных условиях. Приятно было опять встать на свое рабочее место — к американскому операционному столу, и знать, что любой нужный инструмент всегда у меня под рукой.

Привлекательность работы очень зависит от любви к рабочему месту. У каждого профессионала есть свое любимое рабочее место. Помню, как однажды, в 1970 году, знаменитая русская балерина Майя Плисецкая, моя пациентка и друг, повела меня днем за кулисы Большого театра и показала сцену. Я впервые видел громадную и сложную структуру сцены изнутри. А она особенно расхваливала дощатый пол. Мне он казался обычными хорошо подогнанными досками. Но она смотрела на него с умилением и говорила:

— Знаешь, я люблю на этом полу буквально каждую доску.

Я понимал: тысячи раз она танцевала на них — это ее рабочее место. Другой мой пациент и друг, знаменитый летчик-испытатель Георгий Мосолов, с такой же любовью показывал мне кабину самолета-истребителя МиГ, сплошь забитую панелями сложной аппаратуры. Мне она казалась тесной и невозможно сложной. Как во всем этом разобраться? А он рассказывал:

— Когда я сижу здесь, я чувствую себя слитым воедино с этой кабиной, ее частью.

Я тоже понимал: в ней он творит полет своей машины — это его рабочее место.

Каждый мастер своего дела любит и ценит свое рабочее место. И у хирургов тоже есть любимое рабочее место — операционная. В операционной мы преодолеваем трудности природы и творим, мы знаем в ней все оборудование и аппаратуру, здесь мы — часть ее. На других она наводит страх, но для хирургов операционная комната — это их рабочее место, где проявляется их искусство — искусство художников хирургии (если так можно сказать?).

Все хирурги нашего госпиталя проводили в операционных основную часть рабочего времени. Все они были частнопрактикующие доктора, зарплаты от госпиталя не получали и административно никак от него не зависели. Доктор в

Америке — свободная профессия, такая же, как художник и юрист. Деньги докторам платит не госпиталь, а страховые компании пациентов или они сами. Доктора принимают больных в своих частных медицинских офисах. Чем лучше репутация доктора, тем в более дорогом районе расположен его офис.

У всех хирургов с госпиталем есть формальный договор. По нему госпиталь дает доктору «привилегии», право — какие операции доктор может делать. Список операций зависит от специализации доктора на тренинга — в резидентуре. Доктора с привилегиями называются «аттендинги». От страховых компаний пациентов госпиталь получает деньги, намного реже и от самих больных — один день лечения в нашем госпитале стоил около полутора тысяч долларов. Госпиталю выгодно иметь контракты со многими хирургами, и чем больше они поставляют пациентов, тем лучше. За это он предоставляет им рабочее место в операционных и в палатах и обеспечивает всем необходимым: инструментами, оборудованием и лекарствами.

За полтора года в нашем госпитале я насмотрелся на стиль работы моих коллег. У нас работали более ста хирургов. Свои деньги они «делали» (как принято говорить в Америке) в операционной. Ортопедические операции стоят дорого — от полутора до десяти тысяч долларов, иногда и больше. Поэтому в свои операционные дни хирурги назначали по четыре-пять операций подряд, и проводили там долгие часы — с утра до вечера. У многих были контракты еще с другими госпиталями, они оперировали и там. Некоторые из них буквально мотались из госпиталя в госпиталь: утром операции в одном госпитале, вечером — в другом месте, а по субботам-воскресеньям — еще и в третьем, по вызовам на дежурства. Нечего и говорить, что такая работа приносила им большие доходы, но она и выматывала их силы. Хирурги любили жаловаться:

— Ах, как я устал… сам не знаю — для чего я себя так мучаю?..

На самом деле они знали: для денег. Они зарабатывали по двести — триста и даже по пятьсот тысяч долларов в год. И чем больше они зарабатывали, тем больше им хотелось. Сила денег завлекает всех, в Америке — особенно.

Но в госпитале у хирурга есть и другое рабочее место — в палате, у постели пациента. Каждый доктор проводит там часть рабочего времени. Сколько времени — это зависит от тяжести состояния больного и, конечно, от внимательности доктора. Были у нас доктора, которые внимательно осматривали своих больных. Но таких были единицы. Большинство из них всегда торопились, уделяли пациентам мало внимания, поверхностно оглядывали их

повязки после операции, а то и этого не делали. В американских госпиталях пациенты одного доктора не концентрируются в одном определенном отделении, а лежат по разным этажам.

В зависимости от популярности и занятости у каждого доктора лежало в госпитале одновременно по пять — семь больных. Обычно после операции выписывали быстро — через три — пять дней. Лежали они на разных этажах, доктора ходили вверх-вниз, торопливо переходя из палаты в палату. Заглянет такой доктор к своему пациенту после операции, спросит с порога:

— Ну, как вы себя чувствуете?

И даже не дождавшись конца ответа, переходит к другому — с тем же вопросом и такой же реакцией. Потом сделает в истории болезни короткую быструю запись и уезжает — спешит к себе в офис или в другой госпиталь. И общих обходов со старшими докторами у нас не было. Только резиденты должны были обходить больных с аттендингами и слушать, что они им говорят. Для резидента слово аттендинга — закон. Но резиденты тоже почти всегда заняты в операционной. Поэтому между аттендингами и резидентами контактов было мало. Однако всю работу по выхаживанию больных за аттендингов должны были доделывать резиденты и помощники врача (Physician Asistent — вроде фельдшера в русской медицине).

Все это вызывало много сложностей и недовольств со стороны больных. Но над американскими докторами начальников нет, за свою работу каждый отвечает только перед законом. Указывать им — что и как делать, не имеет права никто, включая директора и профессора. Рекомендовать и просить они могут, но не указывать. Если конечно, не случилось что-то особое.

По началу, я по своей инициативе старался ходить на обходы с Виктором Френкелем и иногда с другими старшими аттендингами: я хотел перенять их основные традиции. Но я долго не мог уловить общие установки лечебного подхода к пациентам. Прошло довольно времени, пока я понял — их и не было. Стиль работы у каждого доктора был свой, каждый работал так, как считал нужным. А ошибки и осложнения, если были, обсуждались раз в месяц на общих конференциях «M&M — Mortality and Morbidity» то есть «Смертность и осложнения». По счастью, того и другого было очень мало.

Френкель делать обходы своих частных больных не любил и называл их «Via Rosa» — название улицы в Иерусалиме, по которой Христос нес свой крест. Быстрый во всем, он и своих больных обходил наскоро, мы с резидентами еле за ним поспевали. Но авторитет его был непререкаем для его пациентов,

они не допускали возможности сердиться на него. Зато мне часто приходилось возвращаться в палаты, чтобы уделить им больше внимания, ответить на их вопросы, объяснить что-либо. Им я объяснял, что доктор Френкель торопился на операцию. Виктор мое отношение понимал и ценил. Однажды, когда мы шли на обход вдвоем, он признался:

— Знаешь, я раньше был внимательным доктором, меня все волновало — что с моими пациентами. А теперь… может — постарел.

Я удивлялся такому стилю работы и не все в этой организации мне нравилось. Но по опыту я знал: есть два пути научиться чему-либо — как НАДО делать, и как НЕ НАДО делать. Я наблюдал наших хирургов с позиций врача старых русских традиций неспешной и более внимательной работы. В России каждый хирург работал в одной больнице и в одном отделении, и все его больные концентрировались в двух-трех соседних палатах на одном этаже. Работали все на государственной зарплате от больницы, на одну или полторы скудные ставки. Поэтому многие стремились подрабатывать ночными дежурствами или на приемах в поликлинике. За операции денег не получали, поэтому не старались делать их больше: сколько ни работай, больше положенной ставки не заработаешь. Доктора никуда не торопились — ходили из палаты в палату, обязательно в сопровождении сестры, и уделяли своим пациентам достаточно внимания. Стиль работы был спокойнее — это было хорошо. Но ведь и весь стиль жизни в России был замедленный, не такой, как бурный стиль жизни в Америке. Зато и заработки русских хирургов были просто нищенские. Что хуже, что лучше?

Илизаровское удлинение

Биппер на моем поясе опять запищал, и оператор госпиталя передала, что доктор Френкель вызывает меня в детское отделение.

Там, в отдельной палате, человек десять интеллигентных на вид взрослых, явно восточного типа, весело переговаривались. Посреди группы возвышался Виктор и громким голосом им что-то рассказывал. Я знал, что Виктор любит привлекать внимание, но обстановка нездорового возбуждения в больничной палате показалась мне странной.

Я протиснулся в центр.

— А вот и он! — объявил Виктор. — Доктор Владимир, ученик самого профессора Илизарова. Он будет помогать мне на операции!

Все уставились на меня. И тут я увидел, что на кровати сидел, поджав короткие ножки, мальчик с выразительными темными глазами. Он испуганно переводил взгляд то на Виктора, то на меня.

— Владимир, — сказал Френкель, — у этого чудесного мальчика болезнь ахондроплазия. Мы будем удлинять ему обе ноги. Я сказал, что Илизаров удлиняет конечности на двадцать — двадцать пять сантиметров, а мы подарим ему по крайней мере пятнадцать. Сделаем одну ногу, потом другую. Первую операцию назначаем на завтра. Займись подготовкой.

И он вышел из палаты.

Оказалось, что родители мальчика привезли его к нам после выступления Френкеля по телевидению с рассказом об Илизарове. Они были иммигранты из Ирана, отец работал психиатром в одном из лучших Нью-Йоркских госпиталей. Остальные были родственники и соседи. Один из них представился мне репортером журнала «Тайм». Он сказал, что, как только мальчику будет сделана операция, он напишет об этом статью.

— Про вас я тоже напишу, — пообещал он, что прозвучало зазывающе, а главное, преждевременно: опыта в таких операциях у нас с Френкелем было еще мало.

Мне бросилось в глаза, что родители ребенка — люди невысокого роста, неудивительно, что и сын был маленький. Но его ноги и руки были слишком коротки, поставить диагноз было нетрудно: врожденная болезнь хрящевой ткани, при которой сильно отстают в росте кости рук и ног. Болезнь эта по латыни называется красиво — «ахондроплазия», но она уродует людей:

при почти нормальном теле и большой голове конечности у них короткие и кривые.

Мать и отец подвели меня к мальчику:

— Это доктор Владимир. А нашего сына зовут Гизай. Гизай, скажи доктору «хэлло».

Слабым голоском он что-то пискнул, испугано тараща на меня черные пуговки глаз.

А взрослые, возбужденно перебивая друг друга, стали забрасывать меня вопросами:

— Правда, это гениальная операция? А очень больно?

— На сколько сантиметров нога удлинится сразу?

— На сколько можно ее удлинять каждый день?

— А можно сделать больше, чем пятнадцать сантиметров?

— Когда будет операция на второй ноге?

— Когда он сможет ходить и бегать, как здоровый?

Гизай испугано прислушивался к их гвалту и, кажется, готов был расплакаться. А я думал: как это отец-психиатр не понимает, что такие вопросы травмируют психику больного ребенка? И как это мать настолько не щадит сына? Я гладил Гизая по курчавой голове и старался смягчить резкость вопросов, как мог:

— Нет, это совсем не больно. Ты не волнуйся, Гизай, ты будешь спать под наркозом. И, конечно, как доктор Френкель сказал, так мы твои ноги удлиним.

Гизай был частным пациентом Виктора, а по правилам американской медицины все обсуждения и пояснения, касающиеся операции и лечения, — на ответственности доктора. Если другие станут вставлять свои предположения и замечания, может получиться печальное несоответствие мнений. Например, я не стал бы заранее обещать многого в удлинении костей, не был бы так категоричен, называя сантиметры. Но раз Френкель так сказал, это было на его ответственности. Поправлять его я не имел права.

Когда посетители стали уходить, претенциозно одетая крашеная блондинка лет шестидесяти протянула мне пачку толстых журналов:

— Доктор Владимир, это вам, посмотрите на досуге.

Я глянул на обложки и смутился: это были номера известного порнографического журнала «Penthouse». Почему незнакомая пожилая женщина решила сделать мне такой странный подарок? Да еще при других людях! И у постели больного ребенка! Я не знал, что сказать. Но мать Гизая туг же с гордостью объяснила:

— Эта дама — наш лучший друг и наша соседка. Наши дома стоят рядом. И знаете, чья она сестра? — Мать важно повысила голос. — Она сестра издателя этого журнала. И сама работает в

редакции. Возьмите, доктор Владимир, это интересно.

Интересно-то оно интересно, только смотря для кого и в какой ситуации.

— Спасибо, но мне некогда их читать.

— Да вы не читайте, вы только смотрите на фотографии — такие девочки! — уговаривала мать Гизая.

— Оставьте их у себя, мне надо готовить операцию вашему сыну.

Лечение каждого хирургического больного — это само по себе драматическая история. Тем более такое редкое лечение, как пластическая операция удлинения конечностей.

Вечером, полистав статьи Илизарова, я нарисовал схему того, что мы должны были делать. Виктор одобрил мой план, и мы пошли в операционную.

Работа была почти ювелирная. Мы закрепили на ноге аппарат самого маленького размера и через небольшой разрез рассекли кость посредине. В месте этого рассечения будет идти постепенное растяжение по одному миллиметру в день.

Взволнованные родители ждали в холле и кинулись навстречу:

— Доктор Френкель, как прошла операция?

— О'кей, не волнуйтесь, все сделано как надо.

— Доктор Френкель, когда вы начнете удлинять?

— Через два-три дня станем растягивать по одному миллиметру.

— Доктор Френкель, а нельзя больше, чем по миллиметру?

— Иногда можно делать по полтора миллиметра.

— Лучше делайте по полтора. А вы сможете удлинить ноги на пятнадцать сантиметров?

— Конечно, если все пойдет без осложнений.

— Доктор Френкель, а нельзя на двадцать?

Я стоял рядом и удивлялся: почему они так настаивали на большем удлинении? Ведь нога — не палка, нужно, чтобы мышцы, сосуды и нервы приспособились к новой длине кости.

В медицине есть наблюдение, которое называется «закон парности случаев»: почти всегда вслед за одним каким-нибудь больным поступает другой с таким же заболеванием. Так случилось и на сей раз: буквально через день к Виктору поступил другой частный пациент, мальчик-карлик такого же возраста. Но у него руки были еще короче ног, он ими почти ни до чего не доставал и страдал от этого. Удлинение ему надо было начинать с рук. Опыта в этих операциях у нас было еще меньше.

Мальчика звали Антони, с ним была его мать. В отличие от родителей Гизая она вела себя очень спокойно и корректно,

переживала предстоящую операцию без истерики и чрезмерных надежд, без лишних вопросов. Она к нам не приставала и ни на чем не настаивала, просто доверяла нам и жалела своего сына. И сам он был спокойнее Гизая.

В методе удлинения конечностей сделать саму операцию — далеко не все. Потом надо методично проводить удлинение растягиванием кости на аппарате по четыре-пять раз в день, каждый раз на четверть миллиметра. Для этого в аппарате есть специальное устройство с поворотной гайкой. Удлинение занимает от двух до четырех месяцев. Потом удлиненная кость должна в аппарате окрепнуть — это еще три-четыре месяца. Длительное лечение требует терпения от стороны пациента и доктора. Но в американских госпиталях так долго больных не держат. Поэтому первые семь — десять дней я инструктировал больных или их родителей, как делать удлинение. Интересно, что дети понимали и запоминали инструкции быстрей и лучше родителей. Нередко бывало, что они говорили родителям:

— Мама, ты делаешь неправильно. Доктор Владимир показывал вот так. — И все делали верно.

Домой их выписывали с аппаратами на ногах или руках.

Потом они приезжали на визиты в офис, раз в неделю или в две, и мы с Виктором контролировали ход удлинения и нет ли осложнений. За длительное время вероятны разные осложнения. Многое зависит от искусства доктора и терпеливости пациента. Хотя осложнения возможны, их можно избежать или исправить, если… если знать, как все делать правильно.

Мать Антони понимала все инструкции с первого раза. Мать Гизая путалась и мучила меня вопросами по телефону. Я просил ее мужа делать удлинение.

— Нет, нет, я психиатр, я руками ничего делать не умею. Пусть жена этим занимается.

Зато он давал своему сыну излишнее количество обезболивающих и успокоительных лекарств. От этого у Гизая начались судороги. Отец испугался и опять привез его к нам.

— Эти судороги у моего сына от вашей операции.

Обвинение было необоснованное, но симптоматичное: много можно ожидать от таких родителей. Гизай лежал в госпитале несколько раз. За это время он подрос почти на десять сантиметров. Было видно, что для его маленьких ног этого пока достаточно. Я учил Гизая ходить с костылями. Он любил подходить к окну, подолгу стоял возле него и сам себе улыбался. Я спросил:

— Гизай, ты доволен, что тебе сделали операцию?

— Очень!

— А чему ты улыбаешься?

— Я теперь подхожу к окну и могу видеть, что происходит на улице. А раньше я никогда не мог достать до подоконника.

Антони, с двумя аппаратами на руках, тоже выглядел довольным. Удлинение его рук уже достигло двенадцати сантиметров. Входя в офис, он всегда держал руки в карманах.

— Антони, почему ты держишь руки в карманах?

— Я никогда раньше не мог достать руками до карманов, — сказал он, а потом наклонился ко мне и сказал шепотом: — И до своей письки тоже не мог достать, а теперь могу держать ее в руках…

И еще тише, но с огромной радостью:

— И я могу сам подтирать себе попку.

…Мы сами не сознаем — то, на что здоровые люди не обращают внимания, способно глубоко травмировать души людей с очень маленьким ростом, настоящих карликов.

Но мать Гизая все время настаивала на еще большем удлинении. А у него начались проблемы: удлинение шло быстрей, чем успевали привыкать мышцы и нервы, в ногах появились боль и слабость. Я пытался осторожно, не противореча указаниям Виктора, уговорить ее, что уже хватит удлинять, что нога это не палка, что иногда можно испортить достигнутое. Она слушала, но как только в кабинет заходил Виктор, она кидалась к нему с вопросом:

— Доктор Френкель, можно удлинить еще больше? Ну, хотя бы на два сантиметра.

К моему удивлению и недовольству, он бравурно отвечал:

— Хотите больше? Можно. Владимир, давай удлиним еще на два сантиметра. Все идет о'кей. Следующий визит через две недели.

Если частный доктор так сказал, то возражать не приходилось — он в ответе за все.

Дядя Гизая в самом деле опубликовал в «Time» статью про илизаровский метод лечения. В ней говорилось, что теперь у Гизая появилась надежда. Было и упоминание обо мне. Чего статье не хватало, так это результатов лечения. А у Гизая они были пока сомнительные. Но Виктор остался доволен:

— Хорошая реклама!

И уж совершенно счастлива была мамаша. Вместо беспокойства за состояние сына, она носилась по госпиталю с пачкой журналов в руках и всем их раздавала:

— Здесь про моего сына! Это мой сын! Доктор Френкель сделал ему операцию по русскому методу. Он удлинит ему ноги на двадцать сантиметров.

А тем временем ее сын плакал от боли.

В нашем лечении карликов возникло одно непредвиденное осложнение: после публикации статьи на госпиталь обрушился шквал критики со стороны «Общества маленьких людей Америки». В США существует масса всяких ассоциаций и обществ, есть и ассоциация карликов. Они стали выступать против удлинения. Мотивация протеста была такова: они могут жить и чувствовать себя вполне счастливыми, несмотря на маленький рост и дефекты конечностей. Они не понимали, что наши операции — не косметическая хирургия. Удлинение ног и рук способно дать им не только исправление физического недостатка, но и оздоровление их душевного состояния.

Впрочем, не все «маленькие люди» так думали: к нам продолжали обращаться родители карликов, реклама действовала. Одна пациентка была иммигрантка из Советского Союза, двадцати двух лет. Ее родители эмигрировали пять лет назад с целью найти где-нибудь возможность увеличить ее рост. Приехав в Америку, они тогда не нашли в ней никого, кто мог бы им помочь. Но услышали, что в Индонезии есть какой-то шаман, который делает любые операции без разреза мышечных тканей. Эти легковерные люди с трудом наскребли деньги и повезли дочку в Индонезию. Ничего они, конечно, от того шамана-шарлатана для своей дочки не добились и вернулись с ее короткими ногами. И тут узнали про наш госпиталь. У них была страховка для бедных, и Виктор предоставил эту больную на мое попечение. Первым делом я спросил родителей:

— Почему вы уехали из России, не попробовав лечить дочку у профессора Илизарова?

— Да разве бы мы уехали, если бы знали о нем! Мы ничего о нем тогда не знали.

Вот что значило полное отсутствие официальной информации и рекламы.

Я оперировал ту молодую женщину и удлинил ее ноги на пятнадцать сантиметров — как все они были счастливы!

За долгое лечение доктор с пациентом почти всегда сближаются. Оба наши крохотных мальчика вполне доверяли мне и не боялись: я никогда не делал им больно. А их мамы свыклись со мной еще больше. Мать Гизая настаивала, чтобы я обязательно навестил их дома. Я долго от этого визита уклонялся. Тогда она устроила званый обед для нас с Ириной, с приглашением ее соседки из порножурнала. Отказываться было уже неудобно.

Они жили в своем доме, в штате Нью-Джерси, соседнем с Нью-Йорком: езды на машине от нас менее часа.

Дом стоял над рекой Гудзон. У них были две служанки,

нелегально живущие здесь иранки. Угощали они нас национальными блюдами. За обедом хозяйка стала делиться своими честолюбивыми мечтами: она хотела стать не более не менее как губернатором штата. «Господи! — Я чуть не подавился. — Эта взбалмошная дура — губернатор?!» Ее муж над ней посмеивался, она рассердилась и отпустила в его адрес несколько двусмысленных замечаний на предмет того, что он плохой муж (понимай как знаешь).

Зато соседка была в восторге от ее идеи:

— Ты будешь великим губернатором!

Соседка с мужем жили рядом, в куда более богатом доме; доход от продажи порнографического журнала позволял им иметь большую яхту. Они хвастливо показывали ее нам у пристани. Яхта действительно была роскошная. Все в ней блистало и сверкало, повсюду были разложены те журналы. Мать Гизая бурно завидовала их богатству и опять попрекала мужа. Все это было до того неприятно, что мы с Ириной постарались поскорей закончить обед и уехать.

Но более всего меня расстроил наш Гизай, про которого родители почти даже не упоминали. Мальчик встретил меня радостно, я попросил его показать мне достижения в ходьбе, но — увы! — их пока не было: он сидел на кровати, ноги были длинные, как палки, а мышцы слабые. И он уже не мог подходить к окну и смотреть, что за ним происходит. Я видел, что с такими родителями хороших результатов не будет. К сожалению, дальнейшие события с Гизаем развернулись довольно драматично. Но это потребует отдельного рассказа…

Как-то мне позвонил ортопедический хирург Галеспи из штата Джорджия, на юге страны, и просил приехать, чтобы сделать вместе с ним операцию удлинения ног девочке-карлице. Состоятельные родители оплачивали мне дорогу и обещали гонорар в тысячу долларов. Жили они в небольшом жарком городе Олбани, занимающем чуть ли не первое месте в стране по преступности. Я объяснил доктору, что у меня пока нет лицензии.

— Не имеет значения, операция будет записана на мое имя.

Доктор, встретив меня, пригласил остановиться у него. Мне до сих пор еще не приходилось близко видеть жизнь провинциальных докторов. Они живут совсем по-другому, чем в крупных городах: у Галеспи был громадный двухэтажный дом, настоящий особняк, в зеленом парке — поместье.

В гараже стояли три автомобиля, дорогой мотоцикл и небольшая моторная яхта. На местном аэродроме у него был свой спортивный самолет. Доктор увлекался фотографией и объездил все экзотические уголки мира, делая интересные снимки. Пока он

показывал мне свое хозяйство, я вспоминал о жизни провинциальных врачей в России.

В первый вечер мы с ним осматривали пациентку в местном госпитале. По размерам и значению это был эквивалент советской районной больницы. Но какой эквивалент! В нем была вся та же аппаратура, что и у нас в госпитале.

На другой день мы с ним сделали операцию сразу на двух ногах. Это заняло полдня. Родители девочки пригласили нас в роскошный клуб-ресторан для местной элиты и угощали южными блюдами. На третий день утром я осмотрел девочку, она чувствовала себя хорошо. Такая операция делалась в штате впервые, и местная газета прислала корреспондента, чтобы сфотографировать нас с пациенткой. Я оставил подробную инструкцию, что и как делать, и просил, чтобы звонили мне в Нью-Йорк.

С чеком на тысячу долларов в кармане я прилетел обратно и под вечер отпирал дверь своей квартиры. Только я открыл ее, ко мне кинулась радостная Ирина:

— Сдал, сдал!

Я понял, что речь идет об экзамене, но растерялся и не сразу поверил:

— Покажи мне письмо.

Там было написано, что я сдал экзамен на 77 балов и имею право получить лицензию.

Итак, наконец я стал полноправным лицензированным американским доктором. Мы сразу пошли на квартиру к моей маме. С ней тогда жил наш сын. Мама обнимала меня и плакала от радости. Сын развеселился, Ирина счастливо улыбалась. Ну, а я… мне как-то не верилось, что это позади.

Все хорошо, что хорошо кончается, как писал Шекспир.

Курган

Рано утром я застал Виктора в кабинете сидящим над кипой деловых бумаг. Не отрывая от них глаз, он сказал:

— А, Владимир, заходи. Ну, как прошла твоя операция в Олбани? — просматривая бумаги.

— Все о'кей, — я сделал паузу. — Знаешь, меня можно поздравить.

Виктор оторвался от бумаг:

— Ты сдал экзамен? Ну, поздравляю! — я видел, что он искренне обрадовался моему успеху. Много у меня было начальников в России, и, хотя я сумел добиться хорошей карьеры, ни один из них за меня так не радовался. Настоящая демократичность в отношениях между людьми у американцев в крови.

— Ну, Владимир, давай получай скорее лицензию, а когда получишь, будем работать с тобой как партнеры в илизаровском бизнесе. А у меня тоже есть новость для тебя. Я говорил с президентом фирмы «Ричардс», они хотят послать тебя за их счет в Курган во главе группы американских ортопедов.

— В Курган? Вот спасибо. Когда?

— В сентябре.

Да, теперь это была возможность увидеть своими глазами, как работают илизаровцы. А заодно и повидать старого друга в его сибирской берлоге. Это будет третья поездка в Россию за один год. После Москвы и Ленинграда мне интересно было увидеть — как и чем живет теперь глубинка России.

На двухнедельные курсы обучения методу Илизарова в его клинике летела большая группа: девятнадцать американских докторов и три сотрудника фирмы «Ричардс». Русский язык знали только двое — я и Ник Зелинский, инженер фирмы. Все доктора занимали высокое положение, было даже несколько профессоров. Наверное, за всю историю это было впервые, чтобы столько американских докторов ехали в Россию учиться русскому методу. Курганский институт получал за обучение, содержание и питание группы по три тысячи с каждого. Эти шестьдесят шесть тысяч долларов были огромным подспорьем для института: экономическое состояние России все ухудшалось. Но, если сравнить эту сумму с бюджетом среднего американского госпиталя, то она составляла едва ли пятидесятую часть его.

Я почти никого из группы не знал и чувствовал себя несколько неуверенно: мне надо их организовывать, а народ солидный, указывать неудобно. Приехав в аэропорт Джона

Кеннеди, я встал у входа, подняв транспарант с крупными буквами «ILIZAROV».

— Это вы доктор Владимир? — подходили ко мне хирурги.

Большинство членов группы тоже были не знакомы друг с другом. Наконец, собрались все: двадцать два мужчины и одна женщина — Лорейн, из Лос-Анджелеса. Это было обычное соотношение докторов мужчин и женщин в американской хирургии.

Мы знакомились друг с другом все двенадцать часов полета в Москву. Я взял с собой американское издание своей книги «Русский доктор» и дал читать всем, кто интересовался. Вообще американские доктора читать книги не любят, у них на это нет времени и привычки. Но Лорейн сразу углубилась в чтение. По крайней мере она хоть что-то узнает о русской медицине и обо мне.

На один день мы остановились в Москве, в гостинице «Космос». Многие хотели увидеть Красную площадь и Кремль. Я предложил:

— Можем поехать на метро, всего несколько остановок; я покажу вам Красную площадь, Кремль и центральные улицы. Только уговор — не разбегаться!..

Мы вышли на Красную площадь и остановились перед мавзолеем Ленина. Длинная очередь медленно и понуро вползала под мрачные своды мавзолея, как будто он их заглатывал. Американцы смотрели с удивлением, расширив глаза, на них это произвело впечатление:

— Их заставили или они сами пришли?

— Неужели они все так любят мертвого Ленина?

— Ты тоже стоял в такой очереди?

— А живого Ленина ты видел?

Я рассмеялся. И когда водил их по территории Кремля и мы заходили в соборы с гробницами царей, все ждал вопроса: не помню ли я кого из русских царей? Но об этом они меня не спросили.

С настороженностью они рассматривали здание КГБ на Лубянке (тогда еще на площади Дзержинского). Про КГБ все они слышали.

— Это здесь мучили и убивали евреев? — вопрос был поставлен так, потому что у нас в группе было много евреев.

— И люди не боятся проходить мимо? А вдруг их схватят!

— А теперь, при Горбачеве, там тоже мучают политических заключенных?

— Как это Горбачев допускает, что этот дом все еще стоит? Почему он его не снес?..

Я не удивлялся наивности вопросов: только те, кто не жил в Америке, не знают, какой у американцев наивный подход к политике.

Я отвечал, объяснял, разбавлял рассказы старыми политическими анекдотами, чтобы немного разрядить мрачность впечатлений. Я говорил и говорил, пока во рту не пересохло. На улице Горького мы зашли в большой магазин — купить пару бутылок минеральной воды. Полки магазина были почти пусты. Полгода назад я заходил сюда, и на них еще хоть что-то лежало. Пустые полки произвели на моих спутников чуть ли не большее впечатление, чем очередь в мавзолей.

— Что, все продукты раскупили до вечера?

— Где же покупают люди, идущие с работы?

— Может быть, идет забастовка водителей грузовиков?

— Почему в рыбном отделе только консервы?

— Владимир, как же люди могут так жить?

Действительно — как? Ну что можно было ответить… Я отвечал, объяснял, пытался растолковать — не понимали.

Утром вылетали в Курган с Быковского аэродрома на небольшом тесном самолете. Погода была ясная, высота полета небольшая, и я видел в иллюминатор места, в которых прошло мое раннее детство: Горький, Волга, Казань, где я родился, потом — Кама, а вот на ее берегу и Чистополь, где я жил в эвакуации, во время войны, и окончил школу. Я смотрел, и вспоминал, и почти наверняка знал, что вижу все это в последний раз… Когда перелетели древние Уральские горы, я сказал своим спутникам:

— Теперь мы в Азии.

— Как ты это узнал?

— Как? — Я улыбнулся. — По запаху.

Все, смеясь, передавали друг другу эту шутку: «Мы летим над Азией, Владимир узнал ее по запаху…»

В Кургане была на удивление теплая и солнечная погода. Все поражались:

— Вот это интересно: прилетели в Сибирь, а тут так тепло.

Пока самолет выруливал по широкой бетонной взлетной полосе к новому невысокому зданию аэровокзала, я вспоминал, как 24 года назад, в 1965 году, прилетел сюда впервые. Тогда я тоже прилетел с энтузиазмом — обучаться методу. Тогда здесь все было по-другому — грунтовая полоса, деревенская избушка вместо аэровокзала. Илизаров встречал меня на маленьком старом «Москвиче». Мог ли я тогда предполагать, что через столько лет опять приеду сюда американским доктором, да еще и во главе группы других американцев!

У трапа самолета нас встречал улыбающийся Гавриил с

небольшой свитой помощников. Спускаясь по трапу, я присматривался к нему. После лечения в Америке он выглядел явно поздоровевшим. Со звездой Героя и медалью Ленинской премии на пиджаке, он казался очень важным. Такая встреча была неожиданной для американцев.

— Это Илизаров?

— Ого, сам Илизаров приехал!

— Где Илизаров?

— Это он, я видел его по телевидению…

Пока мы с Ником представляли ему членов группы, многие тут же с ним фотографировались. На автобусе нас повезли в ресторан на ланч. Впереди ехала машина милиции, за ней на черной «Чайке» Илизаров со своими докторами — все выглядело очень официально.

Хотя в Кургане была довольно приличная гостиница, нас разместили не в ней, а в общежитии местного техникума. Очевидно, власти города и сам Илизаров считали, что нас лучше не смешивать с русскими гостями и местным населением.

У входа выстроилась группа женщин. Мне подсказали, и я объяснил: это комендант общежития, хозяйственные работники, поварихи, официантки, уборщицы — они будут нас кормить и ухаживать за нами. Демократичные американцы пожимали им руки, женщины смущенно улыбались, вытирали руки передником и протягивали ладошки «ковшиком». Двое молодых инженеров с «Ричардса» сразу уставились на двух хорошеньких официанток и пытались с ними заговорить по-английски, но ничего из этого флирта не вышло — те лишь смущенно хихикали.

Каждому из нас предоставили по небольшой чистой комнате на втором этаже, с узкой железной койкой, у каждого была темная душевая комнатка с туалетом, где стояли два оцинкованных ведра.

— Зачем нам ведра?

На мой вопрос хозяйка смущенно ответила:

— Горячей воды, извините, временно нет. Но вы можете каждое утро спускаться с одним ведром вниз на кухню — там вам будут давать кипяток. А другое ведро для смешивания с холодной водой. Вы уж извините.

— А когда пустят горячую воду?

Она выразительно развела руками.

Я разъяснил моим коллегам эту удивительную технологию утреннего купания.

После устройства нас повезли в илизаровский институт. Официально он назывался Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной травматологии и ортопедии

(КНИИТО). Это было настоящее чудо, поразившее и американцев, и меня: самый большой в мире ортопедический госпиталь, на восемьсот больных. Он стоял посреди просторного парка, огороженного красивой чугунной оградой. Там же были отдельный корпус для научных лабораторий, виварий для экспериментальных животных и небольшой завод для производства аппаратов Илизарова. Главный шестиэтажный корпус был звездчатой формы с пятью расходящимися крыльями. В нем просторный парадный вестибюль с фонтаном.

Грандиозность и красота института поразила всех:

— Владимир, это его собственный госпиталь?

— В России нет ничего собственного, все — государственное.

— В Сибири — и такой госпиталь! Поразительно!

Нас повели в амфитеатр большой аудитории. Я шел по этому дворцу, как зачарованный, и продолжал вспоминать тот свой первый приезд. Илизаров был тогда никому не известным провинциальным врачом и работал в старом двухэтажном госпитале инвалидов войны. Я был первым доктором из Москвы, кто приехал обучаться его методу. И, хотя я знал, что Илизаров сделал открытие, но я также знал, что в нашей стране дороги для личной инициативы очень и очень трудные. Как удалось Илизарову это чудо в небольшом провинциальном советском городе? Поистине, для этого нужно быть кудесником, правильно люди назвали его так еще задолго до постройки этого дворца.

А все дело было в том, что целеустремленностью и настойчивостью он сумел доказать тугодумным властям, что его метод лечения дает не только блестящие результаты, но и государственную экономию в лечении больных — он быстрее, проще, эффективнее и дешевле других. На доказательство этого у него ушло двадцать лет жестоких стычек с бюрократами. И только в 1980-е годы, получив признание, сумел он построить этот институт.

В аудитории происходило более подробное знакомство профессора с нами. Ник Зелинский рассказывал ему про каждого. Когда дошла очередь до меня, Ник сказал:

— Это доктор Голяховский из Нью-Йоркского госпиталя для заболеваний суставов.

Илизаров улыбнулся в усы:

— Ну, его-то я знаю…

В тот первый вечер наши хозяйки в общежитии устроили для нас пышный ужин. Столы в большой столовой были расставлены буквой П и накрыты больничными простынями. На них густо стояли бутылки водки, коньяка, шампанского и минеральной воды, в банки разложена черная и красная икра и обильные

русские закуски. Две хорошенькие официантки, в мини-юбках с белыми фартуками целый вечер суетились и обносили нас горячими блюдами. Время от времени в дверях кухни появлялись фигуры поварих и кухарок, они украдкой посматривали на нас. Когда мы стали расходиться по комнатам, я предупредил всех:

— Ни за что не пейте водопроводную воду из-под крана и не чистите ею зубы. Берите минеральную воду со стола.

Вместе с бутылками «Нарзана» и «Боржоми» мы прихватили и недопитые вина: пригодится для камерных бесед.

Но не все поднялись наверх: на этот раз двум нашим молодым инженерам удалось каким-то образом объясниться с официантками, и после ужина эти ребята исчезли — вместе с ними.

Проснувшись рано, я взял ведро и пошел на кухню. Мне надо самому проверять: действительно ли там есть горячая вода? Поварихи и кухарки, крупные сибирячки, повязанные белыми платками, уже возились у громадной плиты, на которой стояли большие чаны с кипящей водой. Смущаясь иностранца и улыбаясь ему, они жестами указывали на чаны и пытались выхватить ведро: мы, мол, вам нальем, господин американец.

— С добрым утром, — сказал я. — Не беспокойтесь, я сам могу налить.

Как они удивились!

— Это как же?.. Извините, откуда вы русский-то знаете?

— Потому что я русский.

— Русский? А нам говорили, что все американцы.

— Верно, все. И я тоже американец. Но раньше я был советским и жил в Москве.

— А как же это вы в Америке-то оказались?

— Я эмигрировал туда в 1978 году.

— Эмигрировали?.. Как это?.. Разве можно было?

— Можно.

— А семья ваша в Москве осталась?

— Нет, мы все вместе выехали. Мы живем в Нью-Йорке.

Простым женщинам из глубокой провинции еще не приходилось видеть эмигранта из их страны, для них это было еще большее чудо, чем американцы. Похоже, они вообще мало знали об эмиграции: в провинции, особенно там, где было мало евреев, эмиграция пребывала в зачаточном состоянии.

Начались походы наших докторов вниз с пустыми ведрами и осторожные подъемы вверх с наполненными кипятком. Для американцев душ утром — как молитва: день американца начинается с душа. Они очень чувствительны к запаху пота. Но не все хотели идти за горячей водой и обливались холодной. Ночь

была прохладная — и вода соответственно тоже. Поэтому из их комнат слышались громкие охи, ахи, рычания и повизгивания.

Единственной нашей женщине Лорейн, читательнице моей книги, я принес ведро с горячей водой. Она была профессор и замужем за профессором хирургии, жили они с двумя сыновьями в богатом доме, и вряд ли ей когда-нибудь приходилось таскать ведра. Я поставил ведро у ее двери и постучал:

— Лорейн, с добрым утром! Горячий душ приехал. Только осторожно с ведром.

Оттуда высунулась дамская ручка, махнула мне и ухватила ведерко, тоже за ручку.

Нам так и не включили горячую воду, и такое удовольствие мы имели каждое утро. А так как минеральной воды иногда было мало, а шампанское всегда оставалось, то некоторые наши доктора по утрам полоскали рот… шампанским.

Питались мы только у себя в столовой, три раза в день нас возили на автобусе из общежития в институт и обратно. Поварихи кормили нас очень вкусно и обильно, а официантки вежливо обносили и с каждым днем все ласковей переглядывались с молодыми инженерами. Один раз я спросил у них:

— Ребята, скажите откровенно — какая разница между американскими и русскими девчатами?

Не задумываясь, оба ответили:

— Русские реже принимают душ.

Очевидно, другой разницы не было. Но эта произвела впечатление. Неудивительно, конечно, что девушки мылись реже — горячей воды ведь никогда не было…

На второй вечер за мной заехал шофер Илизарова и повез к нему домой. Жил он в стандартном пятиэтажном доме без лифта, какие строили по всему Союзу с хрущевских времен. Их тогда так и прозвали — «хрущобы». Но и этого дома для сотрудников своего института Илизаров долго добивался от местных властей. Ему даже удалось уговорить строителей, чтобы потолки сделали немного выше стандарта в 2,5 метра.

В доме для него была специально сделана четырехкомнатная квартира на третьем этаже. Жил он с женой Валентиной, моложе его на пятнадцать лет. Она раньше работала врачом-рентгенологом вместе с ним, но заболела артритом, плохо ходила и теперь была на пенсии по инвалидности. Комнаты довольно маленькие, но по советским меркам и это было роскошью.

Я был не единственным гостем: шофер привез еще мэра итальянского города Руфино, что неподалеку от Флоренции, коммуниста Эмилио Ромбенчи с переводчицей. Мне объяснили, что Руфино — побратим Кургана, и мэр тут по делам. Дружба

городов началась с того, что Илизаров вылечил девочку-инвалида из Руфино. Еще раньше он вылечил знаменитого итальянского путешественника и ученого Карло Маури, спас его ногу от ампутации. Тот посоветовал отвезти девочку в Курган. Потом Илизарова пригласили в Руфино и сделали почетным гражданином. Когда мэр приезжал в Курган, он всегда заезжал к своему другу Илизарову.

Эмилио боготворил Илизарова и, очевидно, считал, что вся медицина в Союзе стоит на таком же высоком уровне, как илизаровский метод лечения. Поэтому он очень удивился, узнав, что я — русский доктор, эмигрировал и работаю теперь в Америке.

— Зачем же вы уехали?

Вышла небольшая дискуссия: где медицина и жизнь лучше, в Союзе или в Америке. Я доказывал, что в Америке — лучше.

— Но ведь вы приехали сюда обратно, чтобы учиться у профессора, — говорил он.

— Потому что профессор создал то, чего не делали в Америке. Но это только он один.

— Значит, в Америке не умеют делать такие чудеса, как делает профессор?

— Не умеют. Мы приехали, чтобы научиться им у профессора и делать их в Америке.

Илизаров слушал, улыбаясь в усы, и не комментировал. Он, конечно, знал, где лучше, по своему собственному опыту. Но неудобно ему было спорить с иностранным коммунистом, потому что и сам он был членом партии. Убежденным коммунистом он никогда не был, но его насильно уговорили вступить в партию, когда встал вопрос, кому быть директором института. И, хотя он партию не любил, но уступил — во имя дела своей жизни.

Мы сидели в гостиной за низким кофейным столиком: почему-то в квартире не было столовой, хотя стояла дорогая импортная мебель. Жена Гавриила на кухне готовила нам кушанья, но в комнату не заходила. Дочь Светлана без конца вносила и уносила блюда, но с нами тоже не сидела ни минуты. Хозяин никак на это не реагировал, но мне казалось странным, что хозяйки нет с нами, и я пошел на кухню поздороваться с ней. К моему удивлению, она двигалась, с таким трудом передвигая ноги, что стало ясно: светское общение не для такого ее состояния.

— Валентина, покажите мне ваши рентгеновские снимки.

— Ой, да зачем же вам?.. Да вы не беспокойтесь…

Светлана принесла старые снимки, очень плохого качества, но и по ним видно было, что у нее тяжелейший артрит

тазобедренных суставов. Поразительно: как это жена выдающегося хирурга не получала никакого лечения? В Союзе это лечить еще не умели, но в Европе и в Америке уже сотням тысяч больных делали операции замены больных суставов на искусственные. Я стал уговаривать ее приехать с мужем в Нью-Йорк для операций. Валентина смущенно улыбалась:

— Да спасибо… Ну, да, может быть, когда-нибудь… Да вы не беспокойтесь…

Через год я все-таки уговорил Гавриила, чтобы он привез жену в Нью-Йорк. Френкель поставил ей искусственные суставы на обеих ногах, и она снова стала ходить.

Для занятий в институте к нам прикрепили сотрудников отдела переводов: трех молодых женщин с одинаковым именем Ирина и Олега Горбачева, однофамильца президента. Когда Илизаров или его ассистенты читали нам лекции и проводили занятия, они переводили почти слово в слово. К тому же нам раздали английские инструкции к занятиям. Я ожидал, что американцы, избалованные высоким классом международных семинаров, станут критиковать русских преподавателей. Но занятия были с таким новым для них материалом, так детально продуманы и на высоком уровне, что все были довольны.

К тому же каждому из нас по нескольку раз дали ассистировать на операциях. А это самое интересное: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Илизаров и многие его сотрудники были виртуозы этого метода, они делали все операции только одним этим методом.

Меня и Лорейн пригласил ассистировать сам Гавриил. В первый раз я ассистировал ему двадцать четыре года назад. Подготовка рук к операции была старинная, как по всей России, и ничуть не изменилась с того времени. Лорейн, конечно, удивлялась. Во время самой операции Гавриил многое делал, как говорится, на глазок. И Лорейн опять удивлялась кажущейся неточности его движений. Но у него был в этом громадный опыт. В результате все получалось очень хорошо.

Я был счастлив: через столько лет перемен и испытаний в моей судьбе жизнь доставила мне опять высокое профессиональное удовольствие — делать илизаровскую операцию с самим Илизаровым (пройдет еще несколько лет, и мы сделаем с ним вместе его самую последнюю в жизни операцию…).

Нас удивляло, как долго держали больных в институте — по месяцам, пока совсем не поправятся.

— Владимир, почему пациенты так долго лежат в госпитале? Ведь это очень дорого, — спрашивали мои американские коллеги.

— Здесь это не так дорого.

— Почему?

— Все субсидируется государством, и труд персонала ценится очень дешево.

— Почему?

Этих «почему» было все больше. Я уставал отвечать на них.

Но самое поразительное для американцев было видеть больных, которые поступали в Курганский институт со всего Союза. Почти всем им раньше уже делали операции в других больницах, и они приезжали с плохими результатами и тяжелыми осложнениями. Таких осложнений давным-давно не было в Америке. Я тоже смотрел на это уже «американскими глазами». Для нас это была наглядная демонстрация низкого общего уровня лечения в Союзе.

Мои коллеги говорили:

— В Америке пациенты засудили бы докторов за такие результаты лечения. Владимир, почему в России пациенты не судят своих докторов?

— Здесь доктора не получают денег от пациентов.

— Почему?

— Потому что они получают государственную зарплату.

— Почему?

Опять и опять «почему»…

На фоне общего низкого уровня советской медицины институт Илизарова возвышался, как Эверест. В детском отделении лежали страдальцы с малых лет, с короткими и деформированными ногами и руками, было несколько юных карликов. Многие до операции не могли ходить. Теперь на ногах или руках у всех были аппараты Илизарова, и с ними они не только заново учились ходить, но даже… танцевать. Специально для нас был устроен показ балета «Лебединое озеро»: дети в балетных костюмах, с аппаратами на ногах, танцевали под аккомпанемент балетмейстера-пианистки. Они так старались, и у них это получалось так грациозно, что нашему восхищению не было предела. Мы аплодировали им без конца, у многих на глаза набежали слезы умиления (и у меня тоже).

После представления Илизаров собрал нас в своем кабинете:

— Ну как — понравился наш балет?

— Поразительно! Но поразительнее всего — искусство докторов.

— Да, много труда, много труда. Я вам вот что хочу сказать. Мы лечим кости и суставы, а вместе с этим вылечиваем и души. Многие из этих детишек не имели надежды когда-либо стать здоровыми. А теперь они могут танцевать и прыгать наравне с другими детьми. Если присмотритесь, то обратите внимание: у

маленьких карликов, которым мы удлиняем ноги и руки, изменяется даже лицевая мускулатура. У них поднимаются опущенные раньше углы рта. А почему? Потому что они все больше радуются жизни и чаще улыбаются.

В тот раз Илизаров преподал нам урок не только лечения, но и настоящей философии гуманизма медицины. И ему мы аплодировали за это даже больше, чем танцевавшим для нас детям.

Каждый день мы поражались блестящим результатам лечения, которых добивались врачи-илизаровцы. Среди них были настоящие виртуозы. Но горько было узнавать, что при таком уровне профессионального умения уровень их жизни очень низкий.

Уже через несколько дней они освоились со мной и стали доверительно жаловаться на низкую зарплату, на тяжелую жизнь, на трудности работы. В перерывах между занятиями я угощал их американскими сигаретами. Затянувшись ароматным дымком, они начинали откровенный разговор:

— Вот, извините, сколько получают доктора в Америке?

Мне было неловко называть им те высокие суммы, и я хитрил:

— Приблизительно по пять — семь тысяч долларов в месяц (это было втрое меньше настоящего).

— Пять-семь тысяч?! А я, если на доллары, так получаю всего сто пятьдесят. Прожить на такие деньги все трудней. В магазинах продуктов и товаров все меньше.

Вступал в разговор другой хирург:

— Хорошо еще, что наш директор договорился, чтобы на институт выделяли немного мяса из армейских фондов. Теперь каждому врачу дают в месяц по три киллограмма по государственной стоимости. Но этого мало, приходится докупать на рынке. А там цены втрое выше.

Подходил третий и продолжал:

— Вот у меня двое маленьких детей, кормить-поить надо. Жена работает медсестрой. А все равно двух наших зарплат не хватает. Как отпуск подходит, я зафрахтовываюсь в Сибирь, рабочим на стройку или матросом на баржу. Только так деньги и добываю. Нет, работать врачом в России совсем невыгодно стало. Вы молодец, что уехали.

Где еще можно услышать, что высококвалифицированные доктора-хирурги подрабатывают низкоквалифицированными рабочими?!

Американцы после перекуров спрашивали:

— Владимир, что они тебе рассказывали?

— Жаловались на свою тяжелую жизнь.

— Почему?

— Потому что зарабатывают мало.

— Почему? Они же делают много сложных операций!

— В России все доктора получают одну государственную зарплату, и очень низкую.

— Почему?

Новый вопрос:

— Владимир, а есть в России учебник по методу Илизарова? Надо перевести его на английский язык и издать в Америке. Это поможет распространению метода во всех англоязычных странах.

— Насколько я знаю, такого учебника нет.

— Но почему?!

В 1965 году, в свой первый приезд в Курган, учась у Илизарова, я делал зарисовки его операций. Собрав их, я понял, что материала было на целую книгу. Тогда я впервые завел с ним разговор на эту тему. Он соглашался, что надо бы написать книгу, но все нет времени. Он действительно был слишком занят операциями, разработкой все новых и новых аспектов своего метода.

Потом я заговорил с ним об этом в 1974 году, в Москве. Он опять отвечал:

— Да, да, я знаю. Я напишу. Все нет времени. Но я напишу, напишу.

Так я и уехал из Союза, не дождавшись его учебника.

Теперь я опять каждый день на занятиях делал зарисовки. Набралась уже толстая стопка рисунков с моими пометками. По ночам я рассортировывал их, и мне пришла идея: с этими зарисовками и пометками я сам смогу написать книгу. Если она будет издана в Америке, это поможет распространению его метода по многим странам.

В действительности проблема с написанием книги Илизаровым была серьезнее, чем его занятость. Ему не хватало общей научной подготовки, у него никогда не было хороших учителей. Он учился в медицинском институте во время войны в городке Кзыл-Орда, куда был эвакуирован его Симферопольский институт. Тогда был недостаток во всем, в том числе и в преподавателях института. Илизаров был САМОУЧКА и поэтому сугубый практик-эмпирик: когда ему приходили в голову светлые идеи, он тут же применял их на практике. Он с большим трудом описывал свои операции в журнальных статьях. И собрать их все в одну книгу сам не мог.

Когда через двадцать лет напряженной работы ему удалось пробиться через рогатки бюрократии, он занялся строительством

института в Кургане. Это занимало массу его времени и кипучей энергии. И вот теперь он получил мировую известность и постарел, а учебника так и не написал…

По вечерам к нам в общежитие приходили студенты местного педагогического института, изучающие английский, — восемь девушек и парень. Их прислали для языковой практики. Сначала они стеснялись и жались кучкой у входа. Узнав, кто они, я привел их в наш «салон» — просторную общую комнату, где стояло пианино и бильярд, и объявил нашим:

— Это студенты, они говорят по-английски и пришли познакомиться с нами.

Американцы очень обрадовались гостям, с которыми можно говорить по-английски.

Средний возраст нашей группы был выше сорока, и эти студенты своим молодым задором и веселым смехом очень скрашивали наши вечера, помогая коротать свободное время. Завязывались беседы: они расспрашивали про Америку, наши расспрашивали их про жизнь в России. Было много смеха, мы танцевали, пели американские, английские и русские песни, выезжали вместе за город, играли в пинг-понг, волейбол и футбол.

Одна из девушек, самая юная, лет семнадцати, всегда сияла лучезарной улыбкой и играла живыми глазками. Ее звали Нина. Шутя, я как-то сказал ей:

— Я хотел бы, чтобы у меня была внучка, как ты. Хочешь, зови меня дедушкой — на «ты».

— Нет, вы можете звать меня внучкой, но я вас буду звать по имени-отчеству. Какое у вас отчество?

— У американцев нет отчеств.

— Нет, серьезно — какое?

— Ну, если хочешь, зови меня Американович…

В небольшом институтском валютном магазине (для лечившихся там иностранцев) мы покупали жевательную резинку, кока-колу, конфеты, печенье, шоколад и раздавали студенткам и нашим поварихам и официанткам. Для мужчин интересней, конечно, были сигареты и хорошая водка. У всех нас были с собой какие-нибудь сувениры, и мы раздали их очень быстро. Русские наши друзья всегда шумно радовались американским безделушкам.

Через несколько вечеров девушки-студентки стали подходить ко мне и спрашивать:

— Нельзя ли от кого-нибудь получить приглашение в Америку, чтобы приехать и временно там поработать?

— Какую работу вы имеете в виду?

— Мы слышали, что можно устроится бэби-ситгерами — сидеть с детьми. Нам говорили, что за эту работу в Америке хорошо платят.

— Но ведь вы учитесь. Что будет с вашей учебой?

На это они грустно отвечали:

— По-настоящему мы даже не знаем, для чего учимся. За работу учителя или переводчика платят такие гроши, на которые не проживешь.

Или говорили со смехом:

— А может быть, нам повезет и мы выйдем за американских миллионеров…

Потом кто-то из наших докторов действительно пригласил в Америку одну из студенток. С другими я долго вел переписку, но вызов устроить никому не смог. А моя «внучка» вскоре вышла замуж и уехала в Москву.

Единственного парня в их группе звали Миша, но он просил называть его по-английски — Майкл. Если девушки обсуждали со мной практические вопросы их будущей жизни, часто шутили и смеялись, то Майкл любил порассуждать о политике, покритиковать новые веяния в стране. Затянувшись американской сигаретой, он заводил разговор:

— Я так думаю: все эти слова Горбачева о перестройке и гласности — только сманивание народа на свою сторону. А на самом деле все как было, так и есть. И даже хуже становится. Поэтому многие хотели бы уехать, как сделали вы. Вот и девчонки наши просятся в Америку. Но я не уеду — я хочу дождаться, когда из России к чертям изгонят надоевшую всем коммунистическую партию. Может, хоть тогда начнет что-то меняться. Правда, народ до того унижен этой партией, что не скоро сможет опомниться. По всей стране сплошное пьянство и воровство.

Пьянства действительно в Кургане хватало. Каждый день, проезжая мимо винного магазина, мы видели, как там толпились в очереди пьяные мужчины.

— Владимир, кто эти люди, почему они всегда здесь?

— Они стоят за водкой. Их называют «алкаши».

Некоторые, напившись, тут же и валялись. Изредка подъезжала милиция и увозила их в вытрезвитель.

— Владимир, что такое вытрезвитель? — американцы произносили слово с трудом.

Ну как им объяснить, что такое это уникальное типично советское «заведение»? При массовом алкоголизме во многих странах, включая Америку, тысячи людей лечатся от алкоголизма в специальных учреждениях. Но они именно лечатся, а не

вытрезвляются. Русские алкоголики — чемпионы среди всех других.

Пьянство, объяснял я коллегам, — древнейшая русская традиция, берущая начало еще от скифов. Как отрезвляли скифов, я не знаю, но современных русских пьяниц в бессознательном состоянии доставляют в вытрезвители, где их не лечат, а только приводят в чувство. Потом они опять напиваются, и опять туда попадают. Когда я был директором клиники, мы с моими ассистентами вынуждены были сами строить такой вытрезвитель в подвале хирургического корпуса. Иначе невозможно было работать от засилья пьяных. И хотя я никогда не был членом общества масонов-каменщиков, но тоже укладывал там кирпичи.

— Но разве они не работают, эти алкаши?

— Быть алкоголиком в России — уже как бы профессия.

— Но на это же нельзя жить, надо зарабатывать.

— Они где-нибудь подработают — и сразу все пропивают. А то воруют — на работе воруют, у своих же семей воруют, на улицах воруют. Но они недолго живут, многие погибают еще молодыми. Да и вообще пьянство в России считается нормой.

В Кургане произошел такой интересный случай: у одного из наших преподавателей, хорошего доктора и искусного хирурга, был день сорокалетия. Мы на доллары купили ему в подарок финскую квадратную бутыль водки в четыре литра. Такой большой бутыли он в жизни не видел и после празднования юбилея рассказывал:

— Спасибо вам — водка замечательная! Мы собрались только своей семьей, восемь человек, все пили за ваше здоровье.

Я пошутил:

— Надеюсь, для семьи не мало было?

— По правде говоря, не хватило, — признался доктор. — Пришлось еще сбегать в магазин за двумя поллитрами.

Американцы со смехом передавали друг другу эту историю.

В больницах пить водку запрещается. Но некоторые больные в Курганском институте умудрялись прятать поллитровые бутылки под кольца илизаровского аппарата и проносить их в палаты, чтобы пить ночью тайком.

— Владимир, религия в России разрешена — молиться людям не запрещают?

— Не рекомендуют, но и не запрещают.

— Где молятся жители Кургана?

Я попросил, чтобы нас повезли в церковь.

В один из воскресных дней была устроена культурно-историческая экскурсия по городу. Смешливые студентки и Миша-Майкл поехали с нами.

Первая остановка — у церкви. Небольшая деревянная церквушка, сруб с традиционной луковкой, картинно стояла на холме у края города. Перед ней, в березовой рощице, сидело несколько старух, повязанных серыми и черными платками (эти платки в Америке называются «бабушка», с ударением на втором слоге). Завидев полный автобус хорошо одетых туристов, они кинулись на паперть: «Подайте Христа ради».

В Америке тоже есть нищие-попрошайки, в основном в больших городах. Но это почти всегда молодые мужчины, большей частью наркоманы и алкоголики. Они не стоят у церквей, а снуют в толпе и в вагонах метро. Их нет в маленьких городках и поселках, они — порождение культуры крупных городов, ее отбросы. И просят они вовсе не от голода. Но те жалкие русские старухи просили от явной нищеты, и американцы стали раздавать им доллары.

Майкл мрачно комментировал:

— Напрасно дают — старухам все равно ничего не достанется, все их мужики отнимут, мужья или сыновья. И тут же пропьют.

В полутемном храме висело несколько темных икон, возле них горели чахлые свечи. Очевидно, место это было не очень популярное в Кургане — ставили свечки и крестились всего несколько женщин. Войдя, наши девушки-студентки тоже стали креститься и шевелить губами, произнося молитвы. Майкл опять прокомментировал:

— Вот до чего коммунисты народ довели — нашим девчонкам надеяться больше не на кого, кроме как на Бога.

Американцы выходили из храма притихшие. На них подействовала его бедность.

— Как называется эта церковь? — спрашивали они.

Студентки не знали. Я тоже понятия не имел и пошутил:

— Святого Гавриила, в честь Илизарова.

Американцы поверили:

— Неужели он так популярен, что его именем назвали церковь?!

Девчонки расхохотались, и даже Майкл усмехнулся.

— А синагога здесь есть? — спрашивали евреи из нашей группы.

Синагоги в городе не было.

— Как же так? Это дискриминация! Где же евреям молиться?

— Да они не молятся. Советская власть за долгие годы отучила их молиться. Немногие живущие в Сибири евреи — ассимилированные. Профессор Илизаров, его старая мать Голда, его сестры, которые здесь живут, — евреи. Но они не молятся.

— Как, профессор Илизаров еврей?! Владимир, ты правду говоришь, что Илизаров еврей?

— Конечно, правду.

— Как же он добился такого высокого положения в России?

— Талантом и упорством. Но ему нелегко это далось.

Они еще долго обсуждали это поразившее их сообщение и расспрашивали меня о положении евреев в России. Американцы привыкли считать, что, раз в Советском Союзе был антисемитизм, значит, евреев преследовали чуть ли не так же, как в гитлеровской Германии. Я объяснял им, что в сталинские времена некоторых евреев действительно арестовывали и казнили. Но это была компания против всей интеллигенции. Евреев ущемляли в правах и позже, пробиваться им было тяжело. А все-таки они пробивались, и среди советских докторов было много евреев.

— В Америке до 30-х годов тоже был большой антисемитизм, евреев старались не принимать в университеты и на работу. А те евреи, которые учились и работали, испытывали на себе дискриминацию. Но все равно синагоги не закрывались, и евреи свободно ходили в них молиться. Не как у вас в России…

Из церкви нас повезли в музей декабристов. Курган был одним из городов, куда после каторги ссылали на жительство участников восстания 1825 года. Здесь жили друг Пушкина поэт Кюхельбекер, князь Трубецкой. В городе сохранились два больших бревенчатых сруба. И выглядели они лучше, чем многие современные дома. Правда, их поддерживали, потому что в них теперь был музей.

Для нашей группы в музее был дан концерт силами местных артистов-любителей: звучали мелодичные русские романсы и фортепьянные сочинения Глинки, Чайковского, Рахманинова.

Мы закончили день веселым пикником за городом, с шашлыками, которые умело зажарил Майкл, и, конечно, с большим количеством водки.

На последнем занятии Илизарова не было. Нам сказали, что сам Горбачев пригласил его поехать с ним в Италию на открытие советской выставки. Там, как одно из достижений советской науки, должен был демонстрироваться илизаровский аппарат. Нам вручили красивые дипломы на двух языках об окончании курсов. Дипломы были заранее подписаны Илизаровым. Этой подписи наши доктора и профессора радовались, как дети:

— Повешу в своем кабинете — пусть все видят, у кого я учился!

На прощание мы заказали банкет в ресторане для наших русских коллег, пригласив на него также студентов и официанток. Девушки, наверное, редко бывали в ресторанах,

стеснялись, но пришли до неузнаваемости нарядные. Илизаровцы и наши доктора говорили короткие тосты, мы раздали всем подарки. Потом оркестр загремел веселую музыку, все пошли танцевать. Лишь Майкл до танцев не снисходил.

Но вот заиграли русскую плясовую, и девушки вытолкнули в круг мою «внучку» Нину. Она грациозно откинулась назад, подбоченилась одной рукой, другую подняла с платочком — и плавно поплыла кругом. Мы все ею залюбовались. И тут неожиданно выскочил в круг Майкл, без пиджака, с засученными рукавами. Он заломил руку за голову и пошел вприсядку вокруг Нины. Вот это была пляска! А когда заиграли еврейский танец «Хора» — тут уж все пустились плясать, задирая ноги.

Под конец вечера некоторые из наших учителей заплетающимся языком изъяснялись в любви американским докторам:

— Я тебя уваж-ж-жаю… оч-ч-чень…

Но без этого банкет не был бы русским.

Уже на улице я сказал Майклу:

— Я не знал, что вы такой прекрасный танцор.

— Да я не танцор вовсе. Но я русак до мозга костей и обожаю русскую пляску.

Если встречали нас в Курганском аэропорту сугубо официально, то провожали по-настоящему сердечно. Девушки принесли цветы и, как полагается девушкам при прощаниях, плакали. Моя «внучка» сказала:

— Как бы я хотела, чтобы у меня был такой дедушка, как вы…

Замялась и поправилась:

— Как ты.

За три поездки в Россию в один 1989 год мне удалось посмотреть на разную жизнь в ней. И везде она была намного хуже, чем когда я уезжал одиннадцать лет назад. И мне все больше становилось ясно, что страна катилась куда-то вниз. Полтораста лет назад Гоголь патетически вопрошал: «Русь, куда несешься ты? Дай ответ». И сам тогда же написал: «Не дает ответа» («Мертвые души»). Тогда ему, проницательному художнику, было еще неясно. Но теперь ответ, кажется, был ясен — Россия неслась в пропасть.

Через год после поездки в Курган я получил письмо от Майкла. Он писал, что больше не может жить в катящейся в пропасть России и просил устроить ему приглашение на работу в Америку.

Бразилия

Книги рождаются в муках и сомнениях.

После поездки в Курган я не переставал думать об издании в Америке практического руководства по илизаровским операциям. Я знал, каким должен быть этот учебник. Американцы любят manual, руководства с указаниями, что и как делать в разных случаях, и с иллюстрациями — наподобие поваренных книг.

Однако идея была слишком смелая: до сих пор я не видел ни одного американского учебника, написанного русским врачом. Десятки американских медицинских издательств издают тысячи солидных книг, и все они написаны авторитетными западными учеными. К тому же мой английский был, как говорится, «черно-белый», не слишком выразительный. Вот если бы Френкель согласился стать моим соавтором…

Я показал свои курганские зарисовки Виктору. В них было много уточненных мною мелких технических деталей. Он рассматривал их с интересом.

— Виктор, у меня предложение: давай по этим рисункам напишем вместе практическое руководство.

— Хорошая идея. Но зачем я тебе? Пиши сам.

— Нет, со мной просто не станут вести переговоры. С тобой — другое дело: ты американец, у тебя имя.

— Ну, если хочешь, напиши заявку, мы ее вместе отредактируем и разошлем по издательствам. Но я заранее предупреждаю, что в этом бизнесе моя доля будет незначительной. Пусть твое имя стоит первым, и гонорар мне не нужен. Пиши сам и показывай мне.

По правде сказать, я рассчитывал, что буду лишь рисовать иллюстрации и давать к ним объяснения, а текст станет писать Виктор. Но получалось, что я нашел себе еще одно нелегкое занятие. Как я с ним справлюсь?!. Но уж слишком заманчива была цель. Говорят, смелость города берет. Смелость или — самонадеянность?..

Не прошло и десяти дней с моего возвращения из Кургана, как Виктор вызвал меня из госпитальной палаты к телефону:

— Владимир, слушай, как насчет того, чтобы полететь в Бразилию?

— В Бразилию? Зачем? Когда?

— Через три дня, на конгресс по илизаровскому методу в Университете Сан-Пауло. Приглашение пришло только сегодня. Я лететь не могу, поезжай сам и сделай доклад о наших операциях. Между прочим, Илизаров тоже должен там быть. Возьми с собой

Ирину, если она захочет…

Захочет ли Ирина в Бразилию? Конечно, захочет! Единственное, что мы знали о ней с детства, — это стихи Маршака:

Под пальмами Бразилии, От зноя утомлен, Идет-бредет Базилио, Бразильский почтальон…

Неужели мы с Ириной тоже окажемся под пальмами. Бразилии?!

Я позвонил Ирине на работу:

— Хочешь полететь со мной в Бразилию?

— Как — в Бразилию?! Когда, зачем?

— Лететь надо через три дня, на конгресс в Сан-Пауло.

— Почему так срочно и неожиданно?

— Потому что это — бразильцы, такой у них порядок.

— Хорошо, я сейчас спрошу своего шефа — отпустит ли он меня? А на сколько?

— По крайней мере, на неделю.

Ирину, конечно, отпустили. В Америке начальники не препятствуют своим подчиненным получать удовольствия от жизни, как это постоянно делалось в Советском Союзе.

Выяснилось, что в Бразилию американцам нужна виза. Везде мы ездим без визы, а в Бразилию почему-то она нужна. Ирина созвонилась с бразильским консульством, там пообещали сделать визу в один день. Я лихорадочно готовил материалы для доклада: слайды, таблицы и мои курганские рисунки…

И вот, усталые от суеты срочных приготовлений, мы летим — двенадцать часов до Рио-де-Жанейро, потом в Сан-Паулу.

Нас встретил Роберт Муун, высокий американец, который живет здесь уже много лет и работает на медицинской фирме, финансирующей конгресс.

— Вы, наверное, удивились, что приглашение пришло так поздно? Вам надо сразу привыкать к тому, что мы в Бразилии время вообще не считаем. У нас опоздание на два-три часа, на два-три дня, на две-три недели — обычное дело. Вот у меня на руке нет часов. Они мне и не нужны: все равно в Бразилии все делается с опозданием.

Потом мы много раз убеждались, насколько он был прав. Началось это прямо со следующего утра. В назначенное время, в восемь утра, мы стояли у подъезда отеля, ожидая Роберта, чтобы он отвез нас на открытие конгресса к девяти часам. Его все не было, и я начал нервничать. Около девяти он подъехал и не спеша вышел из машины.

— Как, вы уже готовы?

— Конечно, готовы. А Илизаров уже прилетел?

— Он сообщил, что прилетит сегодня вечером.

— Кто же будет открывать конгресс?

— Вы.

— Я?! — К этому я был абсолютно не готов. — Тогда нам надо поторопиться.

— Ничего, мы успеем.

Сан-Пауло — один из самых населенных городов мира, в нем восемнадцать миллионов жителей и загруженность дорог транспортом — сумасшедшая. Мы по-черепашьи двигались в густом потоке машин.

— Где находится университет?

— За городом. Еще километров пятнадцать.

— Как — пятнадцать?! Мы же сильно опоздаем.

— Не волнуйтесь. Уверяю вас, не опоздаем.

— Во сколько открытие конгресса?

— Конгресс откроется, когда мы приедем.

Как просто! Пятьсот человек будут ждать, когда мы приедем!

Приехали мы в одиннадцать. Вошли в громадную, как кинозал, аудиторию — пусто! Я расстроился: люди не дождались и ушли. Только на сцене возился какой-то обнаженный до пояса человек, похоже, он снимал громкоговорители. И верно, зачем они, если открытие сорвалось? Роберт о чем-то с ним переговорил и сообщит нам:

— Еще никто из участников не приходил. Он устанавливает звуковую аппаратуру.

Я не мог поверить своим ушам: два часа после назначенного времени никто не приходил!

Но вот стали не спеша появляться участники. Еще почти час они собирались в аудитории. Тогда Роберт сказал, что можно начинать.

Открывать международные конгрессы мне еще не приходилось. Я собрался с мыслями и начал с приветствия от имени американских коллег (которые ничего подобного мне не поручали), сказал, что профессор Илизаров завтра сделает основной доклад, а пока я представлю им то, что делают по его методу в Нью-Йорке.

Интерес к илизаровскому методу тем больше, чем страна беднее и менее развита. Это объясняется тем, что его метод упрощает и заменяет собой многие другие сложные и дорогие хирургические методы. Страны Южной Америки беднее и менее развиты, чем Америка и европейские государства. Поэтому заинтересованность южноамериканских хирургов на этом конгрессе была особенно острой.

После моего выступления доктора из Бразилии, Аргентины и

Чили — в основном они были участниками конгресса — подходили знакомиться. Оказалось, что некоторые из них бывали в нашем госпитале и даже видели наши с Виктором операции. Так, с опозданием на три часа, завязались наши деловые отношения, которые потом перешли в многолетнюю дружбу с некоторыми южноамериканскими коллегами.

Илизаров появился к вечеру, утомленный перелетом. Ему не понравилась гостиница, где нас поселили (действительно, не очень высокого класса), и Роберт повез его в самый дорогой отель. Он потом жаловался, что ему дорого обошлись «капризы великого ученого».

Как полагается при начале всех международных конгрессов, профессора университета пригласили нас на парадный обед. Бразильский обед — это в первую очередь много-много мяса. Все хотели разговаривать с Илизаровым, я переводил, часто импровизируя, настолько Гавриил устал. Ирину взялись опекать профессорские жены. А мы с Гавриилом еще несколько часов готовили сотни слайдов для его доклада, раскладывая их в девять каруселей.

Я предупредил его, что заседание вовремя не начнется.

— Как так не начнется вовремя, почему?

— Потому что это бразильцы, у них ничего не бывает вовремя.

— А ты откуда знаешь?

— Открытие задержалось на три часа.

— Во дают!..

В знак уважения к Илизарову на этот раз аудитория собралась всего через час после назначенного времени. Гавриил говорил по-русски, я переводил на английский, для Роберта, а он — на португальский, для всей аудитории. Это, конечно, затрудняло работу, но демонстрация слайдов сделала доклад очень эффектным. Темпераментные бразильцы просто бесились от восторга. После лекции они облепили Гавриила, как рой пчел облепляет свою королеву-матку. Все протягивали ему программки конгресса для автографа. Вдруг мы услышали русскую речь: оказалось, в Бразилии живет симпатичный доктор-поляк по фамилии Соломка, говорящий по-русски.

На другой день был устроен официальный прием у ректора университета, физика с мировой известностью, нас представили научной элите. Приезд русского ученого тотчас после поднятия железного занавеса был событием в Бразилии, но и американцы нечасто там появлялись, и нам аплодировали как представителям науки России и Америки. Я впервые почувствовал, какая великая честь представлять Америку за границей. Гавриил, который, как

все старые люди, обожал знаки почтения, сиял от удовольствия, украдкой толкая меня локтем:

— Видишь, какая мне честь.

Южноамериканские ученые тогда еще работали изолированно от остального научного мира, поэтому большинство тех, что были на приеме, не говорили по-английски. Но все же один из профессоров свободно им владел, и у нас даже оказались общие знакомые в Нью-Йорке. Мы разговорились, и он пригласил нас с Ириной к себе на обед в ближайшую субботу. Роберт сказал мне, что этот профессор женат на графине, род которой живет в Сан-Пауло четыреста пятьдесят лет, с самого основания города, поэтому ее род почитается, как, наверное, род Рюриковичей почитался когда-то в России.

— Это большая честь — быть приглашенным в их дом, — добавил Роберт.

Прямо с приема нас повезли на торжественное собрание в богатый городской клуб. Мы опоздали всего на полчаса и потом еще час ждали, пока соберутся остальные. Чему посвящено собрание, мы не знали, но, раз нас туда пригласили, то самонадеянно решили, что оно тоже в нашу честь. Многие явились туда вместе с шикарно одетыми женами, бразильянки умеют показать себя. Да и вообще все бразильцы народ веселый и очень любят пышность всякого рода — во всем мире знамениты их карнавалы. Клуб тоже был украшен пышно — цветами и флагами. Наконец приехал мэр города, чего мы никак не ждали, еще какие-то официальные лица и, совсем непонятно почему, много военных, включая духовой оркестр. Нас с Гавриилом усадили в президиуме собрания, Ирина сидела в первом ряду.

Началось с того, что на балкон второго яруса вышли военные трубачи и сыграли ритуальный сигнал. Распахнулись двери, и под звуки военного марша солдаты внесли в зал флаги Бразилии, Советского Союза и Америки. После этого оркестр сыграл гимны трех стран. Солдаты с флагами выстроились по бокам президиума. Выглядело все, пожалуй, даже чересчур пышно, и Гавриил шепнул мне:

— Во дают!

Потом говорились патетические речи: что-то довольно долго говорил мэр, выступал проректор, еще какие-то люди. Время от времени оркестр вдруг начинал играть марш, и все вставали. Переводчика с нами не было, мы с Гавриилом ничего не понимали и скучали. В какой-то момент он спросил:

— Что они говорят?

— Не знаю, я не понимаю португальский язык, — ответил я.

Гавриил искоса недоверчиво глянул на меня, а спустя

несколько минут опять спросил:

— А теперь они что говорят?

— Я же тебе сказал, что не знаю португальского.

Помолчав еще минуту, он прошептал с раздражением:

— Но хотя бы что-то ты должен понимать!..

Он так привык видеть меня в роли переводчика, что сегодня на приеме у ректора ему показалось, будто я что-то переводил даже с португальского. Видя, что он нервничает, я, прикидываясь, что какие-то фразы разбираю, стал время от времени нашептывать ему на ухо:

— Он говорит, какой ты великий ученый.

Гавриил с удовлетворением кивал головой.

— А теперь что?

— Говорит, что они хотят назвать твоим именем госпиталь.

Это ему тоже понравилось. Сидящая напротив Ирина украдкой делала нам знаки не болтать. Но Гавриил опять вопросительно смотрел на меня. Тогда я стал шептать ему все, что мне приходило на ум:

— Он говорит, что в Бразилии собираются выпустить твою книгу… что они хотят строить центры по образцу Курганского института… что лечение по твоим методам дает большую экономию…

— Так, так. Это верно. Молодцы они.

Когда после торжественной части мы спустились с эстрады, Ирина меня упрекнула:

— Как некрасиво было с твоей стороны все время болтать!

— Я не болтал, а переводил Гавриилу.

— Как ты мог переводить с португальского?

— А вот так: он настаивал, чтобы я переводил, я и переводил…

Соломку я потом спросил:

— О чем они все говорили?

— Политические речи в связи с предвыборной кампанией — болтовня и демагогия, которую любят разводить в Бразилии.

Хорошо, Гавриила в этот момент не было рядом…

На четвертый день я выкроил время, и Роберт повозил нас с Ириной по городу. В центре современная планировка с широченными бульварами, усаженными цветущими деревьями: в октябре в Южной Америке весна, в южном полушарии все перевернуто вверх ногами.

Несколько раз мы останавливались, чтобы пройтись и выпить кофе. Бразилия — страна кофе. И еще — кокосового молока. На каждом шагу тебе выберут кокосовый орех, отобьют ножом верхушку, и ты можешь наслаждаться его вкусным холодным

соком. И вот, попивая кофе на одном из бульваров, я увидел, как под настоящими пальмами Бразилии шел настоящий бразильский почтальон! Все-таки довелось мне увидеть его, о ком я читал в раннем детстве в стихах Маршака. Не знаю только, звали ли этого почтальона Базилио…

На окраине теснились лачуги бедняков, но деревья там цвели еще пышнее, чем в центре. На всех углах звучала музыка, люди лениво пританцовывали самбу. Мы с Ириной дивились богатству и разнообразию природы и бедности жителей.

— Да, земля здесь богатая, рай земной, — сказал Роберт, — но жизнь совсем не райская. А все из-за лености самих бразильцев. Хотите бразильский анекдот? Когда Бог создал землю, он распределил всем народам по куску. Кому достались пустыни, кому горы, кому холодные края, кому землетрясения и наводнения, кому частая засуха. И только в Бразилии — ни землетрясений, ни потопов. Но этот кусок земли пока оставался незаселенным. Тогда люди пришли к Богу с жалобой, что он дал им плохие земли, а лучшую оставил пустой. На это Бог ответил: «Погодите, вы еще не знаете, каких я лентяев и бестолочей там поселю»…

Потом Роберт привез нас в небольшой пригородный поселок, сплошь из двухэтажных коттеджей:

— Здесь жили и еще до сих пор живут некоторые из нацистских преступников, бежавшие из Германии, когда их победили русские и американцы. Жил здесь и Эйхман, которого потом израильтяне выкрали, судили и казнили. И еще недавно жил печально знаменитый доктор Менге, тот, что проводил свои опыты над людьми в концлагерях, — Доктор Смерть, как его прозвали.

Красивое место, аккуратные дома, все чистенько — типичный немецкий поселок. Мы знали о том, что часть нацистских преступников сумела бежать в Южную Америку. Но видеть место, где доживали свой век враги рода человеческого, красивые рощи, где они гуляли, вспоминая свои изуверские «подвиги», — это вызывало жуткое чувство…

Илизаров должен был улетать на следующее утро, на день раньше окончания конгресса. Поздно вечером Роберт устроил прощальный обед, нам вручили подарки. Илизаров получил инкрустированные настольные часы с памятной надписью.

— А тебе чего дали? — спросил он меня.

— Памятную дощечку с гербом Бразилии.

— Покажи.

Он долго рассматривал ее, потом сказал:

— А мне почему такую не дали?

— Тебе же дали часы.

— Но я хочу такую дощечку. Можешь попросить для меня?

— Гавриил, может, это неудобно — просить?

— Ну, ты это как-нибудь… повежливее.

Чудачества старого ученого! Немного стесняясь, я обратился к Роберту:

— Боб, ты меня извини, но Илизаров хочет такую же дощечку.

— Но мы же дали ему часы.

— Ну да, а теперь он хочет еще и дощечку.

Роберт в это время держал в руках кипу каких-то бумаг. Мы подошли к Гавриилу, и Роберт ему сказал:

— Профессор, мы сделаем для вас дощечку. Владимир передаст ее вам потом. А пока я прошу вас подписать эти дипломы.

— Какие дипломы?

— Для участников конгресса. Пожалуйста, подпишите, чтобы завтра мы могли торжественно их вручить. Для всех это будет большая честь.

— Сколько дипломов? — покосился на толстую пачку Гавриил.

— Пятьсот.

— Пятьсот?! Когда же я успею их подписать?

Задача действительно была нелегкая, тем более что Илизаров улетал рано утром. Он заволновался:

— Не могу я за один вечер подписать пятьсот дипломов.

— Профессор, это наша просьба, сделайте, пожалуйста.

Видя, что назревает неудобная ситуация, я вступился:

— Гавриил, ничего, ты успеешь.

— Как это я успею?! Что ты говоришь?!

Я взял увесистую пачку из рук Роберта и сказал ему:

— Профессор подпишет.

Гавриил ворчал:

— Как ты можешь за меня решать? Это же невозможно!..

Когда мы с Ириной остались с ним одни в его номере, я сказал:

— Подпиши один диплом, а на остальных я скопирую твою подпись.

— А ты сумеешь?

— Ты же знаешь, что я художник, я сумею подделать твою подпись так, что сам не разберешь, какая чья.

В отеле мы с Ириной до трех часов ночи трудились, не покладая рук: я поставил перед собой диплом с оригинальной подписью, Ирина подсовывала мне один за другим остальные 499. Конечно, я старался, и мои подписи Илизарова выглядели,

как настоящие.

Доктора были очень довольны, когда им вручили дипломы, но мне показалось, Роберт что-то заподозрил. Он сказал:

— Ты нам очень помог в проведении конгресса. Мы хорошо заплатили Илизарову, но у нас еще остались деньги. Вы не хотели бы съездить в Рио-де-Жанейро?

— Конечно, хотим, но как это сделать?

— Я найму для вас автомобиль с шофером и вы не полетите, а поедете в Рио. Это около четырехсот километров по самой красивой в Бразилии дороге, все время по берегу Атлантического океана, всего один день езды. Увидите настоящую природу Бразилии. Я дам вам в сопровождение женщину, говорящую по-английски. Она немка, из того самого поселка, но приехала сюда ребенком, так что не волнуйтесь, военной преступницей она не была. В Рио я закажу для вас отель и найму там для вас гида с машиной, который тоже немного говорит по-английски. Побудете там несколько дней и полетите домой. Согласны?

— Согласны?! Да мы о таком даже не мечтали!..

Нам оставался только обед в доме аристократов. Приглашение было на десять вечера. Поздновато для обеда, но для бразильцев это обычное время. В половине десятого я спросил Роберта, не пора ли нам ехать.

— Владимир, если вы приедете к десяти, поставите хозяев в неловкое положение.

Он подвез нас к их дому в одиннадцать. Дверь открыл чернокожий швейцар, в ливрее, расшитой золотыми галунами. Нас провели в гостиную, увешанную старинными картинами в тяжелых рамах — очевидно, их собирали сотни лет. Обстановка тоже старинная. Черная служанка в белом переднике принесла на серебряном подносе набор аперитивов и разных бразильских орехов. Через некоторое время вошел хозяин и извинился, что жена задерживается. Мы беседовали еще более получаса, наконец, вышла по-домашнему одетая улыбающаяся графиня. Люди они были пожилые, у них было два сына и большие внуки, так что разговор сразу перешел на детей. После полуночи нас позвали к столу. Повариха постаралась на славу. Как самый главный деликатес подали жареные бычьи хвосты. Хозяин объяснил:

— Когда-то это было блюдо для рабов: богатые съедали лучшие части мяса, их слуги ели части похуже, а хвосты оставляли рабам. Но все в жизни меняется, и теперь бычьи хвосты стали считаться изысканным кушаньем…

Ну а кофе после того ночного обеда был такой ароматный и вкусный, что мы не пили, а наслаждались им.

Мало, наверное, на свете дорог, равных по красоте той, по

которой мы на следующий день ехали из Сан-Пауло в Рио-де-Жанейро. Справа от нас все время был синий океан с золотыми песчаными пляжами, а слева — рощи цветущих деревьев, каких нет нигде в мире. Само слово Бразилия происходит от названия твердого дерева бразиль, которое колонисты вывозили в Европу с самого открытия страны в 1550 году.

Наша провожатая оказалась эрудированной интеллигенткой, всю дорогу рассказывала нам об истории страны, о тех местах, которые мы проезжали, повторяла, как любит Бразилию, и только раз мимоходом упомянула, что родилась в Германии, но никогда с тех пор не была на своей бывшей родине. Мы тоже только раз сказали ей, что родились и выросли в России, а теперь вот американцы. По ее лицу пробежала легкая тень… Но уж если обе стороны — русская и немецкая — оказались через полвека после войны в одной машине, да еще и на другом континенте, эмоциям прошлого тут не было места.

В Рио мы приехали поздно вечером и, едва устроившись в гостинице, в нетерпении вышли на пустой пляж. Перед нами шумно плескались волны Атлантики. Боже мой, мы в Рио-де-Жанейро!..

Три дня как зачарованные мы бродили по улицам с роскошными дворцами и церквями, гуляли в великолепном, хотя и запущенном парке, где 135 тысяч различных видов деревьев, кустов и цветов; одних только пальм там 900 видов. Поднялись с нашим гидом на самую высокую точку города, к подножию сорокаметровой статуи Христа Искупителя. Оттуда фуникулер перенес нас на другую гору, которая называется Сахарная голова. Как нам показалось, Рио в основном жил прошлым. Новые постройки — это, большей частью отели у пляжей и деловые учреждения. Нам удалось посидеть на знаменитом пляже Копакабана и попрыгать на высоких атлантических волнах. На следующий день океан так разъярился, что подошел почти вплотную к отелям. Гид объяснил: октябрь — это начало весны!

Начало частной практики

А в Нью-Йорке нас ждала осень. И приятная новость.

По выражению лица администратора госпиталя Мошела я понял, что он хочет мне что-то сообщить.

— Хочу. А ты как догадался?

— По твоей бородатой физиономии.

Он достал из ящика стола конверт:

— Мазл Тов! — То есть «поздравляю» по-еврейски. — Прислали твою лицензию.

Я рассматривал заветную бумагу, а он продолжал:

— Теперь ты полноправный хирург. Босс сказал, что ты будешь директором русской клиники, получая за это 65 тысяч в год, как все заведующие отделами.

Но это было еще не все. Мошел повел меня в кабинет, расположенный через три двери от директорского:

— Босс сказал, чтобы этот кабинет отдали тебе, а комната перед ним — для твоего секретаря. Мы уже дали объявление в газете, что ищем секретаря, владеющего английским и русским. Еще раз — Мазл Тов!

Я остался стоять, оглушенный. В кабинете был только большой письменный стол с телефоном и кресло. Сидя в кресле, я смотрел из окна своего кабинета вдаль, на Даун-таун Манхэттена, с его башнями-близнецами Всемирного торгового центра. Эта величественная картина символически показывала мне, чего я сумел здесь добиться. Я смотрел в окно и ощущал радость победы.

Америка, через многие испытания и трудности, всегда выявляет — кто из иммигрантов чего стоит. Уже близко к шестидесяти годам мне удалось восстановить положение, которое я оставил позади.

Первое, что я сделал, — позвонил Ирине.

— С тобой говорит новоиспеченный заведующий из своего кабинета с видом на Даунтаун. Зарплата заведующего — 65 тысяч, кроме частной практики. Комната секретаря пока пустует, но госпиталь уже дал объявление в газете, ища достойного кандидата.

Слушая ее поздравления, я очень ясно представлял себе радость на ее мордочке. Сейчас начнет делиться новостью с друзьями в лаборатории.

Тут в мой кабинет стремительно вошел Виктор. Он любил производить эффект, но при этом старался не выдавать эмоций. Как ни в чем не бывало, он спросил:

— Ну как Бразилия?

— Все было о'кей, я выступил на открытии от твоего и своего имени, Илизаров сделал блистательный доклад, вроде того, что был у нас. Все прошло хорошо… Виктор, я хочу сказать о другом: спасибо тебе за все. Я не знаю, где был бы сейчас и что делал бы, если б не ты…

— Ну, ну, Владимир, не преувеличивай, ты сам достиг всего своим трудом. Я тебе скажу: я бы этого не выдержал! И экзамен в твоем возрасте не смог бы сдать. Ты доказал мне и всем, на что способен. Так что благодари самого себя. А то, что ты будешь директором русской клиники, так это выгодно госпиталю: на твое имя пойдет много русских пациентов, у них у всех страховка для неимущих, и госпиталю за них неплохо платят. У меня к тебе еще одно деловое предложение: мы теперь станем работать как партнеры. У тебя появятся свои пациенты, но я хочу, чтобы ты продолжал помогать мне на операциях. За это я буду каждый месяц платить тебе… — Он подумал, прикидывая. — Я буду платить тебе пять тысяч из тех денег, что заработаю за операции.

Предложение Френкеля давало мне шестьдесят дополнительных тысяч в год! Конечно, я обрадовался. Но это был не красивый жест, а по-настоящему деловое предложение. Я давно делал основную часть частных илизаровских операций Френкеля, но, пока у меня не было лицензии, числился ассистентом, и он мне ничего не платил. Теперь мое имя будет стоять рядом с его, как второго хирурга. Сумма была небольшой по сравнению с тем, что получит Виктор. Но не мог же я с ним торговаться! К тому же, к нему, профессору с именем, шло намного больше пациентов, чем пойдут ко мне. Предложение Виктора вместе с моей зарплатой заведующего гарантировало 125 тысяч годового заработка, и это помимо частной практики… Все эти расчеты промелькнули у меня в голове быстрее, чем я их здесь описал, — я тоже становился практичным американцем.

Когда он ушел, я перезвонил Ирине.

— Что, тебе дали новое повышение? Или у тебя уже есть секретарша из Голливуда?

— Пока нет, но Виктор предложил мне еще шестьдесят тысяч за партнерство с ним. Как думаешь, справимся?

Что думала по поводу денег Ирина и как она умела с ними справляться — это я знал хорошо. Всю нашу совместную жизнь она управляла семейным бюджетом, я никогда в него не вмешивался. Как полагается мужчине, я был добытчиком, а она, как полагается женщине, — хранительницей домашнего очага. В начале нашей совместной жизни мы были бедными, потом стали состоятельными, потом, переехав в Америку, опять стали

бедными. Не просто бедными, но превратились в «пыль на дороге». Ирина тогда работала одна, за мизерную сумму, помощницей частного доктора на богатой Пятой Авеню: открывала двери пациентам, измеряла кровяное давление, но главным образом, занимала их, пока они ждали приема. А мы с сыном учились. И втроем жили мы на ее зарплату, экономя буквально на всем. Но Ирина и тогда умела справляться.

Я помню дни, когда у меня было 25 центов в кармане. Как-то раз я шел по Бродвею и думал, что вокруг, наверное, нет человека беднее меня. Но и тогда я верил, что настанет время — и я опять стану состоятельным. Я верил в это, потому что знал: Америка всегда, рано или поздно, выявляет, кто чего стоит. И вот наконец Ирине вновь предстояло управлять солидным семейным бюджетом. И я радовался за нее не меньше, чем за себя самого, — я достиг этого для нас обоих.

Моими первыми пациентами были в основном русские иммигранты, только что приехавшие в Америку. Их страховка для неимущих полностью окупала расходы госпиталя, но хирургу за операцию доставалось всего 350–500 долларов, тогда как другие страховые компании за такие же операции платили от двух до семи тысяч. Многие американские доктора называют больных с такой страховкой «service patients», что можно перевести как «пациенты в нагрузку», отдавая их на попечение малоопытных резидентов. Медицина — профессия внеклассовоя, но подход медиков к пациентам может оставаться классовым. С этим ничего не поделаешь. И теперь, когда меня сделали директором русской клиники, всех приехавших из СССР просто спихивали на меня. И я лечил их — так, как нужно было для их выздоровления, а не так, как мне за них заплатят. В этом сказывались моя закваска русского доктора добрых старых традиций и бывшее советское неприятие классовых традиций.

Тем не менее и мне надо было делать то, что американские доктора называют «to build the practice» — создавать практику, то есть набирать себе контингент частных пациентов. Этот процесс отнимает много энергии и дорого стоит. Сами пациенты к доктору не пойдут, хотя бы потому, что не знают о его существовании. Доктор, начинающий частную практику, выбирает себе район, в котором хочет обосновать практику, снимает помещение для офиса, рассылает извещение о начале работы другим докторам всех специальностей, чтобы они знали о нем и могли, если что, присылать к нему пациентов. Офис надо оснастить мебелью, оборудованием, телефоном, факсом (а теперь и компьютером), шкафами для хранения историй болезней, рабочим местом для секретаря, которого надо еще найти, что

совсем непросто. И с самого начала следует выбрать страховую компанию и платить за «Malpractice Insurance», «страховку от ошибок», без которой нельзя работать ни дня.

Расходы на все это такие, что доктора вынуждены брать в банке ссуду под большие проценты. Многие начинающие, чтобы избежать всего этого, нанимаются младшими партнерами к докторам в уже существующие офисы. Но для этого надо, чтобы хозяин захотел тебя взять, а потом долго и дорого платить ему за пользование офисом и быть у него мальчиком на побегушках.

К счастью, я был избавлен от подобных, головных болей: мое новое положение заведующего автоматически включало меня в группу «ортопедическая ассоциация» при нашем госпитале. У группы было в госпитале свое помещение и оснащение для приема частных пациентов. За это мы обязаны были платить госпиталю 27,5 % общей суммы дохода. Может быть, это и немало, зато можно начинать прием частных пациентов сразу.

Всем частным докторам, а хирургам в особенности, необходимо иметь «Priveleges» — привилегии или, точнее, допуск от госпиталя на производство определенных операций. Привилегии утверждаются советом управления госпиталя. Мой прежний хирургический диапазон был довольно широким, но в Америке требуется заново подтвердить свою специализацию. Этот вопрос тоже решился проще, чем я ожидал: Виктор сам принес мне форму с длинным списком операций:

— Владимир, отметь сам, что хочешь делать.

Совет утвердил мой список без возражений.

«Страховка от ошибок» у нашей группы тоже была коллективная, за всех заведующих платил госпиталь. Если бы я начинал практику в одиночку, мне это стоило бы 80 000 долларов в год! Фантастическая сумма, связанная с тем, что в хирургии есть риск операций. Терапевты имели дело с гораздо меньшей страховкой — около 15 000 долларов. Самая высокая — у нейрохирургов, ортопедических хирургов и акушеров-гинекологов. Не то чтобы они делали больше ошибок, но их ошибки могут иметь худшие последствия, и их судят чаще других, при этом требуя от них больших сумм компенсаций. Поэтому в случае суда наша страховка покрывала каждого из нас на сумму до пяти миллионов.

Если сложить все затраты начинающего частнопрактикующего американского доктора, получится, что в дорогом городе Нью-Йорке в год он должен заплатить за организацию своей работы 150 000–200 000. Чтобы ему остался годовой заработок в этих пределах (из которого с него еще вычтут налоги), ему необходимо заработать не менее 400 000 долларов в

первый год. Это практически невозможно, и доктора влезают в долги.

Я счастливо избежал суеты и расходов на устройство частной практики. Это развязало мне руки, и теперь я все больше оперировал русских иммигрантов и американцев вместе с Виктором.

После моей поездки в Бразилию к нам стали все чаще приезжать пациенты из стран Южной Америки. Наш госпиталь становился неофициальным всеамериканским центром по илизаровским операциям. Резиденты шутили:

— Владимир проложил к нам дорогу из России и Южной Америки.

Ни русские, ни латиноамериканцы не говорили по-английски, мы наняли переводчиков. Правда, многие наши врачи с юга страны знали испанский. Пришлось и мне запомнить несколько фраз для первого общения с пациентами: я мог с ними поздороваться, спросить, что у них болит, объяснить, что надо сделать рентгеновский снимок. На большее я не был способен.

У нас работал доктор из Чили, Энрике Эргас. К нему тоже приезжали на лечение пациенты из его страны, богатые и влиятельные люди. Энрике был то, что называется «южноамериканский князь»: держался высокомерно, говорил с большим гонором, любил во всем шик. Однажды, после долгого операционного дня он предложил подкинуть меня домой на своем «Роллс-Ройсе». На такой машине мне ездить еще не приходилось. Пока она бесшумно катила по ночному Манхэттену, я любовался ее внутренней отделкой, а Энрике переговаривался с кем-то по-испански по телефону, микрофон которого был вмонтирован в рулевое колесо. В этом разговоре я с удивлением услышал несколько раз свое имя.

— С кем ты говоришь?

— Я говорю с доктором в Сантьяго, в Чили.

— В Сантьяго?

— Владимир, этот доктор — хозяин большого частного госпиталя в Сантьяго. Я рассказал ему, что вы с Илизаровым недавно проводили конгресс в Бразилии. Он загорелся идеей пригласить Илизарова и тебя в Чили, чтобы вы провели конгресс в Сантьяго с чилийскими хирургами. Можешь поговорить об этом с Илизаровым?

Чили? Что я о ней знал? Только то, что в 1973 году генерал Пиночет устроил в Чили военный переворот, преследовал всех левых, сторонников бывшего президента Альенде, с которым заигрывало советское правительство, и посадил в тюрьму секретаря компартии Корвалана. Потом по инициативе Сахарова

был произведен обмен: Корвалана доставили из тюрьмы в Москву, а диссидента Владимира Буковского, которого советская власть звала хулиганом — в Лондон. В народе ходила частушка:

Обменяли хулигана На Луиса Корвалана. Где найти такую б…дь, Чтобы Брежнева сменять?

Это все, что я тогда знал о Чили. И в Америке узнал не намного больше. Писали, что Пиночет был диктатором, но сумел навести порядок и страна стала процветать. Поехать туда было заманчиво. Я был уверен, что Илизаров согласится. Но президентом Чили тогда все еще был Пиночет, и советским людям ездить туда не рекомендовалось; а Илизаров был к тому же народным депутатом. Пару недель шли по телефону переговоры. Гавриил первым делом спросил:

— Сколько заплатят?

Я задал этот вопрос Энрике, тот позвонил в Сантьяго и ответил:

— Тысячу долларов.

Илизаров возмутился:

— Скажи им, что в такую даль я за тысячу не полечу.

Энрике опять звонил в Сантьяго. Сговорились, что ему заплатят три тысячи и одну тысячу мне, обещали первый класс, лучшую гостиницу и автомобиль. Опять я звонил Гавриилу. На этот раз он согласился, и мы условились, что он прилетит в Нью-Йорк, с 18 по 24 ноября мы пробудем в Чили и опять вернемся в Нью-Йорк. Френкель просил, чтобы Илизаров провел консультации некоторых наших сложных больных и занятия с докторами.

Среди тех больных, которых мы с Виктором намечали проконсультировать с Илизаровым, был наш карлик Гизай. Уже более года продолжалось его лечение, он давно выписался из госпиталя, но родители часто звонили и привозили его с разными жалобами. Они апеллировали ко мне, но это был частный больной Виктора, и я показывал его ему. Виктор всегда успокаивал родителей:

— Все будет о'кей, надо ждать, когда окрепнут удлиненные кости.

— Все будет о'кей? — переспрашивали они.

— Все будет о'кей.

Мы удлинили его ноги на пятнадцать сантиметров. Отчасти это делалось по настоянию матери, но отчасти и потому, что Виктор наобещал родителям слишком много и не хотел от этого отступать. Если бы он тогда отбросил свое врачебное иго, мы остановили бы удлинение раньше, и мальчик был бы уже здоров. Но как я и предвидел, пятнадцать сантиметров было слишком

много для слабых тканей Гизая. Теперь на ногах у него давно лежали гипсовые повязки, уплотнение удлиненных костей шло медленно и сильно болели мышцы. Виктор не знал, что делать, и я тоже. Он решил показать мальчика Илизарову. Родители, конечно, ухватились за эту спасительную идею.

Чили

Гавриил остановился у нас и с интересом рассматривал книги из моей новой библиотеки.

— А эта о чем? А эта? А тут про что?..

Особенно его заинтересовал толстый, богато иллюстрированный том «Новой еврейской энциклопедии». Ирина уселась с ним на диване — переводить. Гавриил слушал внимательно и время от времени просил уточнить, о чем идет речь. Он вырос в еврейской среде на Кавказе, его дед был религиозным. Но у Гавриила было очень тяжелое и бедное детство: с семи лет он вынужден был работать, помогая матери растить пятерых его братьев и сестер. До одиннадцати лет он не ходил в школу, потому что у него не было времени и… сапог. Потом он надолго откололся от семьи на время учебы, стал первым среди татов доктором, а попав в Курган, забрал всю семью к себе. Всю жизнь ему было не до чтения Библии, да и вообще в Советском Союзе книг на религиозные темы не издавали. Может быть, впервые в жизни этот старый и знаменитый ученый слушал глубоко поучительные предания своего народа. Ирина уже устала читать и переводить, а он просил еще и еще. Она попробовала перелистать несколько страниц, но Гавриил вернул ее к прежней.

— Как вам все интересно, Гавриил Абрамович!

— А я очень любознательный, — просто, даже наивно ответил он.

Выручило Ирину только то, что нужно было подавать обед перед отъездом в аэропорт. За нами должна была прийти машина, которую я заказал из транспортной фирмы. Но машины все не было. Я недоумевал, Гавриил нервничал:

— Ну, где же она, твоя машина? Так мы опоздаем на самолет!

Подождав еще, я позвонил в контору. Оказалось, что машина застряла в пробке. Гавриил занервничал еще больше:

— Ну, вот, я говорил, что опоздаем.

— Не опоздаем. Возьмем такси.

Мы торопливо вышли на улицу, и я стал ловить такси. Все машины проезжали мимо.

— Вот видишь, надо было выходить раньше. Что будем делать, если опоздаем?

— Да не опоздаем мы, нам полагается приехать в аэропорт за два часа, а мы в худшем случае приедем за час.

— А если опоздаем?

Наконец остановилась машина. Прислушавшись к нашей

беседе, шофер заговорил с нами по-русски. Оказалось — иммигрант из Одессы, где был инженером, а здесь работал водителем, потом купил себе такси, это его машина.

— А вы, извиняюсь, в Нью-Йорке по делам? — спросил он.

— Вы о хирурге Илизарове слышали?

— Это который Брумеля лечил? Конечно, слышал! Кто ж об Илизарове не слышал? Самый знаменитый в Союзе доктор!

— Вот вы его сейчас и везете.

— Кого — самого Илизарова?

Гавриил улыбался в усы. Шофер не мог поверить:

— А вы не шутите?

— Не шучу. Могу доказать. Гавриил, дай мне твое депутатское удостоверение.

Я показал красную книжечку шоферу:

— Смотрите — фамилия Илизаров и подпись самого Горбачева.

Как же он был обрадован! Всю дорогу приговаривал:

— Ну, это надо же — в Нью-Йорке везти самого Илизарова!

Когда я стал расплачиваться, он наотрез отказался брать деньги:

— С Илизарова не возьму. Ни за что! Вот если бы профессор дал мне автограф, а то ведь никто не поверит…

Гавриил, разумеется, расписался ему на память.

На все конференции и конгрессы Гавриил возил в отдельном тяжелом чемодане-«дипломате» все свои слайды, и не отставлял его от себя ни на шаг. Он дорожил им, и основная его забота была, чтобы ничего не случилось с этим чемоданом. Слайдов было несколько сотен, некоторые из них заложены в старые стеклянные пластинки, что и утяжеляло чемодан. Гавриил часто и нервозно повторял:

— В этих слайдах вся моя жизнь собрана.

Действительно, слайды были с конца 1950-х годов и до последнего времени.

На этот раз он поручил заботу о чемодане мне — знак большого доверия.

Полет в Сантьяго — двенадцать часов, мы пролетели с севера на юг большую часть земного шара, пересекли экватор, летели вдоль гор Анд. И хотя большую часть времени спали, но все равно прилетели усталые. Ноги Гавриила отекли, и он шел прихрамывая.

В Сантьяго в аэропорту нас встречали напыщенный, как всегда, Энрике Эргас и доктор Либман — хозяин госпиталя и устроитель конференции, пожилой еврей, немного говоривший по-английски. Гавриил сказал:

— Спроси его, как это так — в Чили, а фамилия еврейская? И похож на еврея.

Оказалось, что в Сантьяго довольно большая еврейская колония: они иммигрировали туда из Югославии во время двух мировых войн. За годы в новом окружении они приспособились к жизни в Чили, как только евреи умеют приспосабливаться в любой стране. Теперь их язык был испанский, хотя они сохранили традиции, построили синагоги.

Нас провели через выход для особо важных персон. Подбежавший шофер хотел выхватить у меня из рук чемодан Гавриила со слайдами, но Илизаров строго сказал:

— Никому не отдавай! Черт их знает, этих чилийцев, — украдут еще. А здесь вся моя жизнь.

Южноамериканское лето в ноябре было в разгаре, стояла чудесная, не очень жаркая погода. Северная часть Чили, где находится Сантьяго, славится прекрасным климатом. Весь поперечник страны от Тихого океана и до высоких гор Анд — меньше ста километров. В один день можно проснуться в городе, через полчаса езды на машине выкупаться в океане, а еще через час-полтора езды на машине в горы покататься на лыжах. Зато в южной части страны холодно, она граничит с Антарктидой. Туда ходят корабли с туристами, и люди наблюдают за жизнью пингвинов.

— Если захотите, мы организуем для вас такое путешествие, — предложил нам Либман.

Что касается деловой части поездки, он сказал, что на конференции будут работать два синхронных переводчика: с русского и с английского.

— В Чили раньше было много людей, которые учились в России. Большинство из них, коммунисты, не уцелели при Пиночете. Но мы все же нашли для профессора женщину, знающую русский.

— Спроси его, как им нравится Пиночет? — сказал Гавриил.

— Он восстановил экономику страны, — спокойно ответил Либман. — Когда к власти пришел Альенде и началась дружба с Россией, все в стране покатилось вниз. У меня даже хотели отнять мой госпиталь.

Гавриил прокомментировал:

— И у нас все катится вниз… Только ты ему это не переводи.

Новая современная гостиница стояла на горе: с одной стороны был вид на город, с другой — на синие горы над нами. Но Гавриилу не понравились номера, в которых нас поселили.

— Разве это комнаты? Мне в комнату нужны два проектора для репетиции показа слайдов. А в такой комнате я не смогу

проецировать их на стену. Я требую, чтобы нам дали большие комнаты.

После небольшой заминки нам дали по люксу на верхнем этаже, с отдельным баром. Только мы устроились, как явилась молодая переводчица Чилита:

— Здравствуйте, — сказала она по-русски с легким акцентом. — Ой, как я рада, что получила возможность снова говорить по-русски!

Чилита была коротенькая и некрасивая, но ее большие темные глаза сверкали искрами. Она рассказала, что три года училась в Москве и что ей там очень нравилось:

— У меня было много друзей среди русских. Русские все — такие дружелюбные! Я по ним очень скучаю. После переворота меня отозвали обратно, даже на целый год посадили в тюрьму. Это неприятно вспоминать. Но я не была коммунисткой, и меня выпустили. Я долго не могла найти работу, теперь работаю. Но, к сожалению, мой русский язык тут никому не нужен: теперь никто из Советского Союза сюда не приезжает. Когда я узнала, что к нам приедет знаменитый русский хирург, я ужасно обрадовалась. Вы первые люди из России, кого я вижу за пятнадцать лет.

Как только она ушла, договорившись с нами встретиться за ланчем, Гавриил заторопил меня:

— Давай, закладывай слайды в карусели, проверим, как они смотрятся.

— Слушай, надо сперва отдохнуть с дороги.

— Некогда отдыхать, сначала надо дело сделать.

В работе он был неутомим, неумолим и даже деспотичен — пришлось подчиниться. Но вскоре в дверь опять постучали — явился единственный советский корреспондент в Сантьяго, пожилой и грустный. Он пришел познакомиться с Илизаровым и, как и Чилита, сказал:

— Вы, профессор, первый советский гражданин, кого я вижу здесь.

Попрощавшись с ним, мы опять занялись слайдами. Поразительно было, как придирчиво и дотошно Гавриил рассматривал их, наверное, сотый раз в жизни. Он выбирал один какой-нибудь слайд и говорил:

— А ну-ка, отбрось его на стенку.

Я включал проектор, Гавриил долго молча смотрел на картинку на стене. Какие-то мысли роились в его голове; может, ему являлась новая идея? Пока он думал о чем-то своем, я думал о том, как бы вздремнуть хотя бы на четверть часа. Но пора уже было ехать в ресторан на званый ужин, а я все не мог оторвать его от слайдов:

— Сейчас, сейчас, давай посмотрим еще один…

За обедом все хотели разговаривать с Гавриилом, и мне приходилось переводить, почти не закрывая рта. Чилийцы расхваливали свое вино, рассказывали, что лучшие виноградные лозы Франции были тайком вывезены в Чили, когда в 1940 году во Францию вошли немцы, — чтобы лозы не достались завоевателям. Они прижились в Чили, поэтому здешнее вино не хуже французского. Нас наперебой уговаривали:

— Попробуйте вот это… а теперь вот это…

Вино было в самом деле замечательное. От него, от усталости и от интенсивности общения я чувствовал головокружение. А они все говорили, а я все переводил и переводил. Стали заказывать десерт:

— Что хочет профессор?

— А что есть? — спросил профессор.

Последовало длинное перечисление блюд и напитков.

— Нет, я хочу только мороженое, — сказал Гавриил.

Хозяева отдали заказ официанту, и вскоре всем нам принесли кому кофе, кому сладкое. Мороженое все не несли. Гавриил спрашивал:

— Где же мое мороженое?

— Сейчас, сейчас будет.

Через несколько минут опять, нетерпеливо:

— Спроси их: где мороженое?

— Сейчас, сейчас будет…

Наконец в конце зала показалась кавалькада из трех официантов, которые катили к нам два металлических столика на колесах.

— Владимир, скажите профессору, что ему везут мороженое.

— Гавриил, тебе везут мороженое.

— Мне? Зачем так много?! Я заказал только одну порцию!

Подкатив столики, официанты стали на виду у Гавриила ловко и живописно манипулировать: зажгли для чего-то спиртовку, что-то на ней согревали, вкладывали и перекладывали из одной емкости в другую. Гавриил смотрел на все эти манипуляции с нетерпением:

— Что это они делают?

— Профессор спрашивает, что они делают?

— Готовят мороженое для профессора, особый сорт.

— Это — мороженое? — Гавриил задал вопрос с таким простодушным удивлением, что я рассмеялся.

— Чего ты смеешься?!

Но я не мог ему ответить, не мог остановиться, на меня напал какой-то безудержный приступ хохота.

— Что с тобой?!

И тут ему торжественно и почтительно преподнесли маленькую изящную плошку с мороженым. Тут уж и он расхохотался. И все за столом дружно рассмеялись. Только официанты застыли в почтительном удивлении.

Утром началась конференция, в которой участвовало всего около ста пятидесяти врачей, но чилийцы для солидности предпочитали называть ее конгрессом, чтобы у них было не хуже, чем у бразильцев. Организовано все было, надо сказать, намного лучше, чем в Бразилии, а самое главное — начали вовремя. Всем раздали наушники, Чилита сидела в застекленной будке и оттуда очень бодро и точно переводила Илизарова. Я заранее объяснил ей все медицинские термины, а сам управлял показом слайдов с трех проекторов.

Я уже не в первый раз слушал этот доклад, но все-таки не переставал поражаться: как этот провинциал, изолированный от научных центров, в примитивных условиях маленькой бедной больницы, в одиночку, смог основать и развить новое учение в хирургии? Этот человек, с не слишком высоким общекультурным уровнем, но с поразительной целеустремленностью, был гением.

После перерыва, во время которого Илизаров отвечал на вопросы и раздавал автографы, предоставили слово мне. Выступать после Илизарова было трудно. Правда, я заготовил козырную карту: привез с собой пятнадцать иллюстраций к рассказу о наших нью-йоркских операциях. Выполненные в цвете на больших картонах, видные издалека, они фактически предельно проясняли то, что было быстро показано на сотнях слайдов Илизаровым. Они понравились аудитории и выручили меня. Даже Гавриил потом сказал:

— Хорошие ты рисунки сделал.

На похвалы Илизаров был скуп.

— Тебе правда рисунки понравились? Знаешь, мы с Виктором хотим издать их, как практическое руководство по твоему методу.

— Книгу хочешь написать? Ну, ну, попробуй. Моя все равно выйдет раньше.

Так я получил его косвенное благословение на издание книги.

На другой день были практические занятия с чилийскими докторами, и хозяин госпиталя Либман с гордостью водил нас с Гавриилом по нему. По правде говоря, я не ожидал увидеть такое в дальнем уголке мира. В этом и была свобода частного предпринимательства, которую насаждал Пиночет. Мы с Гавриилом переглядывались со значением: как бы Пиночета ни оценивали, но видно было, что он спас свою страну от разорения

коммунистами.

В отделении реабилитации ко мне подошла женщина-доктор и на слабом английском сообщила, что она тоже русского происхождения: ее дедушка был казак в царской армии, бежал от революции и осел в Чили.

— Вы говорите по-русски?

Нет, она совсем не знала родного языка, но помнила сказку, которую дедушка читал ей в детстве. И она продекламировала со смешным произношением:

— Сорока-ворона кашку варила, деток кормила… кишь, полетели, на головушку сели…

На следующее утро нас повезли в знаменитый курортный городок Вальпараисо, на берегу океана. Там стояла жара, люди купались и загорали на золотистых песчаных пляжах. А после ланча мы отправились в горы, на лыжный курорт в Андах, и мы увидели, как сверкали на солнце снежные вершины гор, ползли вверх подъемники и сотни людей мчались по лыжным трассам вниз. Не могла не поражать такая близость диаметрально противоположных климатических зон и даже времен года — всего-то на расстоянии около ста километров.

Мы пробыли в Сантьяго уже пять дней, но ездили только из отеля в госпиталь и обратно, а самого города пока не видели. Я уговаривал Гавриила:

— Посмотрим на город — ведь интересно видеть новые города!

— Ты что, домов не видел?

Ну, что было на это сказать… Я так его и не уговорил и поехал смотреть город один, знаками объяснив нашему шоферу, что хочу посмотреть город. В Сантьяго живет четыре миллиона человек, почти треть населения страны. Город был основан в 1541 году первыми испанскими колонистами. Их занесла в такую даль, буквально на край света, смелость, жадность к наживе и любовь к приключениям. Что тогда им виделось? И вот прошло 450 лет — теперь я проезжал по широким авеню и громадным площадям типичной городской планировки колониального периода. Но хотя план города старый, большинство домов в центре были новой архитектуры и солидной постройки. Все улицы идеально чистые, люди хорошо одеты и выглядят благополучными. Я смотрел и вспоминал, каким убогим показался мне недавно Невский проспект Ленинграда, тоже широкий и тоже построенный по старому плану. И как серо выглядели на нем русские люди. Это вызывало чувство обиды за истерзанную коммунистами Советскую Россию.

Вечером мы вылетали обратно. Гавриил давно уже

волновался:

— Где деньги, которые они обещали заплатить? Ты получил свои?

— Ничего я не получал. Они заплатят нам вместе.

— А если не заплатят?

Он так меня этим доводил, что я позвонил Энрике. Тот сказал, что деньги и билеты нам привезут в аэропорт. Гавриил опять был недоволен:

— А если обманут, недодадут?

— Как это они недодадут?! Не волнуйся ты!..

Перед самой посадкой приехали Любман с Энрике и вручили нам конверты с деньгами и билеты. Я украдкой сказал Гавриилу:

— Твой конверт в три раза толще моего.

Он расслабился и самодовольно заулыбался.

Но, когда мы предъявили билеты, оказалось, что вместо первого класса нам дали бизнес-класс. И опять оказался виноватым я.

— Куда ж ты смотрел? Надо было проверить, пока они еще были здесь. Что нам теперь делать?

— Гавриил, мне и в голову не приходило проверять билеты.

— Скажи, что это ошибка. Попроси, чтобы нас посадили в первый класс.

Я начал объяснять, но мало кто понимал английский. Позвали других чиновников, и они долго выясняли, в чем дело. Гавриил все время повторял:

— Скажи им, что это ошибка.

— Скажи им, что мне из-за ног необходимо лететь в первом классе.

— Скажи им.

Я переводил им, переводил ему, они переспрашивали, пока не пришло время садиться в самолет. Ничего, конечно же, не изменив, нам наспех поставили штампы на билетах, и мы остались в бизнес-классе.

Неожиданная заминка ждала нас в Нью-Йорке. При проверке паспортов оказалось, что виза Гавриила давала ему разрешение только на один въезд в Америку. Чилийские таможенники не должны были разрешать ему лететь в Америку, но мы с Гавриилом, видимо, так заморочили их разговорами о первом классе, что они не обратили на это внимания. Гавриил занервничал уже не на шутку. Дело было и впрямь серьезное: его могли не впустить в страну, и тогда пришлось бы вмешивать посольство Советского Союза. На это ушло бы много времени. Нас завели в отдельную комнату и стали выяснять, кто он и зачем приехал? С американскими таможенниками мне было легче

разговаривать, чем с чилийскими. Я решил пойти на них в психическую атаку. То, что Илизаров знаменитый хирург, их не убеждало. В Америку каждый день приезжают тысячи знаменитостей со всего мира — артисты, ученые, писатели. Надо было найти что-то поубедительнее.

— Этот человек, — сказал я им, — из близкого окружения президента Горбачева. Гавриил, покажи им твое депутатское удостоверение. Вот, смотрите, — это подпись Горбачева.

— Самого Горбачева?!

Горбачев был тогда президентом Союза и очень популярной личностью в Америке, он часто приезжал сюда и его постоянно показывали по всем каналам телевидения вместе с американским президентом Бушем-старшим. Таможенники так поразились подписью, что не стали больше ничего выяснять, а только наложили на Гавриила штраф в пятьдесят долларов. Я заплатил, и мы счастливо выскользнули из аэропорта.

Ездить с Илизаровым на конгрессы было очень интересно, хотя и очень хлопотно. Его возрастные недостатки и особенности характера меня не расстраивали. Я по-дружески любил этого человека — одну из самых интересных личностей на моем жизненном пути. Кажется, и он ценил дружбу со мной.

Консультация

На следующий день Илизаров по просьбе Виктора Френкеля консультировал его пациента — маленького Гизая.

Как всегда возбужденная, мне позвонила мать ребенка:

— Доктор Владимир, профессор примет нас? У нас большие надежды на эту встречу. Вы думаете, он поможет моему сыну? Сколько мы должны заплатить профессору?

— Конечно, примет. Уверен, что он поможет. Я не знаю его расценок, но квалифицированный специалист берет за осмотр пациента не меньше двухсот долларов.

Гавриилу я сказал, что консультация платная, это ему понравилось. И рассказал историю лечения Гизая — как мать настаивала на большом и быстром удлинении ног. Я не комментировал действия Френкеля, но Гавриил все понял:

— Так, так… я, конечно, посмотрю больного, но вы ставите меня в неловкое положение: не надо было идти на поводу у матери, надо иметь свою цель в лечении. Теперь я должен сказать родителям правду о состоянии их сына, но в то же время мне неудобно критиковать действия Френкеля.

У каждого доктора бывают ситуации, когда медицинская правда лечения пациента сталкивается с этикой человеческого поведения. Как из этого положения выйдет Гавриил?

Родители привезли сына на инвалидной коляске в номер отеля, где остановился Гавриил. Мальчик был худ, бледен и выглядел несчастным. Прошло полтора года со времени операций по удлинению его ног, но на них все еще были гипсовые повязки, и Гизай совсем перестал ходить.

Гавриил долго рассматривал его рентгеновские снимки: на них видно было большое растяжение и очень слабое образование новой костной ткани. Но все-таки это уже была кость. Илизаров сказал, что, с его точки зрения, лечение проведено правильно, теперь должно начаться наращивание костей на месте растяжения:

— Надо положить мальчика в госпиталь, снять повязки и приступить к занятиям лечебной физкультурой и массажу. Через два-три месяца он начнет ходить.

Мать Гизая забрасывала Гавриила вопросами:

— Профессор, значит, все будет хорошо?

— Все должно быть хорошо.

— Профессор, а можно удлинить еще больше?

— Нет, я считаю, что больше не надо.

— Когда можно положить Гизая? — спросила она меня.

— Хоть сегодня.

Мы договорились, что завтра они привезут Гизая в госпиталь, мы снимем с него гипсовые повязки и начнем восстановительное лечение. Перед уходом отец сунул Гавриилу в руки конверт с деньгами. Как только они ушли, он сказал:

— Вот видишь, никогда не надо делать больше, чем подсказывает сама природа. Хирург должен иметь особое чувство — знать, когда ему вовремя остановиться. Ясно, что такое большое удлинение было не для него. Но не мог же я критиковать Френкеля.

На всякий случай я по свежим следам записал консультацию на двух языках — чтобы лежала в истории болезни. Назавтра мы ждали в госпитале Гизая. Но больше ни я, ни Виктор никогда его не видели — родители его не привезли. Почему и куда он пропал, мы не знали. Что с ним стало дальше, выяснилось только через несколько лет, когда мать подала в суд на нас с Виктором. Но об этом — потом.

Гавриил часто видел, что я расплачивался за его покупки кредитной карточкой (потом он отдавал мне долг наличными). Ему тоже захотелось иметь такую карточку, тем более что в американских газетах писали, что Горбачев купил своей жене в Лондоне бриллиантовые сережки, расплатившись карточкой «Американ экспресс».

— Хочешь получить карточку? Надо поехать в банк и все там узнать. Мне как американцу мой банк сам присылает карточку, потому что у меня там есть счет. Но ты иностранец, ты должен будешь внести деньги.

— Давай съездим.

Он долго забивал карманы деньгами, потом вспомнил и положил еще и конверт с гонораром от родителей Гизая. Мы побывали в нескольких банках, но как иностранцу ему везде отказывали. Все-таки один банк согласился оформить ему карточку «Американ экспресс». Но кто-то должен был стать его доверенным лицом в Америке и иметь доступ к деньгам. Он будет посредником, вся переписка с банком должна идти через этого представителя. Я объяснил Гавриилу, в чем проблема:

— Кого ты можешь назначить своим доверенным?

— А кого я могу, кроме тебя?

— Хорошо, тогда ты распишись здесь и здесь — это образец твоей и моей подписей. Сколько ты хочешь положить денег?

— А сколько нужно?

— Меньше пяти тысяч они не принимают.

— Ого! Ну ладно, пусть будет пять тысяч.

Заполнив все положенные бумаги, мы подошли к кассирше,

которая сидела по другую сторону высокой и широкой стойки. Гавриил стал из карманов выкладывать пачки долларов, немецких марок и итальянских лир, накопленных от разных поездок. Кассирша терпеливо ждала, пока мы считали, я передавал ей пачку за пачкой, она их вновь пересчитывала.

Уже вроде все посчитали, не хватало двухсот долларов.

— У тебя есть конверт, который тебе дали сегодня, — напомнил я.

— Да, да, я забыл. Куда это он задевался? — он стал лазить по всем карманам.

Мы с кассиршей ждали. Он долго возился, потом вдруг сказал:

— Она украла.

Хорошо, что кассирша не понимала по-русски, — мог выйти большой скандал. Если американца огульно обвинить в чем-нибудь, дело может дойти до суда. Улыбаясь кассирше и стараясь, чтобы она по интонации не уловила смысл его слов, я стал мягко уговаривать:

— Гавриил, ну как она могла украсть, если она вообще сидит по другую сторону стойки?

— А я тебе говорю, что это она украла.

— Слушай, дай я сам проверю в твоих карманах.

— Проверяй, но я тебе говорю.

Кассирша терпеливо, но и с нарастающим удивлением смотрела на нас. Я полез в боковой карман его пиджака и сразу вытащил тот конверт.

— Вот видишь: никто у тебя ничего не украл!

— Ну, ладно, ладно…

Когда мы ехали в гостиницу, он сказал:

— Только ты никому в Кургане не давай знать, что у меня есть эта карточка. Не присылай мне ничего на мой институт. А то, знаешь, поползут всякие слухи.

Я вспомнил свою бывшую страну: «пойдут всякие слухи». Даже такой известный и уважаемый человек опасался слухов. До чего живуча была там зависимость людей!..

Потом я каждый месяц получал отчеты из банка, но не пересылал их Илизарову, а в завуалированной форме сообщал на его домашний адрес, что «мои» финансовые дела идут хорошо и «мой» счет в банке понемногу растет. Когда он опять приезжал в Нью-Йорк, я передавал ему все полученные бумаги. Читать он их не мог, доверял мне. И кредитной карточкой так никогда и не воспользовался.

Секретарша

Несколько недель я оборудовал свой кабинет: поставил книжный шкаф, большой рентгеновский аппарат, купил красивую лампу на письменный стол, кипятильник для кофе, чайник и небольшой холодильник. За многое я платил сам, но Мошел возвращал мне деньги — кабинет был собственностью госпиталя.

— Владимир, а холодильник для чего? — спросил Мошел.

— К нам с Френкелем будут приезжать доктора из разных стран, чтобы обучаться илизаровскому методу. У Френкеля в кабинете всегда много народу. Поэтому после операций и показа госпиталя мы с ними сядем здесь для деловых разговоров, ну, иногда и выпьем по рюмке и закусим чем-нибудь.

— Владимир, это что, русский обычай — выпивать на работе?

— В других странах доктора тоже угощали меня выпивкой.

— Ладно, после работы, это — куда ни шло.

— Не думаешь ли ты, что я алкоголик?

Он рассмеялся:

— Знаешь, кому это понравится? Френкелю. Он любитель выпить.

В подтверждение его слов первым гостем в моем кабинете стал Виктор, с которым мы выпили по рюмке холодной водки. С того дня мы с ним завели традицию: если задерживались допоздна, то после работы пропускали в моем кабинете по рюмке-другой.

Мне нравилось по вечерам сидеть в своем большом мягком кресле, за своим большим письменным столом, наговаривать на диктофон ход сделанных за день операций, вносить записи в истории болезней. Я любовался в окно на бесчисленные огни небоскребов и, покончив с делами, звонил Ирине со своего кнопочного телефона:

— Еду домой.

Я проходил через пустую комнату секретаря. Там тоже появился письменный стол, электрическая пишущая машинка, стеллажи и металлические шкафы для хранения историй болезней и рентгеновских снимков. Но самого секретаря пока не было, мне временно помогали секретари Френкеля. Это было дело администратора — найти подходящего человека. Госпиталь платил секретарю около 40 000 долларов в год — неплохие деньги. Однажды зашел ко мне Мошел:

— Слушай, завтра я буду интервьюировать одну русскую — кандидата на должность твоего секретаря. По-английски она говорит хорошо, сказала, что уже работала секретарем в банке.

Если мне покажется, что она подходит, можешь потом сам поговорить с ней. Ее зовут, — он заглянул в бумажку и нетвердо произнес русское имя: — Иззабелла Ззубатофф.

Когда на другой день Мошел закончил беседу с кандидаткой, он позвонил мне, чтобы я зашел в его кабинет. Изабелла оказалась невысокая, лет около сорока, одета в строгий темный брючный костюм. В Америке принято на все интервью для поступления на работу приходить в строгом костюме — это правило. Бросались в глаза ее высоко взбитая прическа и необычный цвет волос, темно-вишневый, вроде красного вина «Бордо». Это показалось мне забавным, но я виду не подал. Мошел отрекомендовал:

— Это доктор Голяховский.

— Здравствуйте, — сказал я по-русски.

Она немного испуганно пролепетала:

— Good morning, — хотя была уже середина дня.

Я хорошо понимал состояние человека, ждущего, чтобы его приняли на приличную работу. Тем более — иммигранта из России. Поэтому я старался держаться с Изабеллой как можно проще, чтобы снять напряжение:

— Пойдемте в наш кафетерий. Там и поговорим.

Я начал с того, что рассказал ей о себе, о том, чем занимался в Союзе, как эмигрировал в Штаты, через какие трудности прошел, и о том, какая у меня теперь в госпитале работа.

— А теперь вы расскажите немного о себе.

Она была ленинградка, уехала в Америку на год позже меня, в 1979-м, с мужем и маленьким сыном. В Ленинграде училась в педагогическом институте, собиралась писать диссертацию по истории.

— На какую тему?

— Об английской королеве Елизавете Первой.

Я подумал, что, конечно, это весьма далеко от работы, на которую она нанималась. Но я сам люблю историю и с уважением отношусь к тем, кто ею занимается.

— Когда вы можете выйти на работу?

Обрадовавшись, что ее берут, Изабелла осмелела:

— Можно через две недели?

В тот день, когда она начала работать, я должен был читать лекцию для медицинских сестер госпиталя — дать им общее представление, почему и как происходит образование новой костной ткани на месте растяжения, когда мы удлиняем кости. Лекция была назначена на пять часов, после работы. Я предложил Изабелле:

— Если у вас есть время, оставайтесь на мою лекцию. Это

поможет вам войти в курс того, чем я занимаюсь. Но не считайте себя обязанной оставаться.

Изабелла согласилась и на лекции скромно примостилась с краю аудитории.

Собралось около двухсот сестер, почти все после работы или с вечерней смены. Чтобы после утомительного дня они меня слушали, надо было дать им заряд для внимательности. Всякая лекция — это театр одного актера. Но лектор не должен лицедействовать, он только должен уметь наладить контакт с аудиторией, держать ее в напряжении интереса. В этом тоже есть артистизм своего рода. Важнее всего — самое начало.

— Спасибо, что собрались, — приветствовал я слушательниц. — Моя мама тоже была медицинская сестра, и я горжусь, что я — сын медицинской сестры.

Поднялся восторженный гул, все весело зааплодировали. Мне удалось сразу покорить аудиторию, и лекция прошла удачно. Я видел, что на Изабеллу это произвело впечатление.

На следующее утро она робко похвалила меня:

— Мне понравилась ваша лекция, доктор Голяховский. Вы так хорошо сразу начали, и потом все понятно и интересно рассказывали.

— Спасибо, Изабелла. Но давайте договоримся: зовите меня просто Владимир.

— Мне как-то неудобно… Можно по имени-отчеству?

— Вы считаете, что я — старик?

— Ой, нет, нет, что вы!.. Я так не думаю, — она зарделась, став почти цвета своих волос.

— Не обижайтесь, я пошутил. Но в Америке ведь нет отчеств. Только при очень официальных отношениях американцы называют друг друга по фамилии, а так — всегда по имени. Меня и в госпитале все зовут «доктор Владимир».

— Тогда и я буду называть вас доктор Владимир.

— Нет, просто — Владимир.

Изабелла оказалась очень старательная и сметливая, она быстро осваивалась с новой для нее работой и легко входила в контакты с другими секретарями. А секретарь врача в Америке — сложная и хлопотная профессия.

Секретарш принято часто саркастически изображать как бездельниц, которые сквозь зубы отвечают на телефонные звонки, а в основном заняты уходом за своими ногтями. В бюрократических офисах это, может, и так, но в частной медицине от секретаря зависит успех работы доктора, то есть его заработок. Секретарь — это и связь, и промежуточное звено в работе с пациентами. Все деловые звонки и переписка тоже

проходит через секретаря. В каждом из этих дел всегда бывает много осложнений, и хороший секретарь должен уметь быстро их разрешать. Зачастую у секретаря нет времени даже для полагающегося часового перерыва на ланч, и многие задерживаются на работе, заканчивая сегодняшние дела, потому что завтра их будет не меньше. Работы так много, что в частных офисах жены докторов зачастую помогают секретарю.

Все это было внове для Изабеллы, и на первых порах мне самому и другим секретарям приходилось многое ей объяснять. Но я проводил значительную часть времени в операционной, на обходах больных, на медицинских конференциях и на занятиях с резидентами, поэтому в своем кабинете бывал только рано утром, а потом появлялся к концу дня. Правда, среди дня я звонил Изабелле по внутреннему телефону. Иногда она вызывала меня по бипперу и сообщала срочные дела. Когда к концу дня я, усталый, приходил в кабинет, то всегда видел Изабеллу занятой переговорами по телефону. Сидя расслабленно в своем большом кресле, я с удовлетворением слушал, как в соседней комнате она отвечала на частые телефонные звонки:

— Кабинет доктора Голяховского, добрый день. Что я могу сделать для вас?

Потом шли долгие переговоры, то по-английски, то по-русски. Пациентам-иммигрантам все приходилось растолковывать по многу раз — и адрес госпиталя, и как до него доехать. Надо было иметь много терпения, чтобы они все поняли и запомнили. Терпения у Изабеллы было много.

Закончив, она входила ко мне с большим блокнотом в руках и, заглядывая в него, забрасывала меня накопившимися за день делами:

— Владимир, на завтра на прием уже записано пятнадцать пациентов, и еще двое звонили и умоляли принять их.

— Что с ними?

— У одной перелом ноги, который не срастается уже год. Она совсем отчаялась, плакала в трубку. А у другого, пожилого, такие страшные боли в спине, что он не может ни встать, ни сесть.

— Когда же мы успеем их принять, если у нас и так уже пятнадцать?

— Владимир, но они так слезно просили… Жалко ведь их.

— Ну хорошо — запишите их тоже. Что еще?

— Звонила старшая сестра и просила завтра начать вашу первую операцию позже, потому что перед вами будет очень большая.

— На какое время?

— На три часа.

— Ого, это значит, что раньше десяти вечера мне отсюда не уйти!

— Так что — сказать ей, что вы не согласны?

— Не надо. По крайней мере мы успеем принять всех больных, вместе с вашими жалостными.

— Еще из страховой компании просили прислать копии того, что я уже посылала к оплате. Второй раз они просят одно и то же, говорят, им нужны дополнительные сведения. Я все собрала и послала. Обещали через месяц прислать чек на четыре тысячи долларов.

— Надеюсь, что пришлют… Что еще?

— Еще администратор Мошел прислал нам в офис компьютер.

— Компьютер? Вы умеете на нем работать?

— На моей прежней работе я умела, но у нас другие программы.

Компьютеры только входили в обиход медицинских офисов.

Техник из фирмы установил и подключил компьютер и принтер. Я с интересом рассматривал агрегат: у меня еще не было опыта работы с ними. Потом несколько дней я с уважением наблюдал, как Изабелла быстро осваивалась с ним.

— Изабелла, вы — гений.

Она смеялась:

— Нет, Владимир, я не гений, но у меня гениальный муж.

— Чем он занимается?

— Он как раз специалист по компьютерам.

В общем, у нас быстро наладились добрые отношения. Мы были довольны друг другом. Единственное, что меня продолжало забавлять в Изабелле, — это ее высоко взбитая прическа. Цвет волос довольно часто менялся — от «бордо» до черного. Моя секретарша считала прическу главным достоинством своей внешности и очень ревниво относилась к замечаниям на сей счет. Но прошло немного времени — и она сама стала обсуждать ее со мной. Это сделалось предметом моих незлобных шуток, и Изабелла уже не воспринимала их с обидой, а смеялась.

Заработки

С появлением секретаря я начал регулярно, два раза в неделю, принимать частных пациентов в нашей «ассоциации ортопедов» — группе заведующих отделами. Мошел спросил:

— Владимир, сколько ты хочешь брать за первый прием и сколько за последующие?

Я считал, что в нашей группе стоимость приема фиксированная, поэтому не знал, что ответить. Мошел инструктировал меня:

— Каждый доктор может варьировать плату в широких, но разумных пределах, до 300–350 долларов за прием.

— Так много?! И страховые компании соглашаются это оплачивать?

— Нет, такую сумму страховые компании полностью оплачивать не станут. Пациент должен сам доплатить разницу между тем, что берет доктор, и тем, что оплатила его страховка.

— Кто же все-таки определяет, сколько брать доктору?

— Это индивидуально: определяет сам доктор. Чем он более квалифицированный, тем большую сумму вправе назначить. Это его дело. Доктора в нашей группе берут от 200 до 350 долларов.

— С любого пациента? — удивился я.

— Нет, например, «Медикейд», страховка для бедных, вообще не оплачивает доктору частный прием. Поэтому у нас и в других частных офисах пациентов с «Медикейдом» не принимают. Они должны идти в поликлиники или в приемные отделения госпиталей.

— Но у меня будет много русских пациентов-иммигрантов, а у них у всех «Медикейд».

— Поэтому ты будешь принимать их не в офисе, а раз в неделю в клинике. Для этого Френкель и создал твою «Русскую клинику», где ты сможешь лечить их вместе с резидентами.

— А как насчет пациентов со страховкой «Медикер» для пенсионеров? С них ведь тоже нельзя просить так много.

— «Медикер» оплачивает за первый прием 85 долларов и по 65 за последующие. Многие доктора не любят принимать в офисах и этих пациентов, но, по закону, отказывать им нельзя. К тому же у обеспеченных пенсионеров есть вторая страховка, частная, которая покрывает то, что не доплатил «Медикер». Все другие частные страховки оплачивают прием или полностью, или частично.

Пока еще неопытный в этих делах, я смущенно сказал:

— Я себя так дорого ценить пока не могу. Пусть будет за

первый прием сто, а за последующие — по пятьдесят…

— Нет, ты не можешь брать так мало по сравнению с тем, что берут остальные.

— О'кей, сколько берет Френкель?

— Он как раз берет меньше других. Он считает несправедливым заставлять пациентов много доплачивать, поэтому за первый визит берет 175, а за последующие — по 125.

Но если он, известный профессор, президент и главный хирург госпиталя, берет столько, то мне в начале моей практики, наверняка нужно брать меньше. Я сказал:

— Тогда пусть моя оплата будет 150 за первый и 100 за последующие визиты.

Мошел улыбнулся:

— О'кей, пожалуй, для начала это будет правильно. Говорил я тебе, что сделаю тебя миллионером? Так вот, Владимир, ты уже на пути.

— Спасибо на добром слове. Знаешь, в России есть поговорка: «Богатеет не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит».

— Как, как? Скажи еще раз, — расхохотался он. — Ладно, ты можешь позволить себе тратить…

Получать большие деньги приятно, но просить с пациентов доплату казалось мне неудобным: как это делать? Во мне еще жили советские привычки. Но Мошел дал инструкцию Изабелле, что она сама, а не я, должна брать деньги с пациентов. Просить деньги и она не привыкла и была немного смущена, но это входило в ее обязанности.

При записи пациентов на прием Изабелла по телефону спрашивала, какая у них страховка, и сообщала им, сколько я беру. На приеме они давали ей страховое удостоверение, и она посылала его номер в компанию. Оттуда месяца через два-три приходил чек. Но ей почти не приходилось просить у них дополнительные деньги: к моему удивлению, большинство страховых компаний оплачивали визиты почти полностью, а разница в 20–30 долларов не составляла проблем для американцев.

Правда, неудобно ей было отказывать в частном приеме русским иммигрантам. Особо настойчивыми были одесситы, жившие в районе Брайтона. Мне приходилось слышать, как Изабелла вела с ними беседы.

— Хэлло, кабинет доктора Голяховского, — говорила Изабелла по-английски и тут же переходила на русский. — Да, слушаю вас.

— Я хочу поговорить с доктором Голяховским.

— Как ваше имя и о чем вы хотите говорить с ним?

— А вам какое дело?

— Я его секретарь и должна сказать ему, кто и зачем звонит.

— Таки я вам скажу: я хочу попасть на прием к доктору.

— На что вы жалуетесь, какая у вас проблема?

— Слушайте, зачем я буду говорить это вам? Я скажу это самому доктору.

— Но, чтобы записать вас на прием, я должна знать, какая у вас проблема.

— Будьте уверены, у меня столько проблем со здоровьем, что мы с ним договоримся.

— Я не могу вас записать просто так, доктор не может терять время на приеме.

— Слушайте, что это значит — терять время?! У меня есть страховка «Медикейд», ему заплатят. А если ему будет мало, то можете приписать мне лишний визит, у нас на Брайтоне все доктора так делают.

У Изабеллы начинал дрожать голос:

— «Медикейд» работу доктора в офисе не оплачивает. И, пожалуйста, не подсказывайте, как мне работать.

— Подумаешь, какая гордая — «не подсказывайте»! Небось, вы сами так делаете. И почему это у вас «Медикейд» работу доктора не оплачивает? Что он — хуже других, что ли?

— Мой доктор не хуже, а лучше других. Но это страховка, которая дается неимущим, — объясняла, волнуясь, Изабелла.

— Неимущим? А если неимущим, то почему в Бруклине другие врачи-иммигранты принимают «Медикейд» и очень хорошо на этом зарабатывают?

— Я не могу вам объяснить, почему они его принимают. У нас его не принимают.

У Изабеллы истощалось терпение.

— Слушайте, секретарша, вы мне говорите про мои проблемы, а я вам скажу, какая у вас проблема: вы сами не хотите, чтобы меня посмотрел доктор.

— При чем тут я?! Доктор вас посмотрит в клинике, там он всех больных смотрит сам, но только вместе с резидентами.

От подобных разговоров Изабелла обессиливала:

— Владимир, сколько ж терпения нужно на этих русских!

Я старался успокоить ее шуткой:

— Изабелла, только не появляйтесь на Брайтоне, они вас побьют.

— Да я туда, к этим, ни за что не появлюсь, — уже смеялась она.

Высокие расценки за прием, какие были у нас, есть только в Нью-Йорке, да и то не во всех госпиталях. Нью-Йорк — центр

медицины всей Восточной Америки, в нем расположено 15 процентов всех медицинских учреждений страны. И доктора здесь в случае суда должны платить самую высокую страховку от ошибок. От этого и возрастает стоимость лечения. В других крупных городах, в каждом штате и даже в каждом графстве (районе) свои расценки, и они гораздо ниже. Стоимость операций и стационарного лечения в госпитале в Нью-Йорке также выше, чем в целом по стране. Хирургическое лечение в среднем стоит от 30 до 150 тысяч долларов.

Система оплаты труда докторов довольно сложная, и мы с Изабеллой не быстро с ней освоились. Она спрашивала:

— Владимир, сколько вы назначите за эту операцию?

— Изабелла, давайте заглянем в наш кондуит со шкалой расценок.

Толстый справочник с расценками есть у каждого секретаря.

Вместе мы начинали искать название операции и все ее варианты. Если по шкале расценок получалось, что стоимость операции может быть от трех до четырех тысяч, я говорил Изабелле:

— Давайте просить четыре. Что для этого нужно?

— Надо составить описание операции так, чтобы было ясно, какая именно манипуляция из нее наиболее сложная, за нее заплатят 100 процентов, за вторую и третью по важности — по 50 процентов.

Это еще один интересный штрих: уметь так составлять описание операции, чтобы наиболее высоко оплачиваемая манипуляция шла первой. Я не сразу с этим освоился, но потом научился у своих коллег, которые получали гораздо больше денег за те же самые операции.

В конце месяца Изабелла, как и все секретари, собирала чеки и наличные, которые я заработал, и сдавала все в администрацию. Оттуда мне присылали один чек, с вычетом 27,5 процента за аренду офиса и еще 3 процента на социальное обеспечение.

Заработки мои, разумеется, впрямую зависели от моей активности — чем больше работы, тем больше заработок. Я работал по 10–12 часов в день, и мои заработки возросли до 150 тысяч в год. Тогда я часто думал: в Советском Союзе такое увеличение заработков, в зависимости от активности и квалификации, было абсолютно исключено, все получали одинаково, и все мало. Поэтому и личной заинтересованности докторов в работе было мало.

С этими ощутимыми изменениями в моих доходах Ирина стала вкладывать намного больше денег в акции, и вскоре

сказала:

— Знаешь, как говорят французы, «nobless oblege» — положение обязывает. К нам могут приходить твои коллеги и другие солидные люди. Пора нам обзавестись новой мебелью.

Мы стали объезжать мебельные магазины, пока не остановили свой выбор на красивом столовом гарнитуре. В нашей прежней жизни, в Москве, а потом и в первые годы иммиграции мы не могли и мечтать о такой покупке. К столовому гарнитуру мы купили подходящий по стилю книжный шкаф. Его мы выбрали в одной из самых дорогих мебельных фирм, «Ethan Allen». И в нашу большую спальню нам тоже удалось приобрести мебель этой фирмы, случайно обнаружив ее в «Thrift Store», комиссионом магазине, продающем вещи second hand, бывшие в употреблении.

С удовольствием я расставлял в новом шкафу книги, которые успел купить в последние годы. Когда-то, в начале иммиграции, я не был уверен, удастся ли мне собрать новую библиотеку. Теперь, кроме медицинских книг, у меня были богато иллюстрированные издания по истории, искусству и биографии великих людей. Многие из них мне пока некогда было читать, но что-то меня толкало покупать их «на будущее», когда я смогу ими заняться. А пока я любил заглядывать в них, перелистывать, делать закладки и вклеивать вырезки из газет и журналов, близкие по теме.

Ирина расставила в спальне свои книги, в основном — путеводители по странам чуть ли не всего мира. Ее книги тоже отражали — кто она. По ее планам и разработкам мы уже успели в наши отпуска объехать Канаду, Испанию, Грецию, Англию, Швейцарию, Германию и Скандинавские страны. И собирались ездить больше и дальше.

Библиофил похож на алкоголика. Ему так же приятно любоваться своими книгами и трогать их, как пьянице — смотреть на бутылку водки: оба испытывают предвкушение удовольствия. Я предвкушал, что когда-нибудь у меня будет достаточно времени, чтобы насладиться чтением.

Но когда? Про книги можно сказать так: покажи мне твои книги, и я скажу — кто ты. Все мои книги показывали — кем я был и кем еще надеялся стать.

Наведя порядок в отремонтированной и заново обставленной квартире, мы пригласили первых гостей — Виктора Френкеля с женой Руфью и Уолтера Бессера с его подружкой Мойрой, балериной.

В тот день Виктор должен был выступать на заседании Международного общества хирургов-ортопедов «SICOT», в роскошном отеле «Woldorf-Astoria». Рано утром мне взволнованно позвонила Руфь:

— Владимир, у Виктора неожиданно развился острый ларингит, он совсем не может разговаривать и просит тебя сделать доклад за него, а сам он будет сидеть в зале.

— Когда его доклад?

— В десять утра.

Вот те на! Просмотреть перед докладом слайды я уже не мог: они были заложены в карусели в демонстрационной кабине. Если бы это было выступление перед студентами, я мог бы тянуть время и, таким образом, ориентироваться по ходу показа слайдов. Но аудитория была солидная — профессора-ортопеды со всего мира.

Выходя на трибуну, я волновался вдвойне: и потому, что не знал порядка показа слайдов, и потому, что мой английский оставлял желать лучшего. Френкель сидел в первом ряду и ободряюще мне улыбался. Но в той ситуации его улыбки было недостаточно.

И вот — началось: на экране возник первый слайд, я стал объяснять, что и как мы делали.

Второй слайд почему-то был из другой серии, и мне пришлось на ходу сменить тему рассказа. Я с напряжением думал: что будет на третьем слайде? И вновь это была полная неожиданность!.. Я лихорадочно пытался увязать никак не относящиеся друг к другу слайды в своем рассказе. От волнения мой акцент усилился, и меня это расстраивало еще больше — вот ситуация!

Двадцать минут доклада были мукой. Начались вопросы, на которые Виктор пытался ответить сам, хрипя мне на ухо. Я переводил его ответы на человеческий язык. Ситуация была настолько смешная, что профессора очень развеселились. Но мне было не до смеха, я спустился с трибуны весь в поту.

К вечеру того бурного дня Виктору стало полегче, и они приехали к нам. За вкусным русским обедом Виктор веселым шепотом рассказывал, как я делал его доклад. Рассказывать с юмором он любил и умел. Но главное, что следовало из его рассказа, — мы теперь так с ним сработались, что вполне могли заменять один другого…

Технологическая динамичность Америки

Все годы в Америке я с удивлением наблюдал, как вокруг меня быстро входили в жизнь и распространялись разные технические нововведения — как динамичен весь стиль жизни американского общества. Я уезжал из застойного адинамичного общества Советского Союза, где любое новое входило в жизнь медленно, неверно, со скрипом. Может быть, именно по контрасту это казалось мне необычайно интересным.

Не прошло и месяца со дня, когда в мой кабинет принесли компьютер, как я заметил, что на столах всех секретарей госпиталя тоже красовались компьютеры. Они полностью заменили собой очень совершенные электрические пишущие машинки, вдруг, как говорят американцы, over night — за одну ночь, машинки оказались позабытой деталью вчерашнего дня. Мне даже жалко было, что их убрали и выбросили. И Изабелла говорила:

— Владимир, ведь такая хорошая была машинка, почти совсем новая…

Но — динамика развития: все секретари срочно прошли краткие курсы по освоению компьютеров, и теперь сидели за столами, уткнув носы в светящиеся экраны мониторов. Сначала неумело, но потом все быстрей и проще они водили по ним бегающую «мышку». Теперь в эту искусственную память они заносили все сведения, необходимые для ведения многих секретарских дел. И многие доктора тоже учились осваивать компьютеры: я прислушивался, как все больше мои коллеги говорили о компьютерах, обсуждали компьютеры, покупали их себе в частные офисы и домой. Сам я пока что от них отставал — на усвоение такой сложной техники у меня не было ни времени, ни сил.

И я начал вспоминать, как в начале 1980-х годов, вскоре после нашего приезда сюда, в газетах и по телевидению сообщали, что какой-то студент Гарвардского университета по имени Билл Гейтс изобрел гениально-простую систему Windows для экрана кампьютера. Он тогда бросил учебу и организовал свою фирму Мюгозой. Я даже не понимал, почему мгновенно стала распространяться бешеная компания рекламы по всем каналам TV, во всех газетах, журналах и по радио. Но вот, всего через десять лет, Гейтс был уже самым богатым человеком в мире — его фирма стоила несколько миллиардов долларов и все росла.

Почти поголовно все население страны, от младших школьников до седых профессоров, так или иначе динамично включались в освоение этого нового технологического развития: появились сотни тысяч программистов (в том числе и иммигрантов из России), и во всех областях жизни стали доминировать компьютеры. Это ли не яркий пример типичной динамичности развития технологии в Америке! Даже когда я принес в маленькую контору химчистки на нашей улице свой костюм, то и там уже стоял компьютер, и мое имя, адрес и телефон — все было занесено на экран, чтобы в следующий раз не переписывать это вновь, — все в жизни на компьютере.

И так же динамично развивалась на моих глазах американская медицинская технология. 1990-е годы были самыми продуктивными для роста медицинской науки и техники. Когда мы приехали сюда, A.Cormack и G.Hounsfield только изобрели компьютерную томографию для рентгеновских исследований (за это в 1979 году дали Нобелевскую премию). Компьютерная томограмма показывает послойные изображения в разных плоскостях — в поперечной, в продольной, в фасной и боковой позициях. На них специалист может увидеть значительно больше, чем на обычных рентгеновских снимках и томограммах. Машина способна составить эти изображения так, что получается трехплоскостная рентгеновская копия, идентичная настоящей картине болезни или перелома кости. В течение двух-трех лет были опубликованы десятки книг и сотни статей и руководств по этому гениальному техническому нововведению в медицинскую науку. И теперь многомиллионные массивные устройства CT-scan стояли в рентгеновских отделениях всех больших и во многих маленьких госпиталях — по всей стране. Многие тысячи рентгеновских техников быстро обучились пользованию ими, и тысячи докторов умели «читать» и интерпретировать новые послойные изображения всех костей тела.

Но не успели мы как следует освоиться с компьютерной томограммой, как уже начали так же быстро распространяться еще более совершенные устройства MRI — магнитно-резонансных изображений для диагностических исследований. Это вообще стало чудом медицины XX века — фактически МРИ дал докторам возможность видеть послойное изображение всех тканей организма насквозь, проникая во все глубины тела абсолютно безвредно. Он показывает не только кости, но и мышцы, связки, нервы и сосуды. Один такой аппарат стоит два-три миллиона долларов и больше, но эти еще более дорогие устройства с поразительной быстротой стали распространять и устанавливать во всех госпиталях. Для освоения МРИ опять надо было обучаться.

И опять появились учебники и статьи, и многие тысячи техников-специалистов, и много специалистов-докторов. А это требует средств и умения все организовать, это — Америка! И мне тоже пришлось вникнуть в это нововведение — без понимания магнитно-резонансных изображений американскому доктору работать стало уже немыслимо. В нашем госпитале мы были буквально окружены постоянно внедряющейся новой техникой. После компьютера во всех кабинетах появились еще и FAX-машины. По ним секретари получали и отправляли напечатанные тексты во все инстанции внутри и вне госпиталя, факсы в мгновение ока пересылали информацию по всему миру. А если и этого мало, то вслед за ними появились еще более быстрые устройства электронной почты — E-mail. Это тонкое устройство переписки — почти со скоростью разговорной речи.

Но как бы ни быстро распространялись все эти нововведения, самым популярным в повседневной и рабочей жизни всегда оставался телефон. Он тоже усовершенствовался с каждым годом и становился все более многоцелевым. Телефоны теперь имели по две-три линии, чтобы можно было быстро переключаться с одного разговора на другой. С ними можно стало проводить «конференсные разговоры», соединяющие одновременно многих людей на всех концах земного шара. Когда я уехал на конференцию в Индию, Изабелла позвонила мне из Нью-Йорка и тут же соединила с Френкелем, который в это время был на Галапагосских островах — ему захотелось узнать, как прошел мой доклад, так, просто — поговорить.

Вся связь пациентов с докторами, обратная связь докторов с пациентами, связь с аптеками, бесконечные переговоры секретарей со страховыми компаниями, с офисами других докторов или со службами госпиталя — все происходит по телефону.

Когда я бывал в своем кабинете, то постоянно слышал, как в середине каких-нибудь телефонных переговоров Изабелла по многу раз вдруг отвечала на новый звонок:

— Офис доктора Голяховского, пожалуйста, подождите.

Через несколько секунд — на другой звонок:

— Офис доктора Голяховского, пожалуйста, подождите.

Отходя от своего стола, она первым делом включала записывающий автоответчик, а возвращаясь, прослушивала все messages — сообщения, оставленные в ее отсутствие. У меня на столе был телефон с личным номером, который знали лишь Ирина, секретарь Френкеля и немногие наши доктора-заведующие. Он звонил редко. Но Изабеллу ее телефон доводил до отчаяния.

— Владимир, что же это такое? Я же не могу ничего делать из-за бесконечных звонков!..

По моей просьбе мне дали второго секретаря со вторым телефоном — специально только для ответов по нему. Мне звонило много русских пациентов, поэтому вторая секретарь, Галина, тоже была иммигрантка из России.

Но особенно поражала меня динамичность развития медицинской и фармацевтической промышленности Америки. За мои годы в стране она превратилась в самую высокоразвитую и богатую индустрию. Буквально каждый день повсюду рекламировались новые лекарства, новые инструменты, новая аппаратура.

Не проходило недели, чтобы ко мне в кабинет не заглядывали торговые представители разных компаний медицинского оборудования и фармацевтических фирм — они наперебой предлагали свою продукцию. Они волокли за собой на колесных рамках большие сумки с рекламами и образцами продукции.

— Могу я поговорить с доктором? — обращались они к Изабелле.

Изабелла оберегала мой покой, она спрашивала:

— По какому поводу? Доктор устал после операций, и он очень занят.

— Я не займу много времени, — они давали свои business cards — деловые карточки, которые в России по старинке называют «визитками», и тут же заодно вручали ей какой-нибудь мелкий подарок — ручку, значок, конфеты.

Изабелла приносила мне карточку:

— Владимир, он (она) хочет поговорить с вами.

Я знал, что мне будут вежливо и настойчиво всучать продукцию фирмы и расхваливать ее, чтобы я прописывал больше их лекарство или применял их устройство.

Но многие доктора старались отделаться от них, игнорировали, говорили, что нет ни минуты… Я не люблю никаких проявлений невнимательности. По-моему, невнимательность всякого рода — это страшный грех перед собой и перед другими (особенно, конечно, грешно быть невнимательным доктором). Вздыхая, я соглашался на не очень нужную мне беседу:

— О'кей, пусть заходит.

И мне начинали вежливо втолковывать, объяснять и разъяснять преимущества их лекарства перед другим такого же действия или их аппарата — по сравнению с другим. Мне тут же давали образцы лекарства или аппарата, которые

изготавливаются специально для бесплатной раздачи докторам. А заодно мне часто давали подарки: дорогие ручки, настольные часы, красиво изданные книги, учебники по хирургии, фирменные календари, — блокноты и печати с моим именем — все, чтобы я своими рецептами и применением их аппаратуры давал этим фирмам доход. И потом эти фирмы годами присылали мне поздравительные открытки.

Благодарные за внимание, представители записывали мое имя. Через некоторое время я стал все чаще получать приглашения от их фирм для обсуждения новых лекарств и аппаратов — меня «включили в обойму» специалистов для обсуждений. Это были платные вечерние заседания на один-два часа.

Мнения докторов давали фирмам основание для получения патента и лицензии на новое лекарство или новый аппарат, они сразу начинали бурную рекламу улучшенного средства, с новым патентом. И это давало фирмам громадный доход. За такие обсуждения тут же платили 200, 300, а то и 500 долларов наличными деньгами (в зависимости от продолжительности дискуссии). Что было хорошо, так это то, что эти наличные деньги не облагались налогами. Мои общие налоги тогда составляли 45 процентов дохода, и любой дополнительный заработок, официально зафиксированный на номер моего социального обеспечения, только увеличивал налоги.

Была еще одна отрасль американской жизни, которая своей динамичностью поражала мое воображение — это индустрия книгопечатания. Сколько здесь издается книг! — я всегда поражался. Книги есть на все вкусы и по любым вопросам — этот рынок постоянно переполнен. И это несмотря на то, что при всех технологических достижениях и высоком уровне жизни Америка не является страной, где доминирует глубокий интеллект. Средний американец — это благополучный простой малый (или — малая), девиз которого можно приравнять к девизу плебса (простого народа) древнего Рима — ему нужно «хлеба и зрелищ». Считается, что только около 5 процентов населения читают книги. И однако полки множества книжных магазинов завалены литературой на все вкусы и требования.

Но в Америке успех имеет не то, что хорошо и правильно, а то, что дает доход. Поэтому издается много «чтива» и «макулатуры». Зато изданы все книги прекрасно, на хорошей бумаге, богато иллюстрированы. Но и стоят дорого — по двадцать — тридцать долларов и выше. Иногда я видел на полках свои две книги — «Russian Doctor» — «Русский доктор» и «Price of Freedom» — «Цена свободы», изданные еще в 1984 и 1986 годах. Когда

книга «стареет», цена на нее опускается. В 1990-х годах мои книги продавались за пять-шесть долларов. Конечно, для всех специалистов в Америке издается много учебников и специальной литературы. Эти книги изданы еще лучше и богаче, но и стоят еще дороже, по сто пятьдесят — триста долларов. Заходя в отделы медицинских книг, я мечтал, что когда-нибудь и моя книга по илизаровскому методу встанет рядом с другими учебниками. И вот… самое крупное медицинское издательства Mosby Publishing Company из Филадельфии (именно там сосредоточено большинство медицинских издательств) прислало нам с Френкелем письмо, что они принимают предложение издать нашу книгу и для переговоров с нами приедет главный редактор. Письмо пришло на имя Виктора, он принес его ко мне в кабинет:

— Владимир, поздравляю — приняли. Теперь давай — действуй.

— Давай действовать вместе: мои идеи и рисунки, а твой — текст.

— Знаешь, я поговорю с Питером Фераро, который ведет общественные связи нашего госпиталя. Он образованный парень, и у него хороший литературный слог. Я попрошу его помогать тебе, потому что моя роль в этой книге будет маленькая. И гонорар мне не нужен — пусть все платят тебе и Питеру.

Питера я знал очень хорошо, мы были с ними приятели и соседи. Немного за тридцать, он был остроумный и приятный собеседник, любитель шуток. Но он — не доктор и ничего не понимал в илизаровском методе. Как я буду с ним работать?

Теперь начиналась новая эпопея моей профессиональной жизни — написание учебника. До сих пор ни один русский хирург не издавал в Америке свой учебник.

Мой помощник

— Владимир Юльевич, в Москве чемоданов в продаже нет, — мрачно говорил мне доктор Леня Селя, мой молодой ученик, когда я пролетал через Москву из Кургана осенью 1989 года. Леня с семьей, женой Ириной и двумя маленькими детьми, подали заявление на эмиграцию и готовились к отъезду.

— Ай-ай-ай, раз чемоданов нет, значит, вы не поедете, — поддразнил я его.

Леня надулся:

— Я это серьезно.

— А если серьезно, так не впадай в панику. У тебя еще будет много поводов паниковать в Америке: подыскивание квартиры, освоение английского, сдача экзаменов, устройство на работу… много всего. Но запомни: здесь у тебя неприятности, а там будут только трудности.

Шла все нарастающая волна бегства из Советского Союза — бегство евреев, полуевреев и их русских супругов. Очевидно, от этого и не было в продаже чемоданов — раскупили. Но теперь люди бежали уже не от притеснений, а от экономического краха. Разрешение на выезд им давали все проще, КГБ при Горбачеве стал терять свою всесильность и к уезжавшим не придирался. Поэтому им не нужно было ждать годами и бояться, что их не выпустят, как это было во времена нашего выезда — в 1970-х годах. Стало заметно больше выезжать молодых людей, в том числе и специалистов, происходила настоящая «утечка мозгов». Но и без того безмозглая советская власть не хотела понимать, что она теряет (только еще через несколько лет власти опомнились, да было уже поздно). Некоторые уезжавшие молодые специалисты уже успели в школах выучить английский, большинство были люди другой подготовки к новой жизни — лучше информированы о том, что их ждало в новой стране, лучше готовы к работе. У многих были в Америке ранее иммигрировавшие родственники и друзья.

С новым притоком иммигантов в Америке стали появляться мои давние знакомые. Приезд семьи Селя был для нас с Ириной приятным событием. Леня и Ирка, как мы ее называли, учились в медицинском институте, где я был профессором, и дружили с нашим сыном. Фамилия Селя — албанского происхождения. Ленин отец и был албанцем, но, когда в 1960 году отношения между СССР и Албанией испортились, его мать-еврейка бежала обратно в Москву, и связь с отцом прекратилась. Леня вырос, так и не зная, жив ли его отец.

Еще в студенческие годы Леня мечтал стать ортопедическим хирургом, и я его в этом поддерживал. Они с Иркой рано полюбили друг в друга (настоящие Ромео и Джульетта) и рано поженились (лучше, чем Ромео и Джульетта). Когда мы уезжали, они были очень юные и счастливые. Наш отъезд для них был шоком, они пришли с нами проститься, и Леня по-детски ревел, обливаясь слезами. Я тогда ему сказал:

— Не горюй, мы еще встретимся: пройдут годы, и вы тоже приедете в Америку.

Мои слова оказались пророческими. И теперь мы с Ириной радовались их скорому приезду. Но мы хорошо помнили, как тяжело на первых порах устраиваться на новом месте, поэтому считали своим долгом помогать им. Когда в Италии они ждали разрешения на въезд в США, я переслал им деньги через своего итальянского коллегу и позвонил:

— Леня, что ты намереваешься делать с самого сначала — работать или готовиться к экзамену?

— У меня же семья, я должен ее содержать, — убедительно сказал он.

— Хорошо, я постараюсь помочь тебе найти работу.

Может, потому, что он вырос без отца, семья для Лени была превыше всего. Но свежему иммигранту найти работу очень не просто. У меня ушло два с половиной года бедствования и отчаяния, прежде чем я смог получить место техника-ортопеда в госпитале, и тогда я считал себя счастливым.

Я пошел к Френкелю.

— Виктор, скоро должен из России приехать мой ученик, молодой хирург. Я хочу тебя попросить…

Поразительно, как Виктор всегда все понимал с полуслова. Я даже не успел договорить фразу, как он уже сказал:

— Возьмем его техником, он будет помогать тебе с илизаровскими больными.

Невозможно было не восхищаться Виктором! Ведь он ровным счетом ничего про Леню не знал и не спрашивал; он полностью доверял мне — если я попросил, значит, он это сделает. На самом деле даже и я не так много знал о Лене, который уже без меня стал доктором и сформировался во взрослого человека. Да и принять его легально на работу в госпиталь было непросто, потому что в Америке на любую работу с пациентами необходима лицензия. Виктор на свою ответственность обходил это правило.

Я опять позвонил Лене в Италию:

— Тебя ждет работа в нашем госпитале, будешь моим помощником.

Ни один иммигрант никогда до приезда не знал, что у него

уже есть работа, да еще и близкая к его прежней профессии и с таким заработком, чтобы можно было содержать семью. Лене повезло, и я был очень рад, что смог ему помочь и что он будет моим помощником. Когда-то мне хотелось передать свои знания и умение сыну, но доктор из него не получился. Теперь я думал, что сделаю это для Лени, помогу ему стать американским доктором. Ирина была рада приезду Лени и Ирки с детьми, но с женской осторожностью говорила:

— Ты ведь совсем не знаешь, какой он человек.

— В молодости был хороший, веселый парень, и я надеюсь, что таким он и остался.

С первого дня выявилось, что Леня вырос в очень практичного человека. В Москве они жили довольно бедно, теперь мы их всячески опекали, покупали необходимые на первых порах вещи, отдали часть нашей прежней мебели, Ирина дарила Ирке одежду, я постоянно подкидывал Лене деньги, мы часто приглашали их к себе, возили по городу. Через несколько дней после их приезда мы поднялись с ними на 110-й смотровой этаж одного из небоскребов-близнецов Всемирного торгового центра и показали Нью-Йорк с высоты птичьего полета… Мы не могли, конечно, представить, что это великое сооружение рухнет от рук террористов и погребет под собой три тысячи жертв.

Пока Леня устраивал свои бытовые дела, я терпеливо ждал будущего помощника. Мне действительно очень нужен был кто-то, кто выполнял бы чисто техническую работу по проведению операций и лечению по методу Илизарова. И вот, наконец, Леня пришел в госпиталь. Странно было видеть, как из веселого смешливого юнца, которого я помнил, он превратился в сумрачного и бесконечно озабоченного отца семейства. Даже при том, что Леня знал о моей опеке и мог считать себя крепко сидящим на своем месте, он долгое время оставался скованным. Первые пару месяцев с его лица не сходило настороженное выражение. Мы с Изабеллой старались хоть как-нибудь его развеселить. Она была немногим старше Лени, и они нашли общий язык. Но его постоянно угнетали заботы о семье, буквально каждые полчаса он стремился позвонить домой:

— Ирка, ну как дела? Где Машка? Что Левка? Ты их покормила?

Через полчаса опять:

— Машка, а где мама? Ирка, ты Левку уложила?

И так по десять раз на дню, какой бы работой я его ни занимал. Даже если я брал его на операции, он первым выскакивал пулей из операционной и бежал к телефону:

— Ирка, ну как дела?

Я шутил:

— Слушай, если ты будешь к ней так часто приставать, она с тобой разведется.

У прежнего Лени было чувство юмора, но теперь он лишь мрачно тянул в ответ:

— Не разведе-е-ется…

Он был способный и довольно опытный хирург, имевший в Москве дело с илизаровскими аппаратами. Но там была другая школа и другой стиль. В Лене совсем не было американского энтузиазма, стремления к работе. Занятый своими семейными заботами, он всегда отвлекался и многое делал лишь по указке, да и то так, как привык в Москве. А я всегда считал, что в лечебной работе энтузиазм — залог успеха. И мне приходилось строить с ним деловые отношения довольно жестко, чтобы он делал так, как я считаю нужным и как принято в нашем госпитале. Случалось его заставлять и одергивать, на что он обижался:

— Я хороший хирург.

— Вот когда станешь хорошим американским хирургом, тогда и скажешь это. А пока делай, как я тебе говорю…

«Or my way or go away» — «Или ты идешь за мной, или проваливай домой», — в шутку и всерьез повторял я Лене популярную американскую поговорку.

У него была странная манера все технические детали называть словом «пипочка». Он говорил:

— Надо завинтить эту пипочку.

— Какую такую пипочку?

— Ну, вот эту — как ее? — гайку.

— Называй ее по-английски nut.

В следующий раз:

— Я поставил в аппарат дополнительную пипочку, как вы просили.

— Какую такую пипочку?

— Ну, этот — как его? — который наклоняет кольцо.

— Так и говори: hinge — шарнир…

Тем временем приехала в Нью-Йорк дочка Илизарова, Светлана. Я встречал ее в аэропорту:

— Мы тебя давно ждем. Что же ты не ехала?

Она замялась:

— Я с мужем разводилась, мы квартиру обменивали.

— А-а, — что на это скажешь.

Она собиралась пройти в нашем госпитале полугодовую специализацию, а потом уехать обратно, к маленькому сыну. Виктор зачислил и ее на работу, с небольшой оплатой, около

тысячи долларов в месяц (парадоксально, что эта мизерная по американским масштабам зарплата была выше заработка ее знаменитого отца).

Между Светланой и Леней не было ничего общего, кроме того, что оба плохо говорили по-английски. Светлана знала язык, могла читать на нем, но не привыкла говорить и стеснялась. Она была болезненно стеснительная во всем. А Леня вообще языка не знал, подхватывал слова «на лету», но не стеснялся их коверкать своим произношением. С их появлением в госпитале образовалась небольшая «русская колония» — я, Изабелла и они, а мой кабинет стал как бы штабом этой колонии, где все время шли разговоры на русском. Приходя с операций, я слышал их еще издали и восклицал с порога:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Заходившие иногда по делам Френкель и Мошел назидательно говорили:

— English, English!

Наши смущенно умолкали, но, как только оставались одни, опять начинался «русский, русский». А поговорить им очень хотелось. Главным образом они обсуждали американский стиль жизни и работы и почти все осуждали. У Лени это была тяжелая форма болезни эмигрантской адаптации. Хотя ему, по сравнению с другими покинувшими Союз вроде бы жаловаться было не на что. Некоторые его друзья, тоже специалисты с дипломами, поначалу с трудом находили поденную работу мытья посуды в ресторанах «McDonald's».

Леню тянуло все время сравнивать то, что его теперь окружало, с русским. Он нередко мрачно декларировал:

— Америка, может, богаче, но в России все-таки больше хорошего.

— Что именно там хорошее?

— Люди там хорошие.

— Люди?! Эти «хорошие люди» сделали так, что ты вырос без отца и даже не знаешь, жив ли он.

— Все равно хорошие. А про отца я стану наводить справки.

— Почему ты не мог навести их из России? Боялся «хороших людей», что ли?

В ответ он только мрачно поглядывал на меня исподлобья.

Френкеля он сторонился, хотя тот относился к нему очень по-доброму, всегда ему улыбался и, в своей обычной манере, шутил. В Ленином отношении к нему я узнавал советскую манеру опасаться начальника. Но с резидентами он сходился легко и быстро и, похоже, считал, что у него есть перед ними некоторое моральное превосходство — прошлый опыт работы. Резиденты

называли его Лио, с удовольствием рассказывали ему про экзамены и резидентуру.

Я почаще оставлял его с ними: пусть говорит и слушает английский, осваивает разговорный язык. И он быстро делал в нем успехи, хотя произношение долго было, как говорится, «матерное». При этом у него была манера всех критиковать. Бывало, дружески беседует с кем-нибудь из резидентов, смеется, спрашивает о чем-то, тот ему объясняет, скажем, экзаменационный вопрос. Но, как только от него отойдет, обязательно скажет:

— Он говнюк.

— Случалось вам, в пылу или в печали, о ком-нибудь хорошее сказать? — цитировал я ему Грибоедова.

— Я, Владимир, знаю больше их всех, и хирург я тоже лучше.

— Слушай, сначала сдай экзамен. Странная манера — всех называть говнюками.

— Я странен; а не странен кто ж? — отвечал он мне тоже цитатой из Грибоедова. И мы оба смеялись.

Подходило время его экзамена. С разрешения Виктора, я дал ему больше свободного времени. Его жена возилась дома с детьми и тоже занималась. Экзамены стоили дорого, я заплатил за них обоих. Но с первого раза сдать экзамен им не удалось. Леня всегда был отличником, и эта неудача его огорошила, несколько дней он ходил еще угрюмей, чем прежде.

Их десятилетняя дочь Маша осваивалась с новой жизнью успешнее родителей. Она была необычайно подвижная, жизнерадостная и ничего на свете не боялась, кроме змей. В их квартире, в Бруклине, ей слышался временами какой-то странный звук, и она спрашивала родителей:

— А в Америке змеи в домах водятся?

— Маша, не говори глупостей! Ну какие в домах могут быть змеи? — успокаивали Ирка с Леней дочку.

Я об этих разговорах ничего не знал.

Но вот однажды рано утром, перед работой, мы с Леней были у меня в кабинете, зазвонил мой личный телефон. Я взял трубку и услышал приглушенный голос Ирки:

— Владимир, я не знаю, что делать… у нас в квартире большая змея.

Это было так неожиданно, я не сразу сообразил, что на это сказать. В то же время, если я повторю слово «змея» — что будет с Леней?

— Слушай, где дети? — так же приглушенно спросил я.

— Они еще спят. Змея в кладовке, я открыла дверь и увидела, что она лежит, свернувшись. И тут же закрыла дверь. Что мне

теперь делать?

Леня догадался по моему лицу, что происходит что-то странное:

— Кто это звонит?

Я сказал Ирке:

— Выводи детей на улицу, я сейчас позвоню в полицию.

Леня всполошился:

— Кто это звонит — Ирка? Что-то случилось?

Пришлось рассказать. У него кровь отхлынула от лица — он стал совершенно белый.

Я узнал телефон Общества охраны животных, дозвонился туда, и мне обещали, что вышлют своего сотрудника. Леня умчался домой. Приехавшая к ним сотрудница Общества сразу заявила:

— Я боюсь змей.

Нерешительной группой они мялись на лестнице, когда мимо них проходил молодой сосед. Услышав разговор о змее, он воскликнул:

— Так это же мой домашний удавчик! Он уполз из квартиры уже месяц назад.

Чего только не бывает в Нью-Йорке — даже змеи в квартирах водятся! Хозяин забрал змею и пообещал расстаться с ней. Мы с Леней рассказали эту историю Виктору, и тот с восторгом пересказывал ее потом всем в госпитале. Так Леня стал героем дня.

Змея потом еще раз приползла к ним в квартиру и улеглась под Лениной подушкой. Ложась спать, он почувствовал, что в постели что-то шевелится, и увидел быстро уползавшую под кровать змею. Тут же он разбудил соседа. И потом рассказывал:

— Владимир, я так на него орал, я просто визжал!..

Они срочно поменяли квартиру, и змеиная эпопея закончилась.

Однажды Леня пришел на работу возбужденный:

— Папа нашелся! Он много лет просидел в албанском концлагере. Но он жив, хотя очень старый и больной. У него теперь другая семья и четверо детей.

Я был очень рад за Леню, повел его в ресторан, и мы с ним по-дружески отпраздновали такое радостное событие.

Гватемала

В 1990 году на мое имя в госпиталь пришло письмо из Гватемалы в большом, тисненном золотом конверте: «Канцелярия Президента Республики». Меня приглашали для лечения господина Гуларте, министра просвещения. Полгода назад его привезли к нам в Нью-Йорк после тяжелой мотоциклетной аварии. У него была изуродована левая нога: несколько открытых переломов, часть костей выпала при травме, другие не срастались, повреждена артерия, в раны занесена инфекция. Местный хирург дал ему совет обратиться к Виктору Френкелю. Вылечить ногу в таком состоянии было, как говорят американцы, «surgical challenge» — «хирургическим вызовом».

Виктор сказал:

— Знаешь, иногда не так важно быть хорошим хирургом, как важно быть удачливым хирургом.

Он решил, что мы непременно должны рискнуть. Пациент был его частный и платил наличными, потому что у него не было страховки. Наличные Виктор любил.

Он сказал насчет удачливости, подразумевая себя, но вся подготовка к операции и лечение после нее пали на меня. Общаться с пациентом я мог только через переводчика, это было затруднительно. Но я видел, что он мне доверял. Когда состояние больного заметно улучшилось, он улетел обратно в Гватемалу, чтобы не платить бешеные деньги за пребывание в госпитале. Но исправить все за один раз было невозможно; через три-четыре месяца надо было менять положение аппарата.

Вот для этого теперь и приглашали меня в Гватемалу. Виктора наш пациент не звал, да он и сам не собирался ехать: в стране шла гражданская война. Я взял с собой нашего резидента Джорджа Орбея. Он родился на Кубе, откуда родители увезли его ребенком, бежав от режима Кастро, потом он учился в Испании. Джордж был веселый и очень способный парень.

Вслед за письмом мне позвонила подруга моего пациента, которая сказала, что меня ждут с нетерпением, что организуют мне поездку в джунгли, к древним пирамидам легендарных майя. Помявшись, она спросила:

— Доктор, сколько вы возьмете за эту операцию?

Если бы это было в Нью-Йорке, операция по страховке могла стоить пять-шесть тысяч долларов (из которых почти половину составили бы налоги). Но в той бедной стране таких расценок не было. Новые детали аппарата я повезу с собой и оставлю там — это тоже стоит денег и усилий. Прикинув все, я сказал:

— Две тысячи мне и пятьсот долларов моему ассистенту.

Не знаю, может и это для них было много, но ведь я должен был бросить работу на несколько дней, терпя убытки. Своих больных в госпитале я оставлял на попечение Лени.

Лететь в Гватемалу пять часов, трасса проходит над Карибским морем. Сделав пересадку в Майами, во Флориде, мы летели над Кубой. Джордж извелся, с тоской глядя сверху на свою родину. Подлетая к столице, городу Гватемала, я впервые увидел курящийся вулкан — из его кратера столбом валили клубы пара. Зрелище очень внушительное. Последнее сильное извержение, в 1917 году, разрушило город, и он был заново отстроен. Но еще больше, чем от вулканов, население страны страдает от постоянных гражданских войн. Периодически Америка своим военным присутствием подавляет разногласия, но в том году мы с Джорджем летели в самый разгар ведущейся там войны.

В небольшом новом аэропорту нас встречал улыбающийся Гуларте. Он поправился и выглядел бодро. С ним были его переводчица и подруга Ирма, высокая блондинка, совсем не похожая на гватемальских женщин — темноволосых коротышек. Оказалось, что она — немка по национальности, но родилась в Гватемале от родителей — нацистских беженцев, которых здесь было много. Чуть поодаль стояла группа его сотрудников и родственников, а также четыре автоматчика в камуфляже. Мне объяснили, что они будут нашей охраной 24 часа в сутки. Такой опеки надо мной еще не было!

Нам с Джорджем предоставили автомобиль, за нами по пятам следовала военная машина с охраной. В городе около семисот тысяч жителей, потомков майя, а во всей стране — около семи миллионов. Люди темнокожие, небольшого роста, с широкими лицами и раскосыми глазами. Толпа на улицах серая и грязная, но ближе к центру города люди выглядели приличней. Кое-где сохранились памятники колониальной архитектуры, с колоннами и портиками, но сильно запущенные. В центре мы проезжали через просторную площадь для парадов (как же диктаторам править без парадов!). На одной стороне — роскошный дворец президента, на другой — громадный крытый базар. Гостиница двенадцатиэтажная, современная, у нас отдельные номера. Мы спустились в ресторан и увидели, что машина с автоматчиками осталась у входа; они сидели, не шелохнувшись. Я сказал Джорджу:

— Надо послать им какую-нибудь еду, они ведь проголодаются.

— Я скажу Гуларте, пусть он побеспокоится.

— Неудобно заставлять его платить за нашу охрану, я сам

куплю им что-нибудь.

И все дни, что мы там были, я подкармливал тех автоматчиков.

Министр Гуларте с семьей ждал нас за большим столом. К Ирме присоединилась ее мать, настоящая немецкая frau. Ее вывезли из Германии в 1945-м, еще ребенком. За ужином выяснилось, что они преподают в так называемой австрийской школе, почетным директором которой являлся Гуларте. К чему бы в Гватемале быть австрийской школе? Я попросил:

— Можно мне посетить эту школу?

Гуларте задумался ненадолго:

— Для моего доктора можно сделать исключение.

Операция была назначена назавтра в полдень. Мы поехали в больницу заранее, чтобы осмотреться. Машина охраны следовала за нами. Это был довольно старый одноэтажный кирпичный дом, похожий на районные советские больницы. Операционная примитивная, но у нас были с собой все необходимые инструменты. Джордж с энтузиазмом обсуждал все детали с местным хирургом и операционной сестрой. На ходу он бросил мне:

— Владимир, до чего приятно все время говорить на испанском!

Его возбуждала ситуация — из резидента он вдруг стал приглашенным специалистом. Все шло гладко. Пока мы оперировали, из двора через окна заглядывали больные в серых пижамах. За три часа мы сменили один аппарат на другой, так, чтобы не повредить начавшемуся сращению кости.

На вечер нас пригласил к себе местный хирург, а днем повезли в пригород, в ту самую австрийскую школу. В красивой пальмовой роще — поселок с аккуратными белыми домиками немецкого типа, чистыми песчаными аллеями и спортивными площадками. Все дети белоголовые, высокие, в них нет ничего общего с гватемальцами. И преподаватели — почти все немцы. Я спросил:

— Почему школа называется австрийской?

Ирма и ее мать замялись:

— Ну, знаете, чтобы не называть ее немецкой, не вызывать ненужной негативной реакции.

— Кого принимают в школу?

— По отбору, конечно, но больше детей иммигрантов из Европы.

(Ага, внуков нацистов, понял я.)

— Только из Гватемалы?

— Нет, еще из Бразилии, Боливии и других

южноамериканских стран.

(Получалось, что отовсюду, куда скрылись после Второй мировой войны фашистские преступники.)

— На каком языке ведется преподавание, на испанском?

— Нет, зачем же, испанский дети и так знают. Здесь им преподают на немецком и на английском.

При входе в главное здание висел портрет австрийца Курта Вальдхайма, тогдашнего Генерального секретаря ООН. Оказалось, он посещал эту школу, был ее патроном.

Позднее выяснилось, что в гитлеровские времена он был лейтенантом немецкой армии и даже участвовал в депортации невинных людей, за что его, хоть и с опозданием, морально осудили во всем мире.

В кабинете директора нас угостили вкусными белыми немецкими булками с немецкой колбасой и чаем. Я попросил, чтобы несколько булок отнесли ожидавшим нас перед школой автоматчикам.

В общем, было ясно, что в глубине маленькой Гватемалы скрывалось ядро немецкой культуры, ее культивировали здесь бывшие военные преступники и их дети. Возможно, многие из учеников когда-нибудь вернутся в Германию. Это был удивительный пример живучести национальных традиций, несмотря на все политические и военные пертурбации, в абсолютно чужих условиях. Так сохранялся дух всех погибших цивилизаций.

Вечер в доме здешнего хирурга показал, как живут состоятельные люди в отсталой стране. Наша машина свернула в переулок неподалеку от центра города и остановилась у больших ворот с вооруженным охранником. Из ехавшей за нами охраны вышел автоматчик, переговорил со стражем ворот — и нас пропустили. Я думал, что дом стоит здесь же, рядом, но мы еще долго ехали по узкой густой пальмовой аллее. В черте центра города стоял лес тропических деревьев. Наконец взору открылась громадная холмистая поляна, на возвышении белый двухэтажный дом, настоящий дворец колониального стиля, с колоннами и пристройками. Хозяин настоящим барином сидел в шезлонге под тентом и первым делом предложил нам сладковатый аперитив «Маргарита». Тут же появился смуглый слуга и принес напитки в роскошных бокалах. Хозяин явно демонстративно наслаждался своим богатством:

— Лучше жизни, чем в нашем краю, нет нигде на свете — ни в Мексике, ни в Бразилии.

После двух аперитивов он повел нас показать свое хозяйство.

Мы обошли дом вокруг. Перед ним — сад с клумбами и

аллеями, где возился садовник. Позади дома громадный бассейн. Вдали конюшня с двумя лошадьми и двумя пони и гараж с тремя машинами. Хозяин показал нам также теннисный корт и баскетбольную площадку. В отдалении со всех сторон поляна была окружена тропическим лесом. Над нами с громким криком пролетали стаи ярких попугаев и туканов.

Хозяин рассказал, что этот участок купил его богатый дед в начале века. Для безопасности он содержит круглосуточную вооруженную охрану, которую сегодня по случаю нашего приезда пришлось усилить.

— У нас бандиты ведут охоту на американцев. Они захватывают их заложниками и, если им не заплатят выкуп, убивают. Недавно так убили одного американского журналиста.

Черт подери — приятно слышать! Значит, вот почему за мной таскаются четыре автоматчика!

Не только дом и участок выглядели, как поместье, но и по числу слуг это жилище не уступало настоящей помещичьей усадьбе: сквозь двери и окна видно было, как суетились на кухне повара, в доме горничные и уборщицы, во дворе садовник, на конюшне конюх.

— У нас все состоятельные люди держат много слуг. Их труд очень дешевый. Это местизос. Мы делимся на три группы: на потомков испанцев, к которым относится мой род, на потомков майя и на этих вот местизос. Они все нищие, живут впроголодь и за гроши работают на кофейных и хлопковых плантациях. Они настоящие дикари, поклоняются каким-то своим божкам и не говорят по-испански. У них много наречий, подчас они даже не понимают друг друга. Мы их тем более не понимаем. Кому из них повезет, тех берут в богатые дома. У меня три семьи этих местизос.

От всего этого повеяло Средневековьем. Но жена и дети хозяина были очень современные и приветливые. В комнатах много тропических птиц в клетках, в основном — попугаи необычно ярких расцветок. Десятилетняя дочка хозяина принесла мне своего ручного молодого тукана. Тело птицы небольшое, иссиня-черное, на груди желтое пятно, как манишка, голова тоже ярко-желтая, а громадный клюв, в два раза больше тела, — светло-зеленый с оранжевыми полосами; поразительное строение и поразительная окраска! Я взял птицу в руки. Тукан беспокойно ворочал громадным клювом и подозрительно смотрел на меня темным глазом.

За длинным столом нас услужливо обносили кушаньями молчаливые, застенчиво улыбающиеся смуглые слуги. Хозяин с хозяйкой общались с ними жестами. Потом на просторной

веранде пили кофе. Хозяин опять хвастался:

— Наш кофе — не хуже бразильского! Половина дохода нашей страны — от этого кофе. А другая половина — от хлопка, бананов, табака и какао. Хотите увидеть нашу страну? Завтра я приглашаю вас поехать в нашу древнюю столицу Антигуа. Там есть такой ресторан, какого не найдете во всей Южной Америке!

Испанцы завоевали царство Майя, на территории которого теперь находится Гватемала, в 1523–1524 годах, а в 1542 году основали свою столицу в построенном ими городке Антигуа. Потом он был разрушен землетрясением. Городок бедный и запущенный, сохранилось всего три-четыре старых строения, но он привлекает туристов своим историческим прошлым. На центральной площади — толпа торгующих туземцев, в основном женщин, с ними маленькие грязные дети. Они следуют за всеми по пятам, навязывая свой товар: красивые ткани, вышитые яркими цветами, одеяла, накидки «пончо», подушки и много других самодельных сувениров. Доктор сердито их отгонял, пренебрежительно говоря:

— Поглядите на них — все эти женщины постоянно беременны, все!

— Не обвиняйте только их, — парировала Ирма, которая была с нами.

В хваленом ресторане во дворе сидели привязанные на цепочках обезьяны и попрошайничали. Рядом с ними гордо разгуливали также привязанные попугаи. Нас приветствовал хозяин, и тут же, одно за другим, стали появляться на столе изысканные тропические блюда.

Но главное наше впечатление было впереди: через день мы с вылетели на маленьком самолете в город двухтысячелетней истории Тикал, в самом центре джунглей.

У каждого человека есть несколько самых памятных событий. Для меня одно из них — посещение Тикала. Два часа мы низко летели над густым массивом тропического леса, который здесь называют «peten» — «лес ливней». Примитивный аэродром вырублен прямо в гуще джунглей. Охраны с нами не было, мы присоединились к группе туристов с плохо говорившим по-английски гидом-гватемальцем. С нами были еще две пожилые пары, одинокий молодой мужчина и одинокая молодая женщина. Все они говорили по-испански. Через джунгли, гуськом, гид повел нас к раскопкам. Из-за постоянной жаркой влаги деревья в лесу растут очень густо и все покрыты мхом. Мы проходили мимо многих громадных заросших холмов. Под ними наверняка были еще не раскопанные строения.

Тикал существовал еще в дохристианскую эру, но его расцвет

относится к 200–900 годам нашей эры. Он занимал площадь 40 квадратных километров, в нем было пятьсот крупных строений, в основном пирамиды и дворцы, и жили 40 000 человек. Что и как произошло с Тикалом потом — в точности неизвестно. Испанский завоеватель Кортес прошел мимо него в 1545 году, не заметив. Очевидно, Тикал уже вымер и зарос деревьями. Древних майя за их высокоразвитую культуру называют «великолепными майя». Не без основания. Они построили множество таких городов, у них, единственных на континенте, были развитая письменность и математика с понятием нуля (которого не было в Греции и Риме). Особо высоко были развиты у них живопись, ваяние и зодчество. И все это вдруг исчезло без всякого следа примерно к 1450 году, еще до путешествия Колумба. Почему и как — неизвестно. Четыреста лет об этих майя ничего не знали. Тикал был случайно открыт в 1848 году, первые раскопки начаты в 1951-м, туристы появились в 1985-м — всего за пять лет до моего визита.

Основные строения в центре Тикала — громадный многоэтажный дворец правителя и пирамидальные храмы высотой до семидесяти метров. Город называют Северный Акрополь. Смотреть — дух захватывает. Я ходил, удивлялся и все старался представить себе людей того времени.

Ступени пирамид очень крутые, на вершине всегда надстройка в девять этажей: цифра девять была у майя магической. А на самом верху проводились ритуальные человеческие жертвоприношения. Я попробовал подняться туда, но от крутизны у меня закружилась голова, а приносить себя в жертву не хотелось. Но Джордж и молодая блондинка из нашей группы залезли наверх довольно легко. Я потом решился спросить ее:

— Откуда вы?

— Я из Боливии, но по происхождению немка, — сказала она заносчиво.

Пока мы ждали самолета лететь обратно, молодой человек что-то рассказывал Джорджу. Тот перевел мне:

— Он местный и говорит, что ему было поручено охранять нас здесь, потому что наша охрана не могла приехать с нами. Поэтому он и ходил за нами вместе со всей группой.

На следующий день мы осмотрели Президентский дворец, купили яркие сувениры и сфотографировались на память с автоматчиками из нашей охраны, а вечером провели конференцию для местных докторов и сестер.

Министр Гуларте был на ней живым экспонатом.

Акула Уолл-стрита

Илизаровским методом неожиданно заинтересовались пластические хирурги из соседнего с нами госпиталя Beth Israel. К тому времени мы с Виктором Френкелем уже сделали несколько успешных операций по удлинению рук. В Америке операции на верхних конечностях обычно делают пластические хирурги, и вот они заподозрили, что мы внедряемся в их область. Сначала они заходили к нам в операционную со скептической ухмылкой: «Ну, ну, посмотрим, что вы тут такое новое делаете»; потом стали расспрашивать: «Каким образом при медленном растяжении образуется новая костная ткань?»; а потом начали вслух рассуждать: «Надо бы и нам опробовать этот новый метод».

В итоге пластический хирург доктор Сильвер спросил меня:

— Владимир, как ты думаешь, если мы пригласим Илизарова на наш ежегодный конгресс в Бостоне, согласится ли он приехать? Мы, конечно, оплатим ему все расходы. Как ты считаешь, если мы предложим ему гонорар за выступление, он не обидится?

Я бы мог ему сказать, что дочь Илизарова получает у нас больше, чем ее знаменитый отец. Но воздержался от этих невеселых подробностей, а только обещал с Илизаровым переговорить.

Он первым делом спросил:

— Сколько они заплатят? И пусть наймут мне сопровождающего ассистента: не могу же я сам таскать чемодан со слайдами!

Сговорились на трех тысячах для него и на пятистах ассистенту.

— Только ты им скажи, чтобы деньги для ассистента дали мне тоже, я сам знаю, как распорядиться.

Старик становился все более недоверчивым и жадным. Он считал, что пятьсот долларов — большие деньги (для русских и были большие!), и хотел собственноручно передать их помощнику, чтобы тот знал, кому обязан.

Как раз в то время у нашего госпиталя появился новый финансовый патрон, мистер Гринберг, недавно он пожертвовал четверть миллиона долларов на илизаровские операции. По неизвестной нам причине его особо трогала судьба карликов, и, узнав, что мы удлиняем им руки и ноги, он дал пожертвование на развитие этого метода лечения.

Среди богатых людей Америки меценатство — старая добрая традиция. Одними движет действительное желание помочь,

поддержать. Другими — тщеславие: за крупные пожертвования самые разные учреждения и организации, этажи и отделы называют их именами. В любом случае они ничего не теряют на пожертвованиях: во-первых, у них, как говорили в старину, «денег куры не клюют», во-вторых, пожертвованные суммы они списывают с доходов и сокращают выплату своих налогов. Руководители крупных учреждений должны иметь широкие связи и всячески привлекать жертвователей. Чаще всего они устраивают для них балы и парадные обеды, за которые те платят большие деньги, и там всячески их обхаживают. И все учреждения имеют специального сотрудника, fundraiser'a, «поднимателя финансов», если переводить буквально, который только тем и занимается, что подыскивает потенциальных жертвователей.

У нас тоже был свой «подниматель финансов», и госпиталь регулярно устраивал балы и парадные обеды по 500-1000 долларов за место за столом. И нам давали довольно много пожертвований. Но на илизаровский метод — в первый раз.

За большим пожертвованием мистера Гринберга Виктор поехал сам вместе с нашим «поднимателем» к нему на Уолл-стрит. Мистер Гринберг был главой маклерской компании, миллиардером, во многом определял финансовую погоду страны, а через это ее влияние на мировые финансовые рынки. Таких людей в советской прессе называли «акулы Уоллстрита» и рисовали на них карикатуры, непременно с большим животом и в шляпе-цилиндре.

Я видел, в каком ажиотаже Виктор вернулся от него с чеком на $250 000. Он рассказывал, как приветливо разговаривал с ним Гринберг, с каким любопытством расспрашивал про Илизарова.

— Знаешь, он, оказывается, еще и президент клуба фокусников-любителей, потому что его хобби — показывать разные фокусы, он с детства это любил.

— Илизаров тоже фокусник-любитель, — заметил я.

— Да, я знаю — он показывал нам за столом разные фокусы. Слушай, ты говорил, что он приезжает на Бостонский конгресс пластических хирургов. Когда?

— На той неделе.

— Мы должны свести их — Гринберга и Илизарова! Если мы их познакомим, это укрепит наши связи с Гринбергом, и мы всегда сможем обратиться к нему за помощью.

Он тут же позвонил Гринбергу и спросил, не хочет ли тот встретиться с Илизаровым. «Акула» сказал, что будет очень рад встретить знаменитого ученого, а когда узнал, что Илизаров тоже фокусник-любитель, пришел в восторг. Но ко времени приезда Илизарова Виктор должен был куда-то уехать.

— Вот тебе домашний телефон Гринберга, — сказал он мне, — звони и договаривайся о встрече.

— Знаешь, мне как-то не приходилось общаться с такими фигурами.

— Ну и что?! Владимир, ты же в Америке, демократической стране! Ты увидишь, он очень простой парень. И притом ты же ничего у него для себя не просишь, наоборот, предлагаешь свою помощь в этой встрече.

— Я понимаю, конечно.

— Вот и звони.

Накануне прилета Илизарова я позвонил Гринбергу:

— Мистер Гринберг, я доктор Голяховский.

— Да, да, я знаю, вы русский доктор и вы знаете профессора Илизарова. Скажите, а он действительно умеет показывать фокусы?

— Да, он очень ловко это делает.

— Нам надо обязательно с ним встретиться, он, должно быть, очень интересный человек.

— Я уверен, он тоже захочет с вами встретиться. Завтра он прилетает.

— Завтра? Привозите его вечером ко мне домой, в семь часов. Вот вам мой адрес (он назвал номер своего особняка, на Пятой авеню). Вы женаты? Приходите вместе с женой.

— Спасибо, но я не знаю, сможет ли профессор завтра.

— Всю эту неделю мы с женой будем по вечерам дома, так что звоните, как только он сможет. Скажите, он любит китайскую кухню? У нас рядом есть изумительный китайский ресторан, мы можем пойти туда или заказать еду на дом.

Илизаров китайскую еду не любил, у него был простой русско-кавказский вкус: борщ, харчо, шашлык, котлеты, что-нибудь еще в этом роде… Как бы это объяснить Гринбергу поделикатнее?

— Профессор ест все, но больше любит европейскую еду.

— Прекрасно! Это совсем не проблема, мы закажем настоящий европейский стол в другом ресторане.

Я встречал Гавриила в аэропорту Джона Кеннеди. С ним прилетел молодой доктор Михаил Самчуков. Я отвез их в отель и там наедине объяснил, кто такой Гринберг и чего хотел Френкель от его встречи с ним.

— Значит, он — акула Уоллстрита? Да, интересно было бы встретиться.

— Я ему позвоню и постараюсь устроить вашу встречу. А ты мне вот что скажи: как у вас там дела, в Союзе?

— Дела? Дела совсем неважные. Зарплату не дают по

месяцам. Люди продают свои вещи, чтобы не голодать. А покупать тоже некому. Я еле добиваюсь, чтобы платили моим сотрудникам. А что платят-то? Магазины пустые, все надо покупать на рынке, а там цены… Хорошо еще, сумел договориться с местным военным округом, и мне по блату выдают на сотрудников института мясо из военных фондов. А получается всего по полтора кило в месяц. Разве это жизнь? — Он помолчал и добавил со вздохом: — Да, вовремя ты уехал.

Я вспомнил, как при нашей первой встрече в Нью-Йорке, три года назад, он сказал: «Ну что — поспешил ты уехать из России, а? А у нас удивительные перемены к лучшему, удивительные. Поспешил!»

Я напомнил ему об этом, он горько усмехнулся:

— Так я тебе и сказал? Да, не получилось «к лучшему», никто не ожидал, что так обернется.

На следующий день мы с Гавриилом вдвоем поехали к мистеру Гринбергу. Я остановил такси на Пятой авеню, и мы прошли несколько кварталов до его дома. Я хотел показать Гавриилу этот элитный район. Хотя в демократической Америке нет аристократии, но всегда была и остается финансовая элита. С давних пор она селилась в районе Пятой авеню, строя себе шикарные особняки. Но разрастающийся город теснил даже и эту элиту. Поэтому постепенно особняки замещались кварталами других домов, а в тех, что остались, разместились галереи, музеи и офисы. Между ними стоят протестантские и католические храмы и еврейские синагоги. Вместо внушительных особняков на прилегающих к Пятой авеню улицах построили меньшие по размерам, в стиле brownstone (буквально — дом из коричневого камня). Это традиционный стиль лондонской архитектуры XIX века. Действительно, когда-то большинство этих домов были коричневого цвета, но с тех пор расцветка домов изменилась, она стала более разнообразной, а название осталось. По устройству они все имеют много общего: у них узкий фасад, обычно в три окна, четыре или пять этажей, и они стоят вплотную друг к другу (все это позволяет экономить на дорогой земле города). Снаружи они кажутся меньше, чем на самом деле, потому что они всегда вытянуты в длину и у каждого есть задний дворик. Все в них приспособлено для удобства жизни одной состоятельной семьи: как правило, на первом этаже — хозяйственные службы, на втором — большой холл, кабинет и библиотека, на третьем — гостиные и столовая, на четвертом — три-четыре спальни, на пятом — комнаты прислуги. Многоквартирные дома стали строить в Нью-Йорке только в конце XIX века. Хотя в городе сохранилось много старых браунстоунов, но большинство их

внутри перестроено: каждый этаж приспособлен под небольшую квартиру для одной семьи. Только действительно состоятельные люди могут содержать целый дом. Но в районе Пятой авеню сохранились браунстоуны шире, выше и красивее обычных, с громадными окнами и мраморными фасадами с украшениями.

Все это я рассказывал Гавриилу, показывая дома. Он любил слушать такие рассказы и рассматривать строения, всегда спрашивая их цену.

— А вот и дом Гринберга, — указал я, взглянув на номер.

Дом был солидный, с мраморной лестницей на бельэтаж и с тяжелой дверью, украшенной затейливым бронзовым литьем.

Охраны и швейцара не было, но со стен во все стороны были наставлены телевизионные камеры — секретная стража богатого района.

Гринберг сам торопливо открыл дверь:

— Профессор Илизаров, пожалуйста, пожалуйста, входите. Как я рад вас видеть! И вас также, доктор. Спасибо, что пришли.

Он долго тряс ему руку. Гавриил сказал:

— Скажи ему, что мне очень лестно, что такой человек, как он, пригласил меня к себе.

Когда я перевел, Гринберг затряс головой и запротестовал:

— Нет, нет, профессор, это мне лестно принимать такого человека.

Он был невысокий, худощавый, лысоватый, седоватый, одет в скромно смотрящийся серый костюм — ничего общего с карикатурами на «акул». Очень любезный и немного суетливый хозяин. Поддерживая Гавриила под локоть, он провел нас через большую прихожую в холл, усадил в кожаные кресла и принялся смешивать коктейли.

— Что предпочитает профессор?

Профессор предпочитал водку.

— Какую водку любит профессор? «Столичную», «Смирновскую», «Абсолют»?

— Все равно. Пусть наливает «Столичную».

Гавриил получил водку в хрустальном стакане с кубиками льда.

— А вы, доктор?

— «Кровавую Мэри», пожалуйста.

Он ловкими движениями, как, наверное, делал фокусы, смешал водку с томатным соком и добавил туда острые специи. Подняв бокал, он сказал традиционное американское:

— Чиирс!

И добавил с акцентом:

— Заз дровье!..

Пригубив, он попросил меня:

— Переведите профессору, что меня всегда трогала судьба карликов. Я сам невысокий и часто думал: какое это несчастье — остановиться в росте еще в детстве и больше никогда не расти! И я не мог понять: неужели нельзя как-нибудь помочь им? Когда я услышал про операции, которые начал делать профессор, то обрадовался: наконец кто-то нашел способ помочь карликам! Как они должны быть счастливы, что могут стать выше хотя бы на пятнадцать сантиметров!..

Гавриил заметил:

— Можно и на двадцать пять — тридцать, но только с сосудами, нервами и мышцами надо быть осторожным.

Гринберг воскликнул:

— Даже на тридцать?! По-моему, ваш метод — это гениальное открытие: какое счастье он дает обездоленным природой людям!

Гавриил явно был доволен и попросил:

— Скажи ему, что мы лечим руки и ноги, а вылечиваем души. Мы в нашем институте в Кургане сделали уже сотни таких операций, и я заметил, что в процессе лечения у моих пациентов на лицах появлялось выражение удовлетворения жизнью, какого у них не было до лечения. Вот как!

Это привело Гринберга в полный восторг, он даже вскочил:

— Я никогда не слышал ничего подобного! Это замечание великого гуманиста! И это пример настоящего гуманизма! Вы сказали — в Кургане? Вот это особенно интересно, потому что исходит от человека из глубины России. Знаете, ведь мой дедушка тоже из России, из маленького еврейского местечка под Белостоком.

Гавриил переспросил:

— Дедушка из России? А спроси: чем его дедушка занимался в Америке, как разбогател?

— Он сбежал из России от еврейских погромов и еле добрался до Америки в начале века, без знания языка и без денег. Его первым занятием было ходить по дворам и продавать всякую мелочь с лотка. Он долго перебивался кое-как, но потом сумел обзавестись своей маленькой лавочкой. Но он так никогда и не научился английскому языку. Поэтому мой отец с детства помогал ему торговать в лавочке, он родился в Америке и говорил по-английски, по-русски и на идиш. Ему удалось получить образование, и он стал человеком среднего достатка. Знаете, Америка — это ведь страна возможностей.

У меня вертелось на языке спросить, какие особые возможности дала жизнь ему самому нажить громадное

состояние… но я постеснялся. Конечно, редким единицам удается так высоко взлететь, как взлетел он. Но по своей схеме история семьи Гринбергов была типичной: первое поколение пробивается с трудом, второе твердо становится на ноги, а третье живет зажиточно. Из третьего поколения иммигрантов Америки вышло много банкиров, бизнесменов, юристов, писателей, ученых, даже лауреатов Нобелевской премии. И в нашем госпитале среди докторов, тоже было много иммигрантов третьего поколения, в том числе выходцев из России. Наверняка, если бы их дедушки-бабушки остались на родине, потомки не смогли бы добиться там ничего особенного. Но если сравнить их жизненные достижения в Америке с тем уровнем, на котором находились их предки там, то становится абсолютно ясно, какие возможности Америка предоставляет способным людям. Только ленивый не достигает в Америке ничего.

Мы сидели возле громадного, до потолка, камина из пожелтевшего от времени мрамора, с выточенными на нем барельефами. По обеим его сторонам секциями поднимались к потолку панели из резного красного дерева. Потолок, тоже украшенный резным красным деревом, разделялся сводами; с него свисали две массивные хрустальные люстры; по стенам висело несколько огромных картин в тяжелых позолоченных рамах; вдоль стен стояли шкафы с книгами в богатых тисненых переплетах. Мебель — тоже красного дерева, старинная и тяжелая, с золотыми накладками. Такую обстановку можно увидеть разве что в музее или в кино. Дедушка Гринберга из-под Белостока никогда бы не смог себе представить, какие возможности он открыл своему внуку, сбежав от погромов.

К нам присоединилась хозяйка. Она приветливо улыбалась Гавриилу:

— Мой муж рассказывал мне про ваше изобретение — это чудо!

Потом Гринберг незаметно перевел разговоры на фокусы и подарил Гавриилу свою книжку «Руководство по волшебству для фокусника-любителя». На титульном листе он написал: «Настоящему Волшебнику от фокусника-любителя».

По широкой лестнице хозяева провели нас в столовую на втором этаже. Официант из ресторана разливал по бокалам французское вино почти столетней давности. Никогда мы не пили такого густого ароматного вина, и никогда, наверное, нам такого больше не пить.

Мы сидели в доме миллиардера за непривычно длинным столом, пили коллекционное вино, я переводил беседу хозяев с почетным гостем, а про себя думал: если меня попросят

определить в двух словах, что такое американская культура, я отвечу — делать деньги. Два столетия люди из Европы и Азии миллионами иммигрировали в Америку, и практически все приезжали бедными и несчастными. Откуда же потом взялось так много богатых и счастливых? Очень просто: они научились делать деньги. И наш хозяин, внук нищего иммигранта-лоточника, был тому примером. Но ведь я и сам приобщился к этой культуре: приехал бедным, много и тяжело работал — и стал вполне состоятельным. А впереди меня могло ждать еще большее состояние (если буду жив-здоров, конечно).

Но вот рядом со мной сидит знаменитый на весь мир ученый. Он достиг многого, что не дано другим. Но чего он не смог — это сделать себе деньги. Почему? Потому что в его и моей стране, где было так много и плохого, и хорошего, не было культуры и традиции делать деньги.

Нельзя, конечно, все в жизни мерить одними деньгами, нельзя любить только деньги, нельзя добиваться лишь денег. Мы культурные люди, и мы должны уважать интеллектуальные и моральные ценности. Но жизнь без денег бывает слишком тяжела зависимостью от разных случайностей. Недаром величайший из русских поэтов писал: «Я деньги не очень люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости».

Я пишу учебник

В студенческие годы я не любил советские учебники. За очень редким исключением, они были сухо написаны и перенасыщены цитатами из классиков марксизма. Как будто медицину нельзя изучать без высказываний Ленина! Издательская цензура выхолащивала учебники, в них не было ясности изложения, а иллюстраций мало, и они всегда плохо были напечатаны. Став профессором, я мечтал, что когда-нибудь сам напишу хороший, интересный учебник.

Судьба сложилась так, что прямо из советского профессорства я перешел в американское студенчество. И, готовясь к экзаменам, я, к удивлению, впервые стал получать удовольствие от чтения учебников. Материал изложен всегда ясно и живо, текст написан профессионально и целенаправленно, и всегда много хороших иллюстраций. Правда, порой они чрезмерно толстые, авторы как будто претендуют на энциклопедизм изложения, хотя учебник — не энциклопедия. Больше всего мне нравился популярный многотомник «The CIBA Collection» с иллюстрациями хирурга-художника Фрэнка Неттера. Он делал удивительно красивые рисунки-схемы по заболеваниям и их лечению, а тексты писали другие ученые.

На долгое время я забыл и думать о своей мечте написать когда-нибудь учебник. Но «душа не вовсе охладела» (Пушкин) к ней. Где-то в самой ее глубине таилось это несвершенное желание. В резидентуре я продумывал практическое руководство по лечению спортивных травм и делал для него рисунки. И вот теперь, при поддержке Френкеля, заключив договор с издательством «Mosby Publishing Co» из Филадельфии, я с увлечением начал работать над «Руководством по илизаровским операциям», взяв за образец книги Неттера.

Нарисовав несколько больших рисунков, я показал их Френкелю:

— Виктор, я начал работать над нашей с тобой книгой. Это первые рисунки, для начала.

— О, Владимир, очень красиво! Ты прямо второй Нетгер!

— Спасибо. Теперь напиши к ним текст.

— Почему я? Ты нарисовал, ты сам и пиши.

— Виктор, мой английский не настолько хорош.

— Тебе будет помогать Питер Феррaро, наш редактор.

— Питер может литературно отредактировать текст, но он не доктор и не знает предмета.

В конце концов Виктор пригласил нас с Ириной в субботу

приехать к нему на дачу, с тем чтобы в воскресенье мы вместе поработали над текстом. У них с Руфи был небольшой двухэтажный дом на самом берегу Атлантики, в Нью-Джерси, километрах в восьмидесяти от города. Вечером — прогулка по пляжу, дружеское застолье, вино, слушание музыки. На следующее утро я уже хотел работать, но Виктор потянул всех купаться. Разморенные солнцем, после ланча мы уселись с ним работать. Я ставил перед ним рисунки и давал объяснения, а он скороговоркой наговаривал в диктофон текст. Но говорил он слишком общо и коротко.

— Виктор, нужно дать подробное объяснение, подать его более живо.

— Зачем? По-моему, и так все ясно. Давай следующий рисунок.

Не прошло и часа, как он стал зевать, скис, закрыл глаза и сказал, что устал — надоело.

Когда секретарь Виктора напечатала надиктованный им текст, я понял, что ничего из нашего соавторства не получится. Почему он не хотел писать? Он по природе не был автором. Ему удавались операции и администрирование, но не писание. Есть люди, для которых писать — как нож острый. К тому же в шестьдесят шесть лет Виктор начинал заметно сдавать. Он часто откладывал важные дела и, сидя на конференциях, нередко клевал носом. Я понял, что учебник предстоит делать мне одному. И теперь все вечера, до поздней ночи, интенсивно работал над ним.

Для пишущего и рисующего человека нет занятия приятней, чем сидеть над листом бумаги и сочинять и изображать. Это всегда было моим любимым времяпрепровождением: я писал и рисовал с детства. Став взрослым и посвятив судьбу хирургии, я написал несколько сборников стихов, книг воспоминаний и пьес. Правда, это литература художественная, в которой большую роль играет вымысел, воображение. Но я также написал и две диссертации, книгу по своему методу лечения плечевого сустава и много научных статей. Это литература совсем другого рода — она состоит сугубо из информации, главное в ней — строгое изложение фактов, наблюдение, а не воображение.

Написать учебник сложнее, чем стихотворение или диссертацию. Учебник читают не для эстетического впечатления или получения информации, его задача шире: по нему учатся, в него заглядывают вновь и вновь для закрепления знаний. «Повторенье — мать ученья». Хороший учебник должен всегда быть под рукой студента или специалиста, чтобы можно было еще и еще раз научиться тому, что в нем написано. И, поскольку

учебник — это большая книга, в нем нужен особый сюжет, особая, «сквозная» логика изложения. Эту логику придает учебнику индивидуальность автора, и эта логика должна приковать и захватить внимание читателя. Чем учебник толще, тем больше следует придать ему определенной увлекательности. Это достигается двумя путями: или украсить текст тонкими авторскими обобщениями и рассуждениями, или украсить его хорошими иллюстрациями. А лучше всего — и тем и другим. А для этого нужна образность, воображение.

Каждый вечер я расчерчивал листы бумаги и наносил на них карандашом контуры будущего рисунка. Пока рисовал, уточнял детали, и в процессе этого складывалась логика моего изложения, заранее оформлялся будущий текст. Рисовать мне было совсем нетрудно: я давно готовил схемы ко многим нашим операциям. Правда, теперь я перерисовывал их для печати на большие листы плотной бумаги, делал это намного тщательней, усливал изображения тенями, придавая им объем. Я хотел, чтобы мои рисунки «рассказывали» сами себя, чтобы, как и рисунки Неттера, надолго оставались в памяти, чтобы их показывали на слайдах на конференциях и съездах (забегая вперед, могу сказать, что я этого добился).

Но когда я заканчивал рисунок и садился за стол сочинять текст — начинались мои муки. Медленно и с трудом я составлял фразу, она казалась мне грамотной. Потом я видел, что она недостаточно хороша, бился над ней, по несколько раз переделывал. Бывали фразы, которые я переписывал по пять — семь раз. Бывало, что целые страницы приходилось переписывать по Три-четыре раза. Утром я приносил готовый текст и оставлял его на столе Питера Феррaро. Целый день я был занят работой, а к концу дня мы с Питером садились у меня в кабинете за чашкой кофе и начинали заново перекраивать написанное. Он уточнял детали того, что я хотел сказать, и редактировал текст в ключе настоящего литературного английского. Питер был веселый и остроумный парень. Почему-то он любил называть меня Вовчик — где он мог услышать это русское уменьшительное имя? Нашу работу мы перемежали шутками и смехом.

— О'кей, — говорил он, — при некотором мозговом усилии я могу уловить, что ты хотел сказать. Это что, в России так пишут? Там это сошло бы, но здесь это звучит, как…

— Хочешь сказать, как бред сумасшедшего?

— Не совсем так, но все-таки бред. Надо переставить с головы на ноги.

Мы оба хохотали. Изабелла выглядывала из своей комнаты:

— Над чем это вы так смеетесь?

— Над тем, что Вовчик написал, — заливался Питер.

Изабелле не нравилось, что смеются над ее шефом. Она поджимала губы, но, видя, что я тоже хохочу, успокаивалась и даже посмеивалась вместе с нами. Все-таки в результате нашей работы получался настоящий литературный текст. Вскоре благодаря урокам Питера я стал писать лучше, и он уже не вносил так много исправлений.

Работали мы больше года, я нарисовал двести листов, на каждом — по два-три рисунка, сделал двести фотографий больных, до и после лечения, с подписями. Чистого текста было двести пятьдесят страниц. Это была громадная работа, отнявшая много сил. Но иначе учебник и не сделаешь. Мне повезло с моим редактором. И, хотя под конец я писал уже лучше, мы с Питером смеяться не переставали и Изабелла смеялась вместе с нами.

Только Леня Селя по-прежнему был настроен мрачновато и каждый час старался позвонить домой:

— Ирка, где Машка?.. Машка, где мама?..

По каждому несущественному поводу он мрачнел и замыкался в себе. Тогда я поддразнивал его:

— Что, чемоданов нет?

Или, стараясь его развлечь, я дразнил его словом «пипочка».

Он никак не мог смириться со своим положением техника. Я сам проходил такую ломку. Но я тогда понимал: на работе важно совсем не то, что ты думаешь о себе сам, но соответствовать ярлыку, который на тебе навешен. Леня этого не хотел понять и расстраивал меня работой с прохладцей. В своем эгоизме он хотел делать только то, что ему было выгодно. А выгодно ему было сдать экзамен и перетащить из Москвы свою маму и большую семью жены. Через общество албанцев в Нью-Йорке он наладил связь с отцом, разговаривал с ним по телефону и собирался послать ему приглашение в Америку. Для мамы он попросил у меня в долг большую сумму. Конечно, я дал.

Как-то у меня было назначено три больших операции в один день.

Я сказал ему:

— Придется нам с тобой допоздна пробыть в операционной.

Он надулся, как мышь на крупу:

— В Иркин день рождения? Я не останусь.

— Леня, ты же не бросишь меня одного?

— Нет, в Иркин день рождения я не останусь поздно.

Я разозлился: работа есть работа, и если твой старший просит, надо выполнять. В тот день я пришел домой уже за полночь. Ирина спросила:

— Что так поздно?

— Леня не хотел оставаться со мной в день рождения Ирки, пришлось мне работать одному, без помощника.

Что сказала про него Ирина, я лучше не напишу. Но и у меня после этого остался на душе горький осадок.

Леня мечтал попасть в резидентуру по ортопедической хирургии. Иммигрантов в нее не принимали. Я спросил Виктора:

— Есть ли какой-нибудь шанс помочь Лио?

— Практически — нет. Ни одна программа резидентуры не возьмет иммигранта. Но я как-то помог одному директору, чтобы его программу не сократили. Пусть Лио хорошо сдаст экзамен, я посмотрю, что можно для него сделать.

Виктор слов на ветер не бросал, я, как всегда, надеялся на него. И я знал, что связи в Америке всегда помогают. Мне хотелось помочь Лене больше, чем он хотел помогать мне.

В середине работы над книгой издательство прислало мне чек на десять тысяч долларов. Я решил сделать Ирине подарок:

— Знаешь, я всегда мечтал, чтобы у тебя была хорошая зимняя шубка. Много лет я с горечью думал: я так тяжело работаю всю жизнь, но не смог купить для тебя такую шубку. И вот теперь я хочу, чтобы на эти деньги ты сама пошла и выбрала себе что нравится.

Ирина никогда не любила тратить деньги на дорогие наряды и совсем не любила драгоценности. Но тут, первый раз в жизни, она решила позволить себе такое (или, может, просто уступила мне, чтобы я не расстраивался). И она купила норковую шубку в дорогом меховом магазине «Ritz». Там продавались очень хорошие вещи, правда, не совсем новые: богатые женщины сдавали туда за полцены меха, которые носили короткое время, — что-то вроде мехового комиссионного для богатых. Ирина выбрала элегантную шубку за две тысячи долларов, которая стоила не менее пяти.

Так учебник помог исполнению моей мечты о шубке для жены, и в то же время так победило ее трезвое кредо в отношении к дорогим вещам.

Аризона, Великий Каньон и Колорадо

Было бы несправедливо с моей стороны, описывая жизнь в Америке, не упомянуть о своих впечатлениях от ее прекрасной и разнообразной природы. Все мы, люди, — дети своей природы, той, в которой мы выросли и к которой привыкли.

Американская природа поразила меня с самого приезда своей мощностью: какие тут дуют сильные ветры, какая знойная одолевает жара, какие бывают обильные дожди и какие ужасные бури и смерчи! И неудивительно — ведь континент Северной Америки с востока и запада омывается двумя мощными океанами, которые шлют на него свое влияние; с севера он продувается холодным арктическим воздухом, а с юга его подогревает субтропическое Карибское море с Мексиканским заливом. Это создает многообразие климатов страны. А что касается природы… За первые тринадцать лет в Америке я побывал почти в половине из пятидесяти штатов, и ездить по Америке — сплошное удовольствие. А наблюдать ее разнообразную и могучую природу — большое наслаждение. Недаром по всей стране так много заповедников, знаменитых на весь мир, в которые съезжаются туристы со всех концов планеты.

Я летал над Америкой несколько раз и любил смотреть, как внизу открывалось чрезвычайное многообразие природы. На Западе — это страна теплого солнца, больших гор и просторных пустынь, на Востоке — это край умеренного климата, холодных зим, лесных холмов и равнин, на Севере — климат суровый, как в Канаде, на юге — жаркий, как в Мексике, на Аляске — зона вечной мерзлоты и ледников; а во Флориде — зона жары Карибского моря, влаги и вечного цветения. Кажется, что сама мать-Природа одарила Америку всем своим возможным многообразием. Но одно дело видеть природные изменения с самолета, другое — проникнуться их красотой на земле. Осенью 1990 года фирма «Ричардс» организовала международный симпозиум ортопедических хирургов в городе Tucson (Тусон), в штате Аризона — на самой границе с Мексикой. Это был своего рода короткий отпуск, и я решил его еще немного продлить. В Аризоне мы с Ириной еще не были и я предложил:

— Знаешь, давай устроим себе короткий и насыщенный природой отдых. Приезжай ко мне к концу симпозиума, мы возьмем напрокат машину и поедем в столицу штата Аризона город Феникс; там у меня есть научные переговоры на один день.

А оттуда поедем по пустыне на Великий каньон Америки.

Про знаменитый на весь мир Великий каньон — чудо природы — мы знали еще до нашего выезда из России и давно мечтали его увидеть.

В нашей семье Ирина занимала два важных поста — министра финансов и министра туризма. Поэтому она разработала еще более интересный маршрут: мы поедем на Великий каньон, а после этого полетим в столицу штата Колорадо город Денвер, опять возьмем машину и поедем кататься на лыжах в Колорадские горы — на знаменитые горнолыжные курорты.

И вот я опять лечу с востока на запад — в таком направлении в XIX веке исторически проходило продвижение Соединенных Штатов по континенту Северной Америки: от побережья Атлантического океана на берега Тихого океана.

Земли штатов Техас, Новая Мексика, Невада, Аризона и Калифорния были раньше малоосвоенной частью Мексики. В 1846 году Мексика начала нерасчетливую войну против Штатов и быстро ее проиграла, и в 1847 году она вынуждена была отдать им эти громадные, богатые и необжитые территории. Земли были настолько мало заселены, что многие страны считали часть их своими. Например, Россия тоже считала своей территорией район теперешнего города Сан-Франциско (в нем до сих пор есть так называемая Русская горка с кладбищем русских моряков).

Жаркая Аризона — шестой по величине штат Америки начала развиваться поздней других, лишь в XX веке.

Но полунищая и слишком перенаселенная Мексика до сих пор таит обиду на Штаты. Поэтому у мексиканцев есть поговорка: «Бедная Мексика — так далеко от Бога и так близко к Соединенным Штатам». Хотя на самом деле мексиканцы во многом живут за счет развития своего мощного и богатого соседа.

Уникальная природа Аризоны не похожа ни на какую другую, кроме центральной мексиканской. Тусон — один из самых жарких городов мира, небольшой, абсолютно новый. Он знаменит научными достижениями своего университета — университета штата Аризона. Прямо из аэропорта встречавшая меня машина въехала в пустыню Сонора, и мне открылась ее необыкновенная красота. Это совсем не то, что представляется нам при слове «пустыня». Она, как ковром, покрыта пестрой растительностью — южными колючими травами, цветами и кактусами сагуара высотой в два-три и больше человеческих роста. А вдали расстилались розовеющие под заходящим солнцем горы. Днем воздух здесь нагревается до 50 и 60 градусов Цельсия, но ночной воздух всегда чист и свеж, и он необычайно насыщен ароматами согретых за день трав. Никогда я не видел ничего подобного.

На третий день симпозиума ко мне прилетела Ирина. Ранним вечером, когда спала жара и закончились занятия, мы пошли с ней гулять по пустыне. Необычность, богатство и красочность природы Аризоны поразили ее тоже. Она с восторгом бегала от одной высокой сагуары к другой, а я фотографировал ее возле них. Только надо было на всякий случай остерегаться колючек и… возможных гремучих змей (издали можно было слышать, как они трясли хвостами с природными погремушками на концах, издавая звук грозного предупреждения).

Город Феникс, столица Аризоны, тоже в основном новый, ничем особым, кроме жары, не отличается. Но он поразителен тем, что растет быстрей всех других за счет… пенсионеров. Они тысячами селятся в нем, несмотря на жаркий климат, город полон стариков.

Из Феникса мы помчались на север — к Великому Каньону. Прямая и ровная дорога шла через вторую красивую пустыню штата Седону, позволяя мчаться со скоростью более 100 км в час. Седона более пустынна, чем Сонора, и с более разнообразным рельефом. На полпути нас ждал сюрприз: исторический монумент 800-летней давности — дворец легендарного императора ацтеков Монтесумы. В нависающей известняковой скале на высоте 25 метров вырублена ниша около 100 метров в длину и 20 метров в высоту и в глубину. В центре нишы выступает вперед тоже вырубленный из скалы и укрепленный кирпичными блоками громадный пятиэтажный дворец. В нем двадцать больших залов, все этажи и залы соединены деревянными наружными лестницами. Когда-то здесь была интенсивная жизнь, сохранились колодцы и подходы к ним. Эта жизнь прекратилась с приходом испанских конкистадоров Кортеса в 1520 году. По легенде, Монтесума хотел убить Кортеса, но тот обманул и сам убил его. Правда, на самом деле это произошло не здесь. Однако народная молва прозвала это строение дворцом Монтесумы.

Неподалеку от дворца стоял поселок потомков краснокожих индейцев — Camp Verde (Зеленый Лагерь). Их предки были сухопарыми, мускулистыми и быстрыми. В XIX веке они яростно сражались с белыми завоевателями и срезали с них скальпы. Теперь их потомки живут мирным художественным ремеслом и коммерцией: вдоль дороги для туристов расставлены длинные столы с их серебряными и глиняными изделиями — остановись и покупай. Очевидно, бизнес идет неплохо: почти все потомки худых краснокожих теперь довольно толстые, медлительные и важные.

По мере приближения к Каньону, климат стал заметно меняться — горячий воздух пустыни сменился свежей горной

прохладой. Великий Каньон доминирует над всем районом своей величиной: 449 км длиной, от 2 до 29 км шириной и около 2 км глубиной. Самая впечатляющая его часть длиной 90 км — это Национальный заповедник. В центре его мы подъехали к старинной деревянной гостинице «Эль Товар», построенной в виде большого швейцарского шале, почти на самом краю каньона. Быстро переодевшись в теплое, поспешили наружу — увидеть каньон в лучах заходящего солнца. Он славится переливами красок: основной цвет его склонов, утесов и обрывов — красный.

Но в разных поворотах и глубине и при разном освещении его цвета переливаются в розовый, зеленый, коричневый, а на самой глубине — в фиолетовый. У меня захватило дух от красоты этого зрелища, ничего подобного я никогда не видел и не увижу, потому что ничего подобного Великому Каньону нет на свете. Я буквально влюбился в него с первого взгляда. Как определить его одним словом? Больше всего к нему и подходит определение — ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ.

Громадный провал, называемый Великим Каньоном, это настоящая мера времени Земли: на отвесах его крутых уступов и склонов извилистыми напластованиями запечатлены геологические следы двух миллиардов лет истории земли — чего нет больше нигде в мире. Планета Земля существует около четырех миллиардов лет (из четырнадцати миллиардов лет истории Вселенной). Жизнь на ней стала зарождаться около 1400 миллионов лет назад. В разных местах есть открытые слои в 400 и даже 700 миллионов лет давности. Но нигде нет таких древних, как в Великом Каньоне. Его открытые слои существовали еще задолго до возникновения жизни. Я старался впиваться в них глазами, пытаясь мысленным взором проникнуть в необъятные глубины времени…

Что такое время? Как его измерить? Оно и статично, и в постоянном движении. Как представить его движение? Время ложится на мир наплывающими пластами: из ячеек-минут образуются слои часов, из часов вырастают плиты дней, они наслаиваются в пласты годов, из которых складываются массивы столетий. И все это спрессовывается в необозримые завалы тысячелетий и эпох. Изобразить движение времени смогло только само время. Оно и нарисовало свой портрет слоями напластований на древних каменных уступах Великого Каньона. Я смотрел и мне казалось, что там я увидел его — увидел само Время!

Там, стоя на краю уступа Великого Каньона и любуясь извилистым окаменевшим рисунком самого Времени, я смог почувствовать его безмерное величие. Это ощущение —

непередаваемо. Поэтому и определение того зрелища — сама ВЕЛИЧЕСТВЕННОСТЬ.

На дне каньона вьется мощная река Колорадо. Она пришла в него довольно поздно, «всего» шесть миллионов лет назад (когда наши прадпредки слезли с деревьев и стали переселяться на землю). Река прорыла каньон в глубину. Она настолько сильная, что каждый день несет в себе около пятисот тысяч тонн обломков скал и камней. Теперь ее обуздали, построив у основания одну из самых больших плотин мира — Glen Canyon Dam (Плотину Глен Каньона). Но только смельчаки могут плыть в резиновых лодках по быстрой реке со многими ее порогами.

Мы провели там два полных дня, исходив и изъездив вдоль Великого Каньона много его необычайных поворотов и обрывов. Смотреть сверху вниз на дно даже жутко: так это глубоко. Туда ведут извилистые, пологие и узкие тропинки, но ходить по ним тяжело и даже опасно. Я попробовал всего метров сто, но ограды там нет и голова закружилась. Бывали случаи падения с этих узких путей. К тому же в один день туда и обратно не пройдешь — надо идти с палаткой и ночевать в холоде на дне. По ночам можно видеть там, на самом дне, слабые огоньки костров — это молодые туристы ночуют там, греясь у огней. Лучше всего спускаться и подниматься верхом на муле. Для этого там есть большая конюшня и провожатые. Эти вышколенные лошади с длинными ушами медленно и понуро ходят вниз и вверх, что занимает почти целый день. Все седоки неопытные и сидят в седле как попало (иногда фигура и поза верхового смешны — громадный толстый человек еле сидит, съехав на один бок). Но еще не было ни одного случая падения мула вниз — каким-то образом они умеют держать удивительное равновесие на узких тропинках над пропастью. Однако ехать на муле мы не захотели — после дня в седле долго болят ляжки, а нам надо было иметь спортивную форму для лыжных трасс в Колорадских горах.

Мы опять увидели весь каньон сверху при перелете в Денвер — прощай, величественное чудо света! Под нами расстилались Колорадские горы, и через два часа мы взяли машину в аэропорту и по извилистым крутым дорогам въехали в горы. По бокам от дороги уже лежал ранний снег. В горах быстро стемнело и становилось все трудней править. Нам надо было ехать прямо в тоннель, но я по ошибке свернул раньше времени. Дорога в темноте вела нас на верх какой-то горы, и становилось намного холодней. Ехали уже больше часа, ни встречных машин, ни жилья не было. Вдобавок пошел густой снег и мешал видеть дорогу. Я стал нервничать — где мы?

Колорадские горы имеют пятьдесят три пика высотой до 4400

метров и двести пятьдесят пиков высотой до 3900 м (в среднем 2070 м), я не знал, где мы находимся — на какой высоте?

Я всматривался — где край, чтобы не свалиться в пропасть, и думал: как глупо заблудиться ночью в Колорадских горах! Но вот на одном из поворотов мелькнули вдали огоньки. Что это — освещенная трасса лыжного спуска для ночного катания? Кажется, так. Тогда мы спасены. И вскоре дорога стала спускаться, и мы въехали в городок Кийстоун, утопавший в свежем снеге. Это было в стороне от нашего пути, но мы уже ничего не хотели, кроме как согреться и поесть. Усталые от переездов и возбужденные ночными блужданиями, мы остановились у первого же отеля. Как приятно было войти в теплый и светлый вестибюль!

Утром я позвонил в свой офис узнать о состоянии больных после операций. Мой помощник Леня Селя сказал:

— Владимир, вы не волнуйтесь — все в порядке, я подвернул все пипочки.

— Леня, какие пипочки?

— Ну — бабышки эти.

— Что за бабышки? — таких названий никогда не было — черт знает, что за терминология!

Изабелла сказала, что в Нью-Йорке необычно тепло, все ходят без пальто. А у нас все было завалено снегом. Первым делом мы взяли напрокат лыжи. Теперь надо было найти трассы получше.

Картины Колорадских гор много раз показывались в кино и в журнальных рекламах. Это действительно поразительное по красоте зрелище. Название Колорадо происходит от испанского слова «красный». Горы красные, на их склонах шапками нависает белый снег и кое-где выделяется яркая хвойная зелень.

Когда-то эта земля принадлежала Франции и входила в ее колонию Луизиана. В 1803 году Наполеон продал Луизиану Соединенным Штатам. А в 1859 году там было обнаружено золото — много золота! — и в 1861 году большие запасы серебра. И началась знаменитая «золотая колорадская лихорадка». Наплыв искателей счастья во многом помог освоению этого труднодоступного района. В 1876 году его сделали новым штатом. Золотые разработки в глубоких шахтах продолжались до 1893 года, пока оно не иссякло, а серебро добывают до сих пор. Мы побывали в местах тех знаменитых старинных разработок и лазали в шахты. Золота мы там не добыли (шахты стали теперь музеями), но получили некоторое представление о том, каково было работать золотоискателям.

В самом сердце гор протекает бурная река Колорадо, которую называют «матерью рек», потому что она дает начало четырем

крупным рекам Северной Америки. Здесь же находится так называемый Continental Divide — Разделитель континента: отсюда, как от пробора на прическе, одна часть рек течет на запад, другая — на восток.

Так мы с Ириной провели две недели отдыха, насладившись красотой и разнообразием американской природы — от пустыни до каньона и до гор.

Моя русская клиника

Каждый госпиталь — автономный механизм, как корабль в водах океана. Пациенты — как пассажиры корабля, врачи, сестры и остальные работники — его команда. А операционный блок госпиталя — это как машинное отделение: без него госпиталь держаться на плаву и двигаться вперед в своей работе не может. Госпиталь обязан обеспечить здоровье пациентов, точно так же, как корабль обязан обеспечить доставку пассажиров на берег.

Наш первоклассный госпиталь, как корабль в океане, был подвержен «качкам» местной экономики, то умелому, то не очень искусному управлению. Наш ежегодный финансовый баланс составлял около полутораста миллионов. В хорошие времена мы заканчивали год с доходом в несколько миллионов. Но так получилось, что к середине 1991 года госпиталь стал терять деньги, в его бюджете образовался дефицит. Это не грозило остановкой работы и увольнениями, но могло сказаться на снабжении качественным оборудованием и инструментами, которые госпиталь закупал у фирм, — первоклассное всегда стоит дороже. А нам нужно было первоклассное.

Виктор Френкель и вице-президент Рувен Саввич (не доктор, а администратор) судорожно изыскивали возможности поправить дела. В первую очередь они активизировали сбор пожертвований от богатых доноров. Тут им помог «акула Уолл-стрита» Гринберг, пожертвовавший еще один миллион (пригодилось его знакомство с Илизаровым). Но нужны были дополнительные средства. Виктор был большой мастер продуцировать новые идеи и очень этим гордился. Если ему говорили: «О, доктор Френкель, это хорошая идея!», он, смеясь, отвечал: «Еще одна хорошая идея!»

Так, однажды в конце дня он вошел ко мне в кабинет и, как всегда, без предисловий начал:

— Я хочу, чтобы ты активизировал русскую клинику. Нам нужно как можно больше русских пациентов: страховка «Медикейд», которую им дают, полностью оплачивает госпитальные расходы.

— Хорошая идея, Виктор.

— Ха! — он поднял указательный палец. — Не просто хорошая идея, а еще одна хорошая идея. Скажи, какую газету больше всего читают русские иммигранты?

— «Новое русское слово».

— Ты знаешь, в какой день недели она выходит с наиболее интересными материалами?

— Я давно ее не читаю, но моя мама покупает ее почти

каждый день. Кажется, в пятницу газета толще обычного, потому что там публикуются разные рекламные объявления.

— Тогда надо дать туда большое объявление и повторять его каждую пятницу. Сочини такой текст, чтобы сразу привлек читателей: разрекламируй наш госпиталь, упомяни, что мы первыми в Америке стали делать операции по методу Илизарова, напиши, что ты московский профессор, — пациенты всегда идут на громкие имена. И еще: постарайся выступить по русскому телевидению и радио.

Когда-то я начинал свой журналистский путь в Америке с публикации серии статей в «Новом русском слове» про советскую медицину под общим названием «Эта бесплатная и общедоступная медицина». Теперь я не читал газету, тенденциозность и общий стиль ее мне не нравились. Но в ней действительно печаталась масса русских реклам — основной источник ее существования. Это была пестрая смесь объявлений, больше всего страницы пестрели именами докторов-иммигрантов из Бруклина. Были среди них и серьезные объявления, но попадалась и реклама шарлатанства, вроде магического излечения всех болезней за один прием. Газета писала, что за содержание объявлений не отвечает.

Госпитали в газете себя не рекламировали, потому что специальных госпиталей для русских в Нью-Йорке нет. Мы были единственным госпиталем с клиникой для русских иммигрантов. Я поместил в газете объявление и выступил по русскому каналу телевидения RTN — Russian Television Network». Интервьюировал меня журналист-одессит, который прерывал мои рассказы разными хохмами. Время от времени он говорил зрителям:

— Для того чтобы лечиться, надо иметь крепкое здоровье.

— Не надо иметь высшего образования — надо иметь среднее соображение.

— Полнота тела — благо: хорошего человека должно быть много.

Очевидно, его русской аудитории эти шутки нравились.

И вскоре к нам устремился все нарастающий поток пациентов. Изабелла буквально изнывала от телефонных разговоров с ними — в основном звонили старые люди, которые по многу раз переспрашивали:

— А чем, собственно, занимается доктор Голяховский?

— А правда, что он был профессором в Москве?

— А вы можете прислать за мной машину?

Был и такой незатейливый звонок:

— Секретарша, пришли машину, — без указания, кто звонит, по какому поводу и откуда.

На самые бестолковые вопросы Изабелла отвечала:

— Послушайте, в газете же все написано.

— А вам что, сказать жалко?

— Не жалко, но я не могу так долго разговаривать с вами. У меня много других дел.

— Подумаешь, какая важная персона!..

Изабелла жаловалась:

— Владимир, что мне делать? Они просто не дают мне работать. И все требуют транспорт. Они узнали, что в госпитале есть служба развоза больных и все хотят, чтобы их развозили. Но я же не хозяйка этой службы, я не могу присылать за каждым из них машину.

— Изабелла, я куплю вам длинный-длинный лимузин, и вы сами станете их развозить.

— Ну, Владимир, я же серьезно…

Что верно, то верно: иммигранты скоро осваивались с условиями обслуживания и любили требовать для себя все. Особенно — бесплатный транспорт.

Мне дали еще одну телефонную линию и еще одного секретаря, специально для ответов русскоговорящим пациентам. Основная цель была достигнута: госпиталь получал все больше пациентов со страховкой «Медикейд», и Виктор с вице-президентом были довольны.

А у нас прибавилось работы: на прием по пятницам теперь являлось по пятьдесят и больше русских иммигрантов. После таких приемов, да еще в конце рабочей недели, я приходил домой абсолютно измотанный. За каждый визит «Медикейд» платил госпиталю 150 долларов, и многих из посетителей я назначал на операции, за что госпиталь получал еще несколько тысяч. Но я денег от этой работы не получал — доктору за поликлинический прием эта страховка не платит, а те 500 долларов, что полагались мне за операцию, госпиталь забирал для расходов на резидентов. Так что для меня это была бесплатная нагрузка. Надо сказать, что в Америке доктора бесплатно ничего не делают. Но я считал моральным долгом помогать своим бывшим согражданам, равно как и своему госпиталю.

Из всех врачей по-русски говорили только мы с Селей, но он не имел права принимать больных сам. Госпиталь был учебным заведением, со мной работали резиденты. Для них это была практика, они должны были осматривать больных, и после этого показывать их мне. Русские иммигранты не хотели, чтобы их осматривали американцы. Они читали в объявлении, что в клинике принимает русский профессор. Когда к ним в смотровую заходил молодой американец, они категорически заявляли:

— Доктор Голяховский, доктор Голяховский!

Резиденты пытались осмотреть их, но они с раздражением твердили:

— Голяховский, Голяховский!

По акценту и манере разговаривать сразу распознавалось их происхождение. Больше всех было жителей Одессы, Черновцов, Ташкента и Бухары. Например, приходит толстая и еще довольно молодая одесситка. Я вхожу в смотровую комнату:

— Здравствуйте, я доктор Голяховский.

Она сидит с безразличным лицом, смотрит куда-то в сторону.

— Что у вас болит?

Она как будто оживает и напевно восклицает:

— Ой, не спра-а-ашивайте!

— Как же мне, доктору, не спрашивать? Что-то, наверное, болит, раз вы пришли ко мне.

— А я зна-а-аю?! Мене все болит.

— Что же больше всего?

— Ой, я вас умоляю!..

— Но все-таки?

— Ой, не говорите!..

— Можете вы мне сказать — что у вас болит?

— Ой, ради Бога!..

Так проходят первые пять минут. Потом она напевно заявляет:

— Ой, доктор, таки мне же нужна спра-а-авка.

— Справка о чем?

— А я знаю?

— Какая справка?

— Ну, я же говорю — спра-а-авка.

— Я не могу понять, о какой справке вы говорите.

— Ой, ну спра-а-авка, что мене все болит, и я не могу работать.

Многие таким образом хотели получать пособие для бедных и в то же время избежать работы. Резиденты не переставали возмущаться.

Потом госпиталь нанял двух женщин-переводчиц, и работать с русскими иммигрантами стало немного легче.

На приемах я насмотрелся на человеческие трагедии.

Маленькая, худенькая, хромая старушка приходила на прием несколько раз, и как-то так получалось, что мне ее не показывали. Однажды она устроила истерику, и резидент позвал меня к ней в комнату.

— Почему вы плачете?

— Они, эти молодые американцы, не хотят, чтобы вы меня

лечили. Я вам заплачу, доктор. Я знаю, что в Америке надо платить. Я обязательно заплачу.

— Мне не надо платить. Дайте-ка я осмотрю вашу ногу.

У нее было ужасно деформированное колено — при каждом шаге нога подворачивалась внутрь, и она с болью на нее припадала. Ей нужна была сложная операция: вырезать полностью кости колена и заместить искусственным суставом из металла и пластмассы. Такие операции в Союзе еще не делали (разве что в Кремлевской больнице и в специальных институтах), но во всем мире их было сделано многие тысячи. Я успокоил больную, рассказал, что ей нужно сделать, и распорядился, чтобы ее готовили к операции.

— Доктор, голубчик, только чтобы вы делали. Я американцу не дамся.

При поступлении в госпиталь она рассказала мне свою историю.

— Когда началась война, мне было семнадцать лет. Мы жили на юге Украины, отца забрали на фронт, а мы с мамой стали пешком уходить от немцев вместе с другими. Но они всех скоро захватили. Нас, как евреев, взяли в отдельный лагерь. Молодых отделили от старших, потом и тех и других расстреливали каждый день. На моих глазах убили мою маму. А потом пришли к нам, молодым. Нас держали совсем голыми. Солдаты отобрали девчонок покрасивей, чтобы изнасиловать, а потом убить. Я была маленькая и такая худая, что на меня они не обратили внимания. Когда они ушли, я смогла протиснуться через узкую щель в углу сарая и, совсем голая, побежала куда глаза глядят. Ночью я увидела хутор и постучалась — на свой страх и риск. Там жила семья греков. Они очень хорошо отнеслись ко мне, отогрели, одели, накормили, а потом скрывали. У них был сын моего возраста. Мы оба были молодые, влюбились друг в друга. И вскоре я забеременела. Потом пришла Красная Армия, и его взяли на фронт. Он не вернулся, погиб, как и мой отец. А у меня родился сын, и после войны я вернулась в наш город. Перебивалась с трудом, растила сына. Потом вышла замуж за инвалида войны, без одной ноги. Хороший был человек, мы прожили двадцать лет вместе. Сын стал сапожником, прилично зарабатывал, женился. Потом мы все решили эмигрировать. Сын теперь живет в Техасе, устроился, купил дом, машину. А я вот живу здесь на маленькую пенсию… Но вы, доктор, не сомневайтесь — я вам заплачу.

Господи! Мне плакать хотелось, а не то что деньги с нее брать.

Я сделал ей операцию, и через несколько дней она впервые за

долгие годы начала ходить не хромая, прямо. Как-то вечером, на обходе, я зашел осмотреть состояние ее ноги. Она стала совать мне в руки конверт:

— Доктор, спасибо за все!

— Что вы, Фира! Не стану я брать у вас деньги.

— Доктор, я обещала заплатить.

— Забудьте про это.

Я присел на край кровати и взял ее за руку. Она заплакала.

— Почему вы плачете?

— Это я из чувства благодарности за вашу человечность. Я ведь знаю — доктора на кровать к своим больным не садятся.

Я запомнил это навсегда — «доктора на кровать к своим больным не садятся»; это верно — большинство не садится.

— Фира, вы знаете, что можете получить денежную компенсацию от немецкого правительства? Они платят по несколько тысяч тем, кто пострадал во время войны.

— Да я пробовала, но мне не хватает подтверждающих документов.

Я собрал у нее сведения обо всех датах и местах, где пришлось ей побывать в войну, навел справки, куда следует обратиться, и помог ей написать прошение и послать в комиссию, занимающуюся вопросами компенсации жертвам фашистов. Прошло несколько месяцев. Фира приходила ко мне на осмотры уже без палочки, и однажды сказала, что немцы выплатили ей четыре тысячи долларов.

Для нее это были большие деньги — за то, что была разрушена вся ее жизнь! Мы с Фирой стали друзьями. Она переехала к сыну в Техас и время от времени звонит мне оттуда.

Приблизительно в то же время в мою русскую клинику привезли на каталке лежачую больную женщину. Она с трудом передвигалась на костылях, забрасывая поочередно тело то в правую, то в левую сторону. Ее звали Алла, она была врач из Одессы. Много лет назад ей делали какие-то уколы и внесли инфекцию. В результате ей пришлось многократно делать вскрытие гнойников. Это усугубило общее воспаление, произошло полное зарастание обоих тазобедренных суставов, ноги стали, как палки. Она не в состоянии была не только согнуть их, но даже слегка развести. Годами ей приходилось мочиться и оправляться стоя (да простят меня читатели за такие физиологические подробности, но ведь это жизнь пациента и врача).

Ничего подобного до сих пор я не видел и только поражался: как доктора могли довести ее до такого состояния? Алла рассказала:

— Год назад в Одессе был Всесоюзный Съезд хирургов, все

светила съехались. Меня показывали всем знаменитостям, но никто не взялся меня лечить. Я приехала сюда с одной мечтой — что вы меня вылечите.

— Откуда вы узнали про меня?

— Доктор, про вас в Одессе уже многие знают, потому что вы здесь вылечили многих наших. Там о вас чудеса рассказывают.

Вылечить Аллу могло действительно только чудо. И она смотрела на меня, как верующие смотрят на иконы. Это крест хирурга — единственная надежда больного на него. И нельзя обмануть надежду. Она и приехала ко мне как к американскому специалисту. Надо, конечно, делать операцию. Но при такой инфекции это всегда очень рискованно — может возникнуть общее воспаление, сепсис. Тогда — конец всего. Мне предстояло проявить не только профессиональное искусство, но и человеческую смелость.

Я сделал ей две операции — сначала на одной ноге, через полгода на другой. Пришлось буквально вырубить заросшие тазобедренные суставы и обработать кости так, чтобы заменить их искусственными. После четырех часов работы мою хирургическую рубашку можно было выжимать. Потом — дни и ночи тревожных наблюдений. Но благодаря благословенным американским антибиотикам Алла поправлялась хорошо.

И вот уже двенадцать лет она ходит, сидит и не чувствует боли. Она попросила меня перед выпиской сфотографироваться с ней, размножила снимки и разослала родным и друзьям в Одессу. Среди ее знакомых был известный хирург Гершунин. Он не мог поверить, что Алла полностью поправилась, и написал, что пока сам не увидит ее ходящей, не поверит. И однажды по ее приглашению он приехал в Нью-Йорк. Алла рассказывала:

— Знаете, когда он увидел, как в аэропорту я побежала к нему навстречу, он заплакал.

Слезы того моего русского коллеги, как и слезы благодарных пациентов, я считаю своей высшей наградой.

Девяностолетие мамы

24 ноября 1991 года моей маме Августе Владимировне исполнилось девяносто лет. При упоминании такого возраста людям представляется древняя развалина. Но в том-то и дело, что мама все еще была дамой — довольно стройная, прямая, всегда на каблуках, с хорошей походкой, красиво причесанная крашеная блондинка, она все еще сохраняла свою былую красоту. Но, главное, у нее сохранился ясный и пытливый ум, широта интересов и чувство юмора. И уж совсем нехарактерным для такого возраста было то, что вместо обычного стариковского недовольства и брюзжания на все на свете она всегда была в ровном настроении, с приветливым выражением лица. Ничем серьезным она не болела, только слух ухудшился. Она, смеясь, говорила: «Бог забыл дать мне старость».

Мы всей нашей небольшой семьей решили на славу отпраздновать ее юбилей. Мама была хлебосольная хозяйка, пекла вкусные пироги, любила готовить. Она вообще любила жизнь и людей, была добрая и щедрая. Сколько я маму помню, у нее всегда был большой круг знакомых и друзей, она умела сходиться со всеми, от знаменитых звезд искусства до простых деревенских старух.

И в Нью-Йорке она тоже быстро познакомилась и подружилась с несколькими пожилыми иммигрантами — ее соседями. Обычно, на свои дни рождения она приглашала их к себе, в небольшую двухкомнатную квартиру на той же улице, где жили и мы. На этот раз мы решили устроить ей праздник в одном из лучших нью-йоркских ресторанов (мои возрастающие доходы вполне это позволяли). Но оказалось, что ее компания, в которой все были более чем на десять лет моложе мамы, по своему физическому состоянию не могла отъехать далеко от дома даже на машинах: они передвигались плохо, задыхались, страдали болями в суставах и спинах и головокружением. Тогда я решил снять зал в приличном ресторане через три квартала от их дома. Но они заявили, что им и это далеко. Пришлось снять ресторан в соседнем квартале, ближе не было.

Все мы любим своих матерей, и каждый считает свою маму лучшей из всех. И я тоже считаю, что лучше и необыкновеннее моей мамы на свете не было. У нее и судьба была необыкновенная. Она была младшей дочерью в многодетной казачьей дворянской семье. Род был древний, русско-польский, имел герб и обширные поместья. В XIX веке они осели на Северном Кавказе и стали терскими казаками, дав царской армии

нескольких генералов. Ее дед Владимир носил звание атамана войска Терского. Но мамин отец и мой дед, тоже Владимир (в честь него меня и назвали), как младший сын, в армии мог не служить и стал железнодорожником (что по новизне занятия теперь можно приравнять почти к космонавту). Он по любви женился на девушке простого происхождения Прасковье, рожденной без отца, что вызвало осуждение всей семьи. Но они жили счастливо, народили много детей, и мама была младшей. Ее назвали Августой, что значит «священная», «благородная». Она и была самая красивая и самая благородная, любимица в семье. И на всю жизнь такой осталась.

Мама училась в институте благородных девиц во Владикавказе. В 1913 году в числе других учениц она подносила букет царю Николаю, который с семьей объезжал всю Россию по случаю 300-летия дома Романовых. Революция разбросала Голяховских по свету. Многие мужчины-офицеры погибли в боях с красными или бежали за границу с армией генерала Деникина. Мама с двумя старшими сестрами осели в курортном абхазском городе Сухуми и работали медсестрами. В 1919 году мама вышла замуж за молодого грузинского князя Георгия Мачавариани. Она рассказывала:

— Знаешь, Володенька, мужчины ко мне так приставали, что у меня просто не было другого выхода, как выйти замуж.

Их брак не был счастливым. У нее были интеллектуальные запросы, а грузин оказался типичным князем-бездельником и к тому же патологическим ревнивцем. Они быстро и легко разошлись.

Летом 1928 года в санаторий в Сухуми приехал отдыхать молодой, но уже лысеющий доктор из Казани Юлий Зак. Он только недавно окончил медицинский факультет и начинал карьеру хирурга в клинике знаменитого профессора Вишневского. Увидев, проходя по улице, в окне фотоателье портрет молодой красавицы, он решил ее разыскать. Другие отдыхающие подсказали ему:

— Эта девушка работает сестрой в нашем санатории.

Так познакомились мои родители. Он сразу влюбился до безумия, но ему оставалось пробыть там всего три недели. Вообще не очень решительный по характеру, тогда он решился и сделал ей предложение. Они договорились, что в феврале следующего года он вышлет ей деньги на железнодорожный билет до Москвы и там встретит ее, чтоб вместе ехать в Казань.

— Как я тебя узнаю зимой? — спросила она, потому что они видели друг друга только в летней одежде.

Любовь помогла, и 21 февраля 1929 года они вместе

приехали в Казань. Это был день их свадьбы. Все ее приданое помещалось в одном маленьком чемодане. Ради такого случая она купила себе модные фетровые боты. Семья жила бедно и тесно, у молодых не было отдельной комнаты. Тем не менее ровно через девять месяцев, 24 декабря 1929 года, появился на свет я.

Трудно понять, как моя мама решилась на такую перемену в своей жизни. Истории их семей и уклад были абсолютно противоположными. Казаки Голяховские до революции были процветающим кланом, а Заки стояли в самом низу общественной лестницы. К тому же казаки (хотя и не сами Голяховские) устраивали погромы. Зато после революции они должны были скрывать свое происхождение, а мещане Заки смогли получить образование и стать советскими интеллигентами. Да и характерами папа с мамой тоже были абсолютно разные: он — трудяга и примерный семьянин, но человек, полностью поглощенный лишь одной медициной. Она — аристократическая натура с широкими интересами, особенно в области искусств. Дворянка-южанка попала в мещанскую еврейскую среду средней полосы России. Я уверен, что только благодаря своим исключительным человеческим качествам она смогла приспособиться к этой совершенно чуждой среде, и все же осталась самой собой. Мама была абсолютно лишена не только антисемитизма, но даже самой поверхностной настороженности против этой нации. И надо сказать, что еврейские родственники отца всегда любили эту русскую женщину чуть ли не больше, чем своих родных. Да и, по правде говоря, какие они были евреи? Хотя моя бабушка по отцу была дочерью раввина, жизнь в большом русском городе всех их ассимилировала. А революция всех уравняла. Так в моих родителях сошлись две противоположности, и они вместе прожили счастливые пятьдесят лет.

Мама рассказывала:

— Когда он сделал мне предложение, я не знала, что ответить. Но в Сухуми жили тогда другие казанцы, которые знали Заков. Они сказали мне: «Выходите за него, семья у них хорошая, они все люди хорошие». А мне так хотелось ребенка, что я согласилась.

Ей уже было двадцать семь лет и, насколько я могу себе представить, она совсем не была влюблена в того, за кого вышла замуж. Есть такое тонкое и мудрое наблюдение: из двух целующихся один целует, а другой только подставляет щеку или губы. Многих женщин, даже красивых, судьба обходит большой любовью. Маме нравилось, что ее муж — доктор, ученый человек.

Все его знакомые тоже были доктора и профессора. И маме хотелось, чтоб и ее сын стал ученым. Свою нерастраченную любовь она перенесла на меня.

— Когда я в первый раз вынесла тебя из дома на снежный морозный воздух, тебе была всего неделя. Я несла тебя на руках — на санки или коляску у нас денег не было. Так я пришла с тобой прямо в Казанский университет. Там я откинула пеленку с твоего личика и сказала: «Смотри, Володенька, когда вырастешь, обязательно стань ученым».

Я этого, разумеется, не помнил, но наставление мамы выполнил.

Когда мне было пять лет, мы переехали в Москву. Я пошел в школу под отцовской фамилией. Случилось так, что в самый первый день учительница спросила:

— Дети, вы знаете, что такое национальность?

Все радостно закричали:

— Знаем!

— Сейчас я буду называть национальности, а вы поднимайте руки, если это ваша национальность.

Это выглядело, как игра, и мы так же весело согласились. Она сказала:

— Русские, — и поднялось большинство рук. Я тоже хотел поднять руку, помня, что моя мама русская. Но, пока я размышлял, она быстро перечисляла дальше:

— Украинцы, белорусы, грузины…

Каждый раз поднималось несколько рук. Наконец, она сказала:

— Евреи.

Тут я обрадовался, что тоже могу поднять руку. Но как только я это сделал, большинство детей повернулись в мою сторону и засмеялись, указывая на меня пальцами:

— Зак — еврей! Зак — еврей!

Я растерялся, а учительница строго сказала:

— Ребята, не надо смеяться над Заком. Евреи — такая же национальность, как и все другие.

Но я уже тогда понял, что, очевидно, эта национальность все-таки не совсем такая, как другие…

Я рассказал об этом происшествии дома, отец расстроился и взялся за голову. Но мама решительно перевела меня в другую школу, теперь уже под своей фамилией. Так я стал Голяховским.

Мои родители долго бедствовали, как большинство людей в те времена. Мы ютились в одной комнате в коммунальной квартире. Но потом карьера отца пошла в гору; он стал профессором хирургии и очень популярным доктором среди

московских звезд искусства.

По образу и подобию отца я стал доктором и хирургом, а мама привила мне любовь к искусству, особенно к литературе, и больше всего — к Пушкину.

Я всегда обожал ее и уже в раннем возрасте дал этому моему чувству обоснование:

— Я тебя очень люблю. Знаешь, почему? Потому, что сколько мам есть на свете, а никто не хотел меня выродить, а ты взяла и меня выродила.

Детская логика. Но и теперь, на старости лет, я считаю, что мне повезло, оттого что меня ВЫРОДИЛА именно моя мама!..

Нет смысла лишний раз говорить, что люди, эмигрировавшие в Америку в преклонном возрасте, болезненно переносят столь резкие перемены и новое окружение. Сколько раз я слышал от старых иммигрантов:

— Господи, какую я глупость сделал, что приехал!

— Пешком бы, кажется, пошел обратно, если бы мог!

— А чего здесь хорошего? И люди другие, и все другое!

Это — как при пересадке деревьев: молодые побеги быстро и легко приживаются и начинают буйно расти, а старые деревья болеют, привыкая к новому грунту. Но моя мама и в этом была исключением. Ей все вокруг было интересно, она часто говорила:

— Я каждое утро благодарю Бога за то, что мы в Америке.

Конечно, она страдала после смерти отца, случившейся через год после нашего переезда. Конечно, она тяжело переживала мое неустройство в первые годы и ошибки своего внука. Но она никогда ни на что не жаловалась, никогда себя никому не навязывала. Зато как она гордилась моим продвижением в медицине, как радовалась моим книгам!

Она любила жизнь, умела ее наблюдать и получать от нее удовольствие. Вскоре после переезда она познакомилась с жившими рядом иммигрантами-евреями из разных городов Союза, и вокруг мамы сплотилась небольшая компания. Почти все вдовы, с очень разным культурным уровнем, они сошлись случайно, но потом были долгие годы крепко спаяны. Как между всеми стариками, случались между ними интриги и разногласия, но мама, всегда выступавшая арбитром, умела помирить спорщиков. Она говорила:

— Мы друг друга не выбирали — нас Бог свел.

На старости лет у большинства из них обнаружилась приверженность к иудейским ритуалам. И, хотя мама была единственная русская среди них, они всегда ее приглашали на свои праздники.

Все годы мама упорно учила английский, ходила на вечерние

курсы и занималась сама дома, исписывая упражнениями толстые тетради. И она освоила язык настолько, чтобы объясниться в любой ситуации, но главное — понять, что ей говорят. Это был уникальный случай среди иммигрантов ее возраста. Впрочем, она во всем была уникальна.

С туристической группой мама ездила в Канаду, во Флориду, в Париж и Бельгию, даже летала в Израиль: ей хотелось посетить святые места. На старости она, как и ее новые друзья евреи, стала религиозной, хотя и не слишком. Неподалеку от ее дома была украинская церковь Святого Володимира. С русской церковью разницы там почти не было, и мама стала ходить туда, как в клуб. Но к своей вере она относилась с некоторым юмором, рассказывая:

— Вчера была в церкви и все клянчила и клянчила у Бога…

Как живут старые иммигранты из Союза, которые никогда в Америке не работали? Казалось бы, на что им рассчитывать? Но в американском обществе сильно развита забота о стариках, не исключая иммигрантов. Всем, кому больше 65 лет, назначается пособие SSI (Supplemental Security Income — дополнительное социальное обеспечение), около 550 долларов в месяц. И мама получала столько же, и ей хватало. Одно время она стала подрабатывать, ухаживая за больной старой иммигранткой. Только ее поездки за границу и в летний лагерь оплачивал я. Всем получающим SSI полагаются отдельные квартиры. Мама платила 150 долларов за квартиру в государственном доме для людей с низким доходом. Это не значит, что такие дома плохи, наоборот, они все вполне приличные. Социальные службы города предоставляют пожилым иммигрантам страховку «Медикейд», оплачивающую прием в поликлиниках, лекарства и транспорт в госпиталь и обратно, а после 65 лет еще и вторую страховку — «Медикер», дающую возможность наносить визиты частным докторам. Если по состоянию здоровья престарелые иммигранты нуждаются в помощи, им назначают приходящую домработницу на определенное число дней и часов в неделю, в зависимости от возраста и состояния. Их обязанности — покупать старикам продукты, готовить, убирать квартиры, гулять с ними. Совсем слабых и больных помещают в Дом престарелых, за который «Медикейд» платит полностью. Казалось бы, чего еще желать? И все-таки многие остаются недовольны: не такую им прислали домработницу, не в таком районе поселили, не такую дали квартиру…

Моей маме нравилось все — такой уж характер. Она украшала свою квартиру дешевыми приобретениями. Иногда кто-то выносил на улицу перед домом ненужную лампу или что-то из

вполне приличной мебели. Если ей что-то нравилось, мама платила служащему, который убирался в ее доме, и тот приносил эту вещь к ней в квартиру. Потом я или кто-нибудь из ее знакомых чинил или обновлял приобретение. Мама с юмором говорила:

— Смотрите, что на помойке нашла. А ведь, правда, выглядит хорошо?

Два раза в неделю к ней приходила молодая черная работница. Мама была довольна своей помощницей, делала подарки ее детям.

Чтобы покончить с описанием забот Америки о стариках-иммигрантах, прибавлю, что органы социального обеспечения выделяют около двух тысяч долларов на похороны (в среднем они обходятся в пять-шесть тысяч).

Ну а пока что мы праздновали мамино девяностолетие. Конечно, она купила себе новое платье, сделала перманент и выглядела очень элегантно. И мамины друзья пришли принаряженные, хоть и доплелись с трудом. При виде широкого и богатого стола глаза у гостей разгорались. Как ни слабы и малоподвижны были ее приятели, покушать они любили (правда, потом принимали слабительное).

Застолье продолжалось полдня, без конца говорились тосты, мама на них остроумно отвечала, все смеялись — будто помолодели. А я, глядя на маму, радовался, что мы вместе уже более шестидесяти лет. И не думал о том, что когда-нибудь нам придется расстаться…

Ватерлоо Илизарова

В конце 1991 года бесславно рухнул Советский Союз. С исторической точки зрения это был закономерный конец государства, основанного на ложных началах несбыточного коммунизма. Но для живших там людей развал страны был катастрофой — разрушился устоявшийся уклад жизни, к которому они приспособились. А взамен ничего другого не было — образовывался вакуум, пустое пространство вместо экономики и хаос жизни. Только постоянная диктатура, державшая подданных в бедности и страхе, семьдесят лет удерживала страну от развала. Но с тех пор, как Горбачев «ослабил вожжи», она покатилась вниз, как в горном обвале. И чтобы совсем ее разрушить, Ельцин оборвал установившиеся экономические связи между республиками. Он сделал это одним махом, сплеча, как всегда все делалось «русским медведем». Как ни плохо жили там люди, но это повергло основную массу в полнейшую нищету. Такого не ожидал никто.

В конце рокового для СССР 1991 года Илизаров опять оказался в Нью-Йорке: привез жену Валентину на операцию протезирования тазобедренных суставов. Поселились они в квартире Светланы, которая твердо решила остаться жить в Америке и уже перевезла сюда своего семилетнего сына. Гавриил не только не возражал, но был рад ее решению. Он в те дни был в хорошем настроении: его выбрали в академию наук, Горбачев обещал построить ему институт в Москве и дал шикарную квартиру в легендарном Доме на набережной, напротив Кремля.

Незадолго до того вышла из печати его монография. Книгу издали в Германии на английском языке. Стоила она 450 долларов! Во всем этом заключался один из парадоксов нового времени: всю жизнь Илизаров работал в России, но эта книга была недоступна русским хирургам, никто не мог ее купить, да и прочесть мало кто мог. Илизарова это совсем не расстраивало. Мне такая реакция казалась проявлением старческого эгоизма. Тяжелый том в 800 страниц был, конечно, плодом сорокалетних трудов автора, но и заслугой американского энтузиаста его метода Стюарта Грина: его усилиями за пять лет монография была собрана, переведена и отредактирована из опубликованных статей и рукописей Илизарова. Гавриил получил за книгу солидные деньги, чем был, похоже, доволен в первую очередь.

Виктор Френкель с резидентом Джеффри Спиваком сделали успешную операцию его жене (сам я стоял в операционной «в запасе»). В последующие дни я приводил Гавриила навещать

Валентину — сам он плохо ориентировался в наших коридорах. И цветы для жены тоже покупал ему я и отдавал их Илизарову перед самой палатой. Ему уже было 73 года, он заметно сдавал, хотя сам ни за что бы в этом не признался. Всю жизнь он привык много и тяжело работать, и теперь ему было скучно без дела.

Каждый день он с нетерпением ждал меня, чтобы я рассказывал ему о свежих новостях из Союза:

— Ну, ну, что там делается?

Новости были невеселые. В правительстве и парламенте царил такой хаос, что Гавриил, остававшийся народным депутатом, ничего понять не мог. Он вновь и вновь повторял:

— Да, вовремя ты уехал…

Очевидно, в ту пору он и сам подумывал о переезде в Америку. По скрытности характера он этого не говорил, но, когда мы шли по улице и он видел, что на доме висело объявление о продаже, всегда спрашивал:

— Сколько стоит?

Стоимость на таких объявлениях никогда не указывается, и я называл приблизительную.

— Так, так… А дешевле отдадут?

— Об этом надо говорить с хозяином.

Если дом был большой, он интересовался стоимостью квартиры.

— Это зависит от того, сколько в ней спален.

— Почему спален?

— В Америке квартиры считают по спальням: одна, две или три спальни. При этом, конечно, в каждой квартире есть и гостиная, и столовая, и кухня, и одна или две ванных комнаты.

— Чудно как-то это у вас.

Незадолго перед новым, 1992 годом, по телевидению объявили, что в новогоднюю ночь Горбачев уйдет в отставку и Советский Союз перестанет существовать, распавшись на отдельные государства.

Услышав от меня эту новость, он посмотрел на меня, как на ненормального:

— То есть как это — не будет Советского Союза? Куда же он денется?

— Официально объявлено, что в Союз распускается на отдельные независимые государства, Ельцин останется президентом России. Красный флаг над Кремлем будет заменен российским трехцветным, а гербом страны станет старый русский двуглавый орел.

— Во дают!.. — только и мог сказать он. — Какое же они имели право сделать это без созыва парламента? Почему меня не

информировали?

— Будто ты не знаешь, что все диктаторы делают то, что захотят. Руководители республик собрались во главе с Ельциным и приняли такое решение.

— По пьянке решили, — прокомментировал он. — Я Ельцина знал, когда он был секретарем Свердловского обкома партии, мы с ним вместе водку пили. Точно, по пьянке решили!

— Тебе лучше знать, если ты с ним водку пил.

— Вот я и говорю: без народа, без депутатов, без ума и рассудка решили. А что коммунистическая партия решила, не передавали?

— Партию тоже распускают.

— Распускают? Так, так… Слушай, а если ее распускают, то, может, все членские взносы нам вернут?

— Об этом я не слышал.

Он еще больше расстроился:

— Как же так — платили-платили, а теперь вдруг не отдадут…

Денег ему было жалко больше, чем всего остального.

В те дни я старался отвлечь его: водил в рестораны, приглашал консультировать больных. Френкель платил ему за консультации двести долларов в неделю. Гавриил требовал от меня, чтобы чеки ему давали сразу после консультаций. В бухгалтерии удивлялись: к чему такая спешка? Пока ему выписывали чек, он сидел у меня в кабинете:

— Ну, что они там тянут? Скоро уже? Пойди, поторопи их.

Я показывал Гавриилу рисунки для будущей книги. Теперь, когда его собственная книга была роскошно издана, и за нее автор получил крупный гонорар, он совсем не ревновал и охотно давал мне советы. А потом опять:

— Ну что, деньги выписали?..

Как раз в те недели ко мне привели пациента Филла Кэлли, двадцати двух лет. У него два года назад был сложный перелом ноги. Его лечили в других госпиталях, делали несколько операций, но перелом не срастался. Последнюю операцию делали по методу Илизарова. Неопытный хирург неправильно наложил аппарат, и перелом опять не сросся. Я показал юношу Илизарову. Он страшно расстроился:

— Видишь, что получается, если неправильно делают. Теперь станут говорить: «осложнение илизаровского метода». На самом деле все сделано не по-моему. Я всегда говорю: делайте все правильно и не будет никаких осложнений. Придется переделывать.

Это был редкий случай попросить Гавриила сделать с нами

операцию. Но в Америке никто не имеет права даже тронуть пальцем пациента, если нет лицензии. Я спросил Френкеля:

— Виктор, что если я попрошу Илизарова делать операцию со мной?

— Вообще это против закона. Но для хирургов такого масштаба, как Илизаров, разрешается делать исключения. Пусть он участвует как консультант.

— Хорошая идея, Виктор.

— Не просто хорошая идея, а еще одна хорошая идея.

Гавриил провести операцию согласился. Поскольку это был мой частный больной, официально хирургом числился я. Но доминирующую роль, конечно, отдал Гавриилу. В который раз за тридцать лет мы оперировали вместе, и я был этому рад. Когда я привел его в операционную, многие хирурги госпиталя пришли пожать ему руку.

После приготовлений двух ассистентов (один — практикант из Японии, другой — мой Леня Селя), мы с Гавриилом приступили к работе. В основном он давал указания, а мы с ассистентами выполняли то, что он говорил. С самого начала я заметил, что он думал как-то замедленно и на ходу менял решения. Это не было похоже на прежнего Илизарова. Операция осложнялась тем, что по всей ноге имелось много глубоких рубцов от прежних разрезов. Где-то могли быть скрытые сосуды. Для проведения спиц через ткани надо было найти место, чтобы не повредить сосуды. Мы действовали очень осторожно. Каждый раз я спрашивал Гавриила:

— Где проводить спицу?

Он указывал:

— Вот здесь.

Тогда я объяснял японцу-резиденту:

— Профессор говорит, что надо проводить спицу здесь.

Гавриил подтверждал:

— Во-во-во!

Японец считал, что непереводимое «во-во-во» русское слово.

В один момент я усомнился в выборе места, которое указал Гавриил. Там был большой рубец, и я переспросил:

— Ты уверен, что надо здесь?

— А ты сомневаешься?

— По-моему, лучше сделать немного в стороне.

— Если ты не согласен со мной, зачем позвал на операцию?

Много раз в хирургической практике я убеждался, что лучше всего доверять своей интуиции. Но сейчас рядом со мной был создатель метода, по которому делалась операция, у которого был опыт многих тысяч таких операций.

Как мне было спорить, если я тоже не мог с уверенностью сказать, что прав? Резидент удивленно и нетерпеливо смотрел на нас.

— Профессор считает, — сказал я, — что надо делать здесь.

И мы сделали, как профессор нам велел.

В конце операции Гавриил захотел сам поставить обломки кости в правильное положение. Для этого он растягивал их с большим усилием. Я знал, что это противоречит канонам его метода — он всегда говорил, что все надо делать постепенно.

— Может, не стоит все делать сразу?

— Снова ты за свое?! Я знаю, что делаю!

Не мог же я хватать за руки самого Илизарова.

Снимок показал, что обломки костей были поставлены правильно.

— Вот видишь, все как надо, — удовлетворенно сказал он.

Больного увезли в послеоперационную палату, а я повел нашу бригаду в ресторан. После обеда мы вернулись проверить состояние пациента. Нога была подозрительно бледная. Я предложил Гавриилу:

— По-моему, надо немного ослабить натяжение тканей.

— Я тебе говорю, что все будет хорошо. Но, если хочешь, ослабляй, — недовольно согласился он.

Конечно, у него громадный опыт, но я все-таки сделал что хотел, потом отвез Гавриила на такси и сам поехал домой. Но, как только я вошел в квартиру, позвонил дежурный старший резидент Давид Фельдман:

— Владимир, приезжай скорей! У твоего пациента нарушение кровообращения.

Вот те на! Мои худшие подозрения подтвердились. Я позвонил Гавриилу, что еду в госпиталь.

— Не может быть, излишняя паника. Но я все-таки тоже приеду, меня Светлана привезет.

Когда мы сошлись у постели пациента, Фельдман уже успел ослабить излишнее натяжение тканей, но нога все равно оставалась бледной и холодной, пульс на стопе не прощупывался. Гавриил продолжал приговаривать, хоть и менее уверенно:

— Напрасно молодой доктор ослабил натяжение… Все должно быть хорошо…

На сей раз я позволил себе не послушаться его, велел везти больного в операционную, а сам вызвал сосудистого хирурга.

Мы оперировали всю ночь, сантиметр за сантиметром открывая ход артерии, ища, где и почему остановился кровоток. Из-за рубцов это было совсем непросто. Сосудистый хирург, хороший парень и мой приятель, приходил в отчаяние и два раза

предлагал:

— Владимир, мы ничего не найдем, давай закончим операцию.

Но это значило, что мы обрекали пациента на ампутацию. Это была бы не только трагедия для больного, Но и катастрофа для меня и позор для Илизарова. При всей безвыходности положения, я уговаривал коллегу:

— Перед тем как закончить, мы должны исчерпать все возможности.

Под утро мы все-таки нашли, где была закупорена артерия: на месте рубца от прежней операции она была смещена и вместо прямой имела извилистую форму. Поэтому та спица, о которой мы спорили с Гавриилом, прошла ее насквозь и полностью закупорила. Еще два часа ушло на то, чтобы на место разорванной артерии вшить новую, из вены с другой ноги. В результате кровоснабжение восстановилось, нога потеплела. При всем физическом и моральном истощении мы вздохнули легко и радостно. Я позвонил Гавриилу, но не стал ему говорить про ошибку, а просто сообщил:

— Мы восстановили кровоснабжение.

— Вот видишь, я же говорил, что ничего страшного!

Несколько дней нога была в «пограничном состоянии» — то ли придет в норму, то ли начнется гангрена. Все обошлось! Мы с Френкелем обсудили случившееся на конференции, но старались не говорить об этом с Гавриилом. Мне потом пришлось еще раз исправлять то, что мы с ним сделали, но к тому времени он уже уехал в развалившийся Союз.

Это была его последняя операция. Вскоре он скончался…

Наполеон тоже проиграл последнее сражение под Ватерлоо, но остался величайшим из полководцев. И Илизаров остался великим хирургом XX века.

Невидимые миру слезы хирурга

После той нашей операции я долго винил себя: не надо было во всем поддаваться Илизарову. Основной и самый древний закон медицины: НЕ НАВРЕДИ. Мудрецы древности знали, что любое лечение может обернуться опасными осложнениями, вредом больному. Всего опаснее осложнения — в хирургии. У любого хирурга могут быть ошибки и осложнения. Ни для одного пациента нет стопроцентной гарантии от осложнений, каким бы известным ни был его хирург. Он был Мастер, мудрец, но, как говорится, на всякого мудреца довольно простоты. К тому же он был старый Мастер. Хотя опыт хирурга с годами растет, но на каком-то возрастном этапе замедляется скорость реакции и точность движений рук. Хирург, как и музыкант, работает руками. Но в отличие от музыканта хирург не повторяет нечто хорошо отрепетированное. Каждая операция — импровизация. Притом если хороший музыкант возьмет фальшивую ноту — ее мало кто услышит, если хороший хирург сделает одно неверное движение — это может свести на нет всю операцию. Так и получилось в нашем случае.

Я узнал Илизарова как блестящего хирурга тридцать лет назад, когда в 1965 году учился у него в Кургане. Любо-дорого было ассистировать ему: все его движения на операциях были точные, быстрые, рассчитанные. Он буквально за двадцать минут заканчивал операцию, на которую у другого могло уйти два часа. И даже еще три года назад, когда я приехал к нему в Курган с группой американских хирургов и опять ассистировал ему, его хирургическая техника производила хорошее впечатление. Но хирурги стареют, как и все. Из их рук и из мозга уходит то, что было раньше. А он ко времени той последней операции, был уже больной человек, что потом подтвердила его скорая смерть. К тому же Илизаров был гость-хирург в нашем госпитале, ему импонировали авторитет и уважение, и хотелось показать себя перед американцами в лучшем свете. Поэтому он не хотел допустить никаких сомнений в своих действиях. Такое поведение называется «хирургический эгоизм», и оно нередко приводит к ошибкам. Ему было неприятно, что я его поправлял — он сам указал мне, я последовал его указке и совершил ошибку.

Хирургия — это не два-три часа операции, это почти круглосуточное напряжение мысли и воли. Большинству людей хирург представляется в упрощенном героическом виде: приходит, касается скальпелем больного, как волшебной палочкой, — и спасает. Но только сами хирурги знают, до чего

это не соответствует реальности. Мало есть сфер человеческой деятельности, где профессионалам приходится переживать столько тяжелых огорчений и стрессов, сколько достается на долю хирургов. Когда-то в молодости я усвоил одну мудрость: в каждой ошибке старайся обвинять только себя, а никого другого — ищи, в чем ты сам виноват. Я был виноват, что не сумел отговорить Илизарова от того опасного движения…

Пока медленно оживала нога моего пациента, я проходил через процесс волнений, огорчений и отчаяний. Это можно назвать — «невидимые миру слезы хирурга». Бездушных хирургов нет (или они очень редки). Хирурги переживают за своих больных, особенно за тех, у кого возникли осложнения, и глубоко страдают, если эти осложнения возникли по их вине. Каждый думает: как я мог это сделать? Как исправить осложнение? Это я запомнил с самой первой своей операции в 1953 году, в Петрозаводске, где работал после окончания 2-го Московского медицинского института.

Мне было 24 года, я дежурил в травмпункте, куда привезли пожилого рабочего. Он случайно ударил топором по четырем пальцам своей левой кисти. Пальцы болтались на тонких перемычках мягких тканей. Самым простым решением было полностью ампутировать пальцы. Я мыл руки в эмалированном тазике в той же маленькой перевязочной комнате, где на столе лежал мой пациент, и думал: что делать? Пострадавший посмотрел на меня с улыбкой:

— Вы, доктор, похожи на моего младшего сына.

— Сколько их у вас?

— Четверо. И всем им я дал образование, работая этими вот руками. Двое стали врачами. Да, жалко руку… Что, доктор, отрезать будете?

Меня как током ударило: нет, не могу я отрезать ему пальцы, я обязан их пришить! Хирург я был неопытный, инструменты примитивные. Так что операцию делал на одном энтузиазме и, хотя долго старался, сделал все плохо. Старшие меня ругали:

— Что ты наделал? Пальцы не приживутся, начнется гангрена, придется ампутировать всю руку.

Как я тогда переживал! Мне представлялось: рабочему отрезают руку по самый плечевой сустав… он и его четверо детей меня проклинают… главврач выгоняет меня из больницы… я никогда больше не буду хирургом…

Но я старался скрывать от больного «слезы своей души», проверял состояние его руки по нескольку раз в день, сам менял повязки с мазью Вишневского (единственное, что было тогда в арсенале). Я тогда понял: как бы хирург не переживал, перед

своим больным и его родными он всегда должен выглядеть спокойным и уверенным. Как актер на сцене, хирург в больничной палате не имеет права показывать свои эмоции.

А пальцы опухли и посинели, хотя на концах были теплые. Я всматривался — не началась ли гангрена? Так продолжалось три недели. Но вот отек стал спадать, они порозовели и — что же? — прижились!

Так моя чувствительная душа получила первое представление о переживаниях хирурга. То были невидимые миру слезы хирурга, которые выжгли на моей совести рубцы профессиональной горечи. А ведь бывает и намного хуже — когда пациенты умирают от осложнений…

С тех пор прошло почти сорок лет. И хотя я был удачливым хирургом, никто после моих операций не умер и не остался инвалидом, но много было у меня бессонных ночей и глубоких переживаний. И все — не показывая вида, твердо помня: хирург не имеет права давать волю эмоциям!

И вот опять все повторилось. Как принято, я должен был доложить об этом случае на конференции хирургов. Я не упоминал имени Илизарова, хотя все знали, что он участвовал в операции. Чтобы не показалось, что я стараюсь прикрыться его именем, я лишь изложил факты, показал слайды, которые мы сделали на операции, нарисовал схему извилистого хода артерии в глубине рубца, через которую прошла спица. Но Виктор Френкель, учитывая настроения некоторых, решил защитить Гавриила:

— Владимир должен был слушать Илизарова, своего ментора. У кого же не бывает нелепых ошибок?

Он напомнил, что много лет назад подобный случай произошел в нашем госпитале с другим знаменитым хирургом из Англии.

Но одно дело бывает давать объяснения коллегам — и совсем другое в суде. Больше половины американских хирургов проходят через это. Суды прибавляют немалую долю к невидимым миру слезам докторов. Моя «страховка от ошибок», как заведующего отделением, покрывала меня на сумму до пяти миллионов. Пациенты, как правило, просят больше, но соглашаются и на то, что им дают. Нет никаких точных расценок, все зависит от искусства адвокатов — со стороны пациента и со стороны доктора. Но окончательное решение выносят присяжные, а это подбор случайных людей, некомпетентных в медицине, легко поддающихся эмоциям. На суде доктор должен быть предельно честным и открытым, не приведи бог что-нибудь скрывать и искажать — это обязательно выявится. Тогда процесс будет

проигран.

Суды над докторами подробно описывают в прессе и показывают по телевидению. Поэтому общественное мнение американцев не на стороне докторов. И бывает немало случаев нелепых судов и несправедливых решений.

Отношения врач — пациент в сегодняшней Америке сильно отличаются от их отношений в старые времена и от отношений в России и других странах. Раньше пациенты относились к своим докторам, особенно к хирургам, с полным доверием. А доктора лечили пациентов, не думая только о том, сколько они за это получат. Мой отец повторял старую врачебную поговорку: «Врач любит своего пациента даже больше, чем пациент любит врача». Но теперь эти отношения сильно коммерциализировались. Доктора принадлежат к богатейшим людям — после банкиров, бизнесменов и юристов. Люди, став из пациентов клиентами, платя за медицинские услуги, все реже испытывают к врачам простое чувство благодарности. В глазах многих хирурги перестали быть «избавителями», наоборот, к ним относятся подозрительно: а нужна ли операция? Потому что врачи и впрямь нередко делают так называемые ненужные операции.

Моя Ирина очень просто и точно сформулировала ситуацию:

— В России я боялась, что доктор мне не сделает чего-то, что мне надо; в Америке я боюсь, что доктор сделает мне больше, чем надо.

Судить докторов, особенно хирургов, в США стало просто модой. Но, по статистике, доктора все-таки выигрывают более чем в трети процессов.

Нет никаких универсальных рецептов, как избежать судов. Однако есть рекомендации, которые помогают докторам выиграть их. Доктор должен иметь деловые отношения со своими пациентами. Быть просто добрым и внимательным ничего не значит, потому что больных и юристов это не трогает. Доктор обязан отвечать на вопросы больных, предупреждать о возможных осложнениях и обязательно заисывать весь ход лечения в историю болезни. Не все это делают и бывают наказаны — юристы на суде обвиняют врачей в невнимательности и пренебрежении.

Самая надежная гарантия защиты докторов — письменный договор, consent. Без него нельзя лечить ни в офисе, ни в госпитале, ни, тем более, делать операцию. В договоре должно быть подробно указано, что предстоит врачу сделать для лечения больного, и он подписывает его в присутствии свидетеля. Такие договоры были предложены давно как защита пациента от доктора, который почему-либо может сделать больше, чем нужно. Теперь правильно составленный договор служит для защиты

доктора от пациента. Старую поговорку можно изменить: «Врач не доверяет своему пациенту даже больше, чем пациент боится врача».

Но доктора занятые люди, и многие не сами вписывают в договор, что будет сделано, а дают это делать резидентам или помощникам. А потом, уже на суде, сами удивляются.

Мой несчастный пациент Филл Кэлли на меня в суд не подал. Я всегда старался иметь добрые отношения со своими больными и не жалел на них времени. И на этот раз я подробно и честно объяснил этому американскому парню все, даже показал свой рисунок его поврежденной артерии. У него было ко мне такое доверие, что он потом согласился на то, чтобы я сделал ему вторую операцию. Она была еще сложней, но прошла успешно, без осложнений.

Венесуэла и Аруба

У людей, живших и в Европе и в Америке, сложилось такое остроумное наблюдение: европейцы работают, чтобы жить, а американцы живут, чтобы работать. Действительно, работают американцы очень много, больше, чем другие (правда, за это и получают больше других). Отпуска в Америке очень короткие — большинство имеют всего две недели оплаченного отпуска в году. Частные доктора могут отдыхать сколько хотят. Но отрываться от работы надолго им невыгодно — жалко денег. Поэтому большинство докторов берут одну неделю отпуска летом и еще одну зимой. И почти все летают отдыхать на острова Карибского моря. Островов в том жарком тропическом море множество, некоторые — самостоятельные маленькие государства, другие принадлежат Америке, Англии, Голландии или Франции. Благословенный край: там круглый год ровная жаркая погода, прекрасные пляжи и комфортабельные отели. За неделю пребывания на островах люди успевают расслабиться, загореть и наплаваться в море — чего же больше?

Мы с Ириной еще не летали ни на один остров и решили исправить это упущение. Полистав путеводители, она выбрала остров Маргарита, один из популярных курортов. Он принадлежит Венесуэле, находится близко от нее. После отдыха мы собирались перелететь в столицу страны Каракас. Ирина по телефону заказала так называемый пакет на всю поездку — это комбинация перелетов с оплаченными номерами в гостиницах «Хилтон» на острове и в Каракасе. Пакет гораздо дешевле, чем стоимость полетов и отелей в отдельности.

Узнав через моего друга Уолтера Бесера о моем приезде, главный хирург венесуэльской армии пригласил меня посетить военный госпиталь в Каракасе и прочитать лекцию докторам. Американские хирурги не часто залетают в эту страну. Кроме того, я знал, что в Каракасе живет моя троюродная сестра Мура Голяховская, немного младше меня. Я с ней никогда не встречался, но она приезжала в Нью-Йорк и виделась с моей мамой (которой приходилась племянницей). Я слышал, что Мура — одна из самых знаменитых актрис кино и театра в Южной Америке, выступающая под сценическим именем Мисс Америка Алонсо. Конечно, было интересно познакомиться со знаменитой родственницей. Я позвонил ей перед отлетом:

— Алло, это говорит Владимир Голяховский.

Раздался красивый глубокий голос:

— Как приятно! Мне еще ни разу не звонил никто с

фамилией Голяховский…

Мы договорились о встрече.

Маргарита — это довольно большой остров по сравнению с другими в Карибском море. С одной стороны его омывает море, с другой — Атлантический океан.

Отель «Хилтон», как и по всему миру, стоит в лучшем месте — у широкой красивой лагуны, опоясанной рощами кокосовых пальм. Первое, что мы услышали, войдя в свой номер, — громкие крики попугаев на деревьях за громадным мраморным бассейном; второе — спокойный накат волн в лагуне. Разморенные жарой туристы валялись под зонтами у бассейна или в шезлонгах у лагуны. Люди там со всего мира, особенно много из Германии. Крики попугаев смешивались с гортанной немецкой речью.

Вечером мы спустились в просторный ресторан отеля. На эстраде молодой венесуэлец пел под гитару народные песни. Пока нам готовили блюда, я подошел к нему, дал пять долларов и попросил:

— Спой для моей жены «Беса мэ мучо».

В 50-е годы это была очень модная в СССР песня, записанная на грампластинки. Вся столичная молодежь была от нее без ума. Но я тогда работал в Петрозаводске и еще не слышал ее. Оттуда я писал письма и стихи Ирине, студентке МГУ, в которую был влюблен уже год. Как-то я приехал в отпуск в Москву, и мы пошли с ней гулять. Ирина поддразнивала меня, напевая мелодию «Беса мэ мучо».

— Что это такое?

— Как, ты не знаешь?! — задорно рассмеялась она. — Все знают, а ты не знаешь?!.

Я почувствовал себя безнадежным провинциалом, отсталым и забитым. Это не помешало мне через два года жениться на Ирине.

Гитарист подошел к нашему столику, встал возле Ирины и очень проникновенно запел песню нашей молодости. Ирина улыбалась, и я видел, как ей приятно слушать.

— Помнишь, как ты мне ее первый раз напевала?

— Конечно, помню.

— Знаешь, что я тогда должен был сказать тебе? Что я эту песню не знаю, но через много-много лет по моей просьбе ее будет петь тебе венесуэльский гитарист на острове Маргарита.

Есть песни, которые проходят через всю нашу жизнь, оставляя в нас глубокий след…

По утрам, пока еще не очень жарко, я ходил на берег лагуны и наблюдал, как рыбаки вытягивали сети. Иногда я даже помогал им. Пестрые тропические рыбы извивались, сверкая на ярком солнце. Рыбаки доставали рыб, показывали их мне и что-то

весело объясняли на испанском. Я отвечал на непонятном им английском, и мы вместе смеялись. Пока вытаскивали сети, над нами кружили стаи чаек, пикируя и стараясь выхватить рыбу прямо из рук. Почти так же близко летали пеликаны, разевая громадные клювы. А вдали, растопырив крылья, сидели и смотрели в нашу сторону крупные птицы, похожие на грифов.

Молодые туристы вели бурную ночную жизнь в барах и ресторанах «Хилтона», а те, что постарше, до утра играли в казино. Но мы с Ириной не игроки — мы просто хорошо отдохнули.

Перелет в Каракас — всего около часа. Дорога в город идет все время вверх, мимо трущоб, теснящихся по склонам горы. Это неприятная и непременная интродукция к любой южноамериканской столице, как бы красива она не была.

Название страны означает «Маленькая Венеция»: первые приплывшие сюда испанцы видели, что местные туземцы жили в домах на сваях над водой озера. От владычества испанцев Венесуэлу освободил в 1811 году легендарный Симон Боливар, офицер с европейским образованием. Он так популярен, что денежная единица Венесуэлы называется в его честь (в начале XIX века он был популярен и в Европе, главным образом благодаря фасону мужской шляпы, о которой Пушкин упоминает в «Евгении Онегине»).

Каракас — город миллионеров, в нем живет больше богатых людей, чем в остальной Латинской Америке. Это потому, что в начале XX века в стране была открыта нефть. Она составляет 90 процентов экспорта страны (остальные 10 процентов — фрукты и цветы). Страна вообще намного богаче своих ближайших соседей, настолько, что в ней даже нет налоговой системы. Но распределение богатств такое, что из двадцати миллионов чуть ли не восемнадцать живут в нищете.

В громадном «Хилтоне», в центре Каракаса, в нашем номере нас ждала большая корзина тропических цветов, их прислал Мура. Вечером она приехала к нам. Интересно впервые встретить кузину, когда тебе уже за шестьдесят. Наша встреча была такая простая и естественная, будто мы знали друг друга всю жизнь. Зато когда мы вместе пришли в ресторан, головы всех венесуэльцов повернулись в ее сторону, люди указывали на нее. Нам с Ириной это было приятно.

Как моя родственница оказалась в Венесуэле, да еще стала знаменитой актрисой — это совершенно необыкновенная история. Ее отец, Мстислав Голяховский, двоюродный брат моей мамы, был полковником царской армии, в 1918 году он сбежал от революции в Сербию. Там собралась большая колония русских, и

среди них несколько Голяховских. Они довольно хорошо вписались в ту жизнь, Мстислав стал успешным инженером. Уже пожилым человеком он женился на молодой русской беженке Наташе. Мура родилась в 1939 году. Во время войны Мстислав сражался с немцами на стороне сербов. И вот в 1945 году туда пришли союзники-победители — английская и советская армии. Победители делили между собой сферы влияния. Сталин заключил секретное соглашение с Черчиллем (которое стало известно лишь сорок лет спустя). По этому соглашению англичане выдавали советским агентам всех русских эмигрантов. И началась облава советских русских на царских русских — брат пошел на брата. Агенты КГБ арестовывали офицеров и их семьи, депортировали в Союз, и там они сразу же оказывались в лагерях ГУЛАГа. Нескольким моим родственникам удалось бежать из Европы в Америку и Австралию. Но Мстислава с семьей арестовали. Его сразу выслали в Россию, где он погиб. А Наташу с семилетней Мурой временно посадили в лагерь, бывший под контролем англичан. Оттуда их тоже должны были выслать в Россию. Порядки в том лагере были не слишком строгие. Наташа взяла дочку, пришла в кабинет к коменданту, встала у окна, подняла Муру на руки и сказала:

— Если вы сейчас же нас не выпустите, я на ваших глазах выброшусь с дочкой из окна!

Английский капитан все-таки был не советским агентом, а джентльменом. Он выписал Наташе с Мурой пропуск за территорию лагеря и сказал:

— Уходите немедленно, и чтобы я вас больше не видел.

Наташа хотела уехать в США, но пришлось бы слишком долго ждать визы. Оставаться в Европе она боялась. Так они очутились в Венесуэле, где, как ни странно, жило много русских — еще со времен революции и Гражданской войны. У Наташи был музыкальный талант, она подрабатывала пением. И Мура, глядя на нее, с детства мечтала стать актрисой. Но по-испански она говорила с сильным акцентом. В возрасте тринадцати лет ее отправили на два года в Мексику — учиться и заодно избавляться от акцента. Вернувшись, она стала выступать на разных сценических площадках, ездила с гастролями по всему континенту и завоевала славу, исполняя ведущие роли в классических и современных пьесах. Выступала и в Европе, как венесуэльская звезда. Но русский язык не забыла, говорила на нем очень мелодично и звучно.

Мура — красивая, талантливая, умная, знаменитая и богатая, но, увы, несчастливая в личной жизни: дважды выходила замуж и оба раза расходилась. Может, для актрисы это не так много, но

больше замуж она никогда не вышла. От первого брака было у нее два взрослых сына, но отношения с ними тоже не сложились.

Мура показывала нам Каракас и красивые пригородные места, угощала национальными блюдами и редкими тропическими фруктами. Прямо напротив «Хилтона» — огромный Ботанический сад. Никогда до этого мы не видели многих из растущих там деревьев, кустов и цветов, не знали о существовании такой красоты.

Каким контрастом с ней стала прогулка по главной магистрали Каракаса с бульваром посредине. Улица застроена малопривлекательными домами с небольшими магазинами и лавками в первых этажах. Повсюду бойкая торговля дешевыми товарами. На протяжении трех-четырех километров мы не встретили ни одного интеллигентного лица, ни одного прилично одетого человека. Это было очень странно, потому что в Нью-Йорке мы привыкли видеть на улицах смесь людей самых разных сословий и достатка.

Зато в боковых улочках, почти безлюдных, за высокими заборами виднелись красивые особняки, утопающие в зелени. У ворот каждого дежурила вооруженная охрана. Удивленные, мы спросили Муру о причине такого контраста. Она воскликнула:

— Так у нас приличные люди по улицам не ходят, мы все ездим на машинах.

С той встречи началась у нас с Мурой дружба; много раз потом она бывала у нас в Нью-Йорке.

В назначенный день и час хирург-полковник приехал за нами на машине с военным эскортом. Политическая обстановка в стране всегда напряженная, и армия доминирует во всех сферах жизни. Госпиталь, в котором я должен был выступить, — комплекс из нескольких больших зданий, полупустых. Оборудование скромное. В Венесуэле около 50 000 докторов, но медицина там на значительно более низком уровне, чем в Соединенных Штатах. Большинство докторов по-английски не говорили, в Америке не были, так что мою лекцию переводили на испанский. Я рассказал им для начала о России, о которой они почти ничего не знали, и про Илизарова, о котором они кое-что слышали от кубинских, чилийских и бразильских коллег.

Отдых в Карибском море нам понравился, и на следующий год мы решили полететь на Арубу. Это один из трех маленьких островов вулканического происхождения — Аруба, Бонео и Кюрасао. Остров был открыт испанцами в 1499 году, но захвачен голландцами в 1634 году и с тех пор считался территорией Голландии. В 1986 году Аруба получила независимость, что звучит несколько забавно при населении в шестьдесят две тысячи

человек. Они, конечно, не могут себя сами содержать, поэтому экономически и культурно остаются под крылом Голландии. Влияние голландцев сказывается на всем: язык голландский, законы голландские, за образованием едут в Голландию.

Основную статью дохода острова составляет туризм. Отелей там действительно много. Но во время войны США построили на Арубе нефтеочистительный завод, где работали американцы. Нефть доставляли из Венесуэлы, на Арубе ее перегоняли и заливали в танкеры. Положение страны было опасным: Карибское море кишело немецкими субмаринами. В 1985 году завод закрыли, американцы уехали, и поселок нефтяников остался заброшенным.

На Арубе никогда не бывает разрушительных тайфунов, характерных для Карибского моря, — остров расположен вне их зоны. Правда, на одной его стороне постоянно дуют сильные ветры. Там в изобилии плавают акулы и растут уникальные деревья диви-диви, невысокие и согнутые ветрами пополам. Отели и пляжи находятся на другой стороне острова, где нет ни ветров, ни акул. Многие американцы построили там так называемые «Time-sharing apartments» — дома из нескольких квартир, где можно проводить отпуск, а все остальное время сдавать. Аруба привлекает туристов высоким классом обслуживания и полным отсутствием преступности. В этом также сказывается многовековое влияние Голландии. Все товары прибывают из Голландии, только фрукты и овощи привозят на лодках из Венесуэлы. Расстояние до нее всего 32 километра, а разница в уровне жизни и культуре — несколько веков.

Там жил мой знакомый хирург, который совершенствовался в нашем госпитале. Узнав, что я собираюсь приехать, он пригласил меня сделать первую на острове илизаровскую операцию и прочитать лекцию сотрудникам госпиталя.

Мы с Ириной купались, загорали и осматривали остров. Но одновременно я готовился к операции. Моим пациентом был мальчик двенадцати лет с укорочением одной ноги. Четырехэтажный госпиталь был прекрасно оборудован — просто небо и земля по сравнению с госпиталем в Каракасе. Весь штат обучался в Голландии, по-английски многие говорили даже лучше меня. Я ожидал, что может не найтись всех нужных мне инструментов, но, к моему изумлению, там оказался полный набор для илизаровской операции.

— Откуда у вас эти инструменты?

— Узнав о вашем приезде, мы заказали их в Голландии.

Много раз я наблюдал хирургов-визитеров, и самому приходилось бывать приглашенным хирургом в разных странах —

в Германии, Италии, Гватемале, Панаме, Индии. Оперировать в чужом месте всегда более ответственно. В операционной своего госпиталя все друг к другу привыкли, ты знаешь всех, и все знают, чего от тебя ожидать. В чужом госпитале, особенно в другой стране, хирургу надо не только сделать операцию, но и суметь произвести впечатление — он просвечивается, как рентгеном, многими парами глаз. По-человечески легко поддаться искушению «показать себя». Некоторые визитеры напускают на себя слишком большую важности, другие, наоборот, чрезмерно много шутят. Лучше всего — не напускать на себя важность, избегать красивых фальшивых жестов и не говорить лишних слов. Нет ничего правильнее, чем держать себя просто, быть естественным. А в непривычной обстановке быть естественным как раз трудней всего. Я бы сравнил хирурга-визитера с дирижером, приглашенным дирижировать чужим оркестром в чужой стране: ему тоже нужно с одной-двух репетиций отыграть концерт так, чтобы остались довольны и музыканты, и публика. Но музыканты хотя бы играют по нотам, и дирижер имеет репетиции, а у хирурга нет ни того, ни другого.

Должен признаться, что я очень люблю Голландию. Мы были там два раза, объездили всю страну и сразу в нее влюбились. Видя на Арубе высокий стандарт голландской культуры и поведения, я стремился провести операцию на самом высоком уровне. Кажется, мне это удалось. Когда я вышел из операционной, мне аплодировали. Потом в своем кабинете хирург вручил мне конверт с тысячей долларов:

— Я знаю, что в Америке вы получили бы гораздо больше, но примите это от нас в знак благодарности за обучение.

Вежливо и корректно — ничего не скажешь!

Он пригласил нас с Ириной вечером в ресторан. Перед входом стоял огромный темнокожий швейцар в белом форменном костюме. Широко улыбаясь, он величественным жестом открыл пред нами дверь. Зал ресторана был роскошно обставлен и убран цветами. Кроме нас и хирурга с женой-голландкой в компанию входили анестезиолог с мужем судьей, оба голландцы (жили они там уже тридцать лет), и операционная сестра с мужем, смуглые местные уроженцы. Вина и блюда — самые изысканные: нам подали черепаховый суп и жаркое из хвостов кенгуру, доставленных на самолете из Австралии. За обедом выяснилось, что анестезиолог от нечего делать самостоятельно выучила пять языков и теперь изучает русский. Подивившись, я признался, что люблю Голландию и считаю голландцев едва ли не самой лучшей нацией в мире.

— Да? Интересно, почему?

— Общаясь с голландцами, когда мы там были, я видел, какие они все спокойные, справедливые и работящие. Мне запомнилась их пословица: «Бог создал землю, но Голландию сделали голландцы». И это верно: ведь они своими руками отвоевали свою небольшую страну у моря. И теперь на Арубе я увидел то же самое и убедился, какое благотворное влияние оказала Голландия на ваш остров.

Второе профессорство

Наполеон говорил, что судьба — слово, не имеющее определенного значения, поэтому оно так утешительно. Я не верю в судьбу, не подвержен мистицизму и никогда не прислушивался к предсказаниям гадалок. Но однажды в юности, когда я был школьником, знакомая молодая гадалка-любительница взглянула на мою ладонь и воскликнула:

— О, у тебя очень интересная и необыкновенная линия жизни!

— Чем она необыкновенная?

— Да, да, смотри — у тебя двойная линия. Ты проживешь две жизни.

Я фыркнул:

— Какая чушь! Что значит — две жизни?

— Ну, я не знаю, это просто написано на твоей ладони. Может, за свою жизнь ты сумеешь все прожить два раза.

Почти пятьдесят лет я об этом не думал, но, вернувшись с Арубы, вдруг вспомнил. Когда рано утром я пришел в кабинет, то увидел на столе поверх разобранной Изабеллой почты письмо от президента Нью-Йоркского университета: он поздравлял меня со званием профессора ортопедической хирургии.

Я перечитывал письмо и думал: ровно двадцать лет назад, в 1972 году, я получил звание профессора в Москве. Это было через двадцать лет после окончания института. И вот прошел новый двадцатилетний цикл, и я опять стал профессором.

Вот ведь какая судьба — и как сбылось предсказание гадалки! Когда живешь в другой стране, особенно в такой, как Америка, прошлые заслуги не учитываются — всего надо достигать снова. И вот получилось, что второй раз в жизни я прошел полный докторский путь и снова стал профессором, добился самого высокого признания в своей специальности. Я не знал в Нью-Йорке никого из русских хирургов-иммигрантов, кто удостоился бы такой чести.

Когда пришла Изабелла, я уже был в операционной. Но позднее в тот день я принес в кабинет Виктора бутылку шампанского, позвал туда ее, Леню Селю, Мошела, Питера Фераро и еще нескольких близких сотрудников. Виктор мастерски открыл бутылку и сказал тост. В Америке не говорят пышные тосты, а только адресуют бокал вина тому, за кого поднимают. Такой «американский тост» возгласил и он:

— За Владимира!

Когда все выпили и уже разговорились, он добавил:

— Владимир заслужил эту честь. Он был русский профессор, а теперь еще и американский, причем в нашем госпитале — всего второй профессор Нью-Йоркского университета после меня.

— Знаешь, Виктор, что я подумал? — когда я уезжал из России, мои друзья спрашивали меня — надеюсь ли я опять стать профессором в Америке? Я даже удивлялся их вопросу, такая идея казалась мне абсолютно абсурдной.

— Почему? Тебе на роду было написано быть профессором, где бы ты ни жил.

Я подумал, что это моя мама предсказала мне такую судьбу — тогда, в Казани.

В Америке для получения профессорского титула нужны три рекомендации авторитетных ученых. Одну рекомендацию прислал по возвращении в Москву Илизаров. Я был очень тронут этим актом дружбы. Хотя Гавриил всегда был скуп на похвалы, но в том письме он меня даже перехвалил. Илизаровская рекомендация ценилась высоко, но были нужны еще две. Вторую дал мне профессор Колумбийского университета Майкл Розен, третью — профессор Городского Университета Нью-Йорка Роберт Лернер, мой бывший шеф.

Дома с нетерпением ждали меня Ирина и мама. Ирина была польщена во второй раз в жизни стать профессоршей, но еще больше радовалась моя мама:

— Володенька, сыночек мой! Как я счастлива! Ведь когда я первый раз вынесла тебя на улицу и пришла с тобой в Казанский университет…

Далее последовала в сотый раз история о том, как она тогда сказала мне, семи дней от роду, что, когда я вырасту, должен стать ученым. Мы терпеливо дослушали историю до конца, после чего мама всплакнула:

— Жалко, папы нет с нами, как бы он радовался…

На моем положении в госпитале новое звание никак не сказалось. В Америке за это денег не платят (в отличие от России) и повышений не дают, это просто почетное звание. Даже не все из наших докторов знали, что я теперь профессор. Но кое-кто из молодых резидентов, с которыми я был, что называется, на дружеской ноге, шумно встречали меня в операционных и шутливо кланялись в коридорах:

— Эй, профессор, поздравляем!..

Через несколько дней, когда я делал обход больных в палатах, услышал по бипперу вызов оператора госпиталя:

— Доктор Владимир, позвоните доктору Френкелю.

Я набрал его номер:

— Виктор, я слушаю.

— Старик скончался…

Я не сразу понял, что он говорит об Илизарове.

— Как, когда?

— Только что звонили из Кургана. Вчера ночью, у себя дома.

Как я потом узнал, Илизаров приехал из Москвы в Курган один, без жены. Целый день пробыл в институте, поздно вечером вернулся в пустую квартиру (вещи они уже перевезли в Москву). Почувствовал себя плохо, позвонил анестезиологу, с которой проработал много лет. Она жила в том же институтском доме, прибежала быстро. Дверь в квартиру была открыта, очевидно, это было его последнее усилие. Он сидел на стуле посреди комнаты… уже мертвый.

Так неожиданно и просто оборвалась одна из самых замечательных жизней, которые мне довелось знать, — жизнь кудесника из города Кургана. История зарождения и развития метода Илизарова в том провинциальном городе, и история жизни его автора — все это было удивительное и необычное. В них, как в капле воды, отразились все противоречия и сложности советской эпохи. Особенно — в русской глуши, где жизнь была намного бедней и страшней, чем в столицах — Москве, Ленинграде, Киеве и других центрах. Казалось бы, ничто там не способствовало возникновению новых прогрессивных идей в науке. Ничто — кроме изолированного формирования необыкновенной личности, способной превозмочь препоны тех условий и обойти рогатки времени. Даже по советским стандартам жизнь Илизарова была необычайно тяжелой в детстве, непереносимо трудной в юности и отчаянно сложной во все другие времена. Только качества настоящего ученого — настойчивость, целеустремленность и несгибаемое упорство — помогли ему достичь того, что хоть и с запозданием, но было признано всем миром.

Возможно, если бы он лежал в больнице или даже еще оставался в своем кабинете в Институте, его могли бы спасти. Но хирурги умирают так же просто, как и все другие. Сколько бы жизней они ни спасли, скольким бы людям ни вернули здоровье — сами они в какой-то момент тоже падают — как подкошенные. Ни общество, ни Природа не придумали никакого особого финала их полезной жизни. И ничего тут не поделаешь — это смерть. Лучше всего о людском конце написал поэт Сергей Есенин:

Все мы, все мы в этой жизни тленны, Тихо льется с желтых кленов медь. Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.

Светлана в тот же день вылетела в Курган.

Я на похороны Илизарова не полетел: понимал, что буду там

незваным, лишним гостем, стоящим где-то в задних рядах. Дал Светлане денег, чтобы положили на могилу Гавриила венок от нас с Виктором.

Как еще мог я почтить его память?

Вскоре должен был выйти из печати мой учебник. Я попросил издательство, чтобы на титульном листе поместили надпись «Памяти профессора Гавриила Абрамовича Илизарова» и фотографию, где мы втроем: Гавриил, Виктор и я.

Книга вышла с посвящением и фотографией. Под моей фамилией значилось: «Профессор ортопедической хирургии Нью-Йоркского университета и бывший профессор и заведующий кафедрой ортопедии и травматологии Московского медицинского стоматологического института». Книгу издали одновременно в Америке, Англии и Австралии. Я любовался ею, как новорожденным ребенком. В этой книге все было сделано моими руками: текст, рисунки, фотографии.

Вторым после моего стояло имя Виктора, что он считал излишним и добавлял:

— Жалко, старик не дожил. Ему бы понравилось…

Продавалась книга хорошо, хотя стоила 135 долларов. Но это было немного по сравнению с другими учебниками (доктора имеют право списывать с налогов покупку книг по профессии, как business expenses — деловые затраты). Потом ее перевели в Бразилии на португальский язык, а в Индии сделали перепечатку без моего разрешения.

Несколько экземпляров я отправил своим друзьям в Москву и в Курганский институт. Я надеялся, что ее возьмутся перевести и издать. Мой друг Вениамин Лирцман показал ее в единственном медицинском издательстве страны. Ответ был отрицательный: в стране дефицит бумаги…

Сказка про перевернутые мозги

В далекие-предалекие времена
В океане людской истории,
Где бушуют волны человеческих судеб,
Стояли два острова.
Один остров был Широкая Равнина,
Другой остров был Высокая Скала.

Жители равнинного Острова назывались островитяне. Они свободно и твердо ходили по земле и, поскольку жили на Равнине, то у них у всех были равные возможности. Жители скалистого Острова назывались скалитяне. Они вынуждены были цепляться за каменные уступы в темных сырых ущельях, и лучше жилось тем, кто был повыше.

На вершине Скалы сидели правители. Там было достаточно простора, тепла и света только для них. Другие скалитяне пытались поднимать головы и вытягивать шеи, они тоже хотели погреться. Они даже смогли разглядеть в океане соседний остров Равнины, и им показалось, что островитяне свободно и твердо ходили по земле.

Но правители спихивали их ногами. Чтобы не оказаться сброшенными с Вершины, они единогласно приняли постановление: перевернуть всех скалитян вверх ногами — тогда они вообще не смогут смотреть вверх, а только вниз. Перевернув своих подданных, правители уверили их, что это не они, скалитяне, висят вверх ногами, а островитяне ходят по Равнине вниз головами и поэтому ужасно завидуют им. Они развесили по всей Скале плакаты: «Ваша правильная перевернутость — светлое будущее всего человечества!» (плакаты, конечно, были написаны вверх ногами). Скалитяне со страху завопили «Ура-а-а!» и стали считать тот день Днем Великого Переворота, величайшим событием истории. Все их силы и мысли были заняты тем, как бы им подольше удержаться и просуществовать в перевернутом состоянии. И они постепенно привыкли воспринимать все в перевернутом виде.

Но даже из самого глубокого ущелья все-таки можно иногда увидеть клочок голубого неба. И так уж случилось, что однажды кто-то из скалитян смотрел на далекое небо в вышине, а там

На прекрасном лазурном фоне,

Отражая лучи золотого солнца,
Тонкой нитью сверкала едва заметная паутинка;
Она висела над Океаном людской истории,
Где бушуют волны человеческих судеб,
И вела она с Острова Скалы на Остров Равнины.

И вот некоторые из скалитян, изловчившись, уцепились за ту спасительную паутинку и добрались по ней до острова Равнины. Впервые в жизни свободно став обеими ногами на землю, скалитяне испытывали легкое головокружение. Островитяне улыбались вновь прибывшим: «Хэлло!» — и куда-то бежали по своим многочисленным делам. Некоторые из них останавливались возле новичков, подпирали их сбоку и весело спрашивали:

— Почему вы сбежали с вашего острова?

Скалитяне обожали жаловаться и вспоминать, вспоминать и жаловаться:

— Плохо нам там было, ой как плохо! Правители заставляли нас висеть вверх ногами. Вы даже не представляете, как это ужасно!..

— Действительно? — удивлялись островитяне. — Почему же вы не столкнули правителей с Вершины?

— Мы их очень боялись. Они такие сердитые — не дай бог даже глянуть снизу на их Вершину, сразу сошлют в такое глубокое ущелье, что оттуда никто не возвращался.

— Зачем же вы себе выбирали таких правителей?

— Мы их не выбирали, они сами себя назначали.

— Но ведь вы же кричали им: «Ура-а-а!» Мы сами слышали.

— Да, кричали. Но мы кричали «Ура-а-а!» со страху.

— Действительно? Разве можно кричать «Ура-а-а!» со страху?

— Э, да вы совсем жизни не знаете, — объясняли скалитяне. — Если всю жизнь висишь вверх ногами, то вообще все делаешь со страху.

Островитяне и вправду не знали этого. Поэтому они только вежливо улыбались, еще раз говорили свое: «Действительно?» — и убегали по многочисленным делам. Те из них, кто был полюбопытнее, расспрашивали:

— Ну, а было в вашей перевернутой жизни что-нибудь хорошее?

Скалитяне не задумываясь отвечали:

— Наши задушевные беседы! — И они закатывали в восторге глаза. — Бывало, мы собирались у кого-нибудь на кухоньке, таком крохотном уступе, где повернуться нельзя, так что висели,

крепко вцепившись друг в друга. И пили водку, пили и все говорили, говорили, до самого утра.

— О чем же вы так много говорили?

— Главным образом ругали правителей на Вершине. Только шопотом, чтобы они не могли услышать.

— Как же они могли услышать, если вы — шопотом?

— Да вы совсем жизни не знаете! Ведь на Скале в каждой компании есть свой стукач.

— А это что такое?

— А вот что: бывало, кто-нибудь расскажет анекдот смешной про правителей, ну, все захихикают, конечно, а стукач тут же незаметно стучит условным стуком по Скале, правителям доносит. К утру уже нет ни того рассказчика, ни тех, кто хихикал, — всех в ущелье сбросили.

Островитяне изумленно говорили:

— Действительно?

А скалитяне их спрашивали:

— Вот у вас тут как друг на друга доносят?

— У нас это бизнес журналистов — они обо всех сплетничают. А особенно — о нашем правительстве.

— Что?! О правительстве?! — ужасались скалитяне. — Наверное, совсем шепотом?

— Ну нет! Чем громче они расскажут какой-нибудь анекдот про правительство, тем больше им заплатят.

— Как?! За это еще и деньги платят? И никуда их не сбрасывают?

— Куда же сбрасывать? У нас ведь Равнина.

— Ах, да, мы и забыли, что у вас все по-другому. Вот вы о чем между собой задушевно беседуете?

— А мы вообще не беседуем: ни к чему, да и некогда — каждый делает свой бизнес. Чего тут обсуждать? Бизнес есть бизнес, — говорили островитяне.

— Нет, — возражали скалитяне, — по-нашему, по-скалитянски, в задушевных беседах есть человечность, способность сопереживать горю.

— А по-нашему, по-островитянски, человечность — в умении делать бизнес и радоваться жизни.

И они убегали по своим многочисленным делам. Уж они-то твердо держались на ногах на своей Равнине.

Скалитяне же, покачиваясь, глядели им вслед и говорили:

— Странные люди: совсем они жизни не знают. Наверное, у них мозги перевернутые…

А потом Проходили годы,

И потомки скалитян становились островитянами,

И сами делали бизнес и радовались жизни по-островитянски.

Иногда на остров Равнины прилетали запоздалые скалитяне,

Теперь они это делали без труда и страха:

Вместо той спасительной тонкой паутинки —

Садись на Скале на ковер-самолет и на Равнине высаживайся.

— Ну, как там, на Скале? — спрашивали их старожилы. — Все висите вверх ногами?

— Что вы, еще хуже! — восклицали вновь прибывшие. — Вы теперешнюю скалитянскую жизнь даже представить себе не можете: мы и висеть не висим, и стоять не стоим, а болтаемся в подвешенном состоянии.

— Почему в подвешенном?

— Так ведь уцепиться не за что стало.

— Как то есть — не за что?

— Правители хотели Скалу перестроить на манер Равнины, только не получилось у них.

— Почему не получилось?

— Всю Скалу до последнего камешка разворовали. Сидят на Вершине: и воруют, воруют.

— Ну, а вам чем теперь хуже?

— Раньше нам хоть зарплату платили за то, что висим, а теперь ничего не платят. В воздухе парим, воздухом и питаемся.

— Куда же ваши правители смотрят? Они ведь теперь у вас новые.

— Какие там новые!.. Вывески только поменяли: мы, мол, не те, что раньше были, а те, что никогда вовсе и не были.

— А что они делают?

— Они-то? Обещают. Залезет один на Вершину, наобещает с три короба, потом другой залезет и тоже наобещает. А сами тайком Скалу распродают по камешкам. Сами богатеют и еще развели себе помощников скоробогатеньких. Мы их «новыми скалитянами» называем.

— Что же эти «новые скалитяне» производят, если так быстро разбогатели?

— Господи, да на Скале давно никто ничего не производит! Жулики они, эти «новые скалитяне». Хотя некоторые считают их героями нашего времени.

— Действительно? Почему?

— Скалитяне без героев жить не могут: приучены. Вот у вас на Равнине есть герои?

— У нас герой один — деньги. У кого денег много, тот и герой.

— Какое же в деньгах геройство?

— Умение делать деньги — это мы называем равнинным

геройством! Кто с нуля начал и стал богачом — тот у нас и герой, и образец.

— А нас учили, что герой — тот, кто себе ничего, а все людям.

— Что же, эти ваши учителя, показывали вам такой образец?

— Показали, как же! Сами же все и прикарманили. Из-за этого денег на Скале теперь совсем не осталось.

— Куда же они деньги девали?

Скалитянин поднимает плечи, разводит руками, смотрит в небо и начинает всхлипывать. Чтобы успокоить его, островитянин меняет тему:

— А правду говорят, у вас теперь свобода? Мы слышали, что вы правителей во всю глотку можете ругать, и никто на вас не стучит.

Скалитянин жмурится от удовольствия:

— Это верно, стук до Вершины теперь — стучи, не стучи — не доходит. А стукачи бывшие ходят с флагами: требуют, чтобы нас обратно вверх ногами повесили, чтоб им опять стучать. Ну, а нам одна радость: по привычке слетимся где-нибудь в свободном парении, водку под мышками зажмем, чтобы не расплескать, пьем ее, горькую, и правителей с «новыми скалитянами» всласть кроем. Ну а как душу отведем, так вроде и парить в воздухе легче становится.

— Ну, а Вершину сравнять никто не собирается?

— Что вы! До этого у скалитян мозги еще недоперевернулись; они у них вроде как набекрень застряли. Разве что через три-четыре поколения выпрямятся…

Так было в далекие-предалекие времена,

В океане людской истории,

Где бушуют волны человеческих судеб…

«Новые русские» в Нью-Йорке

Когда я написал эту сказку, мне еще не приходилось встречаться с «новыми русскими». В России тогда проводились невиданные до тех пор политические и экономические эксперименты над истерзанным обществом. От крушения привычных основ, от нахлынувшей нищеты и от захлестывания переменами люди совершенно ошалели — у большинства из них мозги действительно могли свихнуться набекрень. Нерасчетливый перевод России на «рыночную систему» — где спрос определяет стоимость — был катастрофой для населения. В той стране на основах полусоциализма выросли поколения, а рыночная система привела к повальной приватизации всего. В течение нескольких дней все из государственного стало частным. Поэтому кто имел заграничную валюту, мог почти за бесценок скупать все — продавались заводы, фабрики, оборудование, промыслы, учреждения и особенно квартиры. Фактически, это была «срочная распродажа» общественных богатств.

Тут и пригодились налаженные за двадцать лет иммиграции контакты бывших «скалитян»-русских с «островитянами»-американцами — «новые русские» стали появляться в Нью-Йорке. Перелет из России в Америку был уже прямой, визы здесь и там выдавали просто, и предприимчивые жулики стали толпами летать туда и обратно. Русские дельцы скупали в Америке за низкие цены подержанные автомобили, компьютеры, телевизоры, радио, проигрыватели дисков и любую технику и электронику. Вернувшись обратно, они продавали это «новым русским» с большой выгодой. Именно тогда на этом заложилось основание богатства таких будущих русских магнатов-олигархов, как Борис Березовский и других.

По определению Бальзака, в основе каждого большого богатства лежит преступление. К «новым русским» это определение имеет прямое отношение: их жульничество было в чистом виде преступлением.

Некоторые из обосновавшихся в Америке иммигрантов кинулись в Россию «ловить рыбу в мутной воде». Был среди них мой знакомый доктор-уролог из соседнего госпиталя, бывший ленинградец. Неожиданно для всех нас он стал совершать челночные поездки Америка — Россия — Америка. Сколько бы раз я ни звонил в его офис, чтобы послать к нему пациента, всегда отвечали:

— Его нет, он в России.

Один месяц в России, другой месяц в России, третий месяц…

С чего бы это занятому доктору бросать работу и торчать там? Вскоре мы узнали, что ездил он не из ностальгических соображений: скупал там за бесценок старинные картины, иконы, дорогой антиквариат, а вернувшись, во много раз дороже продавал все это американским коллекционерам. Таможенники в России были подкуплены и позволяли ему вывозить все, что пожелает. За два года он сильно разбогател. Когда я как-то опять позвонил, мне ответили:

— Доктор продал свой офис и медициной больше не занимается. Он переехал жить в Ленинград.

В родном городе он не почивал на лаврах, а выгодно — скупал обанкротившиеся предприятия.

Так американский доктор превратился в «нового русского». Другой мой знакомый, грузинский еврей, владел на Пятой авеню магазином электронных товаров. В его лавочке постоянно торчали приезжие покупатели из бывшего Союза. С их помощью он восстановил давние широкие связи и стал за бесценок скупать в Тбилиси недвижимость. Говорили, что он стал владельцем чуть ли не половины проспекта Руставели.

Еще один знакомый иммигрант, специалист по составлению налоговых отчетов, почуяв наживу, умудрился купить в Москве… целую шоколадную фабрику. Став «новым русским фабрикантом», он теперь живет на широкую ногу в обеих столицах.

Список можно было бы продолжить.

«Новые русские» все чаще приезжали лечиться в Америку. Некоторые звонили в мой офис. Время от времени Изабелла сообщала:

— Владимир, опять звонил кто-то из России и просился на операцию. Страховки у него нет, он сказал, что заплатит наличными.

— Что у него болит?

— Как я поняла, ему нужно заменять тазобедренный сустав.

— Если так, скажите ему, что обследование, операция и лечение обойдутся не менее чем в пятьдесят, а то и в сто тысяч долларов.

— Я так и сказала. Он ответил, что его это не волнует. Он только хочет, чтобы вы его приняли как можно скорей.

Пациентом оказался молодой адмирал Тихоокеанского флота из Владивостока. Сначала в Нью-Йорк прилетел его адъютант-полковник, привез рентгеновские снимки. Сложная операция и длительное лечение в госпитале могли стоить дороже, чем предполагалось. Во время беседы я спросил, чем занимается адмирал.

— Мы продаем иностранным государствам списанные

корабли.

Ого! Значит, пошла уже распродажа «святого святых» — военного оборудования. Теперь понятно, почему адмирала деньги не волновали: любая операция была дешевле малой детали советской подводной лодки или торпедоносца.

Но прежде чем появился адмирал, ко мне в офис привезли пациента родом из Одессы по имени Жорж Габул. Эту фамилию прежде я где-то встречал. Жоржу было около сорока, он уже много лет жил в Нью-Йорке, недавно поехал в свой родной город и там сломал ногу. По грубой, безобразно наложенной повязке из серого гипса я вмиг узнал почерк медицины своей бывшей страны. Рентген показал: сломанные кости разошлись, надежды на сращение нет.

— Вам нужна операция.

Когда Изабелла спросила, какая у него страховка, оказалось, что он не работает. На вопрос о страховке жены Жорж сказал, что его жена домработница. Странно было, что эта элегантно одетая женщина с жемчужным ожерельем, бриллиантовыми кольцами и сережками — домработница, имеющая самую низкую в стране страховку. Она привезла Жоржа на дорогой машине, и вообще они производили впечатление людей материально благополучных. Изабелла долго возмущалась:

— Владимир, вы видели эту домработницу?!

Что же со страховкой? Дело было простое: Жорж в Америке не работал ни дня, жена только числилась работающей. Жили они в большом доме, в районе богачей, с видом на океан. Странная, конечно, ситуация для неработающего иммигранта.

Я сделал ему операцию и наложил на ногу илизаровский аппарат. Жорж нетерпеливо спрашивал:

— Когда я смогу опять поехать в Одессу?

— С аппаратом на ноге не стоит ехать. Зачем тебе торопиться?

— У меня там дела. Я владею торговым флотом. Мои корабли ходят в Средиземное море, в Грецию, Турцию и Испанию. Есть у меня там напарник, но лучше все контролировать самому.

Я подумал: вот какие у меня образуются связи с русскими флотами — от Тихого океана до Черного моря! И еще подумалось: адмирал флотом распоряжался, но не был его владельцем, а тут передо мной хозяин пусть не очень большого, но флота.

И вдруг я вспомнил, откуда знал фамилию Жоржа: в газетах писали, что человек с такой фамилией был одним из главарей русской мафии в Америке. Это был брат моего пациента, настолько разбогатевший путем разных махинаций, что купил

себе где-то остров. Правда, теперь он сидел в тюрьме. Хотя говорят, что деньги не пахнут, но от моего пациента потянуло неприятным душком.

«Русская мафия» в Нью-Йорке давно концентрировалась в районе Брайтон-бич, где жили одесситы, и на Форест-хилл, где жили бухарские евреи. Бухарский клан процветал даже больше, чем одесский: они прибрали к рукам район Риго-парка. Не выдержав их беспокойного соседства, многие американцы вынуждены были оттуда уехать.

Вскоре после поправки Жорж выдавал замуж свою дочь. Жених был тоже из их среды. Жорж обязательно хотел, чтобы мы с Ириной пришли на свадьбу, прислал нам роскошное приглашение. Свадьба была назначена не где-нибудь, а в «Хилтоне»! Вообще я терпеть не могу подобные сборища — это в буквальном смысле слова то, что называется «в чужом пиру похмелье». Но пересилил простой интерес посмотреть, как гуляют «новые русские».

Одесса гуляет…

Если спрессовать все волны иммигрантов из Советского Союза и России за тридцать лет, они выплеснутся на Брайтон-бич. Это часть района Бруклин в Нью-Йорке, на берегу океанского залива. Сами жители этого места прозвали его «Одесса бич», потому что доминируют там одесситы. Исторически евреи всегда умели быстро адаптироваться к условиям каждой новой страны, куда они были вынуждены бежать и где выживали за тысячелетия рассеяния. Поэтому их даже зовут «хамелеоны культуры». Быть может, это справедливо по отношению к евреям вообще — но не к одесситам: они не только не приспосабливаются к новым условиям, наоборот, приспосабливают новые условия к своим привычкам и склонностям.

Одесситов легко узнать (или, как они говорят на своем жаргоне, — вычислить) по их поведению: им до всего есть дело, все их касается, во всякую дырку они хотят всунуть свой нос. В этом отражается их талант сверхобщительности и общее свойство суетливой деловитости. По крайне мере они сами считают себя деловыми. При этом никакие законы и правила для них не законы, ни правила — они всегда сами по себе. Очертя голову одессит готов браться за любое дело и сколько он ни теряет, все равно долго не горюет. По характеру одесситы — оптимисты. Юмор — главная утеха всей их жизни: острое словцо, меткая шутка, анекдот к месту — все это у них постоянно на языке и по любому поводу.

Одесские женщины любят представлять себя гранд-дамами. Их легко узнать (извиняюсь — вычислить) по внешней пышности: туалеты, украшения, драгоценности — все это нанизано и натянуто на их пышные тела рубенсовского типа. Остротой и насмешливостью языка они превосходят даже своих мужей и братьев. Многочисленные их дети вырастают в атмосфере постоянных домашних пререканий, взаимных насмешек, постоянных окриков (это на их жаргоне называется — гвалт) и частых тычков и подзатыльников, но — с неизменной любовью. Таков стиль их повседневной жизни. И этот стиль — лучшая для них подготовка, чтобы тоже стать настоящими одесситами.

Вы спросите: чего одесситам больше всего хочется от жизни? Наслаждения!.. Но особого, шикарного, одесского пошиба. Нет для них ничего более святого, чем память об их городе-колыбели. Подавай им Одессу где бы то ни было! А нет Одессы, так они сами устроят ее для себя где угодно. Вот они и устроили ее на Брайтон Бич.

Жорж со своей женой-«домработницей» жили не на Брайтоне, но были истые одесситы. Поэтому все типично-сверхпышное одесско-брайтонское было представлено в тот вечер в «Хилтоне». Думаю, что стены отеля ничего подобного еще не видели.

Как отец невесты, свадьбу оплачивал Жорж — традиция. Со стороны жениха и невесты было приглашено около семьсот гостей. Для празднования сняли два этажа отеля с двумя бальными залами и громадным рестораном. Часть гостей приехала издалека — со всей Америки и даже из Одессы. Для приезжих были сняты номера в отеле.

Когда мы с Ириной вошли в первый зал, там звучала подзабытая нами музыка: играл эмигрантский русско-цыганский оркестр. В другом зале гремел американский джаз. Все было на все вкусы, но повсюду была слышна русская речь с типичным одесским акцентом. Стены и колонны залов сверхпышно декорированы цветами, лентами, воздушными шарами. Дамы всех возрастов и объемов тоже были декорированы сверхпышно: блистали драгоценностями и безвкусицей дорогих нарядов. Мужчины, как полагается на свадьбах, в смокингах. Если бы сюда заглянули агенты ФБР, я уверен: они бы выловили многих, кто был у них на заметке.

Столы по стенам залов ломились от изобилия закусок — все, включая ведерки с черной и красной икрой. Но чего хозяевам не удалось добиться, это хотя бы признаков русской кухни: повара отеля были с ней не знакомы. Поэтому не было традиционных салатов «оливье» и винегретов.

Почти все гости знали друг друга, при встрече громко восклицали, обнимались и живо переговаривались. Мы жались в сторонке. По залам шныряли нанятые операторы с видеокамерами и фотоаппаратами, снимая на память всех и каждого. У многих они брали видеоинтервью. Подошли и к Ирине:

— Скажите, пожалуйста, вы здесь со стороны жениха или невесты?

— Мы с мужем со стороны отца невесты.

— Какое вы имеете к нему отношение? Вы родственники, друзья, деловые партнеры?

— Нет, мой муж хирург, он делал операцию отцу невесты.

— А, понятно. Вам нравится, как все здесь устроено и оформлено?

— Да… нравится, — покривила душой Ирина.

Бракосочетание происходило по еврейской традиции, под полотняным балдахином — кипой. Раввин отдавал помощникам последние инструкции и делал приготовления к церемонии. Но

вот наступил торжественный момент, когда на сцену стали через весь зал по очереди проходить родственники невесты и жениха. Их имена объявлялись по радио, все аплодировали. Наконец объявили мать невесты. Я локтем толкнул Ирину:

— Смотри, сейчас выйдет Золушка.

Она шла одна, под музыку, не просто шла, а плыла, сияя от счастья. Выглядела она действительно, как Золушка на балу. Длинное светло-розовое платье сверкало переливающимися блестками, на шее, на запястьях, на пальцах и в мочках ушей искрились бриллианты.

— Какая добрая фея так ее нарядила? — спросила Ирина.

— Тш-ш, — зашипел я ей на ухо, оглядываясь. — Ту добрую фею зовут разоренная матушка Россия…

Невеста под фатой выглядела точь в точь, как кукла Барби. Жорж вывел ее под свадебный марш Мендельсона и передал жениху, мамаша украдкой всплакнула. Раввин загнусавил молитвы, потом сказал речь на русском, перемежая ее английскими словами с тем же одесским акцентом. По традиции невеста шесть раз обходила жениха, а он должен был делать вид, что ее игнорирует — это она его «завлекала». На седьмой раз он наконец «заметил» ее и взял за руку. Потом раввин опять гнусавил, давал им по очереди пить вино, они надели друг другу кольца, и жених каблуком раздавил стакан. Затем последовал поцелуй. Зал взвыл от восторга, и все кинулись поздравлять молодых.

Около полуночи гостей пригласили за стол. Но мы с Ириной не остались — было слишком поздно. Да я уже и увидел то, что хотел, — как гуляет богатая американская Одесса. В «Хилтоне» они все же были стеснены респектабельной обстановкой. Зато в ресторанах Бруклина одесситы гуляют куда более свободно и задорно, и всегда до самого утра. На частые одесские свадьбы и сборища по поводу совершеннолетия — «бармицва» для мальчиков 13 лет и «батмицва» для девочек 12 лет — приходят сотни родственников, или, как их называют одесситы, мешпуха. Но они не так богаты, как Жорж, поэтому каждый дает на празднование по сто долларов. После трех-четырех таких сборищ едва ли не каждый месяц многие из них начинают скрести затылок и жаловаться, что мешпуха обходится им слишком дорого. А не пойти нельзя — будет обида на всю жизнь. У многих есть родственники в Израиле, и они почти каждый год еще и туда ездят на свадьбы, бармицвы и батмицвы.

В Бруклине, в знаменитом ресторане «Распутин», они устраивают настоящие вакханалии. Там часто выступают приезжие артисты (много именитых гастролеров из России — им

за это хорошо платят). Обстановка постепенно накаляется, и когда оркестр начинает играть «Хору» и «Семь сорок», все срываются с мест, сбиваются в круг и начинается дикая пляска — все подпрыгивают и задирают ноги так высоко, насколько могут (многие из них высоко уже не могут, особенно до того, как я сделаю им операции). Вот так ночи напролет Одесса гуляет!..

Мы не дождались подобной кульминации на свадьбе дочери Жоржа, хотя я уверен, что там тоже все это было. Мы вышли с Ириной из «Хилтона», медленно прошлись по улицам ночного Манхэггена, подавленные всем увиденным. Я рассуждал: сколько может стоить такая свадьба? Не менее ста тысяч, а скорее, больше. Да, Жорж имел такие деньги, имел полное право их тратить, но какое преступление лежало в основе его богатства? И он ли один был преступником? Каким бы путем Жорж ни разбогател, в основе его богатства лежало преступление новых русских властей, которые позволяли «новым русским» грабить народ.

Мишка-одессит

Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода,
Мы для них чужие — навсегда.

А.Вертинский

Одесситы на Брайтоне — чуть ли не все между собой родственники. И это способствует их изоляции от окружающего мира. На улицах слышна русская речь, вывески везде написаны по-русски, продукты продаются русские, можно даже купить лекарства из России. И русские книги, газеты, журналы. Ощущение такое, будто они живут в добровольном гетто. И только номера на автомобилях нью-йоркские.

Среди пациентов моей русской клиники был пожилой одессит по имени Миша. Он еле приковылял на прием и был очень грустный и настороженный. Осмотрев его и сделав снимки, я мягко сказал:

— Миша, вам надо оба колена заменить на новые.

— Это что — резать хотите?

— Не резать, а операцию делать. Ничто другое вам не поможет.

— А что я знаю? — Развел он руками и заключил скептически: — Операция так операция…

Накануне операции я зашел к нему в палату, чтобы подбодрить. Он обрадовался, ему хотелось поговорить:

— Профессор, я хочу вам что-то сказать. Знаете, я не мастер говорить, жена у меня — она мастер. Но вы уж послушайте, я перед вами, как перед Богом. Я хочу сказать вам вот что: как она там пройдет, моя операция, — это одному Богу известно. То есть вы не подумайте, я не сомневаюсь в вас, не дай Бог! Я в вас верю, как в Бога. Но я не уверен в себе — какое там у меня здоровье? Оставил я свое здоровье в Одессе. Вот, приехали мы с женой «открывать Америку» — «Мазл Тов!» Не то чтобы мы так уж любили эту Америку. Это все наши дети: поехали да поехали — другие, мол, едут… А что, в Одессе было плохо? Ну, может быть, не так уж хорошо, но зато у меня все было как надо: квартира, работа, родные — я знаю?.. И вот мы все бросили и кинулись сами не зная куда. Дети твердили, как попугаи: «Страна возможностей, страна возможностей». У кого возможности, какие

возможности? У них, у детей, возможности, а у нас что? Чего вокруг делается, ничего не понимаем. А уж что американцы говорят, так вообще ни бум-бум. Родные, правда, помогают, ездят с нами по разным бумажным делам в офисы-шмофисы, переводят нам что надо. Без них совсем пропали бы. Родных, дай им Бог здоровья, здесь теперь больше, чем в Одессе осталось, — вся мешпуха перевалила. Да, мешпуха здесь, но где моя квартира, где моя работа? Зато теперь мы называемся «беженцы». Подумаешь — беженцы, а? Отчего мы, спрашивается, побежали? Гнались за нами? За детьми побежали, чтоб они были здоровы. Живем теперь на Брайтоне, у океана. Но я вам скажу: здешний океан по сравнению с нашим Черным морем — просто большая лужа. Какое у нас в Одессе море!.. Да, в Одессе я был человек, я был по снабжению. А было там снабжение? Азохен вэй — какое в Одессе снабжение… То есть не то чтобы его совсем не было, перебивались кое-как: блаты, связи, конечно. Подарочки женам начальников дарили и прямо на лапу давали. Это я умел: никого не обижал, и сам жил, и все было при мне. Я был по снабжению, а по-одесски — это большой человек. Здесь все заделались капиталистами. Вон Моня, мой троюродный брат, он в Одессе был профессиональный картежник. То он выиграет, то проиграет. А здесь Моня заимел свой магазин, с большой вывеской, — «Интернационал». На него сто человек работают, все больше мешпуха. И я попросился, чтобы по снабжению. А он говорит: «За прилавок я бы тебя поставил, у нас все покупатели говорят по-русски, но для снабжения ты в Америке не годишься». Я ему: «Моня, меня за прилавок?!.» А он только плечами пожимает: «Это тебе не Одесса». Не понимаю: вокруг одни одесситы, на каждом шагу раскланиваешься со знакомыми. Чем тебе не Одесса? Чтоб я не обиделся, он сунул мне в карман триста долларов, новенькими бумажками. В общем, пока живем, получаем пенсию от Америки. Мне объяснили — это не пенсия, а как бы пособие по бедности, велфор называется. Ха! «Велфор-шмелфор»… Когда мне объяснили, аж сердце у меня заныло: прожил шесть десятков с лишним, ишачил, спину горбил, а поехал за детьми и докатился: от Америки по бедности получаю. И вот еще: на старости заставляют языку учиться. А какой из меня ученик?! Пока я только научился благодарить по-американски: «Сенька, бери мяч!» Вот я и хочу вам сказать, дорогой профессор: что бы со мной ни произошло на операции, а вам все равно сенька, бери мяч!

Он даже потянулся поцеловать мне руку, так что я еле успел ее отдернуть.

Я заменил Мише оба коленных сустава на искусственные. Он

быстро стал поправляться, повеселел, оказался большим хохмачом. Сам себя он называл «Мишка-одессит» и уверял, что известная песня с таким названием написана про него. Меня он воспевал в самодельных стихах:

Хирург московский Владимир Голяховский, Исправит ноги — будешь ходить прямо, Не узнает жена-мама…

В знак благодарности он хотел угостить меня настоящим домашним одесским обедом. Я отнекивался, но пришлось уступить его настойчивым приглашениям, чтобы не обидеть человека.

Маленький пузатый хозяин с крупной дородной хозяйкой были чрезвычайно радушны и не знали, как мне угодить. Собралась вся мешпуха, всем хотелось посидеть со мной за одним столом.

Вкусовые привычки — самые консервативные и стойкие из национальных традиций. Мы с Ириной с самого начала стали есть по-американски, вернее, по рецептам интернациональной нью-йоркской кухни, чтобы полностью адаптироваться к новой жизни и поскорее забыть о старой. Да ведь это и интересно очень — есть разнообразную пищу. И я отвык от чисто русских угощений.

Но у Мишки-одессита мне довелось опять поесть по-русски. Стол так тесно заставили блюдами, что между ними не было свободной щели. Что там только не стояло! Несколько блюд с селедками — соленой, копченой и маринованной, посыпанными колечками репчатого лука; тут же и форшмак; два-три сорта печеночного паштета и коробки со шпротами, сардинами и бычками в томате — любимым рыбным лакомством одесситов. Громадные миски со свекольным винегретом и с салатом «оливье», отварная картошка, источающая парок, а к ней сметана и сливочное масло. Несколько тарелок с тонко нарезанной русской колбасой разных сортов — вареной, копченой, с мелким жирком, с крупным жирком; ветчина и буженина, куры кусками и под грузинским соусом «сациви»; тут же несколько сортов нарезанного сыра; еще несколько блюд с соленой и копченой рыбой. На разных концах стола вздымались горы черного и белого хлеба, который быстро уничтожался и тут же нарезался свежий. Все подносили и подносили горячие пирожки и беляши. И, конечно, между блюдами торчали бутылки с водкой, вином, «Нарзаном» и «Боржоми»…

Первый тост произнес хозяин, постучав вилкой по бокалу:

— Ша, слушайте сюда, хочу сказать за профессора. Хотите знать, какой это специалист и какой человек? Я вам скажу — у профессора золотые руки и золотой характер. Таких людей больше на свете нет, можете мне поверить.

Если бы не профессор, я не знаю, где бы я теперь был. Я был бы мертвый. Точно мертвый! А я с вами, и я живой. Почему? Потому что меня вылечил профессор. И вот я вам говорю: давайте выпьем за профессора, за его здоровье, за его семью, за здоровье всех в его семье. И смотрите, чтобы не мухлевать, чтобы все выпили до дна.

Потом опять пили за мое здоровье, за здоровье моей жены (очень сокрушаясь, что она не приехала со мной), за здоровье моих детей и внуков (которых еще не было). И каждый раз хозяин призывал: «Не оставляйте зла на дне!», а хозяйка упрашивала всех есть побольше. После закусок подали налитые до краев тарелки с густым борщом. Хозяйка подвигала ко мне тарелку и уговаривала:

— Откушайте борща-то, на мозговых косточках сварен.

Круги желтого жира плавали по поверхности. Борщ заедали тремя сортами пирожков из слоеного теста — с рисом, с капустой и с яйцами. За этим последовали жирные котлеты с гречневой кашей на гарнир. Водка на столе кончилась перед котлетами. Хозяин воскликнул: «Вот это по-одесски: водки, как всегда, не хватило!» — и послал внучку лет двенадцати в винный магазин через дорогу, чтобы принесла еще две бутылки. Я удивился:

— Ей водку не продадут, она слишком мала.

Хозяин подмигнул:

— Для меня продадут — это же Брайтон. Там продавщица — моя троюродная сестра.

После котлет на столе появились три больших торта и крепко заваренный чай. Кто-то включил телевизор и смотрел передачу русского канала, кто-то слушал передачу русского радио, кто-то включил проигрыватель, и все подпевали Утесову: «Как много девушек хороших…» А мне подумалось: правильнее — «как много бабушек…»

Раздался звонок в дверь, хозяйка побежала открывать. Она вернулась растерянная:

— Там какие-то два иностранца что-то спрашивают.

В комнату заглянули два американца и спросили, как им найти такого-то, с которым они случайно встретились в Манхэттене и завязали деловые отношения. Миша живо заинтересовался:

— Какие такие у них с ним дела?

Я переводом постарался смягчить его вопрос. Но Миша громко настаивал:

— Я на Брайтоне всех знаю и скажу им, где он живет, но пусть они сначала скажут, какие у него завелись дела с американцами.

Оказалось, тот человек обещал продать им русскую икону.

— Какую икону?! — вскричал хозяин. — У него никакой иконы нет и быть не может!

— Значит, вы его знаете? — сказал я. — Так дайте им адрес — и все.

— А может, они из американского КГБ? Зачем я буду подводить человека?

Пришедшие показали свои визитные карточки — это были искусствоведы из музея Метрополитен. Миша повертел карточки, будто мог что-то в них понять, и подробно объяснил, когда тот человек бывает дома и где его найти, если дома его нет. Когда за ними закрылась дверь, он сказал:

— Наверное, жулики. В Америке все жулики или бандиты.

— Ну, так уж и все! А на Брайтоне все честные? Тот, с поддельными иконами, честный?

Миша расхохотался:

— Вы бы видели его иконы! На Брайтоне жуликов и бандитов больше, чем во всей остальной Америке. Но это же свои жулики и бандиты — мешпуха!..

Прощаясь, я задал Мише и его жене вопрос:

— Как это вы живете в Америке столько лет, а все у вас только русское: еда русская, музыка русская, газеты русские. Почему?

— А мы в Америку не ходим, — весело отозвалась хозяйка, — нам от Америки ничего не нужно.

Человек из Жмеринки

Жил да был в Америке
Человек из Жмеринки.
Стали здесь его учить
По-английски говорить;
Повторял он на ходу
«Хау ду ю ду ю ду»,
— Кошка — «кэт», собака — «дог»,
Но запомнить он не мог;
— «Для чего мне их язык?
Я ведь к русскому привык.
Только русский мне удобен,
А к другим я неспособен».
Вот пошел он раз в сабвей,
И услышал там «о'кей»,
Вам «о'кей» — «о'кей» в ответ.
Он решил: «о'кей» — билет».
И сказал в окно кассиру;
— «Два «окея» пассажиру!
Чтоб на вашем на сабвее
Прокатиться мне скорее».
А кассир ему в момент:
— «Сорри, ай донт андерстэнд».
— «Что же вам здесь не понятно?
«Окей» туда — «окей» обратно».
Из окошка в тот же миг
Раздается со смешком;
— «Сер, вот лэгвидж ду ю спиик?»
И пришлось идти пешком.
Ног в дороге не жалея,
Он доплелся до Бродвея;
Магазинов длинный ряд,
Все «олрайт» там говорят.
Он решил: Бродвей — базар,
А «олрайт» — его товар.
Попросил у продавщицы:
— «Два «олрайта», две вещицы,
Да чтоб были первый сорт!»
А она: «Вот ду ю вонт?»
— «До чего же ум ваш узкий!
Как мне с вами говорить?
Я же вас прошу по-русски:

Два «олрайта» отпустить».
И услышал в тот же миг:
— «Сер, вот лэгвидж ду ю спик?»
Он пошел на Авенью,
В ресторане взял меню;
Попросил официанта:
— «Накорми-ка иммигранта!»
— «Ви хэв чикен, миит эпд фиш…»
— «Что такое говоришь?
Как не быть в Америке
От языка в истерике!
Дай ты русский мне обед:
Борщ и парочку котлет».
Вместо этого в момент:
— «Сорри, ай донт андерстэнд».
Стал в меню он тыкать пальцем:
— «Я хочу котлеты с сальцем!
Неужель в Америке
Нет того, что в Жмеринке?»
И услышал в тот же миг:
— «Сер, вот лэнгвидж ду ю спиик?»
Как он там ни объяснялся,
Так голодным и остался.
Вдруг он слышит: «хау мач»,
И решил — футбольный матч.
Тут пустил он локти в ход
И пробрался сквозь народ,
Оказалось, как назло,
Что опять не повезло:
— «Нас в Америке дурачат!
Этот «мач» — «почем» лишь значит».
Шел он, шел, затылок скреб,
И увидел небоскреб;
Посмотрел, прищуря глаз,
И сказал себе тотчас:
— «Кое что в Америке,
Ну почти как в Жмеринке!
Только с русским языком
Вот никто здесь не знаком;
Жалко мне, что все подряд
По-английски говорят.
Их бы русскому учить,
Чтобы с ними говорить»…
Он пришел на Брайтон-бич

И издал победный клич: —
«До чего я, братцы, рад,
Снова слышать русский мат!»
Вот какой в Америке
Человек из Жмеринки.

Это стихотворение я опубликовал в газете «Новое Русское слово», а потом и в интервью в «Вечерней Москве», когда корреспондент газеты просила меня рассказать о своих впечатлениях о жизни русских иммигрантов в Америке. Оно вполне отражает типажи и настроения многих жителей Брайтона.

Мои пациенты-американцы

Американские больные с настороженностью относятся к врачам-иммигрантам. Хотя они знают, что иммигранты сдали здесь экзамены и прошли резидентуру по специальности, но средний американец все равно им не очень доверяет. Во многом это отражает предвзятость к акценту доктора, к его общему культурному уровню и даже к другой расе. Неохотнее всего американец пойдет к китайцу и индусу. Когда я был в резидентуре, со мной работал хирург-китаец с большим опытом. Но больные категорически не желали, чтобы он даже подходил к ним: они плохо понимали, что он им говорил (по правде говоря, я тоже с трудом понимал его английский). Китаец был прекрасный хирург, но только мы, его коллеги, могли это оценить и часто обращались к нему за советом и помощью. Индусы отпугивают американских больных своей темной кожей и демонстративной клановостью — на мужчинах тюрбаны, женщины закутаны в длинные сари; несмотря на образованность, у всех них другой, странный подход к больным, отражающий древнюю культуру лечения. Русские приезжие доктора, если они не учились в американском медицинском институте, тоже у многих не вызывают доверия: сказывается многолетняя изолированность Советского Союза. К тому же среди русских докторов много женщин, а американцы привыкли к мужчинам.

В Америке около пятисот тысяч врачей — один на 700 человек населения (когда я приехал 25 лет назад, было четыреста тысяч). Приблизительно 20 процентов составляют иммигранты — что, конечно, много. Все они, включая меня, приехали в США в надежде на лучшую жизнь из бедных и менее развитых стран. Пройдя трудности адаптации к новой жизни и профессионального устройства, они действительно достигают того, к чему стремились, — лучшей жизни. Но из-за недоверия к ним большинство иммигрантов открывают свои врачебные офисы в районах компактного проживания бывших соотечественников, их и лечат.

Но в частных офисах невозможно лечить тяжелых больных и делать операции. А многие госпитали не дают иммигрантам «привилегий», то есть разрешения класть больных и лечить их. Они опасаются, что врачи разных стран могут нанести госпиталям больше урона, чем прибыли. Конечно, бывают исключения, когда кто-то с влиянием рекомендует в госпиталь хороших докторов. Но даже в таких случаях они чаще оседают в госпиталях второго-третьего класса. И опять-таки в основном

лечат «свой народ». На моих глазах большинство докторов из бывшего Советского Союза открыли свои офисы и получили госпитальные привилегии в Бруклине и Квинсе, где образовались большие колонии их бывших соотечественников.

Мне повезло: меня на работу взяли потому, что я смог дать нашему госпиталю что-то новое — метод илизаровских операций. Правда, мне протежировал большой энтузиаст этого метода Виктор Френкель. Президент госпиталя, он обладал непререкаемой властью. С Виктором я сделал много операций его американским пациентам, и потом даже больше него проводил времени у их постелей, выхаживая после операций. Профессионалу всегда приходится сначала работать на свой авторитет, чтобы потом авторитет стал работать на него. В результате нескольких лет работы с Виктором у меня образовалось хорошее реноме среди американцев. Мои годы и седины тоже способствовали. К тому же Виктор всегда представлял меня как известного русского профессора и ученика «самого Илизарова». Как водится повсюду, пациенты передавали друзьям рассказы о своих докторах, и следующие за ними поступали ко мне, уже полностью мне доверяя. Бывали даже случаи, когда они мне говорили украдкой, указывая на Виктора:

— Доктор Владимир, я хочу, чтобы вы делали операцию.

Я, конечно, у него частных больных не крал и говорил:

— Почему? Ведь доктор Френкель — один из лучших специалистов.

— Я знаю, но он всегда куда-то торопится.

Но не все американцы и не сразу доверяли русскому доктору. Перед тем как записаться ко мне на прием, некоторые по телефону расспрашивали Изабеллу, какую резидентуру я прошел, имею ли лицензию и сертификат комитета по моей специальности. Теперь все эти данные каждый может найти в Интернете.

Как-то заявился ко мне на прием бизнесмен лет шестидесяти. У него был довольно сложный случай заболевания спины, он уже обошел нескольких докторов, но диагноз оставался неясным. Пока я его обследовал, он смотрел на меня скептически. Расплачиваясь за визит с Изабеллой, он буркнул ей:

— Скажите вашему доктору, чтобы поменьше занимался сексом.

Замечание было абсолютно странное, нелогичное и даже глупое (возможно, он и был дурак). Я понял, что к этому больному мне надо подбирать ключи. На следующем визите я стал подробно рассказывать ему, что думаю по поводу его болезни.

— Спасибо, док. Вы — первый, кто нашел время толково мне все разъяснить, — сказал он.

Потом я сумел его вылечить. Он проникся доверием, звонил очень дружественно и посылал ко мне лечиться чуть не всю свою семью.

Интересно, что подобная настороженность в отношениях друг к другу врачей и пациентов взаимная — у американцев и у русских. От многих русских коллег я слышал, что они не любят лечить американцев.

— Почему?

— Все они какие-то высокомерные — приходят в офис, будто одолжение тебе делают…

Мой помощник Леня Селя долго не мог привыкнуть к американским больным. Насколько легко и просто он общался с русскими, смеялся и шутил с Мишкой-одесситом, настолько натянутым становился с американцами. Бывало, он помогал мне делать что-либо американскому больному, тот с ним дружелюбно и весело разговаривал, шутил, смеялся. Но, как только Леня от него отходил, сразу заявлял:

— Все американцы говнюки и зазнайки.

— Почему ты так говоришь?

— А как он на меня смотрел и как ехидно со мной говорил!

— Никакого ехидства я не заметил, напротив, он был любезен и весел. Это нормально.

— Нормально? Ну, нет! Он все говорил с подковыркой.

Это был типичный пример невосприятия другой культуры поведения. В отличие от русских большинство американцев в общении легкие и веселые. Леня, хотя и сам остряк, воспринимал это как личную обиду.

Я лечил сотни русских иммигрантов, но около половины моих пациентов были американцы. И мое личное мнение, что лечить их намного приятней, легче и к тому же, выгодней, чем русских. Важное значение имеет психологическая разница понимания и восприятия медицины. Американцы к медицине вообще, и к операциям в частности, относятся доверчивее, спокойнее и по-деловому. У них нет страха перед операциями — сказывается прогресс американской медицины в течение последних десятков лет и популяризация этого прогресса всеми средствами информации. Люди уверены в высоком качестве своей медицины (правда, если случаются осложнения, они с той же уверенностью подают в суд на докторов).

Мои русские пациенты при слове «операция» впадали в панику:

— Ой, доктор!.. Ой, я не выдержу!.. Ой, а нельзя ли

таблетками?..

Приходилось еще и еще раз подробно объяснять, почему показана операция. Но все равно они не могли решиться:

— Ой, доктор, я должна подумать…

— Ой, лучше я приду через полгода…

— Ой, я не знаю…

И все начинается с «Ой!»

Но даже поразительно, как просто относятся к операции американцы. Они легко идут на шунтирование сердечных сосудов и замещение клапанов, на онкологические операции и на протезирование суставов. Некоторые из наших пациентов имели по три-четыре искусственных сустава! Не задавая лишних вопросов, они решительно идут на операцию, по-деловому рассчитывая свои возможности. У нас с Виктором была одна больная семидесяти с лишним лет, у которой был сильный артрит. Ей уже сделали замещение одного тазобедренного и одного коленного сустава на искусственные, но с течением болезни возникали боли в других суставах. А она любила путешествовать, летала и плавала по всему миру. Готовясь к очередной поездке, она приходила в госпиталь и говорила:

— Замените мне следующий сустав, а то через пару месяцев мне уже надо ехать.

Вскоре после начала работы в Америке я заметил, что американцы очень терпеливы к физическим страданиям. Если в одной палате рядом лежали американец и русский и им была сделана одинаковая операция в один и тот же день, то при врачебном обходе на следующее утро на вопрос о самочувствии американец ответит слабым, но ровным голосом:

— Спасибо, док, я о'кей.

А его русский сосед начнет причитать:

— Ой, не спрашивайте… Ой, я всю ночь не спал… Ой, сделайте еще укол!..

И так до самого выздоровления. Правда, частично это можно объяснить тем, что физически и морально бывшие советские люди сильно потрепаны всей предыдущей тяжелой жизнью, «висением вверх ногами на острове Скалы». Общее состояние здоровья русских пациентов одного возраста с американцами почти всегда намного хуже.

Одним из моих первых врачебных откровений после эмиграции было то, что в Америке доктора не скрывают от пациентов диагноз рака, как в России. Они прямо говорят:

— У вас рак.

Если бы доктор попытался скрыть диагноз, пациент мог бы за это подать на него в суд. Другой вопрос — что происходит в

душах тех больных. Дома они могут плакать, но с докторами предельно деловиты:

— Док, какое вы предлагаете лечение?

Состояние современной медицины позволяет во многих случаях продлить их жизнь. Однако если болезнь запущена, они все так же по-деловому спрашивают:

— Док, сколько мне осталось жить?

И такое же смиренное отношение к спиду.

Хотя в нашем госпитале, среди относительно состоятельных белых людей, было мало больных спидом, но, приходя на прием к хирургу, все они сразу заявляли:

— Док, если вы будете делать мне операцию, я хочу вас предупредить, что у меня положительный анализ крови на спид, и я принимаю лекарства.

Хирург в таком случае на операции надевает специальные перчатки с вмонтированной металлической сеткой.

Ну, а почему я написал, что американцев лечить выгодней? Хотя это никогда не имело для меня решающего значения, но я должен сказать, что частные страховые компании платили за больных американцев намного больше, чем «Медикейд» и «Медикер» за иммигрантов. При одинаковых операциях за русского больного я получал от «Медикейда» 500 долларов, от «Медикера» 1500–2000, а за американца с частной страховкой — от 4000 до 6000 и выше. Мой самый большой гонорар составил 14 000 долларов — конечно, за американских больных. И хотя американцев было меньше половины от общего числа моих больных, деньги за их лечение составляли львиную долю моего заработка — около 250 000 долларов в год.

Как-то я лечил молодую и небогатую американку двадцати пяти лет. Она собиралась вскоре выйти замуж, а у нее было врожденное укорочение одной ноги на 5 сантиметров. Ее жених любил ее и даже просил не делать операцию. Но она мне сказала:

— Доктор, на свадьбе я хочу идти под венцом ровной походкой.

Сама по себе история трогательная. Я объяснил ей:

— Вы должны знать, что при всех операциях есть риск.

— Доктор, я вам доверяю, — просто сказала она.

Я удлинил ей ногу по методу Илизарова. Потом, хотя всегда я постоянно был занят другими пациентами, уделял ей много внимания, учил ходить и держаться прямо:

— На свадьбе ты должна выглядеть неотразимо.

К дню свадьбы наша невеста научилась ходить плавной походкой. Перед концом лечения она вручила мне открытку. Там было написано: «Спасибо, доктор Владимир, что за все время

лечения вы давали мне почувствовать, будто я была вашей единственной больной».

Ее страховая компания заплатила мне как раз довольно мало.

Мой первый суд

Его звали Джон, ее — Мадонна, обоим было по тридцать. Они были женаты три года, потом разошлись. Джон работал техником в нью-йоркском филиале фирмы «Мерседес-Бенц». Он был высокий, симпатичный и веселый парень, но хромал — в детстве сломал ногу, катаясь на лыжах, и кости срослись с укорочением на 8 сантиметров. Один из его клиентов был доктор из нашего госпиталя. Заметив, что Джон хромает, он рекомендовал ему обратиться к Френкелю. Вместе с Виктором мы сделали Джону операцию и наложили на ногу илизаровский аппарат. Вот тогда и появилась опять Мадонна, пришла навестить бывшего мужа.

Операция прошла успешно, но еще успешнее развивался роман между бывшими супругами. После выписки из госпиталя Джон приходил для проверки в офис с аппаратом на ноге, и всегда в сопровождении Мадонны. Они вели себя, как юнцы: хихикали и целовались, даже когда я проверял детали аппарата. У нас с Джоном сложились приятельские отношения, а Мадонна всегда мне приятно улыбалась и каждый раз интересовалась:

— Доктор Владимир, когда вы снимете аппарат с его ноги?

Ее как будто это даже больше интересовало, чем самого больного. Но вот полное удлинение ноги было закончено, кость окрепла, аппарат сняли — они были счастливы. На последнем визите в офис Джон и Мадонна радостно сообщили мне, что поженились во второй раз. На этом история могла бы и закончиться, но…

Через три года мы с Виктором получили вызов в федеральный суд Нью-Йорка: Джон и Мадонна подали на нас иск на десять миллионов долларов. Что? Почему? В обвинении, составленном их адвокатом, говорилось, что к Джону мы проявили «преступное непрофессиональное отношение, игнорировали его боли и были халатно невнимательны в течение всего лечения», что теперь он не в состоянии полностью разгибать ногу в колене и вынужден ходить с палочкой, в результате чего потерял работу. За это он требует от нас компенсацию в девять миллионов долларов. В обвинении со стороны Мадонны говорилось, что, когда на ноге Джона был илизаровский аппарат, это лишало ее полноценного удовлетворения от секса с ним. Поэтому она требовала с нас один миллион. Юридическое обснование обвинения — «за лишение полноценного удовлетворения».

Виктор отнесся к вызову в суд насмешливо, у него уже был опыт в таких делах. Но для меня это был первый случай — я

удивился, возмутился и даже немного испугался. Сам Джон давно нам не показывался, и мы не знали, что с ним происходит. Я был уверен, что ошибки с нашей стороны не было. Когда мы удлиняли кость, ее ось на 5 градусов сместилась назад. Но это зависело от прежней деформации, с которой он вырос, и не могло сильно повлиять на движения ноги, ее сгибание в колене. Когда мы его видели последний раз, в день второй женитьбы на Мадонне, он практически перестал хромать. За что же ему судить нас? Джон был частный больной Виктора, я нес лишь косвенную ответственность. Как же мог он так поступить, если за все лечение ни на что не жаловался и даже был со мной в теплых отношениях?

Почему Мадонна решила нас судить, я вообще понять не мог. Что значит «преступное лишение полноценного удовлетворения»? И странно и смешно, и даже, я бы сказал, неприлично для женщины выносить эту проблему на суд. Если это и было, то какие доказательства она может представить присяжным? Напрашивались игривые мысли насчет ее сексуальных предпочтений, требований и возможностей. Впрочем, я думаю, чтобы получить миллион, многие американки не постеснялись бы не только обсуждать это, но и показать себя в самом неприглядном виде, в самой беззастенчивой позе — как ежедневно показывают женщин в кино, на телевидении и во всех газетах и журналах (это и сделала Моника Левински, написав за миллион долларов книгу о том, как она занималась оральным сексом с президентом Клинтоном).

Да, но я знал случаи судов над докторами, когда, при всей абсурдности обвинений, их все же признавали виновными и заставляли платить. Что, если Джону с Мадонной присудят десять миллионов? Покроет ли половину этой суммы моя «страховка от ошибок»? Не станут ли с меня еще требовать деньги? Я осторожно спросил Виктора:

— Что ты думаешь об этом?

Он мельком глянул на меня и беспечной скороговоркой ответил:

— Владимир, зачем нам об этом думать? У нас есть контракт с юридической фирмой, которая защищает интересы докторов нашего госпиталя. Пусть наши юристы и думают — мы им за это платим.

— А может суд присяжных присудить им десять миллионов?

— Ты шутишь?! Какие там десять миллионов! Мы что — убили его? Это обычный трюк стороны обвинения, так они стараются запугать обвиняемую сторону. Если их адвокат выигрывает процесс, он получает третью часть. Но эти ничего не

получат.

— А что ты думаешь насчет обвинения Мадонны?

— Что я думаю? Если бы мы знали раньше, что она сексуально не удовлетворена, мы с тобой могли бы ей помочь, — вот что я думаю.

— Хорошая идея, Виктор.

— Не просто хорошая идея, а еще одна хорошая идея!

Доводы Виктора меня немного успокоили.

Шли месяцы, и я перестал даже думать о суде. Чуть ли не через год адвокат из нашей фирмы, Теодор Розенцвейг, позвонил мне и пригласил к себе в контору на первое собеседование, перед тем, как меня вызовет к себе адвокат обвинения. Гражданские дела в судах Америки зачастую тянутся годами, потому что суды чересчур загружены делами. Слишком много людей в Америке судят других слишком многих по слишком многим поводам. Недаром американское общество само себя называет обществом сутяжников.

Юридическая фирма, обслуживающая наш госпиталь, занимала сорок второй этаж небоскреба в деловом районе. Я поразился многочисленности штата фирмы: сотни делопроизводителей, секретарей и помощников адвокатов сидели перед компьютерами или сновали с бумагами по коридорам. А ведь это была одна из многих тысяч таких фирм. Сколько же людей работают на сутяжников в Америке!

Кабинет Розенцвейга был гораздо просторнее моего, мебель тоже намного лучше — все говорило о преуспеянии. Мы с Тедом были немного знакомы, настроен ко мне он был дружественно. На его столе лежал мой учебник по илизаровским операциям.

— Владимир, я прочитал твою книгу, и хотя, конечно, мне не все там ясно, но я понял, что вы с Виктором — самые большие авторитеты по илизаровским операциям в Америке. Это поможет мне защищать вас.

— Когда я писал этот учебник, то, по правде говоря, никак не думал, что он может защищать в суде!

Тед рассмеялся:

— Защищать вас буду я, но книга даст мне материал для доказательств. Ты отметь мне страницы, которые больше всего подходят к случаю лечения вашего обвинителя, я сделаю с них копии и, если будет надо, продемонстрирую их в суде.

— Хорошо, я отмечу. Но я забыл написать главу о занятиях сексом с аппаратом Илизарова. Придется мне сделать еще парочку рисунков — специально для присяжных.

— О, это было бы впечатляюще! Но обвинение Мадонны уже снято.

— Что, выяснилось, что она не настолько сексуальна?

— Нет, выяснилось, что их брак оформлен после того, как аппарат с его ноги был уже снят. А что и как они делали до того, как она опять стала его законной женой, это в суде разбираться не может.

— О'кей, значит, на один миллион меньше?

— Какие там миллионы?! Их адвокат уже говорит о сумме в восемьсот тысяч.

— Ага, еще легче!

— Слушай, я хорошо знаю этого адвоката, по-моему, он не очень умный.

— Умный, наверное, не взялся бы за такое дело.

— Да, это верно. Но, хоть он и не очень умен, он сделает все возможное, чтобы ты сам оговорил себя и Френкеля. Многое на суде зависит от эмоций присяжных, имеющих стойкое предубеждение против врачей. Чтобы произвести на них впечатление, этому адвокату уже на предварительном собеседовании нужно добиться от тебя признания, что в ходе лечения что-то было сделано не так, как следовало. Поэтому, спрашивая тебя о лечении, он станет снова и снова варьировать вопросы к тебе, пока ты не ошибешься в ответе. Но я буду сидеть с тобой рядом, и, если его вопросы будут поставлены неверно, попрошу снять или уточнить их. Запомни: ты отвечаешь только за то, что сам делал, а не за Френкеля. Тебе нужно давать лишь краткие ответы. Ничего ему не разъясняй — в твою задачу не входит его образовывать. Не торопись отвечать, сначала продумай ответ. Если ты уже ответил на подобный вопрос, скажи, что уже дал ответ. В конце собеседования, уже складывая бумаги, он обязательно, как бы ненароком, спросит: были ли в процессе лечения отклонения от принятых установок? Твой ответ краткий: нет. И сразу же вставай из-за стола. Больше ничего.

В общем, Тед дал мне полезный инструктаж относительно тонкостей юридического крючкотворства. Из всего этого получалось, что имеет значение не фактическая сторона дела — как мы лечили Джона, на сколько сантиметров удлинили ему ногу, как он перестал хромать. Все это оставалось в стороне. Странно и обидно для хирурга признать, что его труд может оцениваться некомпетентными людьми не по объективным результатам, а по эмоциональному воздействию адвоката.

Через пару месяцев я сидел в другой юридической фирме перед адвокатом обвинителей и под присягой давал показания. Их с поразительной скоростью записывала секретарь на специальной стенографической машинке. Адвокат был неожиданно для меня мягок, улыбчив и дружелюбен:

— Рад с вами познакомиться, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя абсолютно свободно.

Он буквально купал меня в сладкой патоке любезности. Я подумал: неужели этот человек собирается обвинять меня в преступной халатности? И ведь вот какая разница в профессиональном поведении: хирург со своим пациентом должен быть деловым и откровенным, а адвокат с клиентом — притворным.

Два часа он все с той же сладкой улыбкой пытался вытянуть из меня какой-нибудь рискованный ответ:

— Скажите, если бы знать, что Джон станет вас судить, сделал бы доктор Френкель, с вашей помощью, конечно, что-нибудь по-другому?

— Это вопрос к доктору Френкелю.

— Да, да, его мы тоже спросим. Но что вы об этом думаете?

— Думаю, доктор Френкель сделал бы абсолютно то же самое.

— Но, может быть, какую-то часть операции следовало сделать по другому?

Тут в нашу беседу вмешался Тед:

— Возражение: доктор Голяховский ответил на вопрос.

Адвокат:

— Хорошо, я иначе сформулирую вопрос: если бы Джона лечил другой доктор, сделал бы он что-нибудь по-другому?

Тед:

— Возражение: этот вопрос не относится к действиям доктора Голяховского.

Уже вставая из-за стола и складывая свои бумаги, адвокат, как и предупреждал меня Тед, еще раз улыбнулся и спросил:

— Доктор Голяховский, а все-таки были ли в процессе лечения отклонения от принятых установок?

— Нет, не было.

Тед потом сказал, что я держался молодцом.

Каждый раз для очередного собеседования мне приходилось отменять запланированные операции и приемы больных. Изабелла переносила их на другие дни (что было не просто), мы обзванивали пациентов, долго извинялись, оговаривали новую дату — вот куда уходило ценное время доктора и его офиса!

И опять прошли месяцы, прежде чем мне прислали строгую повестку: «Мы приказываем Вам явиться на суд». Как назло, по времени это совпало с нашим с Ириной отпуском. Нам обоим был необходим отдых, мы давно собирались на пару недель уехать и запланировали полет в Канадские Скалистые горы. Там, в районе города Джаспер, изумительно красивые горы и озера. Отдых на

природе! Мы были полны предвкушений. Уже куплены билеты и забронированы места в отелях. И вот — на тебе…

Я кинулся звонить Розенцвейгу:

— Тед, нельзя ли перенести время суда?

— Понимаешь, это Федеральный суд, в нем все строже, чем в суде штата, — надо, чтобы ты присутствовал.

— Но как раз в день суда у меня будет середина отпуска. Что, если я не приеду?

— Я знаю судью, он очень строгий и, если ты не явишься, может решить, что наша сторона проиграла процесс.

— Тед, но ведь все это дело того не стоит, чтобы терять отпуск. Нельзя ли принять какое-нибудь компромиссное решение? Ну, договорись о какой-то компенсации…

— Доктор Френкель тоже говорил мне о компенсации, но я не согласен: мы дело выиграем. Однако ты оставь мне все телефоны и факсы — где ты будешь. Если суд перенесут, я тебе позвоню. А если нет — придется приехать.

Вот уж не повезло!.. Тянули-тянули с этим судом почти два года, а тут вдруг «нельзя перенести». Мы с Ириной ломали головы: отменить поездку или все-таки рискнуть полететь? А, может, что-то случится, что отложит этот чертов суд? Тогда мы только зря пробудем в Нью-Йорке. Решили все-таки лететь. Полноценного отдыха не было — все время напряженно ждали: позвонит Тед или не позвонит? Через несколько дней пришел факс: «Владимир, приезжай, суд перенести не удалось». Чертыхаясь, мы поменяли билеты, заплатив за них и за отмену аренды комнат в отеле кучу денег (я поклялся себе, что потребую от юридической фирмы обвинителей компенсации — и потом ее получил).

И вот надо ж было случиться еще одному несчастью: накануне отлета тяжело заболела Ирина — мы катались на водном велосипеде по озеру, и она вдруг потеряла сознание. Причина — высокогорье, жаркое солнце, острое обезвоживание организма. Я не сразу смог понять, что случилось, я даже подумал, что теряю ее. Неужели?! Я склонился над любимым лицом, впивался в него глазами, как, наверное, Христос не впивался взором в оживляемого им Лазаря, я хотел оживить Ирину этим взглядом, звал, гладил, слегка хлопал по щекам. И все время держал руку на пульсе. Ее сердце билось слабо, но все-таки билось. Ирина не отвечала, у нее был плавающий взгляд, какой бывает в состоянии тяжелого мозгового нарушения. На машине «скорой помощи» ее отвезли в местный госпиталь и сразу стали внутривенно вводить лекарства. Через полчаса она открыла глаза — к ней вернулось пока еще помутненное сознание. И

одновременно с этими переживаниями я продолжал думать о том, что нам завтра надо лететь в Нью-Йорк. Если она быстро не поправится, я от нее не уеду ни за что. Черт с ним, с их судом, — Ирина мне дороже всего на свете!..

Но совершилось чудо: к концу дня ее выписали, баланс жидкости в организме пришел в норму, Ирина окрепла, и весь следующий день мы провели в двух перелетах.

Измученный столь сильными переживаниями, злой из-за прерванного отпуска и усталый после целого дня в полетах, я явился в здание Федерального суда в Нижнем Манхэттене. В громадном вестибюле между мраморными колоннами колыхалась толпа: кто судит, кто защищается, кто обвиняет, кто пришел быть присяжным, а кто просто здесь работает. Я встал в очередь к лифту, настроение было паршивое. Мне бы надо собраться с мыслями, успокоиться и сконцентрироваться. Но, когда я вошел в зал, чинная и холодная обстановка огромного помещения добавила горечи к моему настроению. Вслед за мной пришел Виктор.

— А-а, ты здесь… Они все-таки заставили тебя прилететь? Зря! Не надо было их слушать. Я сам могу ответить на все вопросы.

В этот момент появились Джон с Мадонной. Они проходили мимо нас, и я всматривался: он шел без палочки, не хромал, имел вид вполне здорового человека, совсем не похожего на страдальца… Встретясь со мной глазами, они не поздоровались. Тед шепнул нам с Виктором:

— Я узнал, что он не только не потерял работу, но получил повышение: он уже не техник, а начальник мастерской. Я готовлю ему сюрприз: в нужный момент спрошу его об этом во время суда.

Мне вспомнилась карикатура, которую я как-то видел в одном из журналов. На суде адвокат обвинителя говорит присяжным: «Возможно, мой клиент удовлетворен результатом операции, но представьте себе, насколько он будет счастливее, если впридачу получит миллион долларов!» Как будто нарочно про Джона.

Секретарь суда приказал всем встать: на свои места на возвышении входили присяжные. Я знал, что они ничего не понимают в медицине, тем более в сложных вопросах хирургии. Что у них будет на уме, когда станут выносить решение?..

Тед опять тихо прокомментировал:

— Вчера я их всех опрашивал, по процедуре отбора для суда, — не было ли у них самих или у их родственников и друзей каких-либо случаев недовольства докторами? Если могла быть хоть какая-то предвзятость, я не допустил бы их к участию в суде.

Да, может, личных обид у присяжных и не было, но какие у них взгляды на хирургию вообще? К сожалению, очень много американцев подозревают, что основная мотивировка хирургов в их работе — алчность, если даже они работают высокопрофессионально. Поэтому многих обвиняют в «ненужных» операциях. Что они могут знать о сложности удлинения кости? Может, они подумают, что в случае Джона операция тоже была не нужна? Год назад проходил другой суд над Виктором, и он его проиграл. Истцом был тот пациент-учитель, которому в начале моей работы в госпитале Виктор делал очень сложную илизаровскую операцию. Учитель обвинял его в ошибках и добавлял, что хирург был одержим одной только жадностью. Ему после той операции сделали ампутацию ноги. И он выиграл у Виктора 800 тысяч долларов. Но какая ошибка была в нашем теперешнем случае?..

Вошел одетый в черную мантию судья, опять все встали. Мне подумалось, что мы, врачи, носим белые халаты — и это прекрасно, а судьи носят черные — и это ужасно… Первое слово дали адвокату обвинения. Сказав несколько вступительных фраз, он сразу вызвал Виктора как первого свидетеля. Виктор отвечал на вопросы скороговоркой и как бы скептически. Он считал этот случай не стоящим внимания суда и показывал это всем своим видом. Адвокат делал упор на то, что к Джону был применен новый и малоизвестный в Америке метод Илизарова:

— Доктор Френкель, как, по вашему мнению, можно было в этом случае сделать операцию по другому методу?

— Я считаю метод Илизарова единственно верным и эффективным для удлинения костей.

Адвокат многозначительно помолчал и улыбнулся:

— Вы так считаете? — Это был прием, рассчитанный на присяжных.

Потом настала очередь Теда задавать вопросы Виктору. Как в шахматной партии, он сделал «контрход»:

— Доктор Френкель, какими другими способами пользуются в Америке для удлинения костей?

— До внедрения в нашем госпитале метода Илизарова никаких других способов удлинения кости в Америке не было.

Присяжные удивленно подняли брови.

Следующим свидетелем вызвали меня. Как полагается по процедуре, с поднятой правой рукой, я дал клятву говорить «правду, одну правду и ничего, кроме правды». Адвокат обвинения спросил:

— Доктор Голяховский, вы оперировали Джона вместе с доктором Френкелем?

— Я был ассистентом на той операции.

— Но все-таки вы оперировали Джона?

— Я ассистировал доктору Френкелю.

— Допустим. А вам самому когда-нибудь приходилось раньше делать такие операции?

— Да, я оперировал сам тоже.

— Сколько вы сами сделали таких операций?

— Я не помню точно.

— Но все-таки — две, три, пять?

Он явно хотел умалить перед присяжными наш с Виктором опыт. Краем глаза я видел, что их слегка оживил мой непривычный для их слуха твердый русский акцент.

— Я сделал более двухсот таких операций, — сказал я.

Присяжные уставились на меня более внимательно. Адвокат быстро и недовольно бросил на меня взгляд — его маневр не удался.

— Вы сказали — более двухсот? — Он опять саркастически улыбнулся в сторону присяжных. — Но, если у вас такой большой опыт, как же вы допустили ошибку на этой операции?

Я не успел ответить, как Тед вскочил и обратился к судье:

— Ваша честь, возражение! Формулировка «ошибка» недопустима, это никем не доказано.

Судья разрешил снять вопрос. Адвокат продолжал:

— Хорошо, я сформулирую свой вопрос иначе: доктор, при вашем опыте, если бы вы оперировали сами, сделали бы вы в той операции что-нибудь по-другому?

Тед опять вскочил:

— Ваша честь, возражение! Мы не обсуждаем гипотетические случаи.

На это раз судья сказал:

— Возражение отклоняется. Свидетель, вы можете отвечать.

— Если бы я оперировал сам, я сделал бы то же самое.

Адвокат еще о чем-то спрашивал, а я украдкой поглядывал на присяжных. Интересно было видеть отражение полного недоумения в их глазах. Настала очередь Теда задавать вопросы.

— Доктор Голяховский, вы учились методу профессора Илизарова у самого автора? Где и когда это было?

— В Советском Союзе, в сибирском городе Кургане, в 1965 году.

— Метод Илизарова — русский метод? — Да.

— А в других странах его применяют?

— Метод Илизарова применяют в Италии, Испании, Португалии, Англии, Франции, Дании, Германии, Польше, Китае, Индии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Бразилии…

Я хотел продолжать, но Тед меня остановил:

— Спасибо, у меня больше нет вопросов.

На этом закончился первый день судебных слушаний. На следующий день я направлялся в суд в более боевом настроении. Я взял с собой несколько своих рисунков — пусть наш Тед покажет их присяжным. Мне их даже жалко было: как можно судить о чем-либо, не понимая смысла хотя бы в общих чертах? Я предвкушал, как Тед разобьет доводы обвинения и склонит присяжных на нашу сторону.

Сначала вызывали других свидетелей и экспертов. Сторона обвинения вызвала самого Джона. Он шел к стулу свидетеля хромая, хотя вчера никакой хромоты не было. Последовал вопрос его адвоката:

— Говорили вам перед операцией о возможных осложнениях?

— Никто мне ничего не говорил, никто со мной вообще не разговаривал.

Как же он подло врал! Сколько раз я сам с ним беседовал, и мы даже болтали по-приятельски. Но перед судом обычно адвокат учит своего клиента, что ему отвечать. Так, наверное, было и теперь.

— Если бы вам опять нужно удлинять ногу, согласились бы вы на этот метод?

— Ни в коем случае! Я бы вообще не согласился на операцию!

Присяжные смотрели на него с симпатией. Тед спросил:

— Это ваша подпись под согласием на операцию?

— Да, моя.

— Можете вы прочесть нам, что там написано.

В тексте было указано, что пациент предупрежден о возможности инфекции, о случаях несращения кости и о возможных ограничениях функций ноги.

— Как же вы подписали это?

— В том состоянии я подписал не читая.

— Вы обвиняете докторов, что из-за операции потеряли работу. А мы выяснили, что вас повысили, сделав начальником мастерской. На работе вы тоже не читаете, что подписываете?

Джон смутился, присяжные удивленно заерзали.

— Когда я обратился в суд, я еще не был начальником. А на работе я читаю, что подписываю.

— Значит, прооперированная нога не мешает вам работать?..

Прошло два дня; по косвенным признакам мне казалось, что мнение присяжных колебалось то в одну, то в другую сторону. На третий день адвокат обвинения попросил судью сделать перерыв для собеседования втроем с Тедом. Они совещались час в кабинете судьи, присяжные отдыхали в своей комнате, мы

томились в зале. Я говорил Виктору:

— Куда уходит наше драгоценное время! Ведь мы с тобой могли за эти дни сделать массу дел, провести несколько операций, принять десятки пациентов.

— Да, суд что-то затягивается, а мне завтра лететь в Японию. И я не хочу отменять поездку…

Появились оба адвоката. Тед отозвал в сторону Виктора. Когда оба адвоката вновь ушли в кабинет судьи, Виктор мне сказал:

— Адвокат обвинения предлагает прекратить суд, если мы согласимся заплатить Джону небольшую компенсацию.

— Что значит «небольшую»?

— Адвокат просит триста тысяч.

— Что?! — я был обескуражен, а Виктор только пожал плечами.

Опять вышел Тед и опять отозвал Виктора. Потом он снова ушел в кабинет судьи, а когда вернулся, сказал нам с Виктором:

— Мне удалось скостить половину — Джон получит сто сорок тысяч.

— Почему он вообще должен получать что-то? — Я не мог понять.

Тед пожал плечами:

— Доктор Френкель не хочет продолжать суд.

Виктор примирительно сказал мне:

— Я решил согласиться на компенсацию. Но твоя страховка не пострадает — это мой пациент, мое решение и все деньги пойдут с моей страховки.

Я был ошеломлен: столько волнений, переговоров, прерванный отпуск, уже маячивший на горизонте выигрыш — и все так бесславно закончилось. Зачем Виктор это сделал? Было у него что-то на уме, но я никогда этого не узнал. И присяжным не пришлось ничего решать.

Деньги делают деньги

Что лучше — жить богато или жить интересно? Интересную жизнь мы с Ириной уже имели. Теперь мы начинали входить во вкус состоятельной жизни. Мы вместе зарабатывали около 250 000 в год — сколько получает один процент населения. Но в Америке высокие налоги, и мы должны были отдавать почти половину дохода в федеральный, штатный и городской бюджет. Плюс к этому обязательный взнос на социальное страхование — 1,5 процента заработка (эти деньги будут нам возвращаться ежемесячно после 65 лет). В совокупности наш налог составлял более 100 000 долларов — пример того, сколько платят в Америке богатые люди за то, что они богаты. Три класса американского общества так и различаются — по сумме выплачиваемых налогов: высший класс платит очень много, средний класс — просто много, а низший — почти ничего или совсем ничего. Если доходы семьи ниже среднего уровня, то налоги не только не берут, но правительство компенсирует низкие доходы семьи выплатой разницы в деньгах до минимального уровня в 180 000 долларов.

Каждый класс общества делится по сумме налогов еще на три уровня. Доктора с доходом около 300 000 (500 000 по сегодняшнему курсу) относятся к «среднему высшему классу» (банкиры и юристы зарабатывают и платят больше). У нас были хирурги, зарабатывавшие в два-три раза больше меня, но и я был почти у вершины.

Вновь прибывшим иммигрантам из России понять все это было мудрено. Не платя налоги, многие из них морально продолжали считать себя высоким или средним классом. Однажды я сказал своему помощнику Лене Селя:

— Вчера я по почте отправил налоговым организациям все бумаги.

— Много они вам вернут? — наивно спросил он.

Леня был единственный работник в семье, получал низкую зарплату, в его голове не могла вместиться та сумма налогов, которую я платил.

Но что значила для нас с Ириной наша независимая в материальном отношении жизнь? Мы были так заняты своей работой и так много путешествовали по миру, что нам не приходило в голову «жить богатой жизнью». Все необходимое у нас было, двум пожилым работающим людям ни к чему роскошествовать. Когда у нас появились «лишние деньги», я стал все больше покупать дорогие (и не очень) книги по истории и

искусству и много дисков классической музыки. И еще я часто после работы угощал в ресторанах своих друзей, помощников и учеников-резидентов. А Ирина не любила ни наряды, ни драгоценности, никогда не швырялась деньгами. В нашей семье она была казначейшей, я деньги никогда не считал, и когда их было мало, и когда стало много. Но говорят, что «богатеет не тот, кто много зарабатывает, а кто мало тратит». И перед нами встал совершенно новый для нас вопрос: как выгоднее вкладывать в доход то, что остается от налогов?

Каждый год к 15 апреля все американцы обязаны заплатить налоги на заработанные за год деньги — расплатиться с правительством. Это непреложный закон. Не все, конечно, любят отдавать деньги, и не все деньги. Но укрывать доходы опасно, за это можно даже угодить в тюрьму. Система налогообложения в Америке очень сложная и тонкая. Хотя инструкция для всех единая, но самим следовать ее указаниям очень трудно. Поэтому к услугам налогоплательщиков есть армия частнопрактикующих бухгалтеров — «аккаунтентов». Это одна из самых популярных в Америке профессий. За довольно высокую плату они составляют финансовый отчет своих клиентов, зная тонкости налоговых правил и какие расходы можно с налогов списывать.

Поскольку доктора являются частными предпринимателями, им не полагается пенсия по старости. Вместо этого каждый доктор имеет право ежегодно откладывать на собственный пенсионный счет 35 000долларов. Доктор может их ежегодно накапливать и вкладывать по своему усмотрению, не платя на них налог до тех пор, пока не станет снимать их со счета. За годы у каждого доктора так накапливается большая сумма. Но я начал свою частную практику, когда мне было под шестьдесят, и поэтому не смог бы много накопить за оставшиеся мне рабочие годы. Выяснилось, что для таких, как я, есть еще такое правило: я мог откладывать не 35, а 60 тысяч. К тому же, работая в ассоциации ортопедов, я от своих частных доходов платил 27,5 процента госпиталю за офис, секретаря и оборудование, и эта статья моих расходов тоже частично освобождалась от налогов. Если были в течение года деловые расходы — все списывалось, включая поездки на конференции, расходы на бензин или такси, питание во время работы и даже угощение деловых гостей в ресторанах. И любые пожертвования — на библиотеки, музеи и на нуждающихся — тоже снимались (хотя не полностью).

По рекомендации одного сотрудника из лаборатории Ирины мы завязали деловое знакомство с аккаунтентом Джоном Витковским, который ежегодно составлял для нас годовой подоходный налоговый отчет (и составляет до сих пор). В

результате всех его расчетов мы вместо 100 000 долларов, отдавали на налоги около 40 000 долларов в год. Эта сумма выплачивалась поквартально. Но что делать с остававшимися у нас довольно большими деньгами, чтобы они тоже приносили доход? Известно, что хорошо вложенные деньги делают деньги. Но также известно, что при ошибочном вложении денег можно потерять все.

У моей Ирины высоко развит рациональный подход буквально ко всему. Как ни тяжело нам жилось поначалу, она и в те годы присматривалась к тому, что американцы делают с деньгами. Для нее все это было абсолютно внове: никаких вложений в России не делали, свободных денег ни у кого не было, эта область человеческой деятельности полностью отсутствовала. Но Ирина тогда смогла отложить небольшую по американским меркам сумму, около 80 000 долларов, «на черный день». Теперь вот уже несколько лет Ирина вникала в тонкости сложной американской системы вложения денег, читая статьи по ведению финансовых дел в «Нью-Йорк тайме». И набиралась дополнительной информации, беседуя со своими сотрудниками.

Американцы познают основы системы вложения Денег с детства. Для них это настоящее ИСКУССТВО, такое же, как рисование или вышивание. Еще в начале нашей жизни в Нью-Йорке однажды мы видели одну поучительную сцену в банке. Отец подвел к окошку кассира своего восьмилетнего сына:

— Вот видишь, я сейчас внесу в банк на твое имя сто долларов. Когда через десять лет ты вырастешь, эта сумма тоже вырастет, и будет у тебя уже не сто, а двести или триста долларов.

— Папа, разве деньги могут расти?

— Деньги растут, значит — увеличиваются. Они прибавляются с каждым годом, как и ты растешь.

Нас их разговор удивил и даже насмешил: зачем все это нужно знать маленькому мальчишке? На самом деле он получал первый полезный урок простого и верного вложения денег. Возможно, с того раза он получил еще много уроков и научился этому искусству.

С появлением у нас денег Ирина коротала вечера за чтением популярных книг по ведению финансовых дел и по выгодному вложению денег. Подобной литературой заставлены длинные полки во всех книжных магазинах: тонкие брошюры и пухлые тома под броскими названиями, вроде: «Как сделать миллион из ста долларов», «Искусство разбогатеть быстро и просто» и тому подобное. За крикливыми названиями скрывалось множество деловых советов, причем многие правила постоянно менялись и

усложнялись. Ирине приходилось в них глубоко вникать.

— В России я читала романы, а теперь я вынуждена читать инструкции по ведению финансовых дел, — жаловалась она.

Сам я читал книги по искусству и истории, поражаясь терпению и настойчивости Ирины. В результате она все-таки научилась вникать в детали того, как делать более выгодные денежные вложения и как не допускать при этом ошибок. Однако на все нужен живой опыт. Она просила меня:

— Ты бы поговорил с вашими докторами: что они делают со своими деньгами?

Все наши доктора, которые работали по двадцать-тридцать лет, ездили на дорогих машинах, жили в дорогих районах и в богатых домах, у многих было по два-три дома. И они скупали участки земли для будущей продажи, потому что цена недвижимости всегда растет. Накопив деньги, одни покупали рестораны, другие заводили таксопарки. Мой друг Уолтер Бессер построил многоэтажный дом в Панаме и сдавал в нем квартиры. Один из наших докторов сделал состояние на продаже породистых беговых лошадей. Другой собирал коллекцию старых дорогих автомобилей. Двое наших докторов вкладывали деньги в театральные постановки — стали продюсерами спектаклей на Бродвее. Был доктор, который купил небольшой остров в Карибском море и строил там отель с пристанью. Был один ортопедический хирург, который за 14 миллионов приобрел небольшую авиакомпанию (сумму мы узнали не от него, а из газет). А один вообще бросил медицину и стал банкиром на Уолл-стрит.

Я предполагал, что Виктор тоже имел несколько миллионов, но что он с ними делал, было для меня тайной. Мне только было известно: если дверь в его кабинет закрыта и секретарь никого не впускает, это значит, что Виктор говорит по телефону со своим маклером на Нью-Йоркской Бирже. По многим признакам я замечал, что с возрастом Виктор все больше уходил в себя, становился все более скуповатым. Он уже давно перестал платить мне каждый месяц за илизаровские операции, хотя я по-прежнему их планировал и во многом ему помогал. Правда, теперь я уже сам хорошо зарабатывал. Как-то раз я сказал ему:

— Виктор, у нас с Ириной накапливаются деньги. Скажи, что ты делаешь со своими?

Тема его сразу заинтересовала. Он доверительно сказал:

— Знаешь, в мои молодые годы заработки хирургов не были такими высокими, как теперь. К тому же при пяти растущих детях вообще невозможно стать богатым. На жизнь хватало, и этого было достаточно. Теперь дети выросли, встали на ноги, у меня

накопились деньги. И я вынужден заниматься деньгами. Самое выгодное, конечно, — это покупать недвижимость: дома, квартиры, участки. Это постоянно растет в цене и дает большой доход при продаже. Но я не люблю вникать в хозяйственные дебри. Я вкладываю деньги в акции. На бирже у меня есть свой маклер, он дает мне советы — куда вкладывать, где и сколько покупать и продавать. За это он берет 10 процентов от прибыли.

— Да, но, играя на бирже, можно все потерять.

— Можно, конечно. Вложение денег в акции — это особое искусство. Все зависит от искусства маклера. Но история показывает, что за долгий срок акции всегда растут и делают деньги. Есть так называемое агрессивное вложение — в большие и новые компании, которые быстро взлетают вверх, но могут так же быстро и рухнуть. А есть консервативное вложение — в небольшие, зарекомендовавшие себя устойчивые компании. Молодые могут позволить себе быть агрессивными, но в твоем возрасте лучше вкладывать деньги консервативно. И надо иметь такого маклера, которому можно доверять: где есть деньги, там всегда есть и соблазн воровства. Много жуликов крутятся вокруг чужих денег.

— Бессер мне рассказывал, что его маклер украл у него 250 000 долларов и сбежал с ними и с деньгами других вкладчиков.

— Вот видишь! Найди себе подходящего маклера. Мой очень занят и новых клиентов не берет.

Мы с Ириной тоже не любили дел, связанных с хозяйственными хлопотами, поэтому решили не связываться с недвижимостью. А на счету в банке деньги растут медленно, это может перекрываться ростом инфляции. Акции и облигации дают намного более высокий процент. Но где найти проверенного маклера? Нам уже были предложения от разных маклерских компаний — они звонили и даже приходили домой, соблазняя вкладыванием денег в их фирмы. Один из них, начинающий парнишка, долго рассчитывал на калькуляторе наши возможности и сказал: через полтора-два года у вас будет миллион.

Миллион?! Не то чтобы это представлялось несбыточной мечтой, но сама по себе цифра казалась нам нереальной. И, хотя он старательно уговаривал нас заключить контракт с их фирмой, как можно было доверить такие большие деньги желторотому птенцу?

Ирина поговорила со своим шефом доктором Майклом Розеном.

— Я знаю одного маклера, — сказал Майк, — на которого можно положиться. Он уже двадцать лет управляет денежными вложениями всей нашей семьи.

Так у нас появился свой маклер — мистер Мэл Бернхард из известной маклерской фирмы «Соломон — Смит — Барней». Это был уже второй человек после Джона Витковского, занявшийся устройством наших денег.

Что такое маклерские фирмы? Для непосвященных это очень сложные и запутанные организации. Кроме тысяч маклеров в них есть специалисты по стратегии рационального вкладывания. Они в курсе всех политических и экономических проблем мира и следят за всеми компаниями, выпускающими акции и облигации. Денежный рынок чувствителен ко всем событиям в стране и в мире. В зависимости он этих событий корпорации указывают, сколько он выпустили акций и какова их стоимость на сегодняшний день. Зная репутацию фирм и тенденции роста или падения их стоимости, маклеры покупают или продают акции.

Нью-Йорк — финансовая столица мира, Нью-Йоркская Биржа — ее мозговой центр. Она была организована в конце XVIII века. Борьба США за независимость от Англии дорого стоила молодым Штатам. К 1790-м годам у них был большой внешний долг. Чтобы его покрыть, правительство выпустило облигаций на сумму 80 миллионов долларов. Среди населения началась бешеная спекуляция этими облигациями. Группа из двадцати четырех маклеров решила взять процесс под свой контроль, чтобы избежать разорения. Они заключили между собой договор, установив минимальные проценты выгоды от продажи и обязались координировать ведение сделок. Этот договор они подписали под платановым деревом на тихой улочке Уоллстрит, на окраине города. Уоллстрит — «улица стены» — так называлась потому, что на ней стояла деревянная городская стена. Захватив инициативу торговли облигациями и другими ценными бумагами, маклеры потом вели все дела в кофейне на той же улице. Все было организовано просто: заходи и покупай или продавай. Так родилась Биржа. С ростом города и она росла и становилась все более влиятельной. Тысячи посыльных бегали туда и обратно, разнося вкладчикам сведения от маклеров и принося им обратно указания.

В течение ста лет на Уоллстрите выросли, почти вплотную друг к другу, 30-40-этажные здания крупнейших банков страны и мира, и эта улица стала известна по всему свету как символ капитализма. Посыльных сменили телеграф и телефон. На Бирже продавалось и покупалось так много акций и ценных бумаг, что стало трудно определять общий ход ежедневных операций: куда шел денежный рынок — вверх или вниз. Поэтому в 1884 году аналитики биржевого рынка Чарльз Доу и Эдвард Джонс предложили способ определения финансовых тенденций дня:

сложить цену акций 30 наиболее активных корпораций и разделить на цифру, которая отражает разницу дневных цен (сколько вверх, сколько вниз). Цена бумаг остальных компаний обычно следует, с некоторыми колебаниями, за этими основными показателями. Это определение с тех пор называется «Индекс Доу-Джонса» и диктует финансовую погоду по всему миру.

Теперешнее массивное здание Нью-Йоркской биржи было построено в 1903 году. Однако до Первой мировой войны самой большой биржей мира считалась Лондонская. Но война обескровила финансовую систему Европы, один доллар равнялся тогда миллионам немецких марок, и с 1918 года Биржа Нью-Йорка заняла лидерство в мире по объему купли-продажи акций. С началом эпохи электроники по стене Биржи побежали цифры светового табло, теперь в огромном зале намного меньше маклеров — большинство из них могут следить за ростом и падением цен и проводить свои операции не покидая своих офисов, по каналам связи. Вкладчики могут сами следить за состоянием акций по экранам телевизоров (для этого есть специальные каналы) и по Интернету. Но в зале Биржи до сих пор есть маклеры, которые там работают. За день через руки одного такого маклера проходит акций и ценных бумаг на сумму в среднем около двадцати миллионов долларов. А общая сумма дневных операций составляет триллионы долларов.

С тех пор как мы приобрели акции, Ирина с энтузиазмом следила за показателями Доу-Джонса и часто по телефону обсуждала покупки-продажи с нашим маклером Мэлом. Она не только его слушала, но и давала ему деловые предложения, с которыми он часто соглашался. Мэл работал в своем офисе в соседнем штате Нью Джерси, и мы его ни разу не видели. Чтобы закрепить отношения, я послал ему две книги моих воспоминаний на английском. Они с Ириной обменивались семейными новостями. При современном ведении даже самых важных дел визуальные контакты не обязательны. Мэл присылал Ирине отчеты о купле-продаже, она аккуратно вносила их в свои записи. У меня никогда не было времени вникать в это. Я только поражался ее умению и терпению. А иначе деньги и не сделаешь.

Но не все наши деньги были у Мэла. Часть лежала на счету Ирины в ее Колумбийском университете, другая — в моем пенсионном фонде. Мэл пенсионными фондами управлять не умел. Для этого нам пришлось нанять третьего финансового советника. Все трое стоили нам несколько тысяч в год, но мы сами не могли делать то, что делали они.

Однажды вечером я, как обычно, работал над книгой, а Ирина сидела над своими финансовыми записями у себя в комнате. Я

почувствовал, как она подошла ко мне сзади, но, все еще занятый, не обернулся.

Ирина сказала:

— Знаешь, у нас уже есть миллион.

Тогда я обернулся: интересно узнать, что ты стал миллионером. Мы приехали в Америку четырнадцать лет назад и довольно долго были бедными. Большие деньги я стал зарабатывать всего четыре года назад. Я никогда не думал, что стану миллионером. И вот — выдержка и упорство принесли нам плоды.

Меня часто спрашивали: за что я люблю Америку? Как же ее не любить, если она дает людям такие возможности! Я смотрел на мою Ирину и думал о том, что хотя львиная доля в этом миллионе была моей, но ведь это ее усилиями наши деньги сделали деньги.

Утром на работе я отозвал в сторону администратора Мошела:

— Эйб, помнишь, что ты сказал мне, когда я начал свою частную практику?

— Конечно. Я сказал: «Владимир, я сделаю тебя миллионером».

— Так вот: вчера я узнал, что у нас уже есть миллион.

— Мазл Тов! — воскликнул он по-еврейски.

Интеллектуальна ли Америка?

…И лишь посредственность одна
Нам по плечу и не странна.

А.Пушкин

К середине 1990-х в густом потоке беженцев из России стало приезжать все больше высокообразованных, интеллигентных иммигрантов-пенсионеров. Они оставляли насиженные места и посты. Некоторые ехали к своим взрослым детям, эмигрировавшим раньше: те уже успели пустить корни в Америке, стали докторами, юристами, программистами.

Почти все пенсионеры провозили разными путями крупные суммы денег, вырученных от продажи квартир, дач и автомобилей, скрывая их от иммиграционных властей. Декларировать эти суммы им было невыгодно — тогда они автоматически лишались пособия, дешевого жилья и, главное, медицинской страховки. Этот их «секрет» был известен всем, в том числе и властям, но доказать обман было невозможно. И упрекать людей за него тоже было бы неправильно, потому что провозимых денег все равно было недостаточно для обеспеченной американской жизни.

Приехав, пожилые русские интеллигенты сразу попадали в число нуждающихся в помощи по программе «Велфер», начинали получать хоть и низкое, но регулярное пособие, въезжали в квартиры в домах для бедноты. Большей частью они селились в районах Бруклина и Квинса. Полуизолированное окружение напоминало добровольное гетто. В очередях за получением пособий и «фудстемпов» (бесплатных талонов на продукты) чуть ли не через одного стояли профессора, доктора и кандидаты наук. Прилично одетые и держащиеся с достоинством, они толпились вперемежку с черной беднотой, часами ведя между собой интеллигентные разговоры. Странная и грустная это была картина.

Люди они были разные, но одно у них было общее — мало кто из них говорил по-английски.

Приехали и некоторые мои московские знакомые, ученые, доктора, профессора, которым теперь было за шестьдесят. Они тоже привезли деньги, тоже их скрывали и тоже не знали английского. Я радовался встрече со старыми друзьями и

старался поддерживать их чем мог.

Эти пожилые иммигранты часто обращались ко мне за медицинской помощью.

— Мне в Москве профессор N. прямо сказал — поезжайте в Нью-Йорк к Голяховскому, он вам сделает операцию лучше, чем ее могут сделать в России.

Я охотно откликался на просьбы моих коллег, лечил больных и беседовал с ними, стараясь узнать от них побольше об атмосфере жизни в обновлявшейся России. Многие из них доверительно говорили:

— Знаете, в Америке, очевидно, нет интеллигентных людей — просто не с кем поговорить.

Или:

— Американцы слишком заняты своим бизнесом, с ними неинтересно общаться, беседы на интеллектуальные темы их вообще не интересуют.

Или даже такое:

— Странное общество в Америке: страна технически очень высоко развита, а люди какие-то недоразвитые.

На самом деле это недовольство и недоумение объяснялись тем, что «американский круг» их общения ограничивался мелкими чиновниками да кассирами, выдававшими им пособие. Ну как при незнании языка и при жизни в русском гетто Бруклина они могли встретиться и побеседовать с культурными американцами? Я мягко объяснял:

— Пройдет немного времени, вы освоите английский язык, войдете в жизнь американского общества и тогда, я уверен, сможете встретить интеллигентных американцев.

Ответы на это были разные. Один мой знакомый говорил:

— Да, надо уважать страну, которая дала нам приют, поэтому надо выучить ее язык.

Формулировка странная, я бы сказал как раз наоборот: надо перестать уважать себя, если не выучить язык страны, в которой живешь.

Другие возражали мне:

— Как я смогу учить язык в моем возрасте? Память уже не та!.. Вам хорошо говорить — вы-то приехали уже со знанием английского.

— Нет, я его совсем не знал, выучил здесь.

— Да? Ну, вы же были моложе.

— Ненамного. К тому же я еще и работал, и сдавал экзамены.

— Не знаю, как вам это удалось. Наверное, у вас к языку особые способности.

— Нет, обычные. Просто мне без языка было не обойтись.

В действительности все дело в том и заключалось, что мне язык был необходим, а им — совсем не нужен. Они не хотели или не умели себя заставить сконцентрироваться на таком непривычно занятии, как запоминание слов. Хотя при этом одна из тех интеллигентных иммигранток с уверенностью заявляла:

— Английский язык беднее русского, в нем намного меньше слов. (Для справки: в английском — самое большое количество слов.)

Трудно заставить себе изучить чужой язык, да еще в пожилом возрасте. Они не давали себе такого труда и легко удовлетворялись привычными интеллигентскими сборищами на кухне (то, что молодежь называет словом «тусовка»).

И тот мой знакомый, который говорил, что «надо уважать страну, давшую тебе приют», английский тоже не выучил. И все они оставались при том мнении, что интеллигентных людей в Америке мало, всех интересует только бизнес и ничего больше.

Когда я только собирался эмигрировать и задумывался о своих возможностях вписаться в американское общество, я говорил Ирине:

— Я верю, что Америка — страна больших интеллектуальных возможностей.

На это она мне резонно отвечала:

— Да, если выучить английский.

Вот интересный вопрос: насколько хорошо может освоить английский язык человек, приехавший в Америку в немолодом возрасте и активно вовлеченный в жизнь?

Изучение языка — дело не такое трудное, если только в него погружаться полностью. Язык должен окружать тебя, звуча по радио, на телевидении, в газетах, журналах и особенно в разговорах. Очень скучно постоянно заглядывать в словарь, учить слова, учиться их писать, отрабатывать произношение. Но нельзя останавливаться, к языку надо иметь интерес.

Одним из моих первых крупных везений в Америке была встреча с истинным американским интеллектуалом, юристом Элланом Графом. Он в метро услышал наш с Ириной разговор, подошел и заговорил с нами по-русски, с характерным американским акцентом. Я спросил:

— Откуда вы знаете русский?

— Я его выучил, читая Пушкина и Толстого, а потом два раза побывал в России.

Про Эллана и его помощь нам я писал в книге «Русский доктор в Америке». Потом у меня были еще встречи с интересными людьми, и я даже мог их понимать, но все еще не умел говорить. У американцев есть поговорка: «If your vocabulary

is limited your potential for success is limited» — «Если твой словарный запас ограничен, твой успех ограничен тоже». Мой словарный запас был так ограничен, что я ощущал себя почти немым и очень страдал от этого. Ведь самое большое моральное удовлетворение приносит образованному человеку возможность самовыражения. Первые годы в Америке у меня ушли на изучение языка. Мне помогала Ирина, она знала английский хорошо, но продолжала его усовершенствовать. Она сказала мне: как бы там ни было, но считать в стране, в которой живешь, необходимо только на ее языке — иначе кто тебя поймет? Я это стал делать и продолжаю делать каждый день во время утренней зарядки. Теперь мне даже трудно произнести по-русски номер своего телефона.

Пополняя словарный запас, я часами сидел с наушниками, слушая по радио доктора философии Бернарда Мельцера. Люди звонили ему со всех концов Америки, задавали вопросы по любым поводам, и он всем давал советы. В этом был для меня особый интерес: не только слушать английскую речь, но слышать ее от разных людей, а заодно знакомиться с разными проблемами американской жизни. Каждый час его передачи слушали шестьсот тысяч людей и, наверное, хуже всех понимал его я. Но все равно слушал и слушал — пока не стал понимать. В английском есть глагол «persevere», означающий «упорствовать». Вот что надо для изучения языка!

Английский по-настоящему стал поддаваться мне, когда я поступил на первую работу, техником в госпиталь. Каждодневное общение с американцами отшлифовывало мой ломаный английский. Я схватывал слова буквально из воздуха, на лету: из вопросов ко мне, из услышанных разговоров. И я старался сразу их применять. У одного из молодых докторов, Дэниса Фэбиана, было красивое и ясное произношение, я любил слушать его. Однажды я услышал, как он сказал:

— I appreciate this.

Перевести эту фразу можно как «Я ценю это» (в смысле благодарности и уважения). Слово «appreciate» я прежде не слышал, и в произношении Дэниса оно мне очень понравилось Я стал повторять его про себя, как бы медленно пропуская через большой круг своего кровообращения, пока слово не осело в клетках мозга. С того дня я его уже не забывал и часто применял (возможно, даже не всегда к месту). И так бывало почти с каждым новым словом. Для моих изношенных мозговых клеток это оказалось тяжелой нагрузкой. Зато когда мне потом выпадала возможность побеседовать с интеллектуальными американцами, я уже не чувствовал себя немым, я мог выразить себя. Тогда-то я

понял, что в Америке, особенно в Нью-Йорке, есть много интеллектуалов, с которыми интересно говорить на различные темы.

Иммигранты-интеллигенты из России необоснованно обвиняли американцев в сугубо деловом настрое ума. У большинства американцев действительно практицизм ума превалирует, они любят и умеют делать деньги. Но вправе ли обвинять их в этом интеллигенты из бывшего Советского Союза, которые сами никогда не имели возможности успешно заниматься бизнесом из-за бедности жизни?

До XX века Америка была молодым государством, изолированным от остального мира двумя океанами. Свобода и природные богатства страны привлекали все большее число иммигрантов; люди бежали в Америку от голода и притеснений. При таком составе населения в ней не было устойчивых культурных традиций. Поэтому в интеллектуальном развитии Америка долго отставала от Европы. Но она всегда была и оставалась страной возможностей — и американцев сплотила традиция делать деньги. Их интеллектуальный уровень поднимался вслед за быстрым индустриальным и социальным развитием. А когда в Европе началась Вторая мировая война, интеллектуальные силы Америки сделали резкий рывок вперед и страна вдруг стала научным и культурным лидером в мире. Во многом этому, конечно, способствовал прилив новых беженцев — интеллигентов преследуемых фашистами из Германии, Италии, Франции, других стран. В Америке поселились Альберт Эйнштейн, Энрико Ферми, Зигмунд Фрейд, Лион Фейхтвангер, Томас Манн и много других знаменитостей. О том периоде сложили афоризм: «Гитлер благословил Америку» (дав ей приток инттеллектуалов). К концу века больше половины всех Нобелевских премий по науке было присуждено американским ученым.

Американское классовое общество представляет собой пирамиду, вершину которой занимает финансовая и интеллектуальная элита. Научная и культурная жизнь страны финансируется в основном из частных источников. Такие богачи, как Джон Рокфеллер, Эндрю Карнеги, Джон Пьерпонт Морган, Генри Фрик, Соломон Гугенхайм, Пол Гетто, Уолтер Анненберг, интеллектуалами, возможно, не были. Но они жертвовали сотни миллиардов долларов на создание библиотек, музеев, галерей, театров, концертных залов, природных заповедников, университетов и научных центров. Эти пожертвования дали возможность комфортно жить и плодотворно работать многим поколениям ученых, писателей, художников и артистов.

Некоторые из них приехали из Европы безвестными молодыми людьми, но получили образование в американских университетах и достигли успеха.

Америка — очень большая страна с неравномерным распределением интеллектуальных сил, что, впрочем, характерно и для других стран. Интеллектуальная, научная и артистическая элита концентрируется в Нью-Йорке, Бостоне, Лос Анжелесе, Далласе и еще в нескольких городах. В остальной Америке интеллектуальный уровень заметно слабее. В центре страны есть штаты с таким низким средним культурным уровнем, что в них до сих пор не признается и не преподается эволюционная теория Дарвина! Это фундамент пирамиды общества, позволяющий сохранять устойчивость и подниматься еще выше к интеллектуальной вершине.

В Америке не только общество, но и уровень образования резко расслоены. Здесь нет уравниловки — «все для всех». В лучшие колледжи и университеты (так называемая «Ай Ви Лига», традиционная группа избранных высших учебных заведений) принимаются отборные молодые силы. Там выявляются наиболее перспективные ученики, им создаются наиболее благоприятные возможности, на их образование тратится львиная доля средств. Остальные студенты получают по способностям образование среднего уровня. Такая послойная система создает атмосферу соревнования. На самый верх могут попасть и наиболее успешные молодые иммигранты, включая молодежь из России.

Зайдя в любой книжный магазин большого американского города, можно сразу понять, какое изобилие интеллектуальных знаний предоставляет читателям Америка (не принимая во внимание, конечно, художественную макулатуру). И какие великолепные издания!

Несколько раз я пытался уговорить своих интеллигентных знакомых из России:

— Давай заглянем в «Барнс энд Нобель». — Это — крупнейшая книготорговая фирма.

— Зачем?

— Посмотрим новые издания.

— А книги на русском там продаются?

— Нет, только на английском.

— А-а, на английском. Тогда для чего мне туда идти? Мне это не надо. У нас на Брайтоне тоже полным-полно хороших книг, и все на русском.

Чего ж удивляться, что некоторым интеллигентам из России общество Америки представляется недостаточно интеллектуальным — они его не знают и знать не собираются.

Внучка

Моей Ирине исполнилось шестьдесят — в это трудно было поверить. Впрочем, мы всегда поражаемся изменениям первой цифры нашего возраста и трудно привыкаем к мысли, что позади еще одно десятилетие…

Когда мы встретились, ей только что исполнился двадцать один — это было в 1953-м. Я окончил 2-й Медицинский институт и перед началом работы в Карелии приехал отдыхать в Дом творчества писателей «Гагра», на Черном море. Лавина жизни катилась мне навстречу, впереди маячили докторская карьера, писательские свершения, может, и еще что-то. Но о чем я тогда не помышлял — это о большой любви и о семье.

Ранним утром 31 июля я вышел на пустынный пляж — поплавать до завтрака. Ленивые ласковые волны набегали на гладкую гальку берега, вдали, за буйком, стилем «кроль» плавала какая-то девушка. Нельзя было рассмотреть ничего, кроме белой купальной шапочки и взмахов рук, но я понял, что она новенькая в нашем санатории. А что может быть привлекательней новенькой для отдыхающего на море молодого парня? Хоть я и не очень хороший пловец, но вдохновенно кинулся в воду и поплыл в ее направлении стилем «брасс».

— Девушка, почему вы заплыли так далеко одна? — спросил я, кружа вокруг нее.

«Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула». И улыбнулась. Ту улыбку я запомнил на всю жизнь. Улыбка была очень милая и умная. Пораженный ею, я влюбился мгновенно и навсегда. Так Ирина стала моей Золотой рыбкой. Спустя много лет мать Ирины показала мне ее письмо тех дней: «Есть здесь один симпатичный молодой человек, кончил медицинский, пишет стихи». Чего же больше: симпатичный! Говорят, что «браки заключаются на небесах». Если это так, то ангелы на небесах порешили наш будущий брак, неведомо для нас обоих, именно в момент ее улыбки в море. На земле нам пришлось ждать еще три года, пока я не вернулся в Москву после работы в Карелии. Оттуда я писал ей страстные письма, любовные стихи и сонеты в подражание Шекспиру:

Ты не цени во мне поэта, Когда найдешь удачным стих, Согрет он лаской глаз твоих, Твоя, твоя заслуга это. Но оценить любовь сумей, Моей поэзии начало, И, чтоб строка смелей звучала, Люби, люби меня смелей…

Когда я вернулся, нас вихрем завертела такая бешеная волна страсти, что мы сами не осознали, как через месяц стали мужем и

женой, без всякой свадьбы. А через год Ирина родила сына, Владимира-младшего.

И вот — прошло тридцать девять лет с момента той улыбки. Нам досталась большая и сложная жизнь, многое происходило за эти годы с нами и вокруг нас: мы достигали и теряли, под пятьдесят начали жизнь сначала, были бедными и стали состоятельными, я два раза становился профессором хирургии и написал несколько книг, Америка нас приняла, а наша бывшая страна развалилась. Но самое главное было в том, что мы всегда были вместе, ни при каких обстоятельствах не покидая друг друга. Наша привязанность друг к другу с годами росла, и между собой мы даже шутили, что, как сиамские близнецы, срослись друг с другом. А ведь сколько людей расходились на наших глазах! В XX веке священное единение людей — семья — перестало быть священным. Но мы сохранили святость нашего союза.

И все было бы у нас хорошо… кроме одного: не было у нас внуков. Тридцатипятилетний наш сын не женился и о детях не помышлял. А есть такая прекрасная житейская истина: доживешь до внуков — считай себя счастливым. Одно из самых естественных желаний старости — видеть маленьких деток твоих детей. После шестидесяти начинаешь сильно беспокоиться — может, внуков тебе никогда и не дождаться.

Моей Ирине уже шестьдесят. А она все еще хороша, весела, остроумна — все еще дама во всей красе. В Америке по традиции мужчины никогда не празднуют свои дни рождения, зато женщины празднуют всегда и возраст свой не скрывают. Я предложил:

— Давай, в честь твоего юбилея устроим ужин в «Зале Эдварда», в отеле «Плаза».

Когда-то, в 1979 году, мы праздновали в этом роскошном ресторане золотую свадьбу моих родителей — последний праздник отца. Тогда для нас это было безумной роскошью, мы решились на нее, скрепя сердце и опустошив карманы. Теперь этот ресторан был местом наших привычных встреч с людьми.

Незадолго до праздника сын преподнес нам большой сюрприз:

— Эй, вот какое дело: моя гелфренд Линда беременна, и мы решили пожениться. Что вы об этом думаете?

Вопрос, конечно, был риторический: сначала сын поставил нас в известность о своем решении, а потом спросил нашего совета.

— Раз вы так решили, следуйте вашему решению. Это ваша жизнь, мы желаем вам счастья.

Но все-таки мы насторожились: Линда американка, а немногие русские парни женились на американках — сказывалась большая разница в привычках и взглядах на жизнь. Владимир нам почти ничего про нее не рассказывал, мы только знали, что ей около сорока, на четыре года больше, чем ему, наверняка у нее много всего позади. Мы знали, что они почти год живут вместе, что она из семьи среднего достатка, содержит себя сама, работая в книжном магазине на Бродвее (где они и познакомились), — вот и все. Родителям всегда хочется, чтобы у детей все было не хуже, чем у них самих. Мы женились по страстной любви, но с его стороны мы ничего этого не видели. А что с ее стороны — кто знает? Даже сам тон сообщения нам говорил, что решение об их союзе было каким-то компромиссом. А я всегда считал, что, хотя жизнь и состоит из сплошных компромиссов, но в двух случаях на компромиссы идти нельзя: в выборе специальности и в выборе спутника жизни. И то, и другое может потом обернуться неудовлетворенностью и недовольством…

И все-таки с того момента в нас закралась радость: наконец-то мы станем дедушкой-бабушкой!.

Шеф Ирины в ее лаборатории доктор Майкл Розен прислал ей шестьдесят роз и устроил в ее честь прием у себя в загородном доме. Весь тот солнечный день мы плавали в большом бассейне, ели жаренное на гриле мясо и цыплят, болтали, смеялись, говорили тосты… и крепко выпили. А через несколько дней пригласили в ресторан всех, кто помог нам в устройстве нашей жизни в Америке. Туда наш сын впервые привел и Линду (как я когда-то привел в родительский дом беременную Ирину). Линда, высокая блондинка (крашеная, конечно), симпатичная, несколько растерянная, — впервые с нами. Каково-то будет с ней нашему сыну? В ней не было сразу подкупающих простоты и шарма, и улыбка у нее холодная, совсем не такая обворожительная, какая была у Ирины в минуту нашего знакомства в море. Но первое впечатление бывает обманчивым, и мы ее поздравили, расцеловали и представили гостям:

— Это жена нашего сына.

Получился не только юбилей, но и знакомство с будущей семьей — на следующий день они уезжали в сокращенный до двух недель «медовый месяц». Вернувшись, молодые сняли крохотную квартирку в Манхэтгене. Мы дали им деньги на обзаведение хозяйством и сказали Владимиру:

— Мы будем оплачивать половину стоимости квартиры.

Лучше давать деньги взрослым детям из теплых рук, чем оставлять, когда руки станут холодными…

Вскоре выяснилось, что у них будет дочка. Возбужденный сын

принес показать нам снимок внутриматочного плода, сделанный при ультразвуковом исследовании:

— Вот, смотрите — это девочка, девочка!

Честно говоря, глядя на снимок, понять что-нибудь было трудно.

Сын так радовался, что мы поняли: пришло и ему «биологическое время» стать отцом. А у нас с Ириной девочки не было, и мы тоже заранее радовались будущей внучке.

За два месяца до рождения внучки мы с Уолтером Бессером полетели на его родину, в Панаму. Он построил там дом-башню в 14 этажей для сдачи квартир, обзавелся рыбной фермой для разведения форели и большим участком леса для выращивания красного дерева. Хозяйство требовало его присмотра, и он часто туда летал. А меня пригласили для участия в конгрессе латиноамериканских хирургов и показательной операции по методу Илизарова.

Уолтеру 50 лет, его отец, польский еврей, хотел иммиигрировать в Америку в 1935 году, но его не впустили, он осел в Панаме и женился там на местной уроженке. Уолтер поэтому слегка смуглый. Он проходил стажировку в Нью-Йорке и стал хирургом-виртуозом. Уолтер очень популярен среди докторов Панамы, он веселый и дружелюбный человек, его там все любят и ценят. Встречала нас группа его коллег и учеников. Мы сразу попали в их жаркие, как панамский климат, объятия, а затем оказались в китайском ресторане.

Большинство жителей Панамы — смуглые метисы, смесь латинских кровей с африканскими. Но в городе Панама с населением в 400 тысяч и высокими домами очень много китайцев. Они давно там осели, «опанамились», привнесли в местную жизнь многое из китайской культуры, а уж китайская кухня господствует повсюду. К моему удивлению, оказалось там и многочисленное еврейское общество с синагогами и традициями.

Панама расположена близко к экватору, жара там дикая и постоянная. Этот край был открыт испанцем Васко Нуэньозом Бальбода, в 1513 году он прошел его поперек. Однажды с одной из гористых вершин он увидел вдали водный простор — так был открыт Тихий океан, о котором европейцы до того не знали. Потом Бальбода лишился головы по приказу испанских властей. Но теперь ему воздвигнут величественный памятник. Чуть ли не с тех самых пор люди мечтали создать водный путь между двумя океанами. Государство Панаму искусственно создала Америка в 1903 году, отделив от Колумбии. Штатам нужна была эта территория, чтобы построить знаменитый Панамский канал длиной 85 километров, чудо инженерной техники. Посередине

его большое озеро с уровнем воды на 26 метров выше океанского. Поэтому устроена была сложная система шлюзов. Тысячи американцев погибли на стройке от малярии и других тропических болезней.

В Панаме всего два миллиона жителей, из них 25 процентов заняты на работе на канале. Своей валюты нет — в ходу американские доллары. Главная статья доходов — пошлина за прохождение канала: с каждого корабля берется по 20–30 тысяч долларов. Другой источник — наоборот, беспошлинная продажа товаров в зоне канала. Само собой, процветает всякого рода спекуляция, совершается много грязных торговых сделок, в том числе с наркотиками. Неудивительно, что в Панаме постоянно происходят смены политической власти.

Мало кто в Панаму заглядывает, большинство туристов видят лишь канал во время круизов на океанских кораблях. Поэтому мне было интересно побывать в этой стране.

Три дня, что я был на конгрессе, я выезжал на канал. Тогда он контролировался американской охраной (позже его передали панамским властям). Как завороженный, я смотрел на гигантские шлюзы, по которым буксиры тянули океанские лайнеры и огромные нефтяные танкеры. Даже по прошествии восьмидесяти лет канал производил неизгладимое впечатление: создать такое чудо под силу только Америке.

Из города Панама на машине мы поехали на север страны, в городок Давид, на границе с Коста-Рикой. Там я должен был делать операцию. Дорога пролегала через джунгли, попутные, машины встречались редко, зато попадалось много непуганых зверей. Мы сделали только одну остановку.

— Владимир, хочешь увидеть русскую церковь? — спросил Уолтер.

— Русскую церковь? У вас в Панаме?!.

Действительно, на краю тропического леса, у жаркой тихоокеанской лагуны, стояла небольшая церквушка в типичном русском стиле, с верхушкой-луковкой и крестом. Никак она не вязалась с таким фоном, но — стояла же! Рядом был маленький отель и ресторан. Хозяин вышел нам навстречу: крепкий, смуглый, с большим крестом на волосатой груди. Когда я заговорил с ним по-русски, он опешил:

— Откуда ты? Кто ты?

Уолтер хохотал, наблюдая эту фантастическую сцену. Первым делом хозяин, чисто по-русски, достал из заморозки две заледенелые бутылки водки и разлил всем по стакану:

— Эту водку мне привез русский епископ из Москвы на открытие моей часовни.

Жара стояла дикая, но пришлось выпить: нельзя обижать человека, который годами не может ни с кем поговорить по-русски. Под второй и третий стакан с хорошей закуской он рассказал:

— Я сын русского морского офицера, родился в Маньчжурии. В России сам никогда не был, но вырос настоящим русским мужиком, потому что в семье крепко держались за родной язык и традиции. Потом я плавал вокруг света, а на старости лет решил осесть здесь, завел себе ресторан с гостиницей — так жить веселей. А часовню построил в память об отце. Об этом узнали в Москве, приехала делегация Синода, чтобы ее освятить, привезли ящики с водкой. Мы с ними здесь неделю пьянствовали — ну и крепко же пьют ваши попики!

Не знаю, как попики, но я проспал на заднем сиденье машины весь остаток пути.

Госпиталь города Давид расположен в одноэтажном кирпичном здании, неплохо оснащен, однако инструменты для операции я предусмотрительно привез с собой. Мы оперировали с двумя местными хирургами, группа докторов из соседних городков приехала посмотреть на новую операцию. Она была долгая и тяжелая, притом надо было все объяснять. И, хотя кондиционер работал на полную мощь, мозги мои раскалились так, что, закончив операцию, я сразу полез, как бегемот, в бассейн у дома хирурга и долго не хотел оттуда вылезать.

На другой день на маленьком самолете я перелетел над джунглями обратно в город Панаму. Было еще одно дело: на тысячу долларов, которые я заработал за операцию, я хотел купить в беспошлинной зоне Канала подарок нашей невестке Линде — скоро ей рожать девочку, нашу внучку. С женой одного из докторов, китаянкой, мы поехали в китайские ювелирные лавки, где она знала всех. Это мир, в котором нужно держать ухо востро, и не только ухо, но и карман. Но с моей сопровождающей лавочники говорили дружески, и мне удалось выгодно купить Линде серьги с крупным жемчугом.

В американских госпиталях отцам разрешается присутствовать при рождении детей, и не только отцам, но и другим ближайшим родственникам. И они ходят на роды, как на спектакль. Какой в этом смысл, я не понимаю. В России отцы не видят не только роды, но несколько дней не видят своих детей и жен. Я приносил в роддом Ирине продукты и обменивался с ней записками через санитарку. Наш сын раздумывал: следовать ли ему американской традиции? Несколько дней накануне исторического события он звонил нам каждый час. И вот 18 апреля 1993 года, в пятнадцатую годовщину со дня нашего

приезда в Америку, родилась наша внучка. Родители назвали ее красивым американским именем Кортни. Мы с Ириной приехали к ним с работы. По дороге я заказал корзину цветов — от сына (он от волнения все позабыл) и вручил молодой матери коробочку с серьгами, а молодой отец вдел их ей в уши, приговаривая:

— Это настоящий жемчуг!

Когда привезли на первое кормление нашу Кортни, мы склонились над ней и с умилением вздохнули: начинался еще один этап нашей жизни, жизни дедушки и бабушки.

Золотое десятилетие американской медицины

Время, когда я активно вел частную практику, — с конца 80-х до середины 90-х годов — совпало с золотым веком американской медицины. В этот период были достигнуты новые данные научных исследований, госпитали и офисы оснащалась новыми высокоэффективными препаратами, инструментами и аппаратурой. На этом фоне лечение быстро дорожало, доктора богатели. Медицина в США все больше становилась «рыночным продуктом», стоимость лечения как товара, диктовалась свободными законами рынка. И эта стоимость росла быстрее, чем общий национальный доход и инфляция. При росте цен на лечение увеличивалась и стоимость страховки от ошибок и осложнений, а это еще удорожало лечение. За прием в офисе доктора брали уже по 300–400 долларов, стоимость хирургических операций тоже намного возросла. Доктора, конечно, были довольны. Но такая дороговизна лечения все меньше соответствовала социальной структуре общества: все больше людей не имели страховок на лечение. Поэтому приспособление структур медицины к изменениям в обществе становилось одной из самых чувствительных социальных программ политической жизни Америки.

Президент Билл Клинтон чуть ли не на другой день после своей инаугурации в 1992 году начал интенсивную кампанию по реорганизации медицины (в основном, руками своей жены Хиллари). Идея была прямо-таки рыцарская: дать всему населению одинаковый доступ к лечению, для многих бесплатный. Доктора в нашем госпитале заволновались: как это отразится на заработках? Обычно довольно безразличные к любым политическим новостям, теперь они все чаще сбивались в группки и живо обсуждали последние сообщения:

— Ты слышал?..

— Ты читал?..

— Как тебе это нравится?..

— Слушай, эта Хиллари, она же совсем сумасшедшая!..

— Чего они вообще там думают, в Белом доме?..

— Теперь я жалею, что голосовал за Клинтона…

Никогда прежде я не видел такого общего возбуждения среди моих коллег — точная копия потревоженного пчелиного улья. Молодые наши резиденты сразу сникли и отпускали горькие шутки:

— В крайнем случае стану подрабатывать водителем такси…

— Детей в медицину не пущу: одним идеализмом сыт не будешь…

— Скажи это Хиллари…

Новые планы политиков воспринимались докторским миром как посягательства на личные права в нашей свободной профессии. Из-за угрозы удара по карману общий настрой был негативный и даже панический. Однажды вечером, в перерыве между операциями, мы пили кофе в комнате для хирургов. Разговор зашел все на ту же тему. Один из докторов обратился ко мне:

— Слушай, Владимир, эти клинтоновские идеи напоминают мне то, что ты описал в первой книге «Русский доктор», — советскую медицину.

Я ответил:

— Понимаешь, любая уравниловка — уже элемент социализма: как нам вдалбливали в России, «каждому по потребности».

Мой собеседник довольно злобно продолжал:

— Вот я и говорю, «каждому по потребности», без учета того, что некоторые из этих «каждых» целыми семьями живут, не работая, на пособии.

— Так ведь сам по себе институт пособий — узаконенное полусоциалистическое вкрапление в структуру капиталистического общества, — возразил я.

Тема заинтересовала всех присутствующих, заговорили все сразу:

— Да, хорошие времена доброго старого капитализма прошли.

— Чем больше мы работаем, тем выше налоги.

— А на кого они идут? На бездельников!

— Скоро нас принудят лечить их всех бесплатно.

— С самого начала было видно, что в Белый дом пробрался социалист.

В это время в комнату вошел толстый доктор Деберман, желчный и многословный человек. По своему обычаю, он тут же вклинился в разговор, никого не слушая и всех перебивая:

— Да я каждые е…ые пять центов зарабатываю своим потом! — закричал он, — а теперь они хотят, чтобы я работал на них чуть ли не задарма!

Кое-кто скептически улыбнулся, зная, что Деберман держал дорогих скаковых лошадей и спекулировал на их купле-продаже. Да и многие другие, сидевшие рядом, имели не меньше него. Поэтому они еще больше распалялись. Мне было это любопытно:

я хорошо помнил бедную и трудную жизнь докторов в Советском Союзе. Неужели эти богатые американцы действительно считали, что их собираются обобрать и пустить по миру? Ими руководили два чувства: любовь к большим деньгам и нежелание признать, что социалистические элементы так или иначе все больше проникают в американское общество. Эти элементы — уступка богатых разрастающемуся бедному классу. Для бедняков древнеримский лозунг «Хлеба и зрелищ!» оставался в силе всегда и везде. Но теперь в Америке к нему прибавилось еще одно понятие: «Хлеба, зрелищ и бесплатной медицины!»

Вот почему отделения «Скорой помощи» всех городских госпиталей забиты беднотой, не имеющей никаких страховок. Они идут туда, зная, что доктора и сестры там обязаны их лечить наравне с богатыми. Без уступок этой группе населения может произойти все, что угодно: не выберут сенатора, не выберут губернатора, даже президента. В конце концов недовольство бедных может выплеснуться на улицы, что не раз случалось. Медицина в структуре современного общества — его чувствительный нерв: на ней, в первую очередь сказываются любые общественные сдвиги. Поэтому политики стараются использовать ее как рычаг для своих выборов, вновь и вновь обещая эту подачку бедным.

Однако благородным клинтоновским идеям реализоваться не дали. Вместо этого возникла странная структура НМО — Организация по управлению медициной, частная бюрократическая страховая система промежуточной регуляции стоимости лечения. Она встала между докторами и пациентами, как цензура, и взяла под свой контроль оплату страховок докторам. НМО призвана была рационально регулировать спрос и предложения в сфере медицины. Но медицина — не товар, а эта компания стала ограничивать докторов в их правах и диктовать им, что и как делать и сколько за это получать.

Еще в начале ее организации я посоветовался с Виктором:

— Как ты думаешь, стоит заключать договор с этой новой системой?

— Знаешь, Владимир, пусть молодые доктора играют в эти игры, а нам с тобой в нашем возрасте это уже не нужно.

— Хорошая идея, Виктор.

— Еще одна хорошая идея!

Как во многих случаях, он оказался прав: бессмысленность новшества выяснилась уже через пару лет. Изо всех наших докторов только мы с ним продолжали брать относительно небольшие деньги с наших пациентов, зато нам никто ничего не диктовал.

Золотой век американской медицины и ее структурные изменения почти не коснулись докторов-иммигрантов, приехавших из Советского Союза. Как они осели в своих офисах в районах Бруклина и Квинса, так и продолжали принимать там русских иммигрантов. А у них были страховки «Медикейд» и «Медикер», которые как платили мало, так и продолжали. Но зарабатывали эти доктора совсем неплохо: чтобы побольше выжимать из «Медикейда» и «Медикера», они наловчились делать пациентам ненужные исследования и процедуры. Многие пациенты этого не понимали: раз доктор назначил что-то, значит — надо. Другие понимали обман, но считали это чем-то нормальным. Они привыкли к бесплатной советской медицине и считали, что так должно быть и в Америке. На самом деле в России деньги были «государственные», то есть награбленные правительством у народа, а Америке деньги на лечение идут из карманов налогоплательщиков.

Ко мне нередко обращались больные, которые до этого проходили лечение у русских докторов:

— Мне мой бруклинский доктор вон сколько лекарств прописал, — выкладывает на стол пластиковый пакет, наполненный аптечными баночками.

— Помогло?

— Ни грамма не помогло! Как хромал, так и хромаю. Только желудок стало печь.

— Что-нибудь еще вам делали?

— Как же, делали: уколы кололи, электротоком лечили, пластинками. Спасибо доктору — на машине возили туда и обратно.

— Ну и как — помогло?

— Ни грамма не помогло! Еще хуже стал хромать.

— А рентгеновский снимок вам делали?

— Нет, не делали. Разве надо?

Снимок показывает почти полное разрушение сустава.

— Вам надо делать операцию.

— Операцию? Вот оно что… Значит, ходил к тому доктору — только зря мучился?..

К сожалению, качество лечения в русских частных офисах было намного ниже среднего американского уровня. Я бы это назвал «бруклинской медициной»: оборудование и медикаменты американские, а методы лечения — советские.

На приемах в моей «русской клинике» резиденты-американцы постоянно возмущались:

— Владимир, как это так можно, чтобы русские доктора назначали дорогие и заведомо ненужные процедуры? Да еще и

давали транспорт за счет «Медикейда!» Ведь плата за это идет из наших налогов!

Я и сам поражался такому неуважению к законам страны. Одно было оправдание: многие американцы жульничали еще больше и обсчитывали «Медикейд» и «Медикер» на миллионы. Время от времени их ловили за руку, арестовывали и писали об этом в газетах.

В нашем маленьком «русском департаменте» произошли изменения: Леню Селя приняли в резидентуру по ортопедической хирургии, хотя и не в наш, а в другой госпиталь. В эту область медицины, гарантирующую высокие доходы, иммигранту попасть практически невозможно, предпочтение отдают лучшим выпускникам американских медицинских институтов. Лене помог все тот же Френкель: как он мне и обещал, он договорился о Лене с директором того госпиталя.

Леня был счастлив неимоверно, только что не прыгал от восторга:

— Владимир, меня приняли, приняли! Я опять буду ортопедом! Спасибо вам и Френкелю.

Как он сразу преобразился! Вместо угрюмости и недоверчивости на его лице были написаны уверенность и спокойствие. Он уже не смотрел на других дичком и не крался боком по коридорам, а ходил уверенной быстрой походкой. Так успех в Америке преображает людей.

Теперь мне надо было искать другого помощника, знакомого с методом Илизарова. А такие были пока только в России. Вскоре в моем офисе раздался звонок:

— Доктор Голяховский, меня зовут Аркадий Бляхер. Я ищу работу. Можете взять меня? Я работал в Кургане.

Ага, в Кургане! Это — фирма!

— Как у вас обстоит с английским языком?

— Пока неважно, но я обещаю, что подучу.

В общем, для всех новоприбывших из России английский — проблема. Когда Аркадий поговорил с Френкелем и с доктором Грантом, они ровным счетом ничего не поняли: английский у него был никакой. Но все же через пару месяцев его взяли на работу — нам нужен был сотрудник для технической работы. А уж крутить гайки на аппаратах Илизарова Аркадий умел.

— Вы собираетесь сдавать экзамен в резидентуру? — спросил я.

— Да, готовлюсь. Трудно, конечно. Но, если не сдам, стану ассистентом доктора. Я наводил справки — многие наши так устраиваются: не надо мучиться с экзаменами, а заработки неплохие.

Действительно, много хирургов-иммигрантов из России обращались ко мне с просьбой рекомендовать их куда-нибудь на позицию ассистента доктора. Это что-то вроде фельдшера. Я писал десятки рекомендательных писем (хотя многих из этих докторов совсем не знал). Но во мне всегда жила уверенность, что, если кто был доктором в России, должен стать доктором и в Америке. Трудно? Да. Но я сам не сдался и хотел, чтобы мои бывшие соотечественники тоже не сдавались.

Впрочем, все люди разные.

Индия

Я вылетел в Индию прямо с работы, в январе 1993 года: провел две операции и поехал в аэропорт Кеннеди. Летел я по приглашению профессора Балу Шан Карай, заместителя министра здравоохранения, на конгресс хирургов в Бомбее и на конференцию с показательной операцией в Нью-Дели. Маленький смуглый Балу, будучи в Нью-Йорке, заглянул в наш госпиталь. Познакомил нас Виктор Френкель. Мы пошли на ланч в госпитальный кафетерий, и Балу сказал:

— Владимир, наши ортопеды знают ваш учебник и хотят, чтобы вы приехали. Но Индия бедная страна, оплатить вашу поездку мы не можем.

Со времен Колумба люди мечтали попасть в Индию (хотя он и гениально ошибся, открыв вместо нее Америку). И мне давно мерещилась эта страна, с ее 45-вековой цивилизацией. Как пропустить редкую возможность? Я разработал план: между конференциями поездить по ее «золотому кольцу», останавливаясь в каждом легендарном городе на два-три дня. Поездка стоила дорого, но Виктор распорядился оплатить мне перелет, потому что мои лекции служили хорошей рекламой для госпиталя. За остальное я заплатил сам (потом спишу с налогов, как с деловой поездки).

Ирина ехать не захотела:

— Я не так люблю Восток, а еще меньше — бедность Востока.

Я позвонил нашему туристическому агенту, назвал ему маршрут и даты моего пути. Он за два дня заказал номера в гостиницах и билеты на весь путь, с внутренними перелетами. Хороший туристический агент все делает быстро и легко, получая за это 10 % от гостиниц и авиакомпаний. Прислав мне билеты и гостиничные квитанции, он предупредил по телефону:

— Отели первоклассные, но не пей воду из-под крана. В Индии пить можно только бутылочную воду западного производства.

Из Нью-Йорка до Франкфурта, а потом до Бомбея пятнадцать часов лету над половиной земного шара. Глубокой ночью в толпе встречающих я увидел транспарант с моим именем: два молодых доктора встретили и отвезли меня в гостиницу «Тадж Махал».

— Конгресс назначен на завтра, — сказали они, — но завтра должна состояться всеобщая забастовка против безработицы. Через толпы демонстрантов вам не пробраться. Так что завтра день свободный.

— Такие большие толпы! Сколько жителей в вашем городе?

— Пятнадцать миллионов… или двадцать — никто не считает.

Ничего себе разница — в пять миллионов! Но если учесть, что всего в Индии миллиард человек, нетрудно сбиться со счета.

Утром со своего балкона на пятнадцатом этаже я увидел набережную с массивной и пышной триумфальной аркой — «Воротами дружбы», построенными в 1911 году в честь визита английского короля. Я спустился вниз и сразу погрузился в жару и в толпу. В Индии жара и толпа — везде и всегда. Молодые лениво слонялись взад-вперед. Люди постарше сидели с протянутой для подаяния рукой. Несколько факиров изрыгали столбы пламени, дрессированные обезьянки на цепочках кувыркались по приказу хозяев, несколько индусов в тюрбанах сидели перед плетеными корзинами с кобрами и на деревянных свирелях играли им что-то незамысловатое, а кобры поднимали головы, раздували капюшоны и раскачивались в такт мелодиям. Старик с седой бородой вытаскивал из большой корзины упорно сопротивлявшегося громадного питона. Не было сомнений в двух вещах: что я действительно в Индии и что моей Ирине это бы не понравилось.

Усталый после долгого перелета, я прогуливался неподалеку от отеля, сторонясь толп и вообще какого-либо скопления людей. Хотя Бомбей культурный центр, и мой отель находился в самом сердце города, толпа на улицах пестрела бедняками в грязных набедренных повязках. Интересно, так ли было здесь, когда Индия входила в состав Британской империи? Тогда Индию называли «жемчужиной короны», и Англия вкладывала большие средства в ее развитие.

Вернувшись в отель, я обнаружил во дворе большой бассейн, плавал и дремал на шезлонге под сенью тента. Целый полк слуг обносил нескольких купающихся фруктами и прохладительными напитками. Я сказал соседу по шезлонгу:

— Как много прислуги в нашем отеле!

— Ничего удивительного — это главная сфера работы в городах. В ней занята четверть работающего населения.

— А остальные?

— 63 процента заняты в сельском хозяйстве, 11 процентов — в промышленности.

— Откуда у вас такие точные сведения?

— Я работаю в Британском посольстве.

Вечером позвонил профессор Бомбейского университета:

— Дорогой профессор Го…

Он силился выговорить мою фамилию, но это ему не удавалось.

— Зовите меня просто Владимир.

— Спасибо. Вы уж извините. Я приеду за вами и повезу в наш Британский клуб. Там будет дан обед в вашу честь.

Клуб этот, построенный во времена британского владычества, был тоже заполнен массой слуг в длинных зеленых сюртуках в обтяжку, с широкими красными поясами и в красных шелковых тюрбанах. Они выглядели как близнецы. И усы у всех были одинаково подстрижены, и улыбались все одинаково широко — вышколенность необычайная. Пока мы шли по залам клуба, мой провожатый рассказывал:

— Это осколок времени нашей доброй старины, остатки прежней роскоши.

В отдельном зале меня ждали пятнадцать солидных докторов. Я сложил по-индийски руки перед лицом и кланялся каждому, кого мне представляли. Они тоже кланялись, сложив ладоши. Почти все они получили образование в.

Англии, вид у них был абсолютно европейский, и говорили все на правильном английском, но с твердым акцентом, типично индийским. И обед тоже оказался типично индийским: таких острых блюд я никогда не ел. Слуги вились вокруг нас, как мухи, мои соседи предлагали:

— Попробуйте вот это…

— Положить вам это?..

— О, это вы непременно должны съесть…

Хотя я люблю острое, но от индийских угощений в горле у меня запершило так, что было трудно говорить, и по щекам потекли слезы. Я кивал головой в ответ на реплики соседей по столу, старался глубже вдохнуть — и плакал, плакал… пока нам не подали крепчайший кофе с какими-то приторными сладостями.

Конгресс начался с религиозного ритуала: мои вчерашние знакомые подходили к высокому бронзовому светильнику, поставленному на отдельном столе, и по очереди благоговейно зажигали коротенькие свечи. Сложив ладоши и поклонившись светильнику, они садились на места. Вообще атмосфера конгресса была необычной, красочной и торжественной. При входе в зал стояли молодые хорошенькие студентки и медсестры в длинных разноцветных сари. Когда объявлялся очередной докладчик, одна из них подходила к нему, приветствуя сложенными ладошками и очаровательно улыбаясь. Надо было ответить ей тем же. Она сопровождала выступавшего на трибуну и обратно, вручала плоскую фарфоровую чашу с яркими цветами и больше не отходила от него, предлагая помощь во всем. У меня тоже была такая «чичероне», студентка медицинского института

по имени Индира, с классической индийской формы слегка крючковатым носом и с красной отметинкой на лбу. Я был смущен таким обслуживанием, но в Индии это — традиционная форма вежливости.

В конце второго дня моя «чичероне» Индира подвела меня к столу президиума, и Президент конгресса вручил мне памятную бронзовую доску в большой коробке, обтянутой малиновым бархатом. Много у меня набралось подарков из разных стран, но такого роскошного знака отличия я нигде не получал.

В Удайпур я прилетел поздно вечером. Только я ступил на землю, как меня окружила толпа молодых индусов. Перебивая и отталкивая друг друга, они что-то кричали, по-видимому, предлагая свои услуги. Для моего непривычного глаза они выглядели как-то подозрительно. Когда вывезли на тележке мой чемодан, за него ухватился сразу десяток рук. Но один из тех подозрительных крупнее, сильнее и решительнее остальных оттолкнул их:

— В какую гостиницу?

— Во «Дворец на озере».

— Пойдемте за мной! — и в темноте потащил мой чемодан к такси.

Нащупав в кармане два доллара, я спешил за ним и думал: вот яркий пример эволюционного развития — наиболее крупный и сильный индивидуум захватывает инициативу и за это получает награду. Но и другие не отставали, шли за мной, громко кричали на непонятном языке и, куда более понятно тянули ко мне руки. В страхе за свой бумажник я думал: как все-таки хорошо, что Ирина со мной не поехала.

Мой провожатый что-то сказал шоферу, положил чемодан в багажник, получил доллары и исчез. Мы ехали в густой темноте южной ночи. Шофер по-английски не говорил. Я стал нервничать: что-то слишком долго мы ехали. А вдруг он завезет меня в какую-нибудь тмутаракань, где меня ограбят, а то и убьют?.. Меня потом никогда не найдут, ведь никто на всем свете не знал, где я находился в тот момент. Но через час пути вдруг, словно чудо, перед нами появилась стена электрического света. Это сверкал огнями дворец магараджи Удайпура. А вдали, за освещенной лодочной переправой, виднелся мой красавец отель — он как будто плыл по гладкой воде озера.

Его считают самым красивым отелем в мире. Два века назад, по приказу магараджи Удайпура, в долине между горами было вырыто громадное круглое озеро, десять километров в диаметре, посредине которого вырос белоснежный мраморный дворец. Он стоит в воде, омывается водой, как мраморные палаццо Венеции,

и доступ у нему только по воде. У магараджи был еще и другой громадный дворец, прямо на берегу. Но после провозглашения независимости Индии он вынуждено отдал часть своих богатств государству, в большом дворце устроили музей, а дворец на озере пришел в запустение. В начале 1960-х годов его показали Жаклин Кеннеди, первой леди Америки. Она посоветовала устроить в нем отель. Власти последовали совету практичной американки, переделали залы под комнаты отеля, но сохранили старое название — «Дворец на озере». С тех пор в этом отеле бывали многие знаменитости со всего мира, даже королева Англии.

Все утро я бродил по нему как зачарованный. Потом отправился в город. Мне предоставили гида и машину с шофером. И всего за двадцать долларов! Такова Индия, где роскошь соседствует с нищетой!

Мой гид, молодой парень с историческим образованием, подробно излагал хронику династий Индии. По индийским понятиям, Удайпур город небольшой — «всего» около десяти миллионов жителей. Самый величественный памятник — дворец магараджи на склоне горы, над озером: фактически целый квартал великолепных массивных строений в шесть этажей. Поколения магараджей жили в нем с сотнями жен, тысячами слуг, десятками слонов и тигров. Мы с гидом больше часа бродили по. его залам, но прошли едва ли пятую часть.

У подножия дворца женщины стирали и полоскали в озере цветистые одежды и развешивали их сушиться вдоль великолепного фасада. Но, пожалуй, еще больше меня поразил древний индуистский храм из белого мрамора. Индуизм — древнейшая религия, но определить его смысл очень трудно. Гид сказал: это все равно, что слепому описывать слона.

Индуизм разделен на бесчисленное число сект — система разных каст. Если у них есть общая основа, то фактически — это синтез веры и бытовых культурных движений народа. Священное индуистское писание — это Вида. В нем содержатся доктрины Брахмы. Основа их в абсолютном реализме своего Я, идентификация себя с индивидуальным духом — Атманом. Цель индуизма — освобождение от цикла возрождения и от страданий, причиненных самим собой. Этому помогает концентрация духовной Йоги. Святая троица индуизма: Брахма — творец, Вишну — хранитель и Шива — разрушитель. В древние времена на индуизм частично повлиял буддизм, а в Средние века образовалась секта Тантра — святых поэтов, которые писали песни и эпосы, до сих пор популярные в народе. Новейшие лидеры индуистской веры, такие как Махатма Ганди, стараются придать религии объединение духовной жизни с необходимыми

людям социальными аспектами.

Мы поднялись по крутой лестнице храма. Народу, как везде, много, заметно больше женщин. На ступеньках сидели сотни нищих. Мой гид указал на одного из них — старика, сидящего на ковре в подножии большой скульптуры слона из серого гранита. Он и сам выглядел, как скульптура: темная кожа, белая рубашка с гирляндами цветных бус на груди, седая лохматая шевелюра, длинная белая борода. Гид сказал:

— Этот нищий — миллионер. Он сидит здесь чуть ли не сто лет и накопил огромное состояние. И все равно сидит. Все знают про его богатство, но продолжают ему подавать, потому что считают его почти святым.

Я сделал фотографию нищего миллионера, за что он выругал меня.

Вечером простирнул свое белье в ванне и пошел развешивать на балкон. Он был разделен каменной решеткой с соседним номером, откуда слышались голоса: там две женщины переговаривались по-английски. Одна из них, заметив меня, свесилась через перила:

— Добрый вечер.

— Добрый вечер.

— Как вас зовут, откуда вы?

— Меня зовут Владимир, я из Нью-Йорка.

— Владимир? Моего сына тоже зовут Владимир. Мы с дочкой приехали из Чикаго.

Выяснилось, что она итальянка, родом из Флоренции, вышедшая замуж за американца русского происхождения. Поэтому и сына назвали русским именем. Они с дочерью любят Индию и приехали отдыхать. Я сказал, что приехал делать показательную операцию в Нью-Дели.

— Какую операцию вы будете делать?

Я в двух словах объяснил.

— О, я слышала об этом от знакомого хирурга в Чикаго.

Через несколько дней мы снова случайно встретились в Нью-Дели, были удивлены и обрадованы. Однако наше знакомство имело спустя несколько лет куда более удивительное продолжение.

Индия — страна чудес. И ее чудо из чудес — дворец — гробница Тадж Махал в городе Агра. К нему я стремился больше всего. Тадж Махал был построен в 1631–1653 годы императором Шах Джаханом (в переводе — Владыка Мира), как мавзолей его любимой жены Мумтаз Махал. Белоснежно-мраморное это чудо — высокая поэзия синтеза всех искусств. Великий поэт Рабиндранат Тагор назвал его «слезинкой на щеке времени».

Когда передо мной в первый раз открылся вид на него, у меня захватило дух: дворец отражался в гладкой воде длинного бассейна и, несмотря на колоссальные размеры (высота десятиэтажного дома), казался парящим в воздухе. Мне чудилось, что это не каменное строение, но живое существо — он как будто дышал. Двадцать два года его строили и украшали двадцать тысяч зодчих и художников со всего мира. Сам Шах Джахан руководил постройкой. Еще юным наследником престола он увидел во дворце дочь главного визиря, пятнадцатилетнюю Мумтаз, и влюбился в нее, как Ромео в Джульетту. По мусульманским законам он мог иметь четырех жен, но не должен был жениться на ней, пока ей не исполнится восемнадцать. Она стала его второй женой и родила ему двенадцать детей. В тринадцатый раз она умерла родами. Бесконечно убитый горем, он поклялся построить ей мавзолей, какого не было и не будет во всем мире. Самое парадоксальное в этой истории — что Мумтаз якобы не любила мужа. Может, это и поздний миф. Но тогда остается неясным: чья слезинка на щеке времени Тадж Махал — его или ее?

Когда Шах Джахан заканчивал строительство Тадж Махала, казна страны была почти пуста. Его честолюбивый младший сын Ауранзеб убил двух братьев и заключил отца в крепости Красный Форт, в четырех километрах от Тадж Махала. Свергнутый владыка мог оттуда еще пять лет смотреть на построенный им прекрасный мавзолей, вспоминая свою Мумтаз. Есть легенда, что у него была мечта построить напротив белого Тадж Махала точную копию из черного мрамора — для себя. Возможно, это была бы черная слеза на другой щеке времени. Мечта не сбылась, и его похоронили рядом с ней — два их надгробия, инкрустированных полудрагоценными камнями, стоят на возвышении в просторном центральном зале Тадж Махала.

Британцы, захватившие Индию, держали в ней марионеточного императора до 1857 года, а потом объявили страну частью империи. До самой независимости страны британский губернатор Индии считался ее вице-королем и жил в Нью-Дели в громадном дворце с обширными садами. Теперь это дворец президента Индии. Мне выпала удача побывать в этом дворце. Вот как это случилось.

Из Агры я приехал в Нью-Дели на поезде — всего за 5 часов. Я рискнул испытать уникальную возможность побыть не в изоляции роскошного отеля для иностранцев, а в гуще народа. Езда в переполненном индийском поезде — самый экстравагантный способ такого испытания. Так из гостиничного номера «люкс» я переместился в вагон третьего класса. В России

мне приходилось нередко ездить в общих и плацкартных вагонах, с их теснотой, духотой и грязью, но это ничто по сравнению с индийским поездом.

Если в Индии плотность населения на один квадратный километр четыреста человек, то в поезде на один квадратный метр приходилось четыре. Я был единственный иностранец в вагоне, но, не обращая на это внимания, меня толкали, как своего. При невероятной тесноте через вагон умудрялись пробираться босоногие, чумазые мальчишки. Только такие тощие дети могли сделать это. С большими медными чайниками в руках, они скользили между пассажирами, громко крича: «Чай, чай!» (в Индии это слово звучит, как и в России, и это было единственное слово, которое я там понимал). Хоть меня и предупреждали, что в Индии следует пить только минеральную воду из бутылки, я не устоял перед соблазном: за три рупии мальчик налил в бумажный стакан горячую темную жижу, терпкую на вкус. Другие мальчишки пробирались с ящиками и сапожными щетками в руках. Надо было дать и им заработать.

Когда мы приехали в Нью-Дели, на перрон высыпала серая толпа такой густоты, какой я не видел и, надеюсь, больше никогда не увижу. Это было в День Независимости, 26 января. В центре города я успел увидеть самую колоритную часть военного парада — шествие громадных, пышно украшенных президентских слонов. На лбах у них были золотые щиты с эмблемой страны, по бокам свисали красные, расшитые золотом шелковые накидки, бивни украшали золотые кисти, ноги чуть выше ступней обвивали золотые цепи. Слоны важно вышагивали перед танками и бронетранспортерами.

В гостинице первым делом после тесноты вагона я сел в ванну с ароматной мыльной пеной. Зазвонил телефон, но выскакивать из воды не надо было: над ванной висел аппарат. Звонил профессор Балу Шан Карай:

— Владимир, у меня для вас приглашение вечером на официальный прием к президенту. Я заеду за вами, и мы вместе поедем во дворец.

В конце января в Нью-Дели стоит жара. Мы ехали широкими улицами, обрамленными высокими деревьями, по богатому деловому району города. Сквозь зелень за заборами виднелись красивые особняки министерств и посольств. Посреди большой площади я увидел углубление с холмом, покрытым горами цветов. К нему шли и шли люди с букетами и гирляндами. Балу объяснил:

— Это священное место. Здесь были сожжены по древнему обычаю тела Махатмы Ганди, основателя нашей Республики,

премьер-министров Индиры Ганди и ее сына Раджива.

Балу сложил руки перед лицом и вздохнул:

— Ах, Владимир, в нашей миллиардной стране с ее множеством религий и сект и повсеместной бедностью слишком много разногласий.

— Могу я спросить: какую выгоду получила Индия от того, что стала самостоятельной? Не лучше ли было для блага народа оставаться под британским протекторатом?

— Нет, не лучше.

— Что люди от этого выгадали?

— Независимость.

Я хотел сказать: «Много ли пользы от независимости, если миллионы людей голодают?» Но Балу был членом правительства, и я не продолжил полемику.

Во дворец съезжались тысячи гостей — дипломаты, генералы, знаменитые люди и официальные лица. Под охраной солдат мы выстроились в длинную очередь у боковых пропускных ворот, медленно проходя контроль металлоискателя. У меня отобрали фотоаппарат — снимать нельзя. А жаль: я мог бы сделать немало колоритных снимков, тем более что многие индусы и послы других государств были в пышных национальных костюмах — настоящая оперетта!

В саду перед дворцом, вдоль главной аллеи и в боковых просеках расставлены были столы с фруктами, пряными печеньями, легким вином и минеральной водой. В толпе мой Балу сразу встретил знакомых и заговорил с ними. Я на время отстал от него и прошелся по саду. По углам аллей стояли двухметровые гвардейцы президентской охраны в пышных одеяниях, в чалмах и с длинными копьями. Они выглядели как украшение прекрасного сада.

На балкон дворца вышли такие же гиганты и протрубили сигнал ко вниманию. Гости подтянулись к дверям дворца, где стоял военный оркестр. И вот под музыку марша начали попарно выходить еще более пышно разряженные и еще более высокие гвардейцы с копьями и мечами — это было подобием уже не оперетты, а настоящей оперной постановки! И как-то незаметно и неожиданно между ними оказался невзрачный, маленький, прихрамывающий старичок в высокой чалме. Держа сложенные ладони у лица, он на ходу всем кланялся и улыбался во все стороны. По его характерной походке мне было нетрудно с первого взгляда поставить диагноз: артрозо-артрит коленных суставов. Гости зааплодировали — оказалось, это был сам президент. В Индии он церемониальная фигура, страной управляет премьер-министр.

Для него и его приближенных была покрытая ковром и огороженная красным бархатным канатом площадка. Президент с явным облегчением опустился в кресло и сказал в микрофон несколько слов приветствия. Послы, министры и генералы потянулись к нему для приветствия. Я стоял рядом с Соней Ганди, вдовой недавно убитого премьера Раджива; Соню и саму прочили в будущие премьер-министры. Вот бы мне в ту минуту сфотографировать!

Потом на два часа все забыли про президента и разошлись по разным уголкам сада, ища места за столами. Попивая сладкое вино, я увидел женщину в европейском платье, одна нога у нее была в гипсе.

— Извините, могу я спросить, что с вами? Я ортопедический хирург из Нью-Йорка.

— О, вы как раз тот человек, кто мне нужен: у меня перелом лодыжки. Скажите мне…

Тут ко мне повернулся ее муж, и я узнал в нем того самого британца, с которым десять дней назад разговаривал у бассейна в Бомбее. Дав несколько советов его жене, я напомнил ему о нашей прошлой встрече и не удержался от вопроса, не дававшего мне покоя:

— В богатой Индии я насмотрелся на большую бедность. Скажите, не лучше ли было бы Индии оставаться под британским протекторатом?

Он посмотрел на меня с дипломатической улыбкой:

— Здесь не говорят об этом. Но вы американец и хирург. В благодарность за консультацию моей жене я вам скажу: конечно, для Индии это было бы лучше. Независимость неразвитых стран — форма бессмысленного национализма. А национализм всегда приводит к плохим последствиям. В Британии хорошо понимали это, но после Второй мировой войны уже не могли остановить процесс, начатый Ганди. Единственное, что мы могли сделать, — разделили индусов с мусульманами, создав Пакистан. Правда, это привело к миллионным жертвам. А без разделения было бы еще хуже.

Наесться досыта на президентском приеме было невозможно, но в тот вечер меня ждал гастрономический сюрприз: в ресторане нашего отеля работал приглашенный на время шеф-поваром парижанин Чариал, которого звали Ван Гогом французской кулинарии. В рекламном проспекте говорилось, что его гастрономические шедевры оценили многие короли и президенты. Я не поклонник картин Ван Гога, но почему бы не попробовать блюда Чариала? Тем более что французскую кухню я ценю выше всех других. Приехав голодным от президента, я

оказался первым в ресторане и заказал хороший обед. Неожиданно там появилась моя знакомая итальянка из Чикаго с дочерью. Что же, в компании веселее! Переполненный впечатлениями прошедшего дня, я рассказывал им про индийский поезд и прием у президента, чем их изрядно повеселил. А обед оказался на славу — шедевры Ван Гога французской кулинарии прямо-таки таяли во рту и примирили меня с художником.

Рано утром на следующий день мы с Балу поехали в Главный госпиталь Нью-Дели. Индийские хирурги показали мне дешевое издание моего учебника на плохой серой бумаге. Я удивился:

— Откуда это у вас?

— Профессор, извините и не сердитесь: это нелегальная перепечатка вашей книги. Индия бедная страна и не может много платить американским издателям. Мы издали вашу книгу контрабандно и дешево, только для себя.

Я не сердился, понимая их положение. Оперировать мне, увы, пришлось тоже нелегальными копиями иностранных инструментов.

Через два дня я вылетел домой, опять с пересадкой во Франкфурте. Мне не терпелось поделиться впечатлениями с Ириной; я позвонил ей, она ответила слабым хриплым голосом. — Да…

— Я тебя разбудил?

— Нет, я больна.

— Что с тобой?

— Как ты уехал, я сильно простудилась. Сейчас уже немного лучше.

Хорошо, что Ирина не поехала со мной.

Невеселые новости

Настраивающийся оркестр перед началом оперы издает дикую какофонию звуков. Но вот появляется дирижер, взмахивает палочкой — и начинает литься стройная музыка. Так же и в хирургии перед внедрением новых операций.

Хотя я все больше делал операций замещения суставов искусственными, но вот уже несколько лет продолжал «дирижировать» всеми илизаровскими операциями в госпитале, обучал им докторов, помогал им советами. Работа шла под эгидой Френкеля, и ему удалось открыть 25 дополнительных кроватей, специально для больных, прооперированных по илизаровским методам. Наш опыт получил распространение по всей Америке.

Как-то раз на одном из очередных банкетов, изрядно выпив вина, Виктор воскликнул:

— Владимир, мы изменили с тобой лицо американской ортопедической хирургии!

Хоть и звучало излишне патетично, но было в этом зерно истины. Немногим докторам-иммигрантам удается внедриться в американскую медицину, чтобы как-то повлиять на нее. Мне повезло, и я настолько хорошо сработался с американцами. Но с недавних пор Виктор стал стареть, и его энтузиазм к илизаровским операциям поостыл. Он иногда поговаривал, что собирается уйти с поста директора, но хочет остатся номинальным Президентом госпиталя. А у меня энтузиазма было с избытком, и я даже стал обдумывать планы расширения моего отдела.

Вскоре после того, как я съездил в Индию, Виктор, вроде бы невзначай, сказал мне:

— Госпиталь получил крупное пожертвование, мы решили на эти деньги преобразовать илизаровский отдел в специальный Центр по удлинению костей.

— Хорошая идея, Виктор, — ответил я.

— Не просто хорошая идея… — он самодовольно улыбнулся.

Фактически это было всего лишь сменой вывески с привлечением дополнительных средств. Но звучало, как веская поддержка того, чем я давно занимался. И я ждал, что Виктор дальше скажет — а именно, кто возглавит Центр? Извиняющимся тоном и скороговоркой Виктор сказал:

— Мы решили поставить директором Центра доктора Гранта.

На сей раз я не мог сказать ему: «Хорошая идея». Грант то, что называется, «тугодум». Он интересовался илизаровским

методом, но я видел по совместной работе и его операциям, что основы илизаровского метода Грант понимал плохо. Почему теперь ему передают дирижерскую палочку? Виктор говорил «мы» — очевидно, это было не его личное решение, а Совета попечителей. Меня они знали плохо, поэтому вполне могли счесть, что директором Центра лучше поставить американца, а не иммигранта с акцентом, да к тому же немолодого. Скорее всего Виктор отстаивал мою кандидатуру, но вынужден был уступить. Я ждал, какая функция отведена мне. Заместитель директора? Что ж, официально я могу играть и «вторую скрипку», это все равно даст мне возможность продолжать работу с прежней интенсивностью. Но все тем же извиняющимся тоном Виктор произнес:

— Ты будешь консультантом, — и примирительно добавил: — Но при этом ты остаешься директором русской клиники и можешь лечить своих пациентов, как считаешь нужным… и илизаровскими операциями тоже.

Я постарался не подать вида, что огорчен. Удар по личному престижу — не главное: я предчувствовал, что Грант может легко развалить то, что мы с Френкелем создавали несколько лет. Мои мысли, очевидно, были написаны на лице, и Виктор сказал:

— Грант хороший администратор.

Этого я в нем тоже не замечал. Но не было смысла возражать. Я лишь сказал:

— Не думаю, чтобы Грант нуждался в моих консультациях.

— Почему? Он понимает, что знает и умеет меньше тебя.

Вот и подтверждение моих догадок: позицию директора отдали не знающему иммигранту, а малознающему американцу. В научные дела явно вмешалась политика.

— Во всяком случае, сам я навязываться Гранту не собираюсь. Есть хорошая русская поговорка военных лет: «Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отказывайся».

— Как? Повтори. Почему так?

— На войне никто не знает, где его подстерегает пуля. Если сам напросишься идти в разведку из окопа — можно получить пулю в лоб. Если отказаться вылезти из окопа — артиллерийский снаряд может попасть в окоп. Так что выход один: ни на что не напрашиваться и ни от чего не отказываться. И я тоже не знаю, где ждать пулю.

Виктор любил острое словцо, но больше говорить не хотел.

Как я и предполагал, Грант ко мне за консультациями не обращался. И я к нему с советами не лез. Каждый из нас делал теперь илизаровские операции порознь, ничего не обсуждая друг с другом. Но у нас был общий помощник Аркадий Бляхер. Его

недавно взяли на работу техником, хотя, как я говорил, у него был очень плохой английский. Теперь мне стало ясно, почему поспешили его взять: он знал тонкости илизаровских операций и нужен был для помощи Гранту.

Аркадий с самого начала отличался от Лени Селя, который целеустремленно шел к цели — сдать врачебный экзамен. Аркадий любил рассказывать истории, а поскольку американцы его не понимали, он рассказывал их нам с Изабеллой. В основе большинства его историй лежала любовь к блондинкам, к водке «Абсолют» и к бане. Казалось, что о предстоящем экзамене он думал гораздо меньше.

— Аркадий, вы должны много читать и вслушиваться в то, что говорят американцы. И я тоже так начинал.

— Да я стараюсь. Но вот, тыры-пыры, поди ж ты, медленно получается.

Как с ним общался Грант, я не представлял. Но видел, что Аркадию работать с ним не нравится: он приходил с каждой операции расстроенный и жаловался, что у них в Кургане все делали не так:

— За такую работу старик нас бы выгнал. Не знаю, это по-американски?

Из любопытства я спрашивал:

— Как прошла последняя операция?

— А чего говорить? Что накануне сделали, на следующий день переделывали. Я пытался ему внушить, мол, тыры-пыры. Но ой мне тоже, по-своему, тыры-пыры. Понимать не хочет. И на следующий день все приходится переделывать, тыры-пыры… И операций все меньше и меньше.

Я с грустью наблюдал, как постепенно гибло мое дело. Но с Виктором я на эту тему больше никогда не разговаривал. А он как будто и не замечал происходящего. Или не хотел замечать. Он окончательно решил уходить с директорства и передавал дела другому.

Как раз в то время нам с ним пришла повестка в гражданский суд: судить нас собирался бывший пациент Виктора карлик Гизай. В обвинение были внесены имена всех докторов и даже сестер, которые участвовали в его лечении пять лет назад. Но главными обвиняемыми были мы с Виктором. В иске мы фигурировали как «хирурги-бандиты», там утверждалось, что мы были преступно невнимательны и неквалифицированны, применили неправильный метод лечения, что, кроме мук, больному ничего не дало. За это Гизай теперь требовал с нас ни много ни мало как… сто сорок миллионов долларов.

Я уже по опыту знал, что завышенные штрафы — забота

адвокатов, поэтому не испугался, как в первый раз. Я вспомнил всю историю лечения Гизая. С самого начала вокруг него была создана атмосфера ажиотажа, Виктор опрометчиво наобещал его родителям слишком большое удлинение ног, а родители по секрету от нас давали Гизаю в качестве болеутоляющего наркотики, так что у него начинались судороги, и мы опять клали его в госпиталь. Я вспомнил, как организовал для него консультацию Илизарова и он дал свои рекомендации, а родители им не последовали.

Мы уже давно ничего не знали о Гизае — каково его состояние теперь? Наш адвокат Тед Розенцвейг встречался с его адвокатом и узнал, что Гизай почти не может ходить и ездит в инвалидном кресле, но он поступил в колледж. А родители его развелись; мать вышла замуж за богача — нашла то, что хотела.

И тут как раз мне позвонила мать другого карлика — Антони, которому мы удлиняли руки, а потом и ноги. У него все прошло благополучно, и он тоже учился в колледже.

— Доктор Владимир, знаете, мне недавно неожиданно позвонила мать Гизая, спросила про Антони, а потом вдруг предложила: давай судить Френкеля и Владимира, мы сможем содрать с них много денег.

Я вспомнил, что, когда мы с Ириной были на обеде в доме Гизая, его мать говорила, что хочет стать губернатором штата Нью Джерси. Вот авантюристка! Мало ей денег!..

Я сказал матери Антони:

— Да, мы недавно получили повестку из суда. Если суд все-таки состоится, вы согласитесь повторить ваши показания?

— Да, я приду, чтобы наказать эту паршивку.

Я рассказал о ее звонке Виктору и Теду. Виктор лишь покачал головой, но Тед ухватился за эту новость:

— Прекрасно, такое показание поможет нам легко выиграть дело.

Мы с Виктором попросили Теда достать нам последние рентгеновские снимки ног Гизая. Он их принес, и мы увидели на них хорошо удлиненные и крепкие кости, но сильно искривленные. Неудивительно, что ходить на таких ногах он не мог. Но если бы его родители послушали совета Илизарова и он продолжил у нас лечиться, мы бы могли это искривление предотвратить. Я недоумевал:

— Чего они ждали?

— Очень просто: хотели сначала получить с вас по суду большие деньги, а уже потом заняться исправлением, — сказал Тед.

— Тед прав, — подтвердил Виктор, — другого объяснения не

найти.

— Но ведь это же издевательство над мальчиком!

— Владимир, это — деньги!

Трудно было поверить в такое, но скорее всего так и было.

Я помнил, как мать Гизая в самом начале лечения просила Виктора:

— Доктор Френкель, а можно удлинить ножки еще на несколько сантиметров?

И Виктор шел у нее на поводу. А теперь адвокат Гизая, выдавая своего клиента за «жертву хирургов-бандитов», предъявлял обвинение всему госпиталю и за это надеялся получить неслыханную сумму в сто сорок миллионов!

Хотя обвинять всех поголовно было абсолютно нелогично, но, по законам судопроизводства, Тед Розенцвейг должен был всех упомянутых в иске по очереди вызывать на собеседование и инструкцию перед показаниями на будущем суде. Дело тянулось более года, доктора госпиталя давали показания и в результате многие из них все больше критиковали илизаровский метод:

— Тебя уже вызывали для показаний?

— Вызывали. А тебя?

— Тоже вызывали. Да, эти илизаровские операции дают слишком много осложнений.

— Ты прав. Поэтому меня больше не заставят их делать.

Когда спрашивали об осложнениях после операций самого Илизарова, он отвечал: «Делайте все правильно, и не будет никаких осложнений». Тезис, конечно, верный. Но чтобы делать все правильно, этому нужно научиться. А вот учиться-то теперь, после образования Центра под новым руководством, было уже не у кого. Я с грустью видел, что в нашем госпитале делалось все меньше илизаровских операций. Даже Аркадия перевели в санитары операционного блока. К сожалению, он так и не смог сдать врачебный экзамен.

— А что, Владимир, не вышло у меня со врачебным, так я сдам на ассистента доктора и перейду в другой госпиталь, где делают илизаровские операции, и тыры-пыры.

Виктор сам же и помог Аркадию найти место в Филадельфии, где все успешнее осваивался и применялся метод Илизарова. Другие госпитали по стране стали нас обгонять.

Я никогда больше не обсуждал с Виктором, что произошло с илизаровским делом, которое мы с ним так удачно начали. Если он сам не говорил, то и мне не следовало поднимать эту болезненную тему. Ему уже было под семьдесят, он уже не был директором, уступив это место своему ученику, доктору Джозефу Зукерману. Как президент госпиталя, он больше сидел в кабинете

или на заседаниях и редко появлялся в операционной. По старой дружбе я продолжал заходить к нему, но мы все меньше говорили о работе. Нередко я заставал его дремлющим в кресле или играющим в пасьянс на компьютере.

— А, Владимир, заходи, заходи!

И мы говорили о путешествиях, о семьях, обо всем, но не о работе.

Настал день, когда он сказал:

— Знаешь, я прекратил делать операции.

— Как, Виктор?! Ты совсем не будешь оперировать?

— Совсем.

Я расстроился: мне вспомнилось, как я пришел к нему восемь лет назад, как он предложил мне работать с ним, каким он был энтузиастом. «Sic transit gloria mundi» — «Так проходит мирская слава»…

После работы я зазвал его в свой кабинет и открыл бутылку вина «Хванчкара»:

— Виктор, выпьем за твою прошедшую долгую хирургическую карьеру и за нашу дружбу.

За долгие месяцы судопроизводства адвокат Гизая снял обвинение со всех, кроме нас с Виктором, и уменьшил просимую сумму всего… до десяти миллионов. Тед был уверен, что он выиграет дело и нам не придется платить вообще ничего. Но суд не состоялся: Виктор дал указание Теду договориться о соглашении сторон. Зачем он это сделал, я так и не понял. По этому соглашению Гизай получил один миллион восемьсот пятьдесят тысяч долларов. Деньги оплатила страховая компания Виктора, он просил исключить меня из обвинения, взяв финансовую ответственность только на себя. Для него это не было ни потерей престижа (он уже не оперировал), ни потерей денег (за страховку он уже не платил). В прессе было сообщение, что за доктора Френкеля страховая компания заплатила по соглашению эту громадную сумму. И доктора госпиталя переговаривались:

— Вот как дорого обходятся ошибки в илизаровских операциях! Это не для нас.

Тед ужасно расстраивался:

— Владимир, я был уверен, что выиграю суд.

Через день мне позвонила мать Гизая. Шесть лет я ничего от нее не слышал. Как ни в чем не бывало, вкрадчивым тоном она заговорила:

— Доктор Владимир, вы знаете, как мы вас уважаем и ценим. Мы с Гизаем хотим, чтобы вы сделали ему операцию по исправлению его кривых ножек.

— Извините, — сухо сказал я, — обратитесь к кому-нибудь другому.

Хирург и Смерть

У меня умерла больная, женщина семидесяти пяти лет. Неделю назад я сделал ей операцию — заменил почти разрушенный артрозом тазобедренный сустав на искусственный. Операция и лечение после операции — все шло без осложнений. Она уже ходила, и в тот день ее должны были перевести в реабилитационное отделение, даже вещи были сложены. И вдруг… меня вызвал по радио громкий голос оператора:

— Доктор Владимир, доктор Владимир — код восемьдесят восемь, код восемьдесят восемь!

«88» — условный код критического состояния, сигнал к реанимации умирающего…

Когда я прибежал в палату, там уже работала реанимационная бригада, все сгрудились над кроватью, делали электрическую стимуляцию сердца и его массаж… ничего не помогло.

Скорее всего у нее произошел инфаркт — закупорилась одна из артерий, и сердце остановилось. У нее уже был раньше один инфаркт, много лет назад, но она поправилась. Я знал о том инфаркте, перед операцией консультировал ее с кардиологом. Обследование показало хорошую работу сердца, и он дал разрешение на операцию. Но вот…

Бригада ушла, я стоял возле покойной и думал о том, что надо позвонить ее сыну. Это был заботливый неженатый человек средних лет, он жил вместе с мамой и обожал ее. Полгода назад он привел ее ко мне на прием, нежно поддерживая под руку. Она еле шла с палочкой, жалуясь на боли в ноге. Я сказал, что помочь можно только операцией. Сын тревожно спросил:

— Доктор, а как вы думаете, выдержит ли мамино сердце?

— Перед операцией ее сердце проверит кардиолог. Я буду делать операцию только с его разрешения.

Тогда они оба на операцию не решились. Через полгода он позвонил Изабелле и попросил записать маму на прием. Изабелла грустно сказала:

— Владимир, опять звонил тот сын и чуть не плакал. Такой заботливый и трогательный.

Боли в ноге за полгода усилились, и он сказал мне:

— Мы согласны на операцию: мама не может жить с такими болями.

Он проводил маму до операционной, навещал каждый день, радовался, что все позади. А теперь мне предстояло сказать ему, что мамы нет, и признать, что мы, доктора, были не правы: не

будь операции, она могла пожить еще. Смерть — это факт, со смертью спорить нельзя.

Хирурга смертью невозможно ни удивить, ни напугать. Никто чаще хирургов не видит этот жуткий момент ухода жизни из тела, замирания последнего вздоха и угасания последнего взгляда, момент, когда прекрасное создание природы — человек — превращается в конгломерат химических веществ.

Но хирургам и при смерти больного надо быть спокойными и уверенными — для себя и для других. Со студенческих лет и до конца хирургической работы я видел разные картины умирания: неожиданную смерть ангела-ребенка и смерть столетней старухи, призывающей свой конец; я видел смерть в муках и корчах от невыносимых страданий и смерть спокойную, без мучений и переживаний, мгновенную; я видел массовую гибель людей при катастрофах и видел смерть парадную — на подушках, в кругу прощающейся семьи… Присутствуя при разных смертях, я наблюдал за собой и за своими коллегами, когда мы все отчаянно старались не допустить умирания. И я знаю: безразличие к смерти, к самому моменту умирания, никогда не наступит…

Это было в 1953 году, в Москве, когда я заканчивал медицинский институт. Трехлетнюю девочку сбила на улице машина. «Скорая» привезла ее к нам в Филатовскую больницу. Девочка была в состоянии глубокого шока, хотя на ее маленьком тельце не было видно никаких повреждений. Лицо ее было абсолютно обескровленное, белые веки с нежными голубыми прожилками чуть заметно трепетали. Очевидно, у нее было сильное внутреннее кровотечение.

Мы кинулись к девочке, склонились над ней, пытались прощупать пульс — на руках, на шее. Пульс не ощущался, наступал тот самый жуткий момент… Сестры бежали к нам с растворами и иголками. Неожиданно девочка открыла глазки, ясные и чистые, какие бывают разве что у ангелов с картины Рафаэля. Взгляд ее был направлен не на нас и не блуждал вокруг, ища маму. Ее взгляд уходил в такую даль, которую мы, живые, различить не могли. Рот девочки приоткрылся, мы наклонились к ней еще ближе, прямо к лицу. Нас как магнитом тянуло видеть и слышать — что это? Мы ждали — чего? Да, нас притягивала к себе загадка умирания. И мы услышали тонкий детский голос, она тихо сказала:

— Я умираю. — И умерла…

У такого маленького ребенка было уже понимание смерти! Могли ли мы, хирурги, остаться спокойными в тот момент?!

Начинающим хирургом я дежурил в один из воскресных летних дней 1955 года в больнице Петрозаводска. Вечером

выдалась свободная минута, и я вышел на крыльцо приемного отделения, чтобы подышать свежим воздухом. Неожиданно во двор на большой скорости въехал грузовик-полуторка, быстро развернулся и задним бортом подал к самому крыльцу. Я не успел еще понять эти маневры, как услышал крики и стоны, доносившиеся из кузова грузовика. Из кабины выскочил возбужденный водитель, крикнул: «Доктора, скорей!» — и открыл задний борт.

Что там было? В лужах запекшейся крови вповалку валялись изуродованные тела, некоторые шевелились, другие были неподвижны, виднелись отделенные от тел руки и ноги. Какая-то непонятная массовая гибель — как?., почему?.. откуда?..

Шофер залез в кузов и одно за другим стал вытягивать тела из груды. Я тоже впрыгнул туда за ним, с трудом установил ноги между телами, и мы вместе стали вытягивать тела. Подоспевшие санитары перекладывали их на носилки и вносили в больницу. Шофер-отрывисто рассказывал, что он подобрал их у дороги, километрах в двадцати от города, рядом с телами валялся перевернутый грузовик; эти люди ездили на летнюю «массовку» за город, все здорово выпили, и на обратном пути их пьяный шофер перевернул машину на вираже. «Массовики» вывалились из кузова, а грузовик несколько раз перевернулся по их телам. Сколько они там лежали, шофер не знал. Многие были уже мертвы другие — без сознания. Вместе с напарником они побросали живых и мертвых в кузов и помчались к нам в больницу.

Пока он рассказывал, в кузове кто-то предсмертно хрипел, кто-то стонал. Из-под груды тел слышался истошный женский голос. Когда мы смогли выгрузить почти все тела, со дна кузова на меня уставился полный ужаса, залитый кровью глаз: кожа с верхней половины лица, веки и часть щеки были содраны и смещены в сторону, с кожей сместилась копна светло-русых окровавленных волос. Женщина была молодая. Рядом с ней лежал мужчина, тоже молодой, без руки…

Надо было разобраться: кто еще жив, кого спасать? Вот когда я увидел картину массовой гибели, как на войне: из двадцати человек пять были мертвы, и еще пять умерли на наших глазах. Все молодые. Мы подходили к каталкам, слышали последний вздох, и… закрывали их простынями.

Нас, дежурных хирургов, было двое. Приходилось метаться от одной каталки к другой, определять, у кого что, и начинать оказывать первую помощь. Все время доносился до нас истошный крик молодой блондинки. Ее положили на носилках на пол, в дальнем углу. Оказалось, что погибший мужчина с оторванной

рукой — ее муж. У нее самой было только повреждение кожи лица. По сравнению с другими, у которых были переломы черепа, спины, рук и ног, это не грозило ей смертью, и ее оставили напоследок.

Уже за три часа ночи ее ввезли в операционную. Без наркоза, под местными уколами, я делал уникальную операцию — пришивал одну половину лица к другой. Если бы можно было, я с охотой дал бы это делать другому: мало того что я не был пластическим хирургом, но от эмоций, пережитых после страшной картины массовой гибели людей, в моих руках не было необходимых уверенности и точности. Я дрожал от пережитого и от усталости, старался не вспоминать предыдущие ужасные картины, а только концентрироваться на швах: один шов, другой, третий…

Потом я несколько раз видел ее в поликлинике. Женщина была довольно хорошенькая, широко улыбалась, и большой шрам на лице не очень ее портил: она искусно прикрывала его волной золотистых волос.

…Никогда не забуду свое дежурство в новогоднюю ночь 1961 года в московской Боткинской больнице. В приемный покой ввезли на каталке молодую женщину в красивом черном котиковом манто. На груди у нее была большая круглая коробка с тортом.

Накануне была оттепель, а к вечеру подморозило и пошел снег, образовалась гололедица. Особенно скользко было у обочин тротуаров, где скапливалась вода. Около столба на остановке троллейбуса «Стадион юных пионеров» стояла та молодая женщина, держа в руках коробку с тортом, — она ехала встречать Новый год к друзьям, в веселую компанию.

Троллейбуса долго не было, она всматривалась в даль проспекта, стараясь различить огни транспорта сквозь завесу падающего снега. Чтобы лучше видеть, она обошла фонарный столб, встала под знаком остановки и прислонилась к столбу спиной. Вот уже появились красные огоньки. Троллейбус, подъезжая к остановке, затормозил, но его понесло по льду на столб. Женщина не успела отскочить — троллейбус прижал ее к чугунному столбу — и раздавил. Она даже не вскрикнула, потеряв сознание от мгновенной боли. Коробка с тортом выпала из ее руки… Только торт и остался цел.

Когда ее привезли к нам, даже видавшие виды хирурги и сестры замерли: новогодняя ночь, красивый наряд, молодое лицо, коробка с тортом — и такое несчастье! Молодая сестра, почти девочка, первой догадалась снять коробку с ее груди. Это работники скорой помощи поставили торт ей на грудь от

растерянности — куда ж его девать? Не выбрасывать же…

Она открыла глаза — серые, лучистые, прекрасные, — внятно сказала:

— Неужели это — смерть? — И умерла.

Нас всех как морозом по коже продрало: спасать ее было поздно. Со смертью не поспоришь.

Через час мы сошлись в комнате врачей встречать Новый год. Санитарка поставила коробку с тортом на стол. Этот торт мы не могли есть…

Прошло еще семь лет. Я опять был дежурным — в знойный воскресный день в Институте травматологии. Машина «скорой помощи» привезла 22-летнюю женщину в критическом состоянии — с переломом черепа. Она прилетела в Шереметьево из эстонского курортного города Пярну. Месяц назад окончила актерский факультет театрального института и вернулась устраиваться на работу, на пару дней раньше срока.

Великое нетерпение подгоняло молодую актрису. Она первая вбежала в автобус, идущий в город. Но автобус заполнялся медленно, люди входили не спеша, водитель покуривал в стороне. Актриса не выдержала, выскочила из автобуса и побежала к стоянке такси. Ей повезло: когда она на такси проезжала мимо автобуса, он все еще стоял. Шофер тоже был молодой, тоже спешил — они мчались по Ленинградскому шоссе, ветер врывался в открытые окна…

Таксист пришел в сознание уже в приемном отделении. Его машина на полной скорости съехала с дороги, свалилась под откос и перевернулась несколько раз. Что случилось, он не понял. Может, отказало рулевое управление? На самом деле оказалось, что, беседуя с пассажиркой, шофер пожаловался на головную боль, и она дала ему таблетку пирамидона. А у него была непереносимость к этому лекарству, про которую он не знал. Он проглотил таблетку и впал в шоковое состояние.

У молодой женщины были великолепные, пахнущие свежестью русые волосы, но когда я пощупал кожу под ними, пальцы вздрогнули: вся голова была, как мягкая подушка: множественный перелом черепа. Мы начали состригать ее роскошные волосы — иначе невозможно было определить, где и сколько придется делать разрезов.

Я не верил в успех операции, но оперировать было необходимо. Есть такое хирургическое правило: если сомневаешься, должен оперировать.

Пока мы готовили ее к операции, я попросил милиционеров связать меня с ее родными. Они по паспорту установили ее адрес и телефон.

— Алло, с вами говорит дежурный врач института травматологии. Вы мама Аллы? Видите ли, ее привезли к нам, потому что она попала в аварию. Ей надо делать операцию на голове. Лучше вам скорей приехать.

Но ждать приезда матери было невозможно — состояние больной быстро ухудшалось. И я начал операцию. Весь череп был расколот на небольшие кусочки, выглядел, как мозаика. Много видел я переломов черепа, но такой — впервые. На той операции мне пришлось перенести худшие для хирурга переживания: полное бессилие, невозможность ничего сделать, хоть руки опускай. Как это переживает хирург — профессионально спокойно или эмоционально несдержанно? По-разному, но только не равнодушно. Если часто испытывать такие разочарования, можно дойти до депрессии. Приходится сдерживать себя.

А больная уже плохо дышала, и мы перевели ее на управляемое дыхание. Я еще занимался этим, когда сестра шепнула, что приехали родители Аллы. Надо было идти разговаривать с ними, по сути, прочесть смертный приговор их дочери. Я попросил сестру, чтобы принесла к ним воды и валерианки.

На скамейке сидели мать с отцом, ей лет под пятьдесят, ему побольше. Она тревожно вытягивала шею, услышав мои шаги, встала и посмотрела в мою строну. А он уперся подбородком на тросточку и смотрел в пустоту.

Прижав руки к груди, мать подалась в мои сторону и застыла с вопрошающим взглядом. Я приготовился сказать ей правду, но сразу понял: говорить не надо, она уже все почувствовала. А она вдруг приложила руку к губам и показала на мужа, а пальцами другой руки на свои глаза. Я всмотрелся в него и увидел, что он — слепой!

Как я ни был напряжен и растерян, но остолбенел еще больше: передо мной был подвиг невероятной душевной силы — мать узнала о гибели дочери и не вскрикнула, не заплакала, а пересилила себя, чтобы скрыть это горе от слепого отца.

Молчание длилось мгновение и прервалось звуком разбитого стекла. Я оглянулся — сестра выронила склянку с валерианкой, отвернулась и тихо всхлипывала. Слепой повернул лицо в ее сторону, потом в мою, слыша мое затаенное дыхание. Он встал рядом с женой и тихо сказал:

— Я все понял… спасибо вам за внимание… я никогда не видел своей дочери… она родилась, когда я был солдатом на войне, а домой я вернулся слепым… Я мог только чувствовать, ощущать ее… теперь я не смогу и этого…

Он протянул руку к жене, привычные его пальцы скользнули

по ее лицу. Оно было сухое. И он попросил ее:

— Поплачь за нас обоих своими глазами…

Нет, хирургов смертью не удивишь, не испугаешь. Но и безразличие к смерти в душе хирурга наступить не может. Прошло много лет с того дня, когда я в первый раз увидел умирание маленькой девочки, потом видел много других умираний. Но я продолжал переживать эти умирания всю мою жизнью.

Есть такая профессиональная поговорка: «Хирург умирает с каждым своим больным…»

Притягательная сила Америки

Известно, что земной шар вращается вокруг своей оси. Но, должно быть, в 1990-х годах он вращался еще и с центростремительным ускорением: в те годы на разных континентах — в Европе, Азии и Африке — это ускорение разбрасывало и перемещало народы разных стран, которые вынуждены были спасаться от политических репрессий и голода. Эта центростремительность продолжала выбрасывать все новые массы людей из бывшего Советского Союза в Америку, хотя официально политических, национальных и религиозных преследований там уже не было. По статистике, в 1992 году иммигрантов было двадцать тысяч, в 1993-м — семнадцать, в 1994-м — шестнадцать тысяч, в 1995-м — одиннадцать… Основная часть этой новой волны иммиграции состояла из молодых специалистов, людей европейского склада мышления, большинство из них знали английский. Так продолжалась и даже усилилась «утечка мозгов» из России. У посольства США в Москве стояли длинные очереди, люди, стоявшие в них, пытались добиться «статуса беженцев», что удавалось далеко не всем.

Кроме легальных иммигрантов, тысячи граждан России приезжали по рабочим визам и частным приглашениям. Многие из них потом оставались в стране. Для новых молодых приезжих здесь открывалась хорошая перспектива, они относительно быстро устраивались на работу по специальности или переучивались на компьютерных программистов: эта работа хорошо оплачивалась.

И в нашем госпитале все чаще слышалась русская речь. Молодые доктора и сестры, пока не сдали экзамены, устраивались секретарями, регистраторами, лаборантами. Узнав, что я много лет здесь работаю и занимаю солидное положение, они стали группироваться вокруг меня и Изабеллы. Оба мы проявляли к ним внимание, делились опытом американской жизни. Доктора часто спрашивали:

— Как вам удалось пробиться в такой первоклассный госпиталь? Наверное, потому что вы в Союзе были профессором?

— Мое бывшее профессорство никого в Америке не интересовало. Здесь надо доказывать, кто ты есть, а не кто ты был.

— А я вот не знаю, сумею ли стать доктором в Америке?..

— Почему не сумеете? Надо только очень хотеть и концентрировать на этом все усилия.

— Я-то хочу, но у меня семья, мама больная. Наверное, лучше

мне сдать экзамен на ассистента доктора. Это и проще, и заработок, говорят, неплохой.

— Я не могу вас уговаривать, но, по-моему, тот, кто был доктором в России, должен и может стать доктором и в Америке.

Желание отказаться от своего докторского звания и стать ассистентом — это был путь наименьшего сопротивления. Довольно многие избрали его, и, хотя зарабатывали потом приличные деньги, в душе всегда оставалась горечь сожаления о несвершенных мечтах.

Но были и другие, которые вопреки всему стремились снова стать докторами и проходили тот путь испытаний, который прошел я сам.

Двое моих новых знакомых, муж и жена Фуксы, обоим за сорок, гинекологи, высококвалифицированные специалисты (он — профессор, она — доцент), были в Москве на приеме у чиновника американского посольства. Он пытался их отговорить:

— Зачем вам уезжать? Вы же не знаете, что вас там ждет. Может, вам не удастся снова стать докторами. Вы будете спать на улице, на газетах.

Но, как он их ни стращал, Фуксы поехали и вскоре появились у меня в кабинете. Они решительно хотели начинать новую медицинскую карьеру и пришли, чтобы я дал им рекомендательные письма для поступления в резидентуру. Он рассказывал с горечью, но и с энтузиазмом:

— Знаете, когда мы готовились к экзамену по американскому учебнику, то за первый день смогли прочесть только одну страницу.

Она смущенно вставила:

— Это он читал, а я целый день проплакала.

Я узнавал в их рассказах свое начало в Америке.

Через несколько лет я опять встретился с Фуксами — оба работали в своих частных докторских офисах и были счастливы.

Ко мне на лечение стало приходить все больше бухарских евреев, которые составляли большую группу новых иммигрантов 1990-х годов. Они не говорили не только по-английски, но и их русский был ужасен. Изабеллу они замучили телефонными звонками:

— Сэкррэтаррша, прышли мнэ машину. — Это значило, что больная хочет приехать на прием.

— Кто говорит, как ваша фамилия?

— Зачэм тэбэ фамылыя? Мэнэ к дохтурру хочешь.

Эта группа вновь прибывших была полной противоположностью молодым специалистам. В основном они все были торговцы и ремесленники. Термин «бухарские евреи»

применяется ко всем евреям Средней Азии, которые расселились там около 2500 лет назад, вдоль Великого шелкового пути. За долгие века они и внешне, и в обычаях слились с азиатскими народами, хотя сохранили некоторые еврейские традиции. В Америку они ухитрялись провозить большие деньги, быстро осваивались в легальной и нелегальной торговле.

— О-эй, какой хоррошый эта страна — Амэррика! Что хочэш — все дэлый.

Селились они в одном из кварталов Квинса и скоро сделали его действительно похожим на Бухару. Этот район стали даже называть Квинсистан, по аналогии с Узбекистаном, Таджикистаном и другими «станами». Один из наших докторов жил там много лет в своем богатом доме и жаловался мне:

— Владимир, черт знает, какие люди, эта бухара. Заполонили весь район, ведут себя бесцеремонно — расхаживают по улицам в своих пестрых халатах и тюбетейках, в тапках на босу ногу. Каждый вечер собираются во дворах, галдят и жарят шашлыки и горы жирного риса. Весь Квинс провонял бараньим жиром. Прямо хоть уезжай!

В конце концов наш доктор уехал, как и многие другие старожилы. Бухарцы скупали дома, переделывали их под квартиры или строили себе особняки.

Меня они поражали своей средневековой отсталостью в понимании лечения. На приеме многие из них говорили так:

— Я, дохтырр, сам лэчил, квашэный капуст к своэй спынэ прыкладывала — нэ помэгло…

После таких откровений я в шутку попросил Изабеллу:

— Нам надо купить бочонок квашеной капусты.

— Капусты?! Владимир, зачем?

— А вот когда придет еще такая бухарка, мы посадим ее в бочонок и скажем: сиди там, пока не поправишься! А чтобы оправдать стоимость капусты, вы направляйте в «Медикейд» счета из зеленной лавки. И приписывайте бухарцам побольше таких сеансов…

Другая пожилая бухарка с артритом доверительно прошептала мне на ухо:

— Я, дохтурр, знаэш, своэй моча сэбэ на колэнку ссал. Нэ помэгло.

— Наверное, вы не точно попадали.

— Точно, дохурр! Научылыс…

В благодарность за операции все они считали обязательным приносить мне деньги и подарки. Много русских иммигрантов дарили мне коньяки и вазы, а Изабелле шоколад. Бухарцы давали еще и конверты с тысячью долларов. Как и что оплачивают их

страховки, они, конечно, не понимали, и считали, что труд доктора должен быть оплачен «настоящими» деньгами.

У Ирины в ее лаборатории и в соседних работали представители третьей группы приезжих, выброшенных все тем же центростремительным ускорением из России и привлеченных Америкой. Это были не иммигранты, а молодые ученые, биологи и врачи, приезжавшие по рабочим визам. Они быстро заменили собой почти всех ученых из других стран. Это были квалифицированные специалисты, которых привлекала возможность поработать за приличные деньги в первоклассных условиях с лучшим оборудованием. В России им платили мало, а с некоторых пор вообще перестали платить. Вскоре в лабораториях появились надписи по-русски: «Уходя, гасите свет», «Выключайте приборы», «Проверьте краны».

Моя общительная Ирина со многими из них сдружилась и познакомила с ними меня. Все они приезжали на работу на год или два и вначале решительно заявляли:

— Америка — это хорошо. Но мы здесь не останемся, поедем обратно.

Но, когда подходило время, их решимость ослабевала, и, вместо отъезда, они вызывали в Америку близких и продлевали визу. А потом уже всей семьей подавали бумаги на Green Cardй», «зеленую карточку», — документ на право постоянного проживания.

Среди них были два Евгения, два Жени, с которыми мы сошлись ближе. Один из них, старший, известный ученый, думал-думал и все-таки уехал:

— Приятели пишут, что сейчас в Москве тоже можно заниматься наукой, а для денег я начну какой-нибудь бизнес, как многие другие, — объяснял он.

Но вскоре после отъезда Женя-старший запросился обратно и писал Ирине: «После Америки мне здесь все не нравится, какое-то все лилипутское».

Его снова взяли на работу в лабораторию, он вернулся с семьей и больше о возвращении в Россию не заикался.

Женя-младший был родом из Саранска. Эрудированный человек, он каким-то образом умудрился сохранить в себе черты провинциала. В ту пору началось повальное увлечение Интернетом, Женя стал его фанатом и при каждой встрече уговаривал меня:

— Владимир Юльевич, по Интернету можно все. Интернет — это весь мир, в нем все есть.

— Женя, некогда мне сидеть и глазеть в Интернет.

Он так ко мне приставал, что однажды я написал

стихотворение:

КАК НА ИНТЕРНЕТЕ НАРОДИЛИСЬ ДЕТИ

Раз включил я Интернет —
Поглазеть на белый свет,
И гонял я до одышки
По экрану стрелку мышки;
Дабл-дабл-дабл-Ю,
С Интернетом — как в раю,
Все, чем мы теперь живем,
Все находится на нем:
Он на то и Интернет —
Для него секретов нет.
И задумал я в момент
Провести эксперимент,
Двинул мышку вверх и вниз —
И две линии сошлись,
Перекрестной буквой Эксом
Заниматься стали сексом —
Одна линия под другой
Изгибается дугой,
И качается другая
(Догадайтесь — кто какая?).
Я гляжу — на Интернете
Нарождаться стали дети!
Он на то и Интернет —
Невозможного в нем нет…
И пришлось, едрена мать,
С экрана роды принимать.

Женя тоже сначала рвался обратно в Россию, вскоре после приезда:

— Что-то на Волгу так захотелось, — говорил он мечтательно.

Но, как ни сильна была в нем привязанность к России и к ее природе, благополучная жизнь все перебила и патриотический пыл в нем ослабевал. А его практичной жене Наташе возвращаться на Волгу совсем не хотелось. И что же? Сначала они купили себе машину и стали часто выезжать за город. Потом, при очень скромных заработках, приобрели загородный дом на берегу реки Делавер. Там с нерастраченным крестьянским пылом Женя

возился на земле, а Наташа наводила уют в доме. Я назвал это их хозяйство «Саранск на Делавере». Потом они купили второй небольшой дом, в пригороде Нью-Йорка.

Так Америка легко побеждала русофильские настроения тех, кого заманила.

Мы с Ириной тоже начали снимать летний дом под Нью-Йорком, в небольшом городке Монро. Туда переехал наш сын с семьей, ближе к работе. У него было уже трое детей — родилась двойня, мальчик Грегори и девочка Лорин, и мы с Ириной летом часто приезжали навещать внуков.

По соседству жили несколько семей иммигрантов из России, у них работали прислугами и нянями так называемые «русские нелегалки».

Это была четвертая группа новой волны — женщины разных возрастов, которые приехали по гостевым визам на полгода, но оставались здесь годами на нелегальной подработке в состоятельных домах. Многие из них были учителя, инженеры, врачи, музыканты. Но теперь на родине для них или вообще не было работы, или платили так мало, что стать прислугой или нянькой в Америке было намного выгодней. Почти все, что зарабатывали, они отсылали домой, чтобы поддержать существование своих семей.

Общительная Ирина близко сошлась с некоторыми из «нелегалок». Одна из них, женщина из Минска, милая и веселая, рассказывала:

— Конечно, в моем теперешнем положении я чувствую себя ушибленной судьбой. Ведь я пятьдесят лет прожила, двоих детей вырастила, положение занимала — была начальником планового отдела на заводе. Работали мы на весь Союз и на соцстраны. Я даже в ГДР в командировки ездила, барахлишко домой привозила. И муж начальник был, по профсоюзной линии. Квартиру имели, дачу построили. Как говорится, «пердячим паром» строили — дача хоть и маленькая, а все своя. «Москвич» купили, на курорты по путевкам ездили. И вдруг как снег на голову — в 1991 году распускают Советский Союз! Все сразу рухнуло и пошло кувырком: на заводе заказы прекратились, зарплату платить перестали. Мужа с работы уволили, он с горя запил. Евреям хорошо, они все в беженство подались: кто в Израиль, кто в Германию, кто сюда, в Америку. А нам, русским людям, куда податься? Некоторые женщины, что помоложе, те в Польшу и в Чехию перебрались, там официантками, уборщицами нанимались, а каких даже в проститутки завербовали. А мне под старость лет — куда? Научили меня податься в Америку «нелегалкой». В старину говорили, «в люди наняться». Заплатила

я взятку, получила визу на полгода, нашла работу у евреев, русских иммигрантов. Люди хорошие, в Ленинграде музыкантами были, а здесь на компьютер кончили. В Америке все на компьютер кончают. Вот, живу у них два года прислугой. По-американски «хомутендой» называют, а по русскому — домработница значит. За двумя ихними детьми ухаживаю, варю на всю семью, дом убираю. Платили мне двести пятьдесят долларов в неделю, теперь надбавили — триста получаю. И кормлюсь бесплатно…Что зарабатываю, все в Минск отсылаю — своим. Все мы тут на заработках, как коровы дойные, для своих семей. Да я этому и рада, о себе уж не думаю. Мало ли, что начальником была и с мужем жила… Мне еще другие бабы завидуют, что в Америку сумела попасть. Виза моя давно кончилась, живу, конечно, нелегально. А одна моя подруга, которая здесь тоже нелегалкой была, уехала обратно в Минск, и оттуда мне пишет: сиди в Америке и не рыпайся — никому мы тут не нужны…

Грустно было ее слушать. Мать — не нужна? Жена — не нужна? Деньги — нужны!.. Надо было суметь довести страну до такого состояния, чтобы она посылала своих матерей, жен, дочерей и сестер наниматься «в люди» в Америку!.. Эта «нслегалка» была хоть довольна своими хозяевами, а некоторые попадали как в рабство — слышали мы и такое… Но без денег и вида на жительство деваться им было некуда.

Отрешившись от прошлого своих жизней, «нелегалки» оставались в Америке по нескольку лет и тем поддерживали существование своих семей на предавшей их Родине. Много их приехало, да еще больше хотели бы приехать, только не знали — как это сделать. Это было настоящее нелегальное беженство советских жен и матерей от неустройства и голода в их стране. И конечно, предприимчивые люди в Америке, тоже иммигранты, развили вокруг них настоящую индустрию — создали десятки нелегальных агентств по устройству «нелегалок» на работы. Телефоны этих агентств были известны всем «нелегалкам». За сумму трехмесячного заработка агенты находили для них хозяев. А деньги за это брали с них вперед.

Американки

Я это потому пишу,
Что сам давно уж не грешу…

А.Пушкин

Рассказал я о судьбах русских женщин в Америке, и пора мне рассказать о своих наблюдениях за женщинами Америки.

Теперь у нас было три внука — Кортни, Грегори и Лорин. Но радость наша была подпорчена плохими отношениями с женой сына Линдой. С самого начала не было у нее к нам никакой приветливости. Со всем нашим жизненными опытом мы неназойливо пытались найти пути к душевному сближению с ней. Ирина предлагала ей помощь в уходе за растущими внуками — она в ответ молчала. Мы помогали им материально: дали половину денег на новый большой дом, который был для них слишком дорог, и с радостью привозили подарки — она этого как будто не замечала. Нам хотелось почаще видеть растущих внуков, но мы сами в гости не напрашивались, а бывали только, когда сын позовет. Наша старшая внучка Кортни почувствовала разлад в семье и по-детски пыталась примирить свою мать с нами. Но это помогло лишь на короткое время.

Между Линдой и нашим сыном отношения тоже были не из лучших. Он стал обожающим отцом, но не стал счастливым мужем.

Трудно понять, почему Линда такая. Одно объяснение — она американка. Я не шучу и не преувеличиваю: американки — особый тип человеческого поведения и характера. Вряд ли такой тип можно встретить в других странах. Конечно, во всем мире произошли перемены в условиях жизни, смешение культур при массовой миграции, и все это привело к изменениям в женских судьбах и характерах. Но американки, как всегда, впереди всех.

Допускаю, что несправедливо и даже рискованно обобщать женский характер какой-то одной нации по личным наблюдениям. Среди американок есть разные: милые и грубые, добрые и злые, слабые и сильные, агрессивные и мягкие, женственные и мужеподобные, хозяйственные и безалаберные. И, конечно, мои наблюдения — это взгляд весьма пожилого человека. Но умудренному опытом жизни старику со стороны все-таки видней.

Почти исключительно все мои знакомые американки были жительницы Нью-Йорка, а Нью-Йорк — еще не вся Америка. В

небольших городах и в сельской местности характеры людей совсем другие. Но в то же время Нью-Йорк «задает моду» поведения. А уж кто как не женщины любят следовать моде. И если спрессовать все черты жительниц Нью-Йорка и потом выделить «средний тип», можно получить четко обрисованный характер американки с превалирующими в нем чертами.

С самого начала жизни в Америке меня поразило, насколько американки отличались от русских женщин. Главная черта американок — независимость. Независимость — это хорошо, но у них это не простая, а какая-то воинственная независимость. Это их первая и самая большая гордость. Благодаря независимости многие американки стали тем, что называется «бабы с яйцами». Что ж, в английском языке нет мужских и женских родовых окончаний. Может, и в американской действительности уже отпала нужда в разнице между мужчинами и женщинами?

По происхождению большинство американок — потомки разных наций (и в нашей Линде смесь ирландских, шотландских, британских и литовских кровей). Но за жизнь трех-четырех поколений они «усредняются», становясь почти неотличимыми в основных чертах поведения и характера. Масса американок являют собой гибрид многих рас — белой, черной, смуглой и желтой. Это придает им не пеструю окраску, но делают похожими одна на другую. Американка — не расовое или национальное, а чисто социальное понятие.

Социальная стабильность и благополучная материальная жизнь сняла с них гнет постоянной озабоченности трудностями быта, характерный для женщин во всем мире. Мужчины для них не поддержка в жизни, а равный или даже более слабый партнер.

Американский феминизм 1960-х, порожденный Бэтти Фридан, достиг к концу XX века своего политического пика. Среди 500 депутатов конгресса — 120 женщин, среди 50 сенаторов — 12, среди 50 губернаторов — 10. Уже была женщина министр иностранных дел, есть другие министры. Советник Буша-младшего по национальной безопасности — темнокожая женщина. Немало женщин стоит во главе крупных фирм. В передовой стране — передовые женщины. Честь им и хвала! Они проникают во все сферы жизни общества, которые раньше считались сугубо мужскими. В военные училища женщин раньше не принимали, но они добивались через суды и прессу, чтобы их туда брали, — и добились своего. Уже есть американки генералы. Чуть ли не пятая часть полицейских — тоже женщины. Кажется, нет их еще в пожарных командах. А может, и есть… И большинство американок значительно большие патриоты, чем американцы мужчины. И, как во всем, американки-патриотки —

тоже воинственные.

Но при всей их прогрессивности многим американкам не хватает именно того, что во все времена характеризовало женщин — мягкости характера, простой женственности. В молодые годы они слишком заняты карьерой и собой, долго не хотят выходить замуж и рожать детей. Их идеал — выглядеть «секси», заниматься спортом и всякого рода гимнастикой. Доминирующая внешность молодых американок — мускулистые и стройные, действительно сексуально привлекательные. Но много есть среди них и чересчур толстых. И вот что интересно — они и это считают «секси» и гордятся этим.

И, конечно, у них много романтических приключений, случайных и прочных связей. Но замуж они выходят или съезжаются с постоянным «бойфрэндом» (любовником) по большей части после тридцати и даже ближе к сорока годам.

А что насчет любви? Это сугубо индивидуально. И все-таки поверхностное впечатление такое, что любовь уступила место «деланию любви». От американок часто можно услышать безразличную стандартную фразу:

— Замуж? Нет, замуж я не собираюсь. Поживу с моим бойфрэндом несколько лет, посмотрю — может, потом и выйду за него…

Потом такая пара годами живет совместно, называя себя «компаньонами». Понятие «семейная жизнь» у них сводится к устойчивой половой связи и чисто материальным отношениям.

Около половины всех женщин потом расходятся. При атрофии любви, замененной сексом, и независимых взглядах чувство союза сердец и душ у американок притуплено. А при агрессивности характера нет у них и необходимой для семейной жизни терпеливости. И далеко не все американки хотят рожать, предпочитая «готовый продукт» из малоразвитых стран — Китая, Румынии, Кореи, Мексики, а с недавних пор стали ездить за детьми в Россию и платить за них большие деньги… (России доллары нужны больше, чем дети!)

Еще одна характерная черта: из «хранительниц очага» американки превратились в женщин, живущих вообще без очага — большинство дома никогда еду не готовят. Около двух третей американских семей не едят дома вместе. Американки едят или в ресторанах, или по телефону заказывают еду домой. Эта черта передается и усваивается быстро. Одна русская бабушка приехала навестить дочку и двух внучек, 5 и 10 лет. Она взялась читать младшей внучке «Сказку о рыбаке и рыбке» и попросила старшую:

— Пока я читаю, ты приготовь нам всем что-нибудь поесть.

— Сейчас, это я мигом, — воскликнула десятилетняя девочка.

Бабушка была очень за нее горда. Но девочка набрала по телефону номер ближайшего ресторана и спросила бабушку:

— Что ты хочешь заказать?

Удивленная бабушка не представляла себе такой «готовки» в России. Но все-таки дочитала сказку: «…сидит старуха, а перед ней разбитое корыто» — и спросила внучек:

— Вы знаете, что такое корыто?

— Знаем! — воскликнули новые юные американки. — Это стиральная машина…

Почему американки предпочитают поздно выходить замуж, поздно рожать? Да потому что к браку и семейной жизни у многих из них выработалось отношение, которое раньше было только у мужчин: сначала они хотят «погулять», «перебеситься», а потом уж отохнуть в лоне семьи. Еще в школе, в пятом-шестом классе, девочек обучают пользоваться презервативами и противозачаточными таблетками. В классных комнатах для школьниц и школьников это — как игра. Но, выйдя из класса, чуть ли не все девочки начинают применять их (черным девочкам матери дают таблетки еще раньше). К восемнадцати годам, когда они оканчивают школы и поступают в колледжи, американские девушки уже имеют большой и разнообразный опыт сексуальной жизни.

А после восемнадцати, живя в общежитиях колледжей, они получают не только образование, но и еще больший опыт разгула и разврата всякого рода. Об этом много пишут в американской прессе. Есть такая игривая поговорка: «Чем интеллект выше, тем поцелуй ниже». Более 80 % американок после окончания колледжа сообщили, что занимались оральным сексом.

Я спросил одного нашего доктора-резидента, большого «ходока» по девочкам:

— Сколько у тебя в колледже уходило времени на то, чтобы переспать с новой девушкой?

Он ответил не задумавшись:

— Обычно — в тот же день, но не больше, чем два дня.

Однако не дай бог сказать что-нибудь в упрек американке, даже в шутку: можно легко нарваться на обвинение в антифеминизме, на грубый отпор и оскорбление. В этом с американками надо быть настороже. Любое, даже дружелюбное замечание, американка может счесть за sexual harassment — «сексуальное домогательство», пожаловаться начальству и даже подать в суд на «обидчика». В нашем госпитале был такой случай: молодой доктор-резидент, проходя по коридору, подошел к сидящей на стуле дежурной сестре и дружески похлопал ее по шее:

— Эй, как дела?

Она тотчас настрочила на него рапорт начальству и подала в суд.

Знаменитое на всю страну дело о сексуальном оскорблении возбудила черная американка Анита Хилл против кандидата в члены Верховного суда Томаса, тоже черного. Члены конгресса вынуждены были слушать, какие намеки он якобы ей делал. При самом тщательном разборе ее обвинения оказались несостоятельными.

Наряду с такой сверхчувствительностью американки могут считаться чемпионками в готовности пойти на любое публичное унижение за деньги. По ТУ идут представления «Кто хочет выйти замуж за миллионера?» и «Холостяк ищет невесту», в которых стремятся участвовать тысячи «средних» американок. Эти передачи с жадностью смотрят миллионы зрителей, большинство из них, разумеется, женщины. Вечер бесстыдной охоты за незнакомым богачом приносит участницам короткую, но громкую славу. И хотя, казалось бы, участие в таких шоу позорно для порядочной женщины, в Америке и на это есть поговорка: «Shame is fame» — «Позор — это слава». В печати упоминаются то и дело случаи, когда так называемые «порядочные американки» за деньги снимались для порнографических журналов.

Я всю жизнь был поклонником женщин и уж совсем не женоненавистником. Приехав в Америку, я понял, что устоявшаяся демократия и материально благополучная жизнь создали из американок, возможно, будущий тип всех женщин мира. Они интересны оригинальностью поведения и нескрываемой сексуальностью. И я не собирался одностороннее-критически представлять здесь американок. Но я не могу поклоняться в женщинах только их социальным и правовым достижениям. Женщина должна быть женщиной, предметом и источником любви, хранительницей семейного очага. Если ничего этого в ней нет, восторгаться ею довольно трудно.

Италия

В России говорят «мир тесен», в Америке — «мир мал». Он действительно и мал и тесен. Подтверждением этому стало письмо, которое я неожиданно получил.

Каждый день меня на работе ждало много почты, заботливо разобранной Изабеллой. В основном, это были чеки от разных страховых компаний, запросы от них на дополнительную документацию о пациентах и другие деловые бумаги — анализы моих пациентов, переписка с журналами, приглашения принять участие в семинарах и выступить на конференциях. Закончив во второй половине дня операции, я звонил ей по внутреннему телефону:

— Изабелла, какие у нас дела? Что-нибудь срочное? Ничего? Тогда раздувайте самовар — я иду в кабинет.

Это был принятый между нами шутливый жаргон, чтобы она согрела чайник для моего послеоперационного кофе.

Финансовые бумаги были в ее полном распоряжении, она их складывала для отчета в ассоциацию ортопедов, а мне о них только докладывала:

— Владимир, пришли чеки от трех страховых компаний.

— Сколько?

— Пять тысяч семьсот.

— Что так мало? — я всегда говорил «мало», это тоже был шутливый жаргон.

— Зато две компании вообще ничего не заплатили. Опять просят дополнительные сведения об операциях, хотя я уже им посылала. Придется еще раз посылать.

— Изабелла, наверное, вы мало с них просили, просите больше — тогда пришлют.

Так мы шутливо переговаривались, пока я пил свой послеоперационный кофе.

Другие письма она распечатывала и складывала на моем столе. И однажды сказала:

— Владимир, какое письмо вам пришло из Италии!

— Из Италии? От кого?

— Я не знаю — оно ведь написано по-итальянски.

На великолепном бланке мэрии города Руфино было что-то напечатано красивым шрифтом. Я разглядывал его и пытался понять: что бы это письмо могло содержать?

Несколько дней ушло на розыски того, кто мог мне прочитать письмо. Оказалось, что у нас работает женщина-доктор из Италии.

— Вас не затруднит перевести мне это письмо?

Она читала и улыбалась:

— Знаете, письмо написано витиеватым языком, в старом стиле, так теперь не пишут. «Уважаемый доктор Голяховский, Вы, наверное, удивитесь этому письму. Случилось так, что недавно одна американка, родом из Флоренции, приезжала в Италию, и мы случайно с ней встретились. Разговор зашел о русском профессоре Илизарове. Она рассказала мне, что видела в Индии русского доктора по имени Владимир, из Нью-Йорка, делающего операции по методу профессора Илизарова. Мы с профессором были большие друзья. И тогда я понял, что Вы тот самый доктор, которого я видел в доме профессора Илизарова, когда был в Кургане в 1989 году. Я очень обрадовался этому и хочу пригласить Вас с женой к нам в Италию. Ваш приезд будет большой честью для нас. Вам окажут прием, столь же радушный, какой мы оказывали самому профессору Илизарову. Эмилио Ромберчи, мэр».

Тут я вспомнил нашу случайную встречу с мэром в Кургане, и ту американскую итальянку, которую видел в Индии. Как странно все переплелось: в Кургане я встречался с мэром Руфино, в Индии встретил ту американку из Чикаго, которая оказалась урожденной итальянкой из Флоренции, эта американка поехала в Италию и там случайно встретила мэра; они заговорили про Илизарова, и она сказала, что в Индии встретила американского специалиста, тогда итальянский мэр понял, что этот доктор — его знакомый… и вот — передо мной его письмо с приглашением приехать в Италию. Действительно, мир мал и тесен!..

Тут как раз зашел ко мне мой бывший помощник Леня Селя. Теперь он уже был резидент и временно стажировался в нашем госпитале. Я рассказал ему и Изабелле эту чудесную историю.

— Владимир, вы поедете? — спросила Изабелла.

— Конечно, поеду! Кто же откажется от такого приглашения?!

Леню было теперь не узнать: робкий иммигрант, который с недоверием, исподлобья присматривался к нашим докторам и ко всей жизни в Америке, превратился в самоуверенного молодого американского хирурга. Он и держался и говорил, как настоящий американец. Леня был молодец, я предвидел для него хорошее будущее:

— Помнишь, как ты мрачно жаловался мне в Москве, когда собирался уезжать в Америку, что чемоданов в продаже нет?

Он усмехнулся:

— Я, Владимир, на днях купил новую машину — дорогую.

— Поздравляю, ты становишься совсем американцем.

— Что ж, я живу в Америке и хочу жить, как все. Думаю после

резидентуры пройти специализацию по хирургии позвоночника. Что вы об этом скажете?

— Что ж, операции на позвоночнике трудные, зато за них и платят больше. Я поговорю о тебе с доктором Нюартом, директором Отдела хирургии позвоночника…

Дома Ирина с восторгом отнеслась к приглашению Эмилио Ромберчи. В Италии мы за эти годы были несколько раз, но в Рим и другие большие города не заезжали с 1978 года, когда ждали разрешения на въезд в США.

Я стал готовиться к поездке. Чтобы списать с налогов расходы на нее как деловую поездку, я отправил факсы нескольким итальянским профессорам и получил приглашение прочитать лекции в Риме, Флоренции и Болонье. Болонский университет — первое высшее учебное заведение Европы. В Болонье в 1150 году был открыт первый медицинский факультет. У меня давно зрела мысль побывать в Болонье, встать на старейшую в мире медицинскую кафедру, чтобы с нее прочитать лекцию. Почему не иметь честолюбивых желаний?..

Если бы Бог пришел ко мне и сказал:

— Я решил уничтожить весь этот грешный мир, но могу оставить только одну страну. Какую ты посоветуешь оставить?

— Боже, спаси Италию! — воскликнул бы я в ответ.

Я люблю Италию за ее creative impulse — творческое начало. Кажется, ни одна страна в мире не имела такой богатой истории, как эта полоса земли на узком и гористом Апеннинском полуострове. Я люблю итальянцев за их дружелюбие, живость и экспансивность. Во все периоды истории они умели отстоять свою цивилизацию, и она не умерла, как это случилось в Египте, Греции и многих странах Востока, но развивалась и подарила миру эпоху Возрождения. От глухой древности и до наших дней — пример уникальный.

Мы с Ириной поехали в Рим, Флоренцию, Сиену, Болонью и Венецию — в самое сердце Италии. Мы не были в тех городах полтора десятка лет. Тогда мы жили в Риме как бесправные беженцы, на мизерном содержании иммиграционных служб. И на «сгибе нашего бытия» (выражение Высоцкого) настрой у нас был далеко не туристский. Теперь мы ехали туда как американцы, с долларами в кармане.

Когда Гете впервые увидел Рим, он приветствовал его: «Здравствуй, Рим! Ты — целый мир». В Риме все значительно, это самый величественный город мира. Там можно зайти в какую-нибудь церковь и увидеть на алтарной стене картину Рафаэля или Караваджо или скульптуры Бернини и Микеланджело. Где еще может случиться такое?

Рим для меня — прежде всего Микеланджело. И мы с Ириной поспешили в церковь Петра в оковах. В ней стоит, как живой, Моисей — скульптура Микеланджело. Библейский пророк, он по требованию Бога вывел свой народ из рабства в Египте. Но он считал себя неспособным выполнить то, что требовал от него Бог, — стать водителем народа. Он отказывался и отговаривался, но был вынужден уступить Богу. И потом сорок лет вел людей на Землю обетованную. Как ему было тяжело — все это отражено в скульптуре Микеланджело.

Никогда ни карандашом, ни красками ни одно лицо не было изображено с такой выразительностью, с какой Микеланджело сделал это резцом по мрамору. В лице легендарного вождя еврейского народа отражена глубина самых противоречивых чувств человека, сконцентрированных в одном моменте. Мысли Моисея отражены в лице, а настроение выражено в его позе: он как будто уже готов привстать в решимости, но задержался, потому что сомнения еще не покинули его.

Микеланджело было сорок лет, когда он изваял Моисея. Известно, что он почти никогда не возвращался к своим работам. Но в возрасте 67 лет он вернулся к Моисею и отполировал его заново. Некоторые критики считают, что он изобразил в Моисее самого себя — не автопортрет, но картину собственной души, всю свою жизнь, бывшую непрестанной борьбой между сомнениями и решимостью.

Впервые я увидел эту скульптуру, когда наша семья совершала свой «исход» из Советской России, как народ Моисея из рабства. Я возглавлял наш исход в Америку, как Моисей возглавил исход своего народа. Какие только чувства ни боролись тогда в моей душе — решимость, надежда, обреченность, смелость, страх… Я жил этими чувствами более года, когда оказался перед скульптурой Моисея. И вдруг я увидел в его лице и в его позе все, что бурлило во мне. Я стоял перед ним не пораженный, нет, — я был ошеломлен! Теперь я пришел к нему, как к старому другу: мы оба свершили то, что было нам предназначено.

Но что все-таки в Риме самое привлекательное — это Ватикан с его музеями. Ни в одном городе мира нет другого такого скопления богатств архитектуры, живописи, скульптур, книг и рукописей, мозаик и карт. И самое замечательное, что почти вся его коллекция состоит из творений итальянцев. Это ли не чудо? Боже, благослови Италию!..

В 1508 году Папа Юлий II буквально заставил Микеланджело расписывать потолок Сикстинской капеллы — как Бог заставил Моисея вывести из плена евреев. К тому времени Микеланджело

был самым известным скульптором. Он отговаривался, что не живописец, злился на необходимость расписывать огромный потолок, нервничал, переделывал начатое. Он разогнал всех помощников и четыре года работал, лежа на спине, с задранной головой и поднятыми руками.

Папа изредка и тайно заходил в Капеллу, стараясь через леса разглядеть роспись и стесняясь раздражать своими визитами сумрачного гения. Но все же время от времени торопил его:

— Когда ты закончишь?

— Когда буду удовлетворен своей работой, — отвечал художник.

И настал день, когда потекли туда толпы — смотреть на невиданное в мире чудо! Это самая большая по размерам, самая совершенная по исполнению и самая глубокая по содержанию фреска, когда-либо созданная. В Сикстинской капелле Микеланджело представил полное содержание Ветхого и Нового Заветов, создал их визуальную интерпретацию, оставшуюся с людьми на все времена.

Перед поездкой я списался с директором клиники ортопедической хирургии в Римском госпитале св. Петра профессором Франческо Сантори. В 1967 году, молодым доктором, он проходил научную стажировку в Москве, где работал и я. Он выучил русский, мы много беседовали, я приглашал его домой. Высокого роста, с красивыми чертами лица и яркими темными глазами под густыми бровями, с гладкой кожей, он был тогда как итальянец с картинки.

Но когда я эмигрировал в Америку через Рим, Франческо уклонился от встречи со мной. Это меня задело, я даже написал об этом в первой книге моих воспоминаний. Но теперь побывать в Риме и не встретиться с ним я не мог. И вот вечером он приехал к нам в отель. Передо мной стоял высокий сгорбленный старик с поредевшей шевелюрой и всклоченной седой бородой. Кожа сморщилась и пожухла, глаза под кустистыми бровями потускнели. Мы обнялись, похлопывая друг друга по спинам. Говорил он медленно и тихо, будто с трудом, поворачивался тоже как бы через силу и вскоре стал жаловаться на боли в спине. Не знаю, что он подумал об изменениях во мне, но я помнил, что он младше меня. Эта встреча стала живым напоминанием мне, что мы стареем и время наше уходит. Впрочем, Франческо сопровождала молодая любовница, которая все время к нему льнула.

На другой день мы поехали в его госпиталь, я прочел там лекцию. Италия — страна многих великих открытий. И итальянские ортопеды были первыми и долго считались лучшими

в мире. На лекцию собралось сорок молодых докторов. Темпераментные итальянцы живо на все реагировали. Показывая слайды по ходу рассказа, я перемежал их своими шаржами на Илизарова и наших докторов. Аудитория вела себя экспансивно, многие выкрикивали вопросы, обсуждали и тут же консультировали со мной своих пациентов. И аплодировали тоже экспансивно, будто в оперном театре. Старик Франческо мог почувствовать — это был мой реванш за его отказ встретиться со мной в трудную минуту.

Во Флоренции в 1978-м мы были всего три дня. Этот город — колыбель Ренессанса и Гуманизма. Какой еще другой город может похвастаться тремя такими своими сыновьями — Данте, Леонардо и Микеланджело? Флоренция вся сплошной музей. Мы снова навестили «Давида», самую знаменитую скульптуру Микеланджело, бродили по музеям и улицам, некоторые из них выглядят, как во времена Данте.

В гостиницу «Санта кроча» за нами заехал мэр Эмилио Ромберчи с двумя моими знакомыми итальянскими профессорами-ортопедами. Со времени нашей курганской встречи в 1989-м Эмилио тоже изменился — потолстел, поседел. Но главная перемена была в том, что из бывшего коммуниста он превратился в директора большого винного предприятия, производящего «Кьянти» и «Руфино-Орвиенто», и стал почти капиталистом. Так перемены в Советском Союзе отразились и на Италии, в ней коммунисты тоже потеряли свое влияние.

Эмилио сказал (через племянницу-переводчицу):

— Владимир, сегодя весь день мы проведем точно так, как это было, когда профессор Илизаров был нашим гостем в 1986 году.

Это был настоящий праздник в честь волшебного края Тоскании — центральной области Италии, откуда пошла вся итальянская культура, заложенная еще древними этрусками. Нас возили по виноградникам и деревням, мы заходили в просторные деревенские дома с мраморными полами. Только в Италии крестьяне могут позволить себе такие прекрасные дома с прохладными мраморными полами, спасающими от летнего зноя!..

По узкой каменистой дороге мы поехали в загородный дом Эмилио в горах:

— Сейчас вы увидите, как жили наши предки сотни лет назад.

Большому каменному дому 400 лет, он стоит на вершине, прямо над склоном поросшей лесами горы. Когда мы подъехали, из дома один за другим стали выходить мужчины и женщины, все

кидались нас целовать и что-то быстро и жарко нам говорили. Эмилио представлял:

— Это моя жена… моя дочка… моя сестра… мой брат… моя тетя… мой дядя…

Такая встреча была полной неожиданностью для нас. Оказалось, что Эмилио собрал всю свою большую семью, восемнадцать человек:

— Все они были здесь, когда я принимал профессора Илизарова.

Старинный дом внутри был абсолютно современным, тоже с мраморными полами. В большом зале на длинном столе — ряды бутылок вина с завода Эмилио, в громадном мраморном очаге-камине жарились куски мяса, источая манящий запах. Нам объяснили:

— Это тосканские бифштексы. Мясо должно быть от двух-трех разных видов зверей — кабана, быка и свиньи. И жарить его должны только мужчины.

— Чем тосканские бифштексы отличаются от других?

С неповторимой итальянской жестикуляцией нам ответили:

— О, они очень, очень даже отличаются! Они самые толстые!

Под великолепное красное вино бифштексы были бесподобны, вкусом напоминая шашлык по-карски. Эмилио произнес первый традиционный тост за гостей. Он рассказал историю нашей встречи в Кургане, историю своего письма. На каждые десять слов приходилось двадцать энергичных жестов. Все бурно реагировали, потом тоже говорили тосты и без конца нас обнимали. Надо было оказаться среди итальянцев, чтобы понять, насколько американцы холодней и чопорней. Впрочем, сравниться в сердечности с итальянцами не может вообще никто.

Болонья — столица итальянской провинции Эмилия-Романья, которая славится как вершина итальянской кухни. Город почти ровесник Рима. До VI века н. э. он продолжал процветать. Но в «темные века» Средневековья попал под влияние Византии, и это разрушило его древнюю культуру. Возрождение города началось с 1088 года, когда там обосновались гильдии студентов и преподавателей, прообраз первого европейского университета. Сначала в нем изучались только римские законы знаменитого «Кодекса императора Юстиниана», но с 1150 года началось и преподавание медицины. Из Болоньи пошла традиция следования канонам Гиппократа. И оттуда берет исток современная хирургия. Понятно, что я немного волновался, оказавшись в древней европейской колыбели моей специальности.

Первым делом мы с Ириной пошли в университетский квартал, вернее, в часть города со многими кварталами разных

факультетов. За тысячу лет своего существования университет много раз перестраивался, теперешние его строения вряд ли старше 200–300 лет. Везде сновали толпы студентов — смех, суета, крики. На облупленных стенах факультетов — обрывки афиш и объявлений. Связь с прошлым была, конечно, символическая. Только силой воображения можно было попробовать представить себе, что и как было здесь в начале начал.

Ортопедическая хирургия преподается в Институте Риццоли, в бывшем монастыре, в пригороде Болоньи. Там оказалось гораздо тише и чище. Директор института профессор Пьетро Джоржио Маркетти повел нас в библиотеку — богатейший музей истории ортопедии. Ничего подобного я до сих пор не видел.

Монастырь был основан в IV веке. В многочисленных войнах его многократно разрушали и опять восстанавливали. В конце 1400-х годов к нему сделали пристройку для временной остановки проезжавших через Болонью Пап, кардиналов и князей. В нее поместили богатую библиотеку монастыря, стены и потолок расписали известные мастера. При объединении Италии, в 1880 году, монастырь был куплен известным болонским хирургом Франческо Риццоли. Он основал в нем первый в мире Институт ортопедической хирургии и передал туда свою богатую медицинскую библиотеку и коллекцию хирургических инструментов. Следующие директоры и многие хирурги института пополняли книгами и коллекциями старинных инструментов библиотеку и музей. В ней более тысячи редких книг и рукописей, а в читальных залах — 2500 современных изданий для работы сотрудников.

Я впился глазами в редчайший, первый в мире, анатомический атлас Андреа Везалия с непревзойденными гравюрами Джованни из Калькара, изданный в 1543 году. Во всем мире сохранилось несколько экземпляров этой книги. Перелистывая ее громадные листы, я не мог от них оторваться. Для меня, рисовавшего иллюстрации к своему учебнику, держать в руках эту знаменитую книгу было тем редким моментом, когда ты переживаешь наплыв почти религиозных чувств.

Профессор Маркетти — моих лет, мы быстро нашли с ним общий язык и общих знакомых, и стали звать друг друга по имени, как давние друзья.

— Что ж, Владимир, теперь пойдем на твою лекцию.

В аудитории собралось около ста докторов и сестер. И вот я взошел на старейшую медицинскую кафедру Европы. Я читал лекции в четырнадцати странах, но эта лекция была особая. Болонцы вели себя сдержаннее римлян, а сам профессор, сидя в

первом ряду, слегка вздремнул (после тяжелой операции, да еще и в нашем с ним возрасте!). Но он вовремя открыл глаза к концу лекции. Все прошло гладко, и он пригласил нас с Ириной вечером к себе домой на обед.

Маркетти унаследовал дом — настоящий дворец: трехэтажный, в стиле барокко, в глубине прекрасного парка, за высокой чугунной изгородью. Мы с Ириной никогда не были гостями в таком палаццо. Необычно высокие потолки, стены обиты красивыми обоями и увешаны старинными картинами, мебель, которой несколько веков. На этот раз на обеде не было кучи родственников. Обстановка аристократическая. Хозяин расхваливал каждое блюдо, рассказывал, что в каком порядке надо есть. Блюда разносил вышколенный слуга-филиппинец. В конце обеда подали чудесный кофе, мужчины сняли пиджаки, Маркетти развалился в кресле и стал жаловаться, что этот дом для них слишком велик, сыновья и дочь не хотят в нем жить:

— Владимир, это все — уходящее. Не станет нашего поколения, и это все пропадет.

Наверное, он был прав. Мы пили кофе и думали, что за один день посетили два музея: в институте и в этом доме.

Венеция — шкатулка с сюрпризами. И первый сюрприз, конечно, то, что она построена на воде. Кому пришло первому в голову превратить восемнадцать небольших островов и сто шестьдесят узких проливов между ними в прекрасный город, соединив все его части тремя с половиной сотнями мостов? С XIII века и до сих пор город мало изменился, лишь вместо примитивных деревянных мостов сооружены каменные.

Задолго до христианской эры предки венецианцев, которые звали себя «венето», скрывалось от вражеских нашествий на островах мелкой лагуны в северной Адриатике. Римский историк Тит Ливий писал, что в 302 году до н. э. эти люди уже сумели отразить натиск флота царя Спарты. Но главное их достижение было в том, что они научились вбивать в подводный грунт деревянные столбы, укрепляли ими берега и делали из них фундаменты для своих домов и церквей. На таких столбах построены и до сих пор стоят многие палаццо Венеции. Постепенно город разрастался, становясь приманкой для сильных соседей — Ломбардии с севера и Византии с юга. Но маленькая Венеция всегда умела за себя постоять. Благодаря победам в той неравной борьбе она укрепилась, разбогатела и с XIII до XVIII век была культурным центром побережья Средиземного моря. Этому способствовала еще одна особенность: с самого начала Венеция была республикой, ею управлял не монарх, а выборный совет из богатых купцов во главе с дожем, тоже купцом, — прообраз

капиталистического устройства общества.

Подтверждением служит венецианский Арсенал — самая большая военно-морская база древности. Перевод арабского корня Dar sina'a — Дом строения. Здесь в XIV в. организована первая в мире поточная линия: 16 000 работников строили корабль всего за 12 часов. Данте был так поражен устройством работ, что описал его в своей «Божественной комедии». В 1597 году за два месяца изготовили и спустили на воду сто военных кораблей, призванных отражать набеги турецкого флота. Весь мир был так поражен, что слово «арсенал» перешло в 14 языков.

Мы поселились в небольшой гостинице возле центральной площади Сан Марко. Окна просторной комнаты на втором этаже выходили прямо на узкий канал Rio del Mondo Nuovo. Когда мы бывали дома, могли видеть проплывающие под окнами гондолы и слышать песни гондольеров. Но дома мы бывали редко.

Мы хотели оживить в памяти то, что видели в первый свой приезд, и стремились увидеть новое. А нового — как ни странно — так много! В Венецию приезжают сорок миллионов туристов в год, большинство — на один-два дня. И все хотят покупать, глазеть и есть-есть-есть. Я хорошо помнил город и освежил память с помощью путеводителя, так что мы почти всегда умело обходили толпу стороной.

Самые красивые дворцы выстроились вдоль Большого канала. Мы несколько раз проплыли по нему. Нас поражало, насколько этот маленький город (всего 7,5 квадратного километра) насыщен искусством и музыкой. Как и в Риме, каждую церковь здесь украшают картины величайших мастеров — Тициана, Беллини, Веронезе, Тинторетто, Каналетто — и скульптуры Кановы. Но Венеция — это еще и музыка Вивальди. Он родился и прожил здесь большую часть жизни. Венеция долго была музыкальной столицей Европы, пока в XVIII веке не уступила первенство Вене. Мы обошли все места, связанные с жизнью Вивальди, а вечером были на концерте в церкви Евангелиста. Музыку Вивальди, Тартини и Альбинони играл камерный ансамбль в костюмах той эпохи. Как будто сам «рыжий монах» Антонио Вивальди играл для нас с Ириной.

Американская достоевщина

Много лет я наблюдал, какие перемены происходили в Америке с иммигрантами из России. Те из них, кто не замыкал свою жизнь в узких русскоязычных рамках, а приспосабливался к новым условиям, — у тех быстро менялась и психология. После нескольких первых лет адаптации они постепенно американизировались (как мы с Ириной). Но и в самой американизации было много разных граней — ярких и тусклых, радостных и трагических. Я описал в первой книге воспоминаний историю самоубийства молодой красавицы Тани, которая в Америке стала наркоманкой и проституткой. Подобных трагедий на моих глазах разыгралось несколько, и одна из них произвела на меня особенно сильное впечатление.

В начале 1970-х советским евреям был официально разрешен выезд в Израиль, в обмен на закупку американского зерна, вследствие так называемой «поправки Джексона — Вэника». Но подавшие заявления о выезде очень часто получали отказ. Из них образовалась большая группа так называемых отказников. И не то чтобы эти люди нужны были советской власти — она лишала их работы и всячески унижала. Отказники искали пути вырваться. Один из путей — помощь их жен: отказники формально расходились с женами, те выезжали за границу и будоражили общественное мнение всего мира, привлекая на свою сторону американских и европейских политиков и звезд мировой науки и. культуры, сенаторов и дипломатов. Иногда это помогало. Женщины те были настоящими героинями, достойными прославления, как и жены декабристов. Авиталь Щаранская, жена Натана (Анатолия) Щаранского, теперешнего министра Израиля, десять лет обивала пороги всех президентов и премьер-министров и вызволила своего мужа из советской тюрьмы. И она была не единственная.

В 1972 году весь мир узнал, что тридцатилетняя иммигрантка Рая Дузман поставила палатку перед зданием ООН в Нью-Йорке и объявила голодовку, добиваясь, чтобы ее мужу Давиду разрешили выезд в Израиль. Рая голодала две недели — это был подвиг. Решимость Раи, благородство ее поступка подействовали на влиятельных людей Америки: ее пригласили выступить в Конгрессе США. Рая добилась своего: через год Давида выпустили, и они поселились в Израиле. Можно себе представить их общую радость и его благодарность жене. Вскоре он сделал свое крупное открытие в молекулярной биологии, которое не мог или не хотел делать в России, и получил за это

много денег. Рая продолжала участвовать в вызволении других евреев из России. Но через несколько лет отношения между супругами начали портиться. Давида раздражало властолюбие Раи и неожиданно проснувшаяся в ней любовь к деньгам. У него появилась любовница израильтянка…

На этом закончилась первая часть истории — героическая. Началась вторая часть — сугубо американская.

В 1978 году, когда я с семьей приехал в Америку, Давид получил приглашение от видного американского ученого, нобелевского лауреата, работать в его лаборатории под Нью-Йорком. Дузманы переехали, Давид сделал еще несколько открытий, они разбогатели. Давид основал собственную коммерческую лабораторию электрохимии, в которой Рая работала по своей профессии биолога.

Окрыленная успехом и опьяненная свободой женщина зажила широкой жизнью: купила дом за 500 000 долларов, дорогую машину и несколько дорогих меховых шуб, наняла косметолога и тренера по гимнастике. Какие волшебные превращения: после палатки с голодовкой попасть в богато обставленный дворец с прислугой.

Меркантильность жены раздражала Давида. Любовница из Израиля приезжала навещать его, и Рая забеспокоилась. Она дошла до того, что установила в доме подслушивающие устройства. Давид переехал в отдельную скромную квартиру и подал документы на развод.

Как такое могло случиться? Героическое и благородное начало — и такой пошлый, постыдный оборот! Но это еще не был конец.

Разводов происходит великое множество, самые болезненные из них те, в которых фигурируют деньги. Рая впала в панику: правильно или неправильно, но она решила, что развод грозит ей потерей всего нажитого. Ей казалось, что она, которая ценой собственного здоровья и неимоверными усилиями вырвала мужа из России и помогла ему стать богатым и известным, теперь потеряет все! Может быть, она даже считала, что Давид и его любовница станут мстить ей. Она испробовала много разных способов предотвратить развод. Самый решительный из них — нанять профессионального преступника, чтобы тот заразил любовницу Давида СПИДом или подложил в ее вещи кокаин. Расчет был на то, что когда та приедет в очередной раз в Америку на встречу с Давидом, кокаин обнаружат и ее посадят в тюрьму. Рая предлагала наемнику 60 000 долларов, но сделать это не удалось. А попадись она тогда на этом, ей самой грозила бы тюрьма. Но Рая осознанно шла на преступление. Думала ли она о

наказании? По-видимому, нет. Потому что, перебрав все варианты, в конце концов Рая решила убить Давида, завладеть всеми деньгами и бежать в Новую Зеландию.

Идея убийства всегда витает в воздухе. И может проник-, нуть и в воспаленную голову интеллигента XX века, борца за права человека, более чем обеспеченного, точно так же, как в XIX веке проникла в голову нищего студента Родиона Раскольникова. Но какой способ убийства избрать? Поразительнее всего, что Рая выбрала способ Раскольникова — убийство топором. Были ли у Раи сомнения? Конечно, были: одной ей совершить такое убийство, а потом еще и скрыть его, было не под силу.

Рая посвятила в план убийства своего племянника Леонида. Он недавно незаконно приехал в Америку, без средств и без знания английского. Давид помог ему — дал работу в своей лаборатории, Рая отдала ему свою старую машину и сняла для него квартиру. Рая подучила племянника сказать иммигрантским властям, что якобы его жену убили в России антисемиты и ему самому тоже грозила смерть. На этом основании он просил политического убежища.

Но вот вопрос: почему Леонид согласился на убийство? Естественное объяснение в таком случае и в подобном положении — страх. С их второго разговора на эту тему Леонид стал тайно включать диктофон. Значит, он думал, что пленки могут ему пригодиться. Вряд ли у него была мысль предать Раю, от которой он зависел, но все-таки он зачем-то хранил эти пленки (они пригодились потом на суде — слишком поздно!).

Рая шантажировала племянника, угрожала ему раскрытием обмана иммигрантской комиссии. Но этого было недостаточно, чтобы пойти на «мокрое дело». Молодой человек был благодарен Давиду за помощь и не мог так просто согласиться убить его. Рая его запугивала: если вдруг она лишится денег и положения, то и Леонид всего лишится. Но и этого мало, чтобы идти на убийство. Что оставалось в арсенале Раи? Деньги? Да, конечно: она предложила племяннику миллион. Стать миллионером — сразу, в один день, в один час… мечта!

С этого момента их души были уже душами убийц. Дальше следовало только обсуждение технических деталей, записанное Леонидом на пленку: покупка орудий убийства (большой топор для него и маленький для нее). План был обдуман с трезвой педантичностью, ни разу не возникал вопрос:

— Постой! Ты понимаешь, КОГО мы собрались убивать?! За что?! Зачем?!

В полночь в темной квартире Давида (у Раи был от нее ключ) они ждали его возвращения с работы. Когда он вошел, Леонид

ударил его топором по голове, Рая нанесла удар с другой стороны. Она вошла в такой раж, что даже поранила руку Леонида. Потом в ванной Леонид разрубил тело на 66.кусков. Работа была тяжелая, и он делал перекуры. Рая возмущалась, что он курит в ванной. Вместе они упаковали расчлененный труп в пластиковые мешки, Рая смыла кровь со стен. Что они чувствовали, разрубая голову Давида, его мозг, приведший их к богатой жизни в Америке? Помнила ли Рая, как восклицала в Конгрессе: «У Давида Дузмана такая светлая голова!»?..

Утром Леонид отвез упакованные мешки на берег реки, недалеко от дома и лаборатории и стал бросать в реку. Это было слишком неосторожно. Его заметил полицейский. Первые слова Леонида были:

— No English — «Нет английский».

Рая уже имела билет на самолет, но, поняв, что с Леонидом что-то случилось, целую неделю скрывалась в заброшенном домике у той же реки, как затравленный зверь. По ночам она выбиралась оттуда и воровала автомобильные номера с чужих машин, чтобы ставить их по пути в аэропорт на свою, запутывая следы. Она добралась до аэропорта.

Но там ее и арестовали, перед самым отлетом.

Судили их отдельно. Леонид во всем сразу признался Рая не призналась НИ В ЧЕМ. Обоим дали пожизненное заключение.

Достоевский в «Преступлении и наказании» не просто описал убийство. В образе Раскольникова он дал психологический портрет убийцы. И наказание, о котором говорит писатель, заключается не в суде и вынесении приговора, оно коренится в самом убийце — в его страхе и желании сначала оправдать себя, а потом избавиться от мыслей о совершенном преступлении, от мук совести (как у Бориса Годунова из трагедии Пушкина: «Мальчики кровавые в глазах»).

Достоевский писал, что Раскольников был преисполнен любви к людям и хотел делать им добро, отдавая награбленные при убийстве деньги. Его натура даже бунтовала против свершенного — он не мог воспользоваться награбленным, сознавая, что взял на себя грех.

Чем отличаются Рая и Леонид от Раскольникова? Как на них повлияли произошедшие за полтора века изменения политической, бытовой и моральной атмосферы?

Вопросов больше, чем ответов.

Рая и Леонид в отличие от Раскольникова не были обуреваемы идеей, думали только о своем благополучии, были чисто рациональны. В отличие от Раскольникова они не явились в суд с признанием. И не перенесли тяжелейшего психического

потрясения, как он, после того, как размозжили голову Давиду и разрезали его тело на 66 кусков.

Но поучительнее всего, что их путь к преступлению пролег через стадии пропаганды советского аскетизма, через героическую борьбу Раи за освобождение мужа, за право жить в свободном обществе — и уперся в неприкрытый американский меркантилизм.

В американизации тоже много разных граней: ярких и тусклых, радостных и трагических.

Томление от хирургии

В шестьдесят три года я стал все чаще чувствовать усталость от работы. Каждый день я просыпался в 5–6 часов утра и был в госпитале уже в 7–8, в зависимости от расписания. Там — быстрый обход больных, принятие решений, указания резидентам и сестрам. В 7.30 — конференция с обсуждением предстоящих дел. В свои операционные дни, три раза в неделю, ровно в 8 часов утра я уже стоял у операционного стола. В другие дни — принимал в офисе больных…

Есть медицинская поговорка: в больнице утренние часы — на вес золота, дневные — на вес серебра, вечерние — на вес меди. Интенсивная нагрузка без перерыва и расслабления продолжалась все эти годы до 2–3 часов дня, восемь часов подряд. Ноги гудели от долгого стояния. Я приходил в кабинет, Изабелла давала мне кофе, я садился в свое откидывающееся кресло, задирал по-американски ноги на стол и, как-то так само получалось, начинал дремать. Теперь я понимал Виктора, которого все чаще заставал дремлющим в кресле.

Я дремал и через дверь слышал, как в своей комнате Изабелла отвечала на звонки пациентов и страховых компаний. Один раз она беседовала с пожилой пациенткой, которой недавно я сделал одну за другой операции на двух коленях — поставил искусственные суставы. Беседа шла вяло:

— Ну да, конечно, я понимаю, после операции нога может еще болеть… А другая, говорите, не болела? Да, конечно, я понимаю… Но знаете — нога на ногу не приходится.

«НОГА НА НОГУ НЕ ПРИХОДИТСЯ!» Меня эта фраза разбудила и ужасно насмешила:

— Изабелла, вы — гений ортопедии.

— Владимир, почему, о чем вы?

— Вы ей сказали, что нога на ногу не приходится.

— Ну, Владимир!.. Она все нудила: одна нога болит, другая не болела… У меня это как-то просто с языка сорвалось. Но ее это почему-то успокоило.

— В этом-то и дело: изумительно бессмысленно, а успокаивает.

Изабелла привыкла к моим шуткам, а я находил в них расслабление и отдых.

Иногда мне приходилось задерживался на операциях до 9-10 часов вечера. У докторов лимита рабочего времени не бывает — доктор должен всегда быть наготове, чтобы помогать больным. Тем более — хирург. Вместо лимита рабочего времени у нас

дефицит рабочего долга — если ты хоть пальцем тронул больного, то обязан потом следить за его состоянием. Тем более, если сделал операцию. Так, иногда я работал по 12–14 часов подряд. А на следующий день — все сначала. И заряжать мышцы свежей энергией за ночь становилось все тяжелей. Если раньше мне просто не хватало времени, теперь уже не хватало и сил.

Ирина часто тревожно спрашивала:

— Как ты себя чувствуешь?

— Неплохо, только устал немного.

— Мне не нравится, что ты так много работаешь. Я ждала тебя весь вечер, волновалась.

Я отвечал ей строчками Симонова:

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой…
И тут же засыпал, как подкошенный.

Многие удивились бы, если бы знали — как тяжела хирургия для хирурга.

Операции требуют физической силы и концентрации, на каждой может случиться что-нибудь непредвиденное. Чаще всего — это сильное кровотечение. Неопытные молодые ассистенты смотрят — что делать?

— Спокойно! Два зажима — мне и ассистенту! — В глубине раны я стараюсь нащупать пальцем кровоточащий сосуд. Ритмичные удары крови стучат по кончикам моих пальцев. Надо вслепую точно попасть зажимом в нужное место. Никак не удается! Еще раз, еще… Хирург не имеет права поддаваться эмоциям, он обязан быть хозяином своих рефлексов. И нельзя уступать советам и уговорам других: хирург сам отвечает за все и за всех.

Наконец я смог зажать одну сторону сосуда, говорю ассистенту:

— Подводи свой зажим на сантиметр выше, я буду страховать. Смотри только, не зажми мне палец…

Кровотечение остановлено. Все облегченно вздыхают. Я прошу сестру:

— Вытри мне пот со лба.

На операциях я всю жизнь потел так, что потом хоть рубашку выжимай. Каждая операция стоила мне потери килограмма веса.

Но тяжелы не только сами операции — лечение не заканчивается наложением швов. Малейшее осложнение может

свести на нет операцию, а иногда даже погубить жизнь пациента. И хирург обязан опять бороться за него — и побеждать.

На хирурге фокусируется особое внимание пациента и его близких. Одно дело для пациента выйти из кабинета доктора с рецептом в кармане, другое дело — отправиться на операционный стол. Он согласится принимать лекарство без объяснения его действия, но он не решится на операцию без расспросов и раздумий. Его надежда на излечение, на спасение зиждется на полном доверии хирургу. Чтобы оправдывать такое доверие, хирургу нужно иметь постоянный положительный эмоциональный баланс. Какие бы ни были у хирурга сомнения и беспокойства, он должен прятать их в себе. Без этого получится бездушная хирургия. И в то же время святая обязанность хирурга — быть абсолютно честным с пациентом, ничего от него не скрывать. Нужны особые моральные качества — терпение и выдержка, чтобы уметь сочетать в себе и то и другое.

У меня всегда уходило много времени и энергии на то, чтобы вызвать у пациента доверие к себе: я подробно все разъяснял ему и его родным, терпеливо отвечал на повторяющиеся вопросы. Иммигранты из Советского Союза почти все ругали американских докторов:

— Вот вы со мной разговариваете, а они совсем не хотят разговаривать с пациентами! Знаете, я разочаровался в американской медицине. Может, в России медицина была плохая, но хороших врачей было много. В Америке, говорят, медицина хорошая, но я вижу, как здесь много плохих врачей.

Им хотелось радушной беседы с доктором — разъяснений и сочувствия, они привыкли к этому в прежней советской жизни. Они только не понимали, что там беседы были добрыми, а лечение — низкоквалифицированным: у докторов был недостаточный арсенал диагностической аппаратуры, мало лекарств и отсталость в хирургических инструментах и методах.

Это верно: американские доктора не тратят время на беседы с пациентами. Но как они могли разговаривать с не знающими английский язык иммигрантами? Правда, и сами американцы часто жалуются, что их доктора мало с ними разговаривают. Иногда они даже судят их за то, что доктора не объяснили им возможных осложнений. Но и докторов можно понять: диагноз ясен, лечение назначено — о чем еще разговаривать? Кто следующий?..

Американская медицинская школа воспитывает хороших специалистов, но это еще не делает их хорошими докторами. Их ценность в том, что они умеют вылечивать тяжелобольных, а не в том, как они с ними разговаривают. Это, быть может, по-

человечески не совсем правильно, но все-таки болеть и лечиться лучше в Америке, чем в России.

Многие наши доктора видели своих назначенных на операцию пациентов уже на столе в операционной. Но я поставил себе за правило встречать своих еще в приемном отделении, когда они растеряны и взволнованы. Я разговаривал с ними, успокаивал. А когда подходило время ввозить пациента в операционную, я не ждал санитара или молодого резидента, а сам ввозил его на каталке и помогал санитарам переложить на операционный стол. Все это создавало доверие: доктор заботливый! Конечно, мой возраст и седые волосы тоже помогали: доктор опытный!

Но самому доктору работать становилось все труднее, силы сдавали. Дома после работы мне хотелось только лежать пластом и тупо смотреть в экран телевизора. И однажды вечером я задумался: долго ли еще смогу выдерживать такую нагрузку?

Все чаще болела голова. Почти регулярно я стал принимать Ту1епо1 — обезболивающее. Однажды попросил сестру в отделении:

— Измерь мне, пожалуйста, кровяное давление.

Оказалось 160/90 — повышенное.

Сколько мне осталось активных лет работы? Если буду жив, то надо ведь пожить еще и после работы. В Америке пенсионный возраст — 65 лет, и для мужчин, и для женщин. После этого люди получают пенсию, им помесячно возвращаются деньги из фонда социального страхования (которые они сами вносили, пока работали). Если уйти с работы в 62 с половиной (это называется «ранняя отставка»), то социальное страхование выплачивает немного меньшую сумму.

Хотя мы успели с Ириной накопить более миллиона, все равно деньги никогда не лишние и отказываться от того, что полагалось, мы не собирались. К тому же у нас было трое внуков, и мы хотели в будущем обеспечить им обучение в колледжах.

Мы с Ириной все чаще возвращались к теме ухода с работы. Подходить к концу пути всегда непросто. Значит, больше не будет операций? Не будет больных? Не будет конференций и учеников? Трудно представить… Но мы с Ириной шли к этому решению, как говорится, взявшись за руки. И в какой-то из вечеров оба, в унисон, решили: когда мне исполнится 65, а Ирине 63, мы выйдем в отставку. Решено! И мы почувствовали от этого решения облегчение: не будет многих привычных дел и проблем, зато впереди — абсолютная свобода.

Драконы Гонконга

Драконы Гонконга имеют похвальную привычку каждый день спускаться с гор и купаться в море — любят принимать ванну в морской воде. Перегораживать им путь к воде нельзя, они рассердятся и могут натворить бед. Чтобы точно знать, как построить на горе и на берегу моря дома, не перегораживая путь драконам, есть наука невидимой географии — ФЭНГ ШУИ. Собственно, это и наука и искусство вместе. Одно из ее содержаний в том, как правильно ставить все сделанное человеком в позицию, соответствующую жизненной и космической энергии, которая протекает через землю. Фэнг Шуи — это специфически китайское учение озабоченности о всеобъемлющей гармонии, балансирования и пропорциях трех начал — человека, природы и духа. Профессионалы этой науки называются ГЕОСВЯЩЕННИКАМИ.

Их центр находится в Гонконге, и отсюда Фэнг Шуи экспортируется в китайские поселения по всему миру. Поскольку финансовый и деловой центр самого Гонконга представляет собой густой лес небоскребов на берегу гавани Виктории, то позиция каждого из небоскребов определяется строго по указаниям геосвященников. Без них ничего не делается — не только постановка домов, но и расположение внутри них дверей, окон, лифтов и даже мебели в комнатах. Геосвященники также знают, что драконы панически боятся своих отображений в зеркалах и не любят отблесков света и движений рыб в аквариумах. А кроме того, им известно, что рыбы способны впитывать дух неудач, а если и умрут от этого духа, то могут быть заменены другими. Поэтому в небоскребах Гонконга масса зеркал и аквариумов. У геосвященников вообще много забот, хотя их задачи слегка упрощаются тем, что драконы умеют свободно проходить через стекла окон. Поэтому во всех небоскребах Гонконга окна всегда большие.

Все это нам рассказал гид-китаец в наш приезд в Гонконг, куда меня пригласили на лекцию в Гонконгский университет. Но уж если лететь 20 часов в такую даль, то нам с Ириной хотелось заодно увидеть и Китай. Две недели мы путешествовали там с группой, проехали через Пекин, Шанхай, плыли на пароходе по реке Янцзы. Восстановление Китая после засилья коммунистов нас потрясло: политика экономического развития страны дала Китаю невиданно быстрое процветание. Особенно поразил развитием Шанхай: из города тесных трущоб вырос город-красавец из небоскребов, парков и бульваров — как прекрасная

бабочка из серого кокона. Вот бы России тоже так развиваться!

У китайцев есть поговорка: Китай имеет два крыла — одно крыло это Шанхай, другое это Гонконг. Эти два города всегда помогали Китаю развиваться. И вот, повидав одно «крыло», мы перелетели в другое.

Гонконг — это уникальная западная жемчужина Востока. Побывать в нем — значит увидеть своими глазами самую грань редкостного сочетания Востока с Западом. На небольшом участке скалистой земли и на древних устоях Востока, в удушливо жарком и влажном климате каким-то чудом встал наиболее модерный город мира. На полуострове и острове всего в одну тысячу кв. километров теснятся семь миллионов населения и суетятся миллионы ежедневных деловых гостей и туристов — самая высокая плотность населения в мире. Но Гонконг сам себя содержать не может, продукты, энергия, товары и даже вода — все доставляется из других стран. И все есть. Поразительно!

Гавань Гонконга с 1540 года была португальской торговой базой и базой для пиратов. Британия захватила его в 1841 году и водрузила над ним 11пюп 1аск — британский флаг. Порт и город стали разрастаться, туда съезжались дельцы и образованный люд, чтобы за бесценок выкачивать богатства из Китая и ближних восточных стран. В 1898 году Китай отдал Гонконг Британии в аренду на 99 лет, которая закончилась 1998 году.

Это было время интенсивной технической революции Запада, в которой лидировала Англия. И Гонконг быстро стал превращаться в богатый центр — в него пошел поток дешевой китайской рабочей силы. Поэтому в городе западного типа стиль жизни во многом остался чисто восточный.

История развития Гонконга на самом деле отражает трагическую историю современного беженства Востока. Этот город — пример того, как богатый Запад содержит и тянет за собой бедный Восток.

Мы прилетели вечером. В громадном аэровокзале один за другим бегали автоматически управляемые монорельсовые поезда. Все вентилируется кондиционерами. Но. как только мы вышли наружу, сразу попали во влажную жару. Наша машина медленно продвигалась в сплошном потоке к отелю «Марко Поло Гонконг». Наш гид говорил на прекрасном английском с британским произношением — всю жизнь он прожил британским подданным в этом «британском» городе. У входа в отель, прямо у причала гавани стоял гигантский океанский лайнер, сверкавший огнями. Я люблю корабли и залюбовался им, представляя, как этот красавец важно отойдет от причала и поплывет куда-то вокруг света, пересекая океаны. Наверно, приятно было бы

поплыть на нем.

— Куда поплывет этот корабль? — спросил я гида.

— Этот корабль далеко в море не выходит: по вечерам он отплывает от берега в открытое море на одни сутки, и возвращается — это всего-навсего плавучий игорный дом. И «игривый» тоже, — он подмигнул, — для суток любви: на нем для этого есть в большом выборе брюнетки Востока и блондинки Запада, а если надо — и молодые мужчины.

— Как, такой прекрасный корабль — всего-навсего плавучий притон?!

— Это же Гонконг. В городе игорные дома запрещены, а в международных водах в открытом море все можно. За одни сутки на этом корабле выигрывают и проигрывают такие громадные деньги, что на них можно построить еще такой корабль.

Так нам был дано наглядное подтверждение того, что в Гонконге крутятся ТАКИЕ деньги, что держать в качестве притона океанский лайнер — ничего не стоит.

Утром позвонил доктор Бобби Кин Ва Нг («Нг» без гласных в середине — очень распространенное имя). На английском с британским произношением (какое же другое в Гонконге!), он представился просто как Бобби, хирург-ортопед из Госпиталя принца Уэльского:

— Профессор Голяховский, мой шеф профессор Лью Нг (опять Нг) поручил мне привезти вас с женой вечером в госпиталь, на 7.30 назначена ваша лекция врачам и студентам Университета. Как у вас со временем?

— Спасибо за звонок, Бобби. Будем ждать вас в шесть вечера у входа в отель.

До лекции мы поехали по городу. Первая остановка, конечно, обзорная площадка на Пике королевы Виктории, на вершине почти километровой горы. Туда поднимает британский фуникулер, функционирующий без переделок более ста лет — с 1888 года. Гид показывал богатые виллы за высокими заборами.

— Обратите внимание на интересную деталь: перед богатыми виллами всегда стоят машины с номером, на котором есть цифра 8 — это число приносит счастье. Чтобы получить номер с восьмеркой, платят громадные деньги — сотни тысяч долларов.

— А есть номер с одними восьмерками?

— Наверняка у кого-то есть. Такой номер может стоить миллион.

— А какая цифра несчастливая?

— Самая плохая — это цифра 4. Она приносит несчастья. Ее никто не хочет.

— Неужели люди здесь до сих пор серьезно верят в это?

— Очень серьезно. Не забывайте, это — Гонконг: традиционные китайские суеверия всасываются с молоком матери.

Мы поехали в район Ванхай, где после Второй мировой войны разрослись притоны, бары, кино с эротическими фильмами и живыми представлениями, дешевые ювелирные лавочки, салоны для татуировки, игорные и публичные дома — все, на что были голодны американские, британские, австралийские солдаты-победители и на что китайцы (и китаянки) такие великие мастера (очевидно, без помощи Фэнг Шуи). Теперь, при дороговизне земли, остались небольшие нечистые отели, в которых сдают комнаты за плату по часам. Очевидно, клиентам они и нужны лишь на часок… Да и вообще, бедные молодые солдаты уже заместились богатыми бизнесменами и шулерами международного уровня. Для них все привлекательное переехало отсюда на океанские лайнеры и во много богатых гостиниц. Старые притоны разрушаются, и на их месте строятся новые высокие жилые дома.

Нас привезли на берег залива Отражений. Это городской пляж недалеко от делового центра: узкая песчаная полоса, а возле нее на берегу стоят громадные храмы трех религий — Буддийской, тоаистской и конфуцианской. Надо суметь пробраться через толпу продавцов, тогда открывается вид на красивый трехэтажный храм, покрытый красным лаком с белыми перилами. От лака храм сверкает на солнце, как будто излучает сияние. Перед ним две невероятно громадные каменные статуи улыбающегося Будды, величиной выше самого храма, и тоже искусно раскрашены лаковыми красками; на головах у них какие-то пышные символические украшения. Перед храмом поставлено еще несколько статуй Будды поменьше и масса драконов. Драконы — это китайское привнесение в индуистскую буддийскую религию. Везде суетятся верующие, кланяются Буддам, гладят их по ступням, ставят перед ними тлеющие ароматические палочки. И не забывают при этом сфотографироваться перед каждой статуей, широко улыбаясь в объектив — не хуже самих каменных Будд. Есть много поверий, связанных с этими статуями: если загадать желание и помолиться одному Будде, он даст богатство. А если помолиться другому — он даст долголетие.

— Можете попытаться, если они будут к вам добрыми, — предложил гид. У нас с Ириной долголетие уже было, а счастья и того состояния, что имеем, — нам достаточно. Поэтому выклянчивать у Будды нам было нечего и мы пошли к пляжу — может, какой-нибудь из купающихся по утрам драконов

задержался и мы его увидим?.. К пляжу можно спуститься по ступенькам или пройти по красному лакированному мосту. Гид объяснил:

— Каждый, кто пройдет по этому мосту и коснется всех вырезанных на перилах фигурок, получит от Будды дополнительные три с половиной года жизни.

— А если туда и обратно, засчитывается?

— Можете ходить взад-вперед сколько хотите — каждый раз получите дополнительные три с половиной года жизни.

Ирина, с пренебрежением к суеверию, пошла по лестнице. А я, хотя и не хотел бы ее пережить, но не удержался и побрел на мост — трогать фигурки.

В поездках по миру я купался более чем в десяти морях, и мне хотелось символически войти в воду еще и Южно-Китайского моря. Засучив брюки, я вошел в море по колено. Могу подтвердить, что море очень теплое, и купаться в нем драконам Гонконга должно быть приятно. Но увидеть их мне не удалось.

От залива нас повезли в плавучую деревню Абердин, знаменитое место, где десятки тысяч людей живут на маленьких домах-лодках — джонках. Их называют танка, что значит «лодочные люди». В этом месте гавани, укрытом за островом, вода всегда тихая, там люди и поселились на джонках после Второй мировой войны. Гид объяснил:

— Раньше здесь были джонки, на которых люди рождались, вырастали и умирали, никогда не сходя на берег — ничего их там не ждало. Одно время лодок были десятки тысяч. Недавно на берегу стали строить жилые дома в 20–30 этажей, и лодочных людей переселяют в них. Из примитивных условий почти первобытной жизни на воде, они теперь поднимаются в свои квартиры на лифтах, стирают белье не в грязной от отбросов воде, а в стиральных машинах и готовят на электрических камфлоках. На воде осталось еще около трех тысяч джонок, но и они стоят друг к другу так плотно и так кишат в движении, что вода между ними почти не видна. Как же это все выглядело (и пахло), когда их было в несколько раз больше?! В маленьких джонках живут небольшие семьи по два-три человека, в больших — семьи и по десять. Для услуг туристов держат десятки прогулочных джонок, за 10 долларов можно полчаса «протолкаться» по этой уникальной деревне (но лодочными людьми себя почувствовать не успеешь). Мы уселись на одну и засновали в прогалах между жилыми джонками.

Все, что мы пока что видели, показывало нам жизнь бедноты — это Гонконг. Но мы ехали обратно в свой громадный первоклассный отель, который стоял среди леса небоскребов, а в

них — самые богатые банки и самые большие корпорации мира. Там сверкали огнями роскошные рестораны, туда чередой подъезжали шикарные Роллс-Ройсы, там бурлила совсем другая жизнь — и это тоже Гонконг. В нем нарушилось поэтическое предсказание Радьярда Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». В Гонконге Восток поразительно сошелся с Западом — сила денег побеждает все традиции…

Доктор Боби оказался очень живым и веселым молодым человеком. Пока он вез нас в Госпиталь принца Уэльского, он рассказывал:

— Мы, доктора, живем хорошо — зарплата у нас небольшая, но вполне достаточная.

— Боби, что вы будете делать, когда Китай полностью станет контролировать Гонконг?

— У меня британский паспорт — если жизнь станет хуже, то уеду в Канаду или Австралию.

Госпиталь был построен недавно и выглядел очень современно: три 20-этажных корпуса Оборудование в нем самое совершенное. Первым делом нас повели в Учебный центр и с гордостью показали его. Было чем гордиться! Все в нем было компьютеризировано и так сделано, что любая научная информация со всего мира была доступна в секунды. Такого совершенного оснащения не было и у нас в Нью-Йорке. Я даже немного смутился, когда мои слайды для лекции удивили Боби и других: здесь они казались устаревшими — у них все было переведено на компьютерные CO, и вместо больших каруселей можно везти в кармане один диск.

В прекрасной аудитории собралось более ста докторов и студентов. Я всматривался в лица: спокойные и серьезные узкие глаза ждали от меня новой информации — американцы редко приезжают на лекции в Гонконг. Передо мной были доктора будущего Китая. Профессор Лью представлял им меня неожиданным образом:

— Профессор Голяховский — это легенда ортопедической хирургии. За свою долгую профессиональную жизнь он работал со многими знаменитыми ортопедами XX века, был профессором в Советской России и снова стал профессором в Америке. Он автор известного во всем мире учебника. Но меня особенно поразило, что он — поэт, автор книг стихов, и он же — художник-иллюстратор (тут аудитория неожиданно зааплодировала). Я был удивлен. Когда я получил от него приглашение, он просил меня выслать вперед мой Сигпси1иш УНае, что по-русски можно назвать «Послужной список». В нем я указал, что был в России членом Союза писателей, писал стихи и иллюстрировал свои

книги. Но я никак не ожидал, что именно это произведет такое впечатление на него и на всю аудиторию. И вдруг до меня дошло: в традициях китайской культуры поэзия и каллиграфическое искусство издревле ценятся очень высоко и люди, обладающие этими талантами, всегда особо уважаемы — это трогательное приветствие восточной культуры. Я поблагодарил профессора и постарался в лекции не разочаровать аудиторию. Потом несколько докторов просили меня проконсультировать тяжелых больных и дать советы.

Профессор Лью преподнес мне диплом приглашенного профессора и памятный сувенир — декоративную тарелку с видом Университета Гонконга.

— А теперь поедем в ресторан. Вы китайскую кухню едите?

— Спасибо, я ем все (Ирина хоть и не любит китайскую еду, промолчала). Оказалось, что нас привезли в «Жокей клуб», о котором наш гид говорил, что это самый изысканный ресторан для элиты Гонконга — Лью был членом этого клуба. Обстановка там богатая и чопорная.

— Вы говорите, что вы едите все? — улыбаясь сказал Лью.

— Да — я ем все.

— А суп из змей вы есть будете? Это особый деликатес Гонконга. Сейчас как раз сезон созревания змей для супа.

Предложение было довольно неожиданное, но я постарался не подать вида:

— Буду. — И посмотрел на Ирину.

— Я тоже попробую, — она сказала это несколько нерешительно. На развозном столике два вышколенных официанта подвезли большую серебряную супницу. На ее крышке — серебряная кобра раздувает свой капюшон. Горячий суп разлили в небольшие китайские супные чашки. Цвет супа — обычный, вроде куриного, а в нем плавали какие-то отдельные мясные волокна. Лью, улыбаясь, следил за нами. Мы оба осторожно зачерпнули содержимое, на вкус — приблизительно как куриный суп.

— Ну как — вам нравится?

— Да, довольно вкусно. — Мы стали есть более свободно, без опаски. Я спросил:

— Где берут змей для супа и какие это змеи?

— Для этого есть специальный большой змеиный питомник. В суп полагается класть змей трех видов, одна из них обязательно должна быть ядовитая.

— По-моему, у них немного куриный вкус.

— Это потому, что в суп подкладывают куриное мясо.

— А супов из драконов Гонконга у вас не делают?

— Мы бы хотели, но геосвященники считают, что драконы могут рассердиться и натворить бед. У нас в это серьезно верят — ведь это Гонконг.

Перед завершением карьеры

По нашим с Ириной расчетам, работать нам оставалось меньше двух лет. Но, прежде чем объявить о решении уходить, нам самим надо было привыкнуть к этой мысли и представить себе, как мы будем жить и чем станем занимать наше время.

Я насмотрелся на некоторых моих пациентов, ничем не занятых стариков. По моим наблюдениям, у них была скучная жизнь. Люди, вышедшие на пенсию, нередко впадают в состояние растерянности. И в самом деле, что такое жизнь на пенсии? Это постепенный переход человека из животного мира в мир… овощей. Пока человек работает, он каждый день «ходит на добычу», как все представители животного мира. Когда он перестает работать, то сидит на своем месте и сосет соки земли, занятый лишь своим метаболизмом, вроде овоща на грядке. Перспектива стать овощем казалась мне непривлекательной. Но, если у человека есть какая-то страсть или пристрастие — чтение, слесарничество, кулинария, — это заполняет его душу и оставляет человеком, помогая переходу в новое состояние.

Я знал, что буду делать, — писать! Лелеял мысль, что опять стану сочинять стихи, во мне давно зрела идея написать что-то о судьбах беженцев, может быть, воспоминания; хотелось записать свои мысли о Пушкине. И еще я буду делать иллюстрации к своим детским стихам.

Если мое отношение к грядущим переменам в образе жизни было идеалистически-творческое, то у трезво-практичной Ирины оно носило сугубо деловой характер: как мы будем справляться с расходами без особых новых доходов? Надо, чтобы в семье сохранялся баланс идеалистических и трезвых планов на жизнь. Ирина всегда заранее знала, что и когда она должна делать. Поэтому у нее постоянно были детально разработаные финансовые планы на каждый следующий год, планы доходов-расходов. Теперь она обдумывала планы расходов-доходов.

— Знаешь, на сколько сократятся наши доходы? — говорила она.

Я проявлял свою поэтическую несостоятельность:

— Знаю, приблизительно раз в пять.

— Я подсчитала точно: в десять раз! Вместо двухсот с лишним тысяч в год мы будем получать всего двадцать с небольшим. Этого нам недостаточно. И вместо бесплатной страховки надо будет покупать ее за большие деньги. Придется снимать деньги из накопленных. А на то, что снимаем, мы должны платить налог.

У всех выходящих в отставку пожилых американцев есть одна важная задача: постараться так жить на пенсии, чтобы по возможности не изменился привычный стиль жизни. А у нас была еще задача — оставить после себя деньги на образование нашим внукам.

Ирина консультировалась с нашим маклером. Он спросил:

— Сколько, вы считаете, вам надо иметь денег в год?

— На все расходы — не менее шестидесяти тысяч.

Он произвел расчеты на своем компьютере:

— О'кей, вместе с социальным страхованием вы можете свободно иметь семьдесят пять тысяч, снимая только проценты на ваши деньги в акциях. Вы будете платить около пятнадцати тысяч налога. При этом основная сумма ваших накоплений останется нетронутой и будет расти (это называется «стричь купоны»).

По всему выходило, что мы сможем сохранить свой стиль жизни — не шикарный, но и не слишком экономный, и путешествовать по миру, сколько захотим. А если надо будет еще — можем взять больше. При этом и внукам останется. И я подумал: если бы мы остались в России, ни при каких условиях мы не смогли бы быть так обеспечены в старости.

Беспокоиться было не о чем. Есть поговорка: «Муж и жена — одна сатана». Мы дружно готовились к будущему. Правда, если будет здоровье и обойдется без неприятных неожиданностей. Как заканчивал свои письма Лев Толстой, «Е.Б.Ж.» — «Если Будем Живы».

Рабочая нагрузка докторов в Америке всегда волнообразна: в какие-то годы пациентов больше, в другие меньше. В последнее время я делал все больше операций, реже илизаровские, больше — по замене больных суставов на искусственные, до ста в год. Операции эти физически тяжелые, самые трудные моменты операций я чаще и чаще отдавал резидентам, тщательно за ними следя и, где нужно, поправляя. Мне хотелось заранее подобрать себе заместителя, которому я передал бы свой офис и практику. Я искал такого среди молодых докторов. Вспоминая себя молодым, рвущимся к мастерству, к завоеванию позиций, я мечтал помочь пробиться вверх именно молодому.

Тут я хочу привести стихотворение Федора Тютчева, которое полностью отражает мои тогдашние мысли и чувства:

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —
Спаси тогда нас, добрый гений,

От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознанья,
Что НАС поток уж не несет,
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;
Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

Я не страдал «сварливым старческим задором», и, по счастью, как раз тогда появились у меня два хороших молодых помощника: двухметровый гигант резидент Майкл Леард и «фэллоу», или специализирующийся, Патрик Меир, по происхождению бельгиец, но учившийся в резидентуре в Канаде.

Бывают люди, рожденные музыкантами, дающие, как Моцарт, концерты с семи лет. Как это у них получается? Для этого нужны не только хорошие руки, но и особое врожденное чувство. Вот так и Майкл был рожден хирургом. Как у талантливых музыкантов, у него были не только хорошие руки, но и особое чувство хирургической интуиции. Он еще только проходил тренинг, но уже оперировал лучше большинства наших хирургов. Могу признаться, что кое-что он делал получше меня: в наших совместных операциях я был дирижером, а он — солистом. За всю жизнь я видел одного-двух таких блистательных хирургов, как говорят, от Бога.

В операции, как в любом искусстве рук, важна соразмерность главного и второстепенного: точные и быстрые движения, бережное отношение к тканям и умение все делать с первой попытки. У Майкла это было развито в высшей степени.

После операции я спрашивал:

— Как ты знал, что больше не надо рассекать кость?

— Так это же чувствуется!

Чувствуется — вот именно!

Я улыбался:

— Майкл, ты не голоден?

— Доктор Владимир, я всегда голоден.

Долговязый и худой, он работал много и быстро и тратил массу энергии. После операций я обычно заказывал еду в одном из ближайших ресторанчиков, откуда быстро приносили какую-нибудь вкусную еду для всей бригады, а для него — двойную порцию. Только один раз он отказался от угощения:

— Спасибо, доктор Владимир, но сегодня жена ждет меня к обеду.

На следующий день я поинтересовался:

— Ну что вчера было на обед?

Он воскликнул с восторгом:

— О, доктор Владимир! Пицца!..

Вот это «обед»… Правда, у них было трое детей, что извиняло жену Майкла за такое «кулинарное искусство».

Выходящие в отставку доктора обычно продают офис и свою частную практику тому, кого выберут. Мой офис принадлежал госпиталю, и продавать мне было нечего, но я с удовольствием передал бы Майклу свою частную практику. Но он был из традиционной католической семьи в Калифорнии, а католики всегда хотят иметь много детей, ему надо было содержать большую семью. Поэтому после резидентуры Майкл собирался возвращаться в свой небольшой городок, чтобы поскорее начать зарабатывать. А жаль: он наверняка мог стать профессором в любом крупном медицинском центре.

Второй мой помощник, Патрик Меир, тоже был хороший хирург, хотя и без такого блеска. Он вырос в Европе, знал четыре языка, учился по году в университетах разных стран (так называемое «европейское образование»), был очень образован и вдумчив. Они с женой выиграли в лотерею Green Card — вид на жительство и решили переехать в Америку попытать счастья. Но пока еще не знали, что их ждет в будущем. Работая вместе, я присматривался к его способностям.

Патрик был тип наивного интеллигента, многого в Америке не знал и не понимал. Он проходил резидентуру в Канаде, система здравоохранения там социализированная, и доктора зарабатывают намного меньше американцев. Как-то мы небольшой компанией пошли после работы выпить пива. Разговор, как часто бывает, зашел о заработках. Один из хирургов сказал:

— Я делаю в год двести пятьдесят тысяч, и мне не хватает.

— Так много — и не хватает? — воскликнул Патрик.

— Это не так много, это меньше среднего заработка ортопедических хирургов.

— Неужели? А мне кажется, это ужасно много. Я бы даже не знал, что делать с такими деньгами.

Пройдет несколько лет, и, сидя в моем кресле, он станет получать гораздо больше, сокрушенно жалуясь:

— Деньги в Америке развращают. Сколько ни заработаешь — все кажется недостаточно.

В этом он был прав.

Иногда приходил навестить меня мой бывший помощник Леня Селя. Садился он уже не на край стула, как прежде, а разваливался в кресле, и с апломбом говорил нам с Изабеллой:

— Все эти годы в резидентуре я не жил по-настоящему, а только вкалывал. Скоро начну зарабатывать и жить. Хочу уговорить свою Ирку родить еще ребенка.

Изабелла всплескивала руками:

— Леня, куда же еще? У вас и так уже двое.

Я в который раз напомнил ему о чемоданах, поисками которых он занимался перед отъездом из Москвы:

— Да, там чемоданов не было, — смеялся он. — Но это ушло в прошлое вместе с жизнью в России. Я тут еще не жил, а когда стану жить по-американски, тогда начну чемоданы набивать!

— Почему ты считаешь, что еще не жил? У вас хорошая квартира, машина, дети учатся.

— Нет, это все не то. Я веду переговоры о будущей работе с разными госпиталями, торгуюсь, где смогу больше получать. Хочу, чтобы мои дети жили во дворце.

После его ухода Изабелла говорила:

— Владимир, как Леня-то изменился! Был такой тихий, а теперь — прямо-таки самоуверенный процветающий американец!

— Что ж, основа всей американской культуры — делать деньги.

— Но, Владимир, какая же это культура?

— Какая? Американская.

Интеллигентный, поистине культурный человек живет «не хлебом единым». Мне очень хотелось найти приятеля-собеседника, с которым я мог бы иногда поговорить о том, что люблю больше всего на свете, — об искусстве. Кроме Виктора, никто из наших докторов искусством не интересовался. Мы с ним иногда мимоходом обменивались впечатлениями о концертах или о выставках картин в музее Метрополитен. Но Виктор, как и все американцы, не знал русской культуры и искусства. А именно картины знаменитых русских мастеров были тем, о чем я сильно тосковал в Америке. По моему убеждению, мир не оценил по справедливости классиков реалистической русской живописи лишь потому, что просто их не знал.

Как раз в это время в госпитале появился еще один новый сотрудник — иммигрант из Одессы Леня Нейман, тридцати пяти

лет. Я уже навидался одесситов из Брайтона и относился к ним настороженно. Но, к моему удивлению, Леня оказался нетипичным одесситом, даже почти без протяжного одесского акцента. Меня приятно поразило, что он был знаток и любитель русской культуры и русского изобразительного искусства. При своих скромных средствах, он даже собирал небольшие рисунки и акварели. На этой почве мы с ним сошлись, несмотря на разницу в возрасте.

Так под самый конец моей работы в Америке появился у меня собеседник — приятель.

Есть ли недостатки в Америке и в американской медицине

(мой взгляд на «американскую хандру» — оборотную сторону процветания)

Америка подарила нам с Ириной вторую жизнь — трудную, но интересную. В этой жизни была борьба за место под американским солнцем, был успех, но были и горькие разочарования. Освоение английского языка и доступ к новой информации обогатили нас новым и более глубоким пониманием общественной жизни в нашей новой стране и в остальном мире. За все это я люблю Америку.

Но это любовь не слепая: я вижу не только достижения, но и недостатки американского общества, и не только яркие, но и негативные стороны американской медицины.

Общественная жизнь любой страны определяется и направляется ее интеллектуальной прослойкой. Ведущая интеллектуальная прослойка Америки глубоко и непримиримо разделена на два течения — консервативное и либеральное. Консерваторы говорят, что сейчас в Америке все плохо, но будет еще хуже, либералы говорят, что сейчас плохо, но хуже быть не может. Мне, человеку из другой общественной системы, кажется, что и те и другие просто не знают, что такое плохо.

В 1984 году я описал свой опыт жизни в коммунистическом мире. Та, первая книга моих воспоминаний была издана в Нью-Йорке на английском языке. Многие из читателей тогда звонили и писали мне:

«Ваша книга помогла нам понять, каково жить в несвободном государстве. Мы не умеем ценить, что имеем…» Парадоксально: чтобы оценить свою свободу, они должны были прочесть о несвободе в чужой стране!

В передовых слоях Америки есть неколебимая вера в преимущества своей демократии. Но иногда словом «демократия» они определяют не только положительное, что она дает, но и пытаются прикрыть то отрицательное, к чему она приводит.

Они отождествляют демократию с чрезмерно широким понятием свободы. Демократия дает равную для всех свободу выбора правителей, но не предоставляет свободу от всего, чем диктуется жизнь общества. Свобода — это не консистенция одинаковой плотности, как безвоздушный вакуум. В свободе есть

свои течения, как в ветре, и некоторые из них — с обратными завихрениями. Таких «обратных завихрений» в жизни американского общества довольно много. Это пороки преступности, жульничества и нарушения законов на всех уровнях, включая крупные корпорации; пороки недостатка в уровне образования бедных слоев и цветного меньшинства; пороки дороговизны лечения. Каждый новый президент оглашает программу обновления общества, новые пути в образовании, в здравоохранении, в борьбе с преступностью. Но пока ничего из этого не получилось. Такое впечатление, что американскому обществу не хватает единого понимания, куда оно должно идти, не хватает единой объединяющей идеи. Нельзя же считать «идеей» накопление денег — идеал всех американцев.

Работающему человеку в Америке легко и просто. При высоком жизненном стандарте все необходимое имеется здесь в избытке — и все руки тянутся к этому избытку. Но не все могут дотянуться. Расслоение общества на классы и расы — важные составляющие того, что я назвал бы «американской хандрой» (по аналогии с тем, что Пушкин называл «русской хандрой»).

Сегодняшняя Америка при всем кажущемся благополучии не в состоянии освободить своих граждан от недовольства политикой правительства и от критики общественной системы. Но в Америке общество не монолитно, как в странах Европы и Азии. Оно расслоено на много рас, наций и культур. И оно во многом состоит из массы иммигрантов, которые Америку еще не понимают или не хотят понимать и живут с оглядкой на свое прошлое. Поэтому мудрено ожидать одинакового понимания общественных ценностей от такого пестрого во всех отношения общества. Но жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Все это порождает конфликты и пороки в жизни Америки.

В повседневной жизни американского общества превалирует не то, что хорошо и полезно, а то, что выгодно, — и без учета последствий. Но то, что кажется выгодным сегодня, нередко оказывается невыгодным и неверным завтра. В 1965 году в уступку все нарастающей бедной прослойке президент Линдон Джонсон ввел систему минимального социального пособия для бедных «Велфэр» и медицинскую страховку для них «Медикейд». Тогда это казалось выгодным, потому что страна еще переживала расовые беспорядки, и черному населению это давало материальную поддержку. Но потом эта уступка оказалась приманкой, которая привела к росту числа неработающих и требующих помощи и увеличила приток неимущих черных иммигрантов. В результате разделение общества еще усилилось.

Это сказалось на всей его жизни: на увеличении налогов для содержания получателей «Велфэра», на понижении среднего уровня образования, на ухудшении медицинского обслуживания, на все возрастающей преступности. В больших городах образовались настоящие гетто, рассадники преступности и дикости, разрушающие вокруг себя все цивилизованное. Я работал в госпитале в одном из таких кошмарных черных гетто и описал это в первой части воспоминаний. Там на каждом шагу выпирали отрицательные стороны «подводных течений» американской жизни. И там был самый низкий уровень медицины. Все президенты после Джонсона вынуждены были «латать» систему «Велфэра» и «Медикейда». В результате в Америке возросло число недовольных и протестующих.

Всему миру стало известно кошмарное преступление американца Тимоти Маквея: он в 1996 году взорвал большое здание в городе Оклахома — якобы в «знак протеста». Там погибло 250 человек, включая целый детский сад. Какой это был протест, против чего? Против «политики правительства вообще». Хуже всего, что у этого преступника, одержимого «идеей справедливости», нашлись сочувствующие и сторонники, такие же простые американцы. Но Маквей — пример крайнего выражения протеста. Кроме него в США есть тысячи «маленьких Маквеев», протестующих против чего бы то ни было, чего и сами не понимают.

Америка слишком развита, чтобы самой производить товары, ее специализация — высокотехнологическая информация. Вместе с самой передовой техникой она на весь мир распространяет и другую свою продукцию — немыслимую по масштабу пропаганду насилия и ужасов. Эта голливудская продукция и книги, заполненные волнами кошмарных преступлений, — стали типичным американским производством. Деловым людям это приносит громадный доход, и на этом замыкается основная американская идея — «делание денег». На американское общество сильно влияет каскад громких скандальных историй в деловых и правительственных кругах (которые должны подавать пример того нового, за что агитируют президенты). На экранах телевизоров и на страницах газет каждый день показывают, как большие люди обкрадывают и обманывают друг друга и людей маленьких. Америка богата, а где деньги, там чрезмерное усиление алчности и преступности.

У меня нет предложений и рецептов для американского общества, я недостатки просто констатирую. Я — доктор, и двадцать пять последних лет мой мир — это мир американской медицины. Это богатый и передовой мир. Медицина составляет

около 17 процентов всего общего состояния страны (сравните с 3 процентами в России). В Америке около 600 000 докторов (один на 700 человек населения), густая сеть госпиталей — 3000, один госпиталь на 10 000 населения, из них 300 — больших медицинских центров, один на 100 000 населения, и около ста медицинских факультетов и институтов. Нет такой фармацевтической и технической новости во всем мире, которая не применялась бы в Америке. В американском госпитале нет слова «нет» — все есть, и все под рукой. Единственное, чего там часто не хватает, — этики отношений докторов к пациентам. Я видел в Америке много прекрасных специалистов, но среди них было совсем немного таких, которых можно назвать «хороший доктор», — внимательных и отзывчивых целителей.

В Америке слишком часты случаи гражданских судов над докторами. Практически 50 процентов докторов судимы своими пациентами (конечно, с помощью, а зачастую и с подстрекательством юристов). Многих хирургов судили по два-три раза. В двух третях случаев нет прецедента для судов, и они заканчиваются ничем. Но запрашиваемая сумма всегда вздута и отражает нелюбовь и недоверие многих людей к докторам (и в этом им помогают юристы, которые в случае выигрыша процесса получают третью часть). А из-за высоких сумм платежей невероятно вздута и страховка докторов от возможных осложнений и ошибок (более $100 000 в год в отдельных специальностях). В результате страховые компании повышают стоимость страховок, и доктора вынуждены платить им громадные деньги. Но чтобы покрыть эти свои расходы, они повышают цены лечения. Медицина удорожается, а это, в свою очередь, приводит к общему повышению налогов. Так образуется неразъемный порочный круг вздорожания лечения и еще большего ухудшения отношений между докторами и их пациентами.

Американский врач Шелдон П. Бло даже написал книгу «Как выписаться из госпиталя живым» — 226 страниц инструкций о наиболее частых ошибках и осложнениях и о том, как больному самому постараться предотвратить их при отношениях с врачом.

Меня поражает индивидуализм американских докторов в лечебном деле. При частной системе медицины и ответственность докторов тоже частная. Каждый из них, имея лицензию, несет исключительно индивидуальную ответственность за свою работу. При недоверии или непонимании пациент имеет законное право получить «второе мнение» другого доктора. Что такое «второе мнение»? Это опять-таки частное мнение, хотя и другое. Ум хорошо, два — лучше, но еще лучше три мнения — консилиум,

самый правильный путь обсуждения тяжелого случая лечения. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из докторов собирал консилиум для обсуждения особо тяжелого или неясного случая заболевания его пациента.

Медицина в Америке слишком дорогая и заработки докторов вздуты. Но и обучение медицине слишком дорого — все наши резиденты по окончании института и тренинга имели долги в банках до $250 000, которые они потом годами выплачивали с высокими процентами. Я с удовольствием наблюдал, как в процессе тренинга наши резиденты становились специалистами. Но к концу резидентуры все они нетерпеливо мечтают только об одном — быстрей начать делать большие деньги, получая их с пациентов. Жажда денег так велика, что этические вопросы отношений с пациентами их интересуют мало.

Связь больного с врачом — не только профессиональная, но прежде всего человеческая, гуманистическая акция. Врач лечит не саму болезнь, он должен лечить больного человека. Мой отец был хирургом прошлого века, он передал мне медицинскую поговорку старого времени: «Врач любит своего больного больше, чем больной любит врача». Я это запомнил, но, очевидно, так обстояло дело только в старые времена. Насмотревшись на взаимоотношения врачей и больных в Америке, я мог бы переделать эту поговорку так: «Больной не доверяет своему врачу больше, чем врач не любит своего больного…» Как это повлияло на меня? Я был доктором двадцать пять лет в России и столько же — в Америке. Я еще сохранил в себе черты того, что называлось хорошим доктором старого времени, но смог стать и американским специалистом нового типа. Соединив в себе две школы жизни и медицины, я всегда старался оставаться доктором прежнего типа, но в то же время применять то важное и передовое, чему научился в Америке. И я могу с гордостью сказать о пятидесяти годах своей врачебной практики: И В РОССИИ И В АМЕРИКЕ Я ЛЮБИЛ СВОИХ БОЛЬНЫХ, И МОИ БОЛЬНЫЕ ОТВЕЧАЛИ МНЕ ТЕМ ЖЕ.

Все-таки нелегко оставлять работу

Перед последним годом работы я получил приглашения из Израиля и Барселоны выступить с лекциями на конгрессах хирургов. Особенно мне было приятно опять поехать в Израиль, там жили несколько моих старых друзей, эмигрантов из Москвы и было много приятелей-израильтян. К тому же я не был там уже десять лет, а Ирина вообще не была. Перед поездкой я списался с профессором Вениамином Лирцманом. Не видел я его семнадцать лет и предложил встретиться в Иерусалиме (есть такая древняя еврейская поговорка: «В будущем году — в Иерусалиме!»). Русские доктора зарабатывают мало, и я оплатил ему часть расходов.

Приехав, мы с Ириной взяли напрокат машину и за десять дней объехали всю страну. Я не мог надивиться — как сильно изменился Израиль за одно десятилетие, как расцвел: города разрослись, вытянулись ввысь и похорошели, кибуцы стали красивыми зелеными поселениями. Это был пример того, что талантливый и деятельный народ способен сделать в почти выжженной солнцем и войной каменистой пустыне. Повсюду была слышна русская речь — четвертую часть населения составляли иммигранты из бывшего Советского Союза. Они дали, конечно, дополнительный импульс процветанию Израиля. Но, к сожалению, не все могли найти работу по специальности. Уборщицы в гостиницах, услышав наш с Ириной разговор, робко спрашивали:

— Вы из России?

— Нет, мы из Америки. Но туда приехали из России.

— Ой, а скажите: как вы устроились в Америке?

— Мы устроились хорошо: я работаю доктором, моя жена — научный работник.

— Да? А я вот убираю комнаты, стелю постели, чищу пылесосом полы. А дома тоже была врачом…

По улицам невозможно было пройти, чтобы не услышать русскую музыку в исполнении пожилых музыкантов с аккордеонами, баянами, гитарами и скрипками. На лацканах их пиджаков сияли боевые награды за войну с Германией.

Особенно нас тронули двое уличных исполнителей. Один — старый лысый человек, в потрепанном кожаном пальто, какие когда-то давно носили советские начальники. Инструмента у него не было, он согбенно сидел на дощатом ящике у входа в продуктовый магазин и пел старинный русский романс «Не пробуждай воспоминаний…». Ни голоса, ни сил петь у него не

было, грустные слова еле слышно вылетали из его потрескавшихся губ.

Весь приниженный облик, поза и интонация этого уличного певца буквально выворачивали душу. Кем он был раньше?.. Что заставило его эмигрировать? Другой музыкант — мальчик лет десяти, аккуратно одетый, с галстуком и в коротких штанах, страшно худой и болезненно бледный. При нас его привела на многолюдную центральную улицу и поставила на тротуар интеллигентного вида мама. Потом она отошла за угол и оттуда тревожно и напряженно на него смотрела. А он достал из футляра скрипку и неумело заиграл гимн Израиля. О-ох!.. Глядя на него и слушая его игру, мы могли только вздыхать. Черт подери советское беженство! Эти двое запомнились нам, как символ неустройства людей, вынужденных бросить свою прежнюю жизнь там.

Встречи с друзьями были полны радости. В Израиле жили несколько моих старых друзей: Норберт Магазаник, Ида Учитель, Миша Цалюк, Вадим Пожариский. Они наперебой зазывали нао и угощали селедкой под луком и фаршированной рыбой из озера Генисаретского, где, согласно евангельскому преданию, апостол Петр ловил рыбу, а Христос ходил по водам.

Конгресс хирургов-ортопедов проходил в иерусалимском отеле «Хилтон». После своего доклада я пригласил друзей в ресторан. Когда-то, в прежней московской жизни, они дали мне прозвище «счастливчик». И теперь, на старости лет, могли полностью убедиться, что не ошиблись.

— Хороший доклад, счастливчик. Поздравляю!

— А ты, счастливчик, здорово болтаешь по-английски.

— Ты показал прекрасные слайды.

— Выпьем за твои успехи, счастливчик.

И тут я их удивил:

— Ребята, вам первым хочу сказать: все, кончается ваш счастливчик — в будущем году выхожу в отставку, стану простым пенсионером. И Ирина тоже.

— Как? Почему? Что случилось?

— Ничего не случилось, кроме того, что я постарел и хочу еще пожить в свое удовольствие.

— Но ты же многого достиг! Тебе не жалко бросать?

— Жалко, конечно. Но хватит и того, чего достиг. Уже трудно продолжать достигать.

А после Иерусалима мы побывали в Барселоне, самом прекрасном городе Испании. Я читал лекцию в городском госпитале, и как принято, профессор пригласил нас к ресторан. Это было в разгар сезона отпусков, и все отели были забиты. Но

профессор позвонил в знаменитый «Парадор», перестроенный из дворца, и помог нам с Ириной там устроиться. Там, сидя на балконе над заливом Средиземного моря, я вдруг вспомнил:

— С сегодняшнего дня нам осталось работать ровно один год!..

Мы решили, что сразу после ухода с работы мы вдвоем уедем в долгое путешествие, чтобы заполнить непривычную пустоту и не проводить лето в знойном и душном Нью-Йорке. Ирина предложила:

— Давай поедем в Европу, но на этот раз не в большие города, а в северную часть Франции, в Бретань и Нормандию, где мы еще не были. Я узнавала: можно прямо отсюда заказать там дом в деревне. Возьмем напрокат машину и поедем сначала в одну деревню, в Бретани, потом переедем в другую, в Нормандии. Стоить это будет совсем недорого.

— А из Франции, — подхватил я, — поедем в Голландию и Бельгию. Мы там давно не были.

— Хорошо. А на следующий год — в Австралию и Новую Зеландию.

Наши аппетиты на свободу разгорались, и мы все больше предвкушали ее.

Вернувшись на работу, я пошел в кабинет Виктора Френкеля со смешанными чувствами: семь лет назад в этом самом кабинете он предложил мне работу, а теперь я шел от нее отказываться. Отчасти это могло показаться неблагодарностью. Поэтому я хотел как-то деликатнее обосновать свое решение. Конечно, многое изменилось с тех пор: в моем положении произошли большие изменения, но и Виктор был совсем не тот: из активного начальника превратился в мало интересующегося делами почетного руководителя. Он даже и в свои президентские дела мало вникал, поручая решать их своему заместителю.

Авторитет, который он заработал за долгие годы, еще помогал ему держаться, но многие наши доктора ждали его ухода, распространяя самые разнообразные слухи и предположения о замене. Однако Виктор оставлять насиженное место пока не собирался…

— А, Владимир, заходи! Что нового?

— Виктор, знаешь, я решил через год подать в отставку.

— Ты что — заболел?

— Нет, я здоров, хотя устаю все больше. Но мы с Ириной решили, что нам наконец надо пожить для себя. Я тебе очень благодарен за все. Когда мы с тобой работали вместе, я с удовольствием тебе помогал и мне самому было как-то уютней работать. Теперь я один, без твоей поддержки…

— Ну, моя поддержка у тебя есть всегда — в этом будь уверен!

— Спасибо. И все-таки я решил, что пора уходить.

— Слушай, знаешь, что я тебе скажу: подожди еще один год.

Я решил, что он знает что-то такое, что повлияет на мое решение.

— Почему, Виктор?

— Потому что за год ты сможешь заработать еще больше.

— Хорошая идея, Виктор, — сказал я по привычке.

— Еще одна хорошая идея! — Он поднял палец, и мы расхохотались.

— Но знаешь, — продолжил я, — мы с Ириной накопили денег и рассчитали, что этого нам хватит на остаток благополучной жизни.

Он задумался:

— Ну, если вы рассчитали… Мне будет не хватать тебя.

Я был тронут:

— Спасибо, но вокруг тебя много докторов.

— Они все… — Виктор замялся, потом хитро посмотрел мне прямо в глаза и сказал на ломаном русском: — Оны нэ культурний!

Трудно было с ним не согласиться.

Но у меня оставалось еще два вопроса.

— Виктор, я думаю передать мой офис Патрику Меиру. Что ты скажешь?

— Это твоя хорошая идея. Патрик талантливый хирург и он… культурний, — произнес он опять по-русски. — О'кей, но что нам делать с твоей «русской клиникой»? Патрик знает несколько языков, но не говорит по-русски.

— Я подумал об этом. Пока вы не найдете русскоговорящего ортопеда, я могу приходить и консультировать больных, а оперировать их будет Патрик.

— Еще одна хорошая идея!..

Так мы закончили непростой для нас обоих разговор.

Теперь предстояло сообщить о моем решении Изабелле. За эти годы мы с ней не просто сработались, но сдружились. Она учила французский язык — я ее в этом поддерживал, как друг; она училась пению — я поддерживал и это. Мы обсуждали не только финансовые и рабочие дела, но делились радостями и тревогами семейными. Она бывала у нас дома. На праздники я всегда дарил ей чеки (традиция была общая, но не все боссы давали своим секретарям много). Когда сын Изабеллы подал документы в колледж Йельского университета, я написал ему рекомендательные письма. Секретари докторов во многих офисах

ссорились со своими боссами, ругали их и нередко увольнялись. Но Изабелла меня всем только расхваливала. Как-то она сказала Ирине: «Каждый день иду на работу с Владимиром, как на праздник».

И вот теперь я должен был ей объявить о своем решении и знал, как это ее огорчит.

Я выбрал редкую минуту, когда не звонил ее телефон:

— Изабелла, знаете, я собираюсь уйти в отставку, совсем уйти.

— Да ну вас, Владимир, с вашими шутками. Вы — и в отставку?!

— Нет, на этот раз не шучу. Через год я уйду. Я уже объявил Френкелю, теперь говорю вам.

— Но почему, Владимир, почему?

Тут я все-таки пошутил:

— Посмотрите на меня — ведь я старик, развалина.

Она всплеснула руками:

— Какой вы старик?! Да у вас такая память! Вы так все помните, как молодые не могут запомнить.

— Но у молодых много сил, а мои, я чувствую, на исходе.

— Сократите нагрузки, меньше оперируйте.

— Это невозможно, я приношу доход госпиталю, и потому за меня платят страховку. И вы сами знаете, сколько больных хотят, чтобы я их лечил. А лечить надо или в полную силу, или бросить совсем. Я выбрал второе. Да ведь и вы страдаете от перегрузок в моем офисе, от бесконечных звонков всех этих наших древнерусских калек…

Изабелла замолчала, опустив голову. Я видел, что она сильно расстроилась.

— Владимир, а как же я?..

Вообще такой вопрос задают не секретари, а жены, от которых уходят мужья.

— Изабелла, единственное, что я могу обещать, — плохому доктору я вас не отдам.

Несколько дней она была как в воду опущенная, звонила Ирине, спрашивала — правда ли это? Ирина подтвердила, успокаивала ее.

Слухи о моем уходе скоро дошли до пациентов. В «русской клинике» многие спрашивали:

— Доктор, на Брайтоне говорят, что вы собираетесь уходить с работы. Это правда? Вы не можете это сделать, вы так нужны людям!

Я отвечал:

— Но я нужен и моей жене.

— Доктор, кому вы нас хотите отдать? Только не отдавайте нас американцу!

— Доктор, пусть у вас никогда руки не болят!

Изабелла говорила:

— Владимир, что вы наделали! С тех пор как люди прослышали о вашем уходе, они как с цепи сорвались: все звонят и просят записать к вам на прием. И все спрашивают: успеете ли вы сами сделать им операцию? Что мне отвечать?

— Помните, вы как-то сказали: «Нога на ногу не приходится»? Вот так им и отвечайте.

Конечно, эта популярность не могла повлиять на мое решение. Но все-таки нелегко оставлять работу, когда ты действительно нужен людям.

Последняя операция

По опыту прежних лет я знал, что делать операции накануне отпуска нельзя: на операционном столе всегда может случиться что-то, что задержит отъезд или совсем его отменит. И тем более не надо мне было делать операции близко к намеченной отставке 1 июля. Я просил Изабеллу не записывать больных на операции на весь июнь. Но не получилось — каждый день она, стесняясь, но настойчиво, повторяла:

— Владимир, что мне делать? Люди звонят и умоляют назначить их на операцию к вам.

— Говорите, что оперировать их будет доктор Меир.

— Я им говорю, но они и слышать об этом не хотят. Ну, Владимир, может, запишем последнего?..

Приходилось сдаваться, и в конце концов я решил: о'кей, буду оперировать до 15 июня, но после этой даты не поддамся ни на какие просьбы и уговоры, все — последняя операция!

Не знаю, каково актеру выходить на сцену в последний раз, но мне было странно входить в операционную в тот день — бушевали эмоции. За сорок два года я тысячи раз входил в операционную, на меня надевали стерильный халат, сестра натягивала мне на руки стерильные перчатки… И вот — последний раз. Но моя бригада, с которой я так сработался, пока этого не знала. Я решил, что объявлю, когда закончим операцию.

Моей последней пациенткой была женщина 31 года с классической ортопедической деформацией: у нее от рождения был вывих обоих тазобедренных суставов. С возрастом вывих все больше увеличивался и давал себя знать: ходила она, переваливаясь уточкой, и страдала от боли при каждом шаге. Но что было хуже всего — она совершенно не могла разводить ноги и с трудом их сгибала. А у нее был муж, молодой и красивый парень. Конечно, это затрудняло их связь. На первом же приеме в офисе она, стесняясь, отворачиваясь и всхлипывая, говорила:

— Вам только, как доктору, скажу… я ведь совсем не могу… ну, понимаете… в постели… Каждый раз, каждый раз… я чуть не кричу от боли и плачу от обиды… Другим женщинам это приносит наслаждение, а мне — муку… и я никак не могу… совсем никак… Доктор, миленький, сделайте мне операцию. А то ведь он меня бросит…

Помочь ей могла только замена обоих тазобедренных суставов на искусственные. Эту операцию на Западе начали делать в 1960-е годы. В России отстали на много лет, и то когда смогли закупать искусственные суставы у зарубежных фирм.

Сложность ситуации с этой моей последней больной была в том, что молодым людям такие операции почти никогда не делаются: срок действия металлических суставов — не более 15–20 лет. После этого их опять приходится заменять. А каждая следующая операция все сложнее, притом ослабляет кости — большой риск. Поэтому суставы заменяются в основном людям после шестидесяти лет.

Я объяснил это пациентке, но она стала еще больше настаивать:

— Господи, доктор, да если я смогу жить с мужем… ну это… в постели… еще хоть сколько-нибудь… Да мне и двадцать лет не надо, хотя бы пять или десять!..

При всем сочувствии я не имел права идти у нее на поводу. Но она уже и ходила плохо, и страдала от болей, а дальше ее ждала полная инвалидность. Надо или не надо идти на такой риск?.. Но что такое хирургия, как не постоянный риск?

Я посоветовался с Виктором, который, посмотрев рентгеновские снимки, сказал: «Делай операцию!»; я попросил представителя фирмы, производящей искусственные суставы, дать мне самую последнюю модель, с наибольшим «сроком жизни». Он привез эти суставы в фабричной стерильной упаковке и оставался во все время операции рядом со мной на случай технических советов.

И вот что интересно: как только я встал к операционному столу, мой мозг автоматически отключился от всех посторонних мыслей, я работал на последней операции с таким азартом, как будто она была моей первой. За пять часов мы с ассистентами заменили больные, изношенные суставы на новые, металлические, сверкающие. Поставив их, я тщательно проверил возможность их действия: они не только крепко зафиксировались, но и ноги разводились хорошо. И она, и муж будут довольны…

Только когда больную увезли в послеоперационную палату, я вспомнил: а ведь моя хирургическая жизнь на этом закончилась. И тогда нахлынули эмоции.

— Что заказываем на ланч? — спросил я свою бригаду.

— Владимир, ланч уже заказан, — сказал представитель фирмы.

Ему я сообщил по секрету, что это моя последняя операция, и от своей фирмы он решил сделать мне сюрприз — прощальный ланч. Из ресторана принесли два длинных-предлинных сэндвича «гироу», он отрезал всем по куску и объявил:

— Доктор Владимир сегодня сделал свою последнюю операцию. Фирма «Ричарде» ему благодарна за многолетнее сотрудничество, и мы посвящаем этот ланч Владимиру.

Многие слышали, что я собрался уходить, но не знали о точной дате. Посыпались восклицания, начались объятия, поцелуи сестер. Резиденты подарили мне свою групповую фотографию с надписью: «Владимир, спасибо за то, что ты такой друг, учитель, художник и шутник! Лучшие пожелания к твоему уходу в отставку!» Дружественность этой надписи моих молодых учеников и помощников была для меня лучшей наградой. Если молодые люди признали меня, уже старика, своим другом, значит, я душой еще не стар. А фотография теперь висит на стене у меня дома, и я с гордостью ее показываю гостям.

После ланча я поднялся к себе в кабинет. Изабелла ждала меня с кипящим чайником. Я церемонно пожал ей руку:

— Изабелла, разрешите представиться — бывший хирург.

— Бывший хирург?! Владимир, вы всегда шутите!

— Изабелла, какие шутки, я только что сделал свою последнюю операцию.

Она никак не могла с этим примириться:

— Владимир, а люди все звонят и просят.

— Нет, нет и нет. Пусть просят вашего нового босса — доктора Меира. А я для вас написал стихотворение.

— Для меня? Вы опять шутите…

— Ничего я не шучу. Слушайте.

И я прочитал-пропел ей то, что написал накануне:

ПРОЩАЙ, СЕКРЕТАРША

(Жестокий романс под гитару, на мелодию «Не пробуждай воспоминаний», слова безутешного Владимира ГОЛЯХОВСКОГО, посвящается Изабелле ЗУБАТОВОЙ, менеджеру моего офиса и подруге дней моих суровых.)

Во мне все чувства перепрели, О
дна осталась только грусть —
Ужели с ней на самом деле
Я расстаюсь, я расстаюсь?
Другой теперь над ней начальник,
И я живу, судьбу кляня:
Она ему согреет чайник —
Не для меня, не для меня.
Не мне считаться будут чеки,
Иль это правда, иль во сне?
И древнерусские калеки
Звонить ей будут не ко мне.

Тех лет счастливых отголоски
В душе останутся сиять,
Но с нею мне ее прически
Не обсуждать, не обсуждать.
С годами буду я все старше,
Но лишь одна томит беда:
Такой прекрасной секретарши
Уже не будет никогда!

Как Изабелла смеялась и плакала — черные от туши ручейки текли по ее щекам!..

— Изабелла, я и себе написал стиховторение:

АВТОПОРТРЕТ ПОД СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

Все покатилось кувырком —
Событье за событьем;
Я не боюсь быть стариком,
Но я стесняюсь быть им.
Я из кокетливых мужчин,
Всю жизнь я этим славлюсь,
Хотя пока что без морщин,
Я сам себе не нравлюсь.
Ну что приятного мне в том,
Что скоро я, с годами,
Преображусь: с отвисшим ртом
И с мутными глазами;
Что все я буду забывать,
И стану всем знакомым
Одно и то же повторять,
Как пораженным громом;
Согбенно я скривлюсь горбом,
Начну здоровьем чахнуть,
И слышать плохо, и притом
По-стариковски пахнуть.
А как пройдет немного лет,
То станет, без сомненья,
Еще страшней мой портрет
Грядущего творенья.
Себя обратно изменить
Не в силах я; при этом

Все больше я стесняюсь быть
Своим автопортретом.
Кто быть не хочет стариком,
Всех тех, скажу по чести,
Пора асфальтовым катком
Давить (со мною вместе).

— Да ну вас, Владимир! Какой вы старик, — засмеялась она.

В один из тех дней в лаборатории Ирины устроили ей банкет-проводы. Есть старинная поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. Я был счастлив видеть, с какой любовью и уважением провожали мою Ирину сотрудники лаборатории и всего департамента. Своим дружелюбием она заслужила такое отношение. Ирина, в белом платье, выглядела так, будто ей не на пенсию, а замуж выходить. В отличие от русских юбилеев и проводов на пенсию с множеством скучных речей американцы в подобных случаях говорят коротко. А то, что говорят, украшают шутками. Так и директор Ирины, доктор Майкл Розен, в краткой речи расточал ей шутливые комплименты, и все смеялись. Ирина в ответном слове сказала:

— Майк всегда думал, что это его лаборатория. А я всегда считала, что она — моя.

Он подарил ей золотое ожерелье, сотрудники преподнесли альбом с фотографиями и прощальными письмами, завалили цветами и подарками. Домой мы ехали груженые, действительно как со свадьбы. И потом я долго не мог расстегнуть новое ожерелье на шее жены.

И мне в госпитале устроили такие пышные проводы, каких я не ожидал. Американцы обожают устраивать «Зигрпзе РаПу» — «банкеты-сюрпризы», чтобы поразить юбиляра. За несколько дней до моего ухода по всему госпиталю по секрету от меня распространили приглашения. У Изабеллы все дни на лице было написано: «Я что-то знаю, но тебе не скажу». Конечно, я догадывался, но вида не подавал. Только попросил своего нового приятеля Леню Неймана развесить по стенам кафетерия мои шаржи на докторов, которые рисовал все годы и показывал на предыдущих банкетах.

Пришло около трехсот человек — доктора, резиденты, администраторы, сестры, санитары. Был и мой старый друг Эйб Мошел, который к тому времени уже у нас не работал. На длинных столах стояли закуски, в углу бармен разливал по бокалам вино. Пришла на проводы и вся моя семья, привели даже

старшую внучку Кортни. Она была еще совсем маленькая и забралась под стол.

Виктор Френкель говорил речь, щедро пересыпая ее шутками, вспоминая, как мы вместе начинали делать илизаровские операции. Оглядываясь на шаржи по стенам, он говорил о моих художественных талантах. Но главное, что мне запомнилось:

— Доктор Владимир из тех иммигрантов, которые пустили корни в Америке. Большая честь для нашего госпиталя, что этот человек работал с нами… — он оглядел всех собравшихся и добавил: — Могу с полной уверенностью сказать, что Владимир — друг всех в госпитале.

Что верно, то верно: за годы работы я сдружился буквально со всеми сотрудниками. Многие из них приходили ко мне лечиться и приводили своих близких — они доверяли мне чуть ли не больше, чем другим докторам. И вот вроде бы и трудно быть другом для всех, но я не прилагал к этому усилий, просто всегда чувствовал себя здесь свободным, самим собой. На минуту я с горечью вспомнил, что, когда уезжал из России, никто из сотрудников не сказал мне доброго слова. А ведь я и тогда был самим собой.

Мне подарили дорогой фотоаппарат — для снимков в будущих путешествиях. Я неловко раскланивался на довольно долгие аплодисменты — не актер же я. Мне полагалось держать ответную речь:

— Спасибо, Виктор, за добрые слова, спасибо всем пришедшим сюда. Я выбрал Америку своей страной и не ошибся, когда приехал сюда восемнадцать лет назад. Могу сказать, что почти все мои ожидания сбылись — и даже больше. Но чего я не представлял себе, так это — что обрету так много друзей, всех вас. Да, мы с Ириной действительно пустили корни в Америке: вон там, под столом, сидит наша американская внучка, наш корешок… Знаете, когда в посольстве США в Италии консул давал мне визу, у него на столе лежали мои печатные работы — статьи, книги и патенты — и он сказал мне: «Для нашей страны это честь, что такой человек, как вы, выбрал ее для себя». Я был поражен и невероятно счастлив такое услышать. И сейчас доктор Френкель повторил эти слова. Спасибо. На самом деле это честь для меня — жить и работать в Америке, с вами. И я горжусь этой высокой честью — быть американцем.

Вернулись мы домой с грудой подарков. Через два дня нам предстояло вылетать в Европу, оставались последние дела. Я привел в свой кабинет доктора Патрика Меира и позвал с нами Изабеллу.

— Патрик, теперь это твой кабинет, Изабелла — твой

секретарь. Я обещал ей, что плохому человеку ее не передам. Так что ты меня не подводи. Я передаю тебе всех моих больных, о которых Изабелла знает не меньше, чем я сам. Она тебе во всем поможет.

Патрик был смущен. Он был хирург с хорошими задатками, но ему было всего 33 года. А чтобы молодому доктору получить кабинет с частной практикой, для этого надо долго работать младшим партнером, или купить офис за большие деньги.

— Спасибо, Владимир, спасибо. Но это все-таки ваш кабинет, вы в нем навсегда останетесь хозяином. И обещаю вам, что с Изабеллой мы сработаемся.

Напоследок мы с Виктором молча обнялись. Он оставил за мной должность консультанта «русской клиники» с небольшой оплатой. На этой работе я остаюсь вот уже восемь лет. А Патрик действительно оставил в офисе мне мое кресло и половину ящиков письменного стола. И Изабелла продолжала мне помогать. Потом Патрика повысили, дав ему другой кабинет. А ко мне вселился новый сосед — сам Френкель. Уйдя в отставку, он оставался консультантом при Совете попечителей госпиталя. Так мы с ним оказались совладельцами одного кабинета. Говорят, что два медведя в одной берлоге не уживаются. Но это не про нас с Виктором…

А моя последняя пациентка время от времени приходит в госпиталь показываться мне. Ходит она легкой походкой и ее всегда сопровождает муж. Они держатся за руки и, улыбаясь, говорят мне самое лучшее, что может услышать врач:

— Спасибо, доктор!

Мысли о хирургии

Пора, мой друг, пора.
Покоя сердце просит,
Летят за днями дни и каждый день уносит
Частицу бытия…

А.Пушкин

Говорят, что мудрость основана на знаниях, приходящих с опытом, который достигается ошибками. Не мне судить, пришла ли ко мне мудрость, но опыта, основанного на ошибках, было много. Об этом я и написал три книги воспоминаний. Мы все живем, глядя вперед, но оценить свою жизнь можем, только оглядываясь назад.

Хирургу перестать делать операции так же непросто, как заядлому курильщику бросить курить. После ухода из хирургии я днем отвлекался на разные дела, но по ночам продолжал видеть операции во сне. То мне снилось, что я сам их делаю, то — наблюдаю работу других. И все в этих снах было до деталей явственно, и я снова волновался и переживал. Более года не было почти ни одной ночи, чтобы мне не снилась моя хирургия. Когда-то я слышал, что у шахтеров, добывавших уголь в шахтах, в порах кожи навсегда остаются черные угольные пылинки, потому что их кожа была долго открыта для проникновения угольной пыли шахт. По аналогии можно сказать, что в мозговых клетках хирургов навсегда остаются впечатления, заполненные мыслями об операциях: всю жизнь их мозг был в постоянных думах о хирургии.

Еще только начав работать в 1953 году в России, я стал задумываться: как определить, что такое моя специальность «хирургия»? Тогда, в молодой пристрастности, хирургия представлялась мне в романтической окраске: я думал о ней как о предназначении, как о миссии: «Это спасение жизней, это беззаветное служение, это…» Я думал, как влюбленный, и эта любовь была отражением возвышенности молодых чувств. Как многое, о чем мы думаем в молодости, те мысли были слегка наивны. Но они помогли моему жадному внедрению в профессию и смягчили первые огорчения и разочарования. Однако трезвый опыт жизни всегда сглаживает острые края нашей молодой угловатости. Теперь, познав многие горести и трудности хирургии, я продолжаю любить ее спокойней и могу судить о ней

беспристрастней. И пора уже мне дать простое и ясное определение, что же она такое, моя хирургия.

Как ни странно, дать четкое определение хирургии мне нелегко даже и теперь. Хирургия — это одна из самых сложных ученых профессий, включающая в себя научные знания медицины и особое искусство рук. Любое лечение требует знания медицинской науки и эрудиции лечебного мастерства. Но хирургия требует от врача еще и третьего компонента — искусства рук, управлять в живых тканях человека с помощью стальных инструментов. Сконцентрированное в одно целое, это дает эффект одномоментного радикального излечения. Хирург — это специалист, который умеет чувствовать живые ткани тела через сталь своих инструментов. Он — инструменталист медицины. Для этого нужна особая, хирургическая интуиция, которая вырабатывается годами практики и горьким опытом ошибок.

Становление хирургического мастерства можно сравнить с постепенной постановкой голоса певца. Певцу нужен не только сам голос, но и дыхание, и тренировка мышц и диафрагмы, и умение манипулировать голосовыми связками (которые на самом деле и не связки, а просто щели). Это требует не только таланта, но и труда. Но хотя хирургическое мастерство тоже достигается талантом и трудом, все-таки хирург не певец — его мастерство приобретается опытом на живых людях, на его пациентах.

Справедливо и другое «музыкальное» сравнение: как и музыканты-исполнители, хирурги выполняют руками тонкую работу. По уровню мастерства они различаются — от весьма среднего до виртуозного. Но в отличие от всех от хирурга всегда требуется качество постоянства. Музыкант может взять фальшивую ноту — никто и не заметит. Он может сыграть какой-то пассаж «вполруки» — ничего не произойдет. Если хирург «немного» ошибся — произойдет серьезное осложнение. Хирург обязан всегда работать с максимальным напряжением — операцию «в-пол-руки» не сделаешь. В хирургии абсолютно нет мелочей, каждая операция чем-то отличается от другой подобной, и в каждой есть элемент риска. На каждой операции хирург, как минер: он ошибается только один раз. А операции иногда идут по многу часов подряд, то днем, то во время ночных дежурств, а то и без перерыва днем и ночью. И все равно хирург не имеет права на скидку от усталости. Как актеру на сцене, так и хирургу в операционной никогда нельзя показывать усталости и своих эмоций, нельзя поддаваться им — это может привести к катастрофе в состоянии больного.

Во многих разделах медицины можно лечить заболевание

одним лекарством или комбинацией лекарств. Если это не помогло, можно пробовать действие других лекарств, а если и это не помогает — можно прочитать дополнительную новую литературу или посоветоваться с коллегами. Но не так в хирургии — пробовать разные операции нельзя, надо делать все с первого раза. И советоваться во время операции уже поздно, да и не с кем. Хирург — это мастер-одиночка.

Выбор правильной операции — это самый ответственный момент, им определяется успех всего лечения. Хирург-диагност ценен не менее, чем хирург-оператор. «Творческая лаборатория» мышления хирурга — это считанные минуты раздумий, почти всегда под пристальным и настороженным взглядом больного или его родных, которые ждут от хирурга решения, как приговора. Хирург всегда «просматривается» больными. Чужая боль никого особенно не волнует — а вот доктор, особенно хирург, обязан волноваться. За короткие минуты он должен определить заболевание и выдать единственно правильное решение. И выбор наиболее рационального лечения всегда должен быть строго индивидуальным: продумывая подходящую операцию, хирург должен идти не от метода операции к болезни пациента, а от болезни пациента — к методу операции.

Но баланс отношений «хирург — пациент» не всегда устойчивый. Хирургия в наше время стала предметом массового потребления, пациенты все больше становятся потребителями (Америка в этом отношении идет, как всегда, впереди всех). Все чаще хирурги видят недоверие и даже подозрительность к себе. Им приходится убеждать пациентов в необходимости операции, а те могут считать, что врачам руководит не профессиональный долг, а простая жадность. Иногда при этом личное обаяние хирурга может повлиять больше, чем авторитет его имени.

Мне приходилось знать хирургов не очень высокого мастерства, но обладающих сильным личным обаянием. И что же? — у них почти всегда была обширная хирургическая практика: привлеченные их улыбками, пациенты доверчивее шли к ним, чем к более холодным, хотя и более опытным специалистам.

Но обаяние — это сугубо внутреннее свойство личности. Если его нет, то хирургу приходится быть немного актером: надо уметь и улыбнуться, когда не хочется, и подавить в себе неприязнь, и сыграть любезность. Но никогда — не показывать безразличие. Никогда!

Мне самому всю жизнь приходилось сочетать вспыльчивость поэта со сдержанностью хирурга. И это было нелегко. Зато особое свойство поэтического предчувствия помогало мне выбрать самый

правильный подход к больному и его лечению.

Надо различать МЕДИЦИНУ как науку, и ЛЕЧЕНИЕ — как мастерство применения этой науки. Если медицина — это наука, общая для всех врачей, то мастерство лечения — это высокоиндивидуальное искусство, центральное ко всем традициям лечения — от шаманства (многие виды которого процветают во всех обществах до сих пор) до гомеопатии, от иглоукалывания — до хирургии.

Искусство врачевания базируется на умении ставить правильный диагноз, а отсюда — и проводить целенаправленное лечение. Когда я начинал свою врачебную практику, искусство диагностики заболеваний во многом основывалось на ТОЧНОСТИ ДОГАДОК: тот доктор точнее устанавливал диагноз, кто правильнее догадывался на основе своих знаний, опыта и интуиции. Лабораторные анализы были На довольно примитивном уровне, а технические усовершенствования рентгенотехники, кардиограмм и других исследований существовали еще не во всех больницах. И приходилось докторам обходиться «лабораторией» своего опыта и мозга. И тот был лучший диагност, кто точнее и быстрее умел догадываться.

Теперь врачебные догадки во многом заменились тонкостью технических исследований и лабораторных анализов. По-настоящему для постановки диагноза доктору нужно только знать — в каком направлении повести анализы и исследования пациента. Их результаты сами наведут его на правильный диагноз. Практически почти что так: нажал на одну кнопку — получил результаты магнитного резонанса, нажал на другую — данные ультразвукового исследования, нажал на третью — готова эхокардиограмма, нажал на четвертую — произведен анализ биохимического состава любой тканевой жидкости и так далее. Сопоставляя все эти данные, доктор уже не ДОГАДЫВАЕТСЯ, а ОПРЕДЕЛЯЕТ диагноз. А если у него все-таки остаются сомнения, он может ввести все эти данные в компьютер, еще раз нажать на кнопку — и на экране сам выплывет правильный развернутый диагноз с вариантами возможных отклонений.

Хирургия теперь, более чем когда-либо раньше, базируется на технических достижениях. Совершенные приборы и сложные машины облегчают диагностику заболеваний, а многочисленные инструменты и приспособления облегчают производство операций. Хирургическая наука и техника достигли совершенства, о котором не мог мечтать ни один научный фантаст. Начинают вводиться в практику хирургические роботы, управляемые на расстоянии (а расстояние — между континентами и связь идет через спутник!). Но это пока еще не

получило распространения, а круг хирургических заболеваний все расширяется: все больше и больше разных болезней лечатся операциями — многие болезни сердца, артриты суставов, болезни мозга и сосудов. И хирургия уже способна замещать многие больные органы и части тела на новые живые или искусственные. И все больше появляется новых методов операций, в них вырабатываются новые модификации и технические усовершенствования. Хирургу надо знать их все, в пределах своей узкой специальности, как шахматисту нужно знать тысячи стандартных комбинаций на шахматной доске. Хирург должен разбираться в этом, но более всего он должен еще УМЕТЬ это использовать, чтобы побеждать болезни инструментами. Профессионализм хирурга — это знания, помноженные на умение.

С одной стороны, новейшие усовершенствования дают возможность делать хирургическое лечение более точным и надежным. С другой стороны, они во многом усложняют работу самого хирурга. По своему 50-летнему опыту могу сказать, что к концу XX века делать операции стало намного сложней, чем это было в середине его. Хирурги знают, что нет и не может быть гарантий исхода операций. Профессионально определить ценность хирурга можно по таким признакам: как быстро и четко на операции он подходит к основному моменту — без потери времени и крови; как умело и очень быстро ориентируется в тканях при любых вариантах изменений; насколько радикально исправляет то, что подлежит исправлению — удалению или замещению. Но это видно только самим хирургам на операциях. Больные судить об этом не в состоянии, они ценят хирурга по результатам операций. А даже самый хороший хирург иногда может сделать неудачную операцию, и малоопытный хирург может получить блестящий результат. Непредсказуемость в хирургии — это непредсказуемость искусства хирурга.

При всех технологических усовершенствованиях само хирургическое лечение было и остается индивидуальным мастерством хирурга. Главное — не то, что дает нам техника, а как мы интерпретируем ее данные и как умеем ею пользоваться. В то же время техника может совершенствоваться беспредельно, но профессиональному совершенствованию человека есть предел. Наверное, следующее поколение хирургов будет уже более подготовлено к дальнейшей компьютеризации хирургических аппаратов и других нововведений.

Но если хирургия совершенствуется, то почему до сих пор еще остаются хирургические ошибки и осложнения? Потому что лечат не аппараты и инструменты — лечат хирурги. Медицина по

самой своей сути человечна, но все большее внедрение в нее аппаратов и инструментов приводит к все большему замещению человечности инструментализмом. Чем больше применения инструментов, тем меньше места для человечности в отношениях — как все это уместить хирургу и в голову, и в душу?

Из-за своей сложности хирургия разделена на многие подразделы. В результате вместо хирургов широкого профиля теперь стало все больше «узких специалистов». Они должны и могут работать только в крупных медицинских центрах, где есть разнообразные больные. Все это увеличивает стоимость медицинского лечения вообще и хирургического лечения в частности. В развитых странах, где хирургия наиболее развита, стоимость некоторых операций достигла уровня астрономических цифр в десятки и сотни тысяч долларов. Большая часть этой стоимости покрывается страховыми компаниями, а в странах с социализированной медициной это оплачивается из государственных средств. Но в любом случае, рост этой стоимости вызывает тревогу: до каких пределов допустим рост дороговизны хирургического лечения?

* * *

Так что же она все-таки такое — моя бывшая специальность «хирургия»? Пятьдесят лет я думал об этом и пришел к заключению, с которого когда-то и начал: все-таки хирургия это предназначение, это миссия, это спасение жизней, это беззаветное служение больным людям. Я думал о ней тогда, как влюбленный, и так продолжаю думать. Это и есть мысли старого хирурга, когда он остается один на один со своими воспоминаниями…

Эпилог

Эти воспоминания писались через семь лет после моего ухода из хирургии. Говорят, что каждый из нас — кузнец своего счастья. Мне подарено великое счастье: в возрасте за семьдесят я все еще живу всеми увлечениями прежних лет и испытываю неослабевающий интерес к жизни, к медицине, истории и искусству. Я сумел не стать овощем на грядке основательно перепаханной мной жизни, я не порвал ни с одним из моих любимых занятий.

В России в 1999 году все-таки издали мой учебник по методам илизаровских операций. По настойчивой рекомендации моего друга профессора Лирцмана это смогло частное издательство «Бином». Так частное смогло понять и осилить то, чего не смогло государство. Я писал свой учебник по-английски, мне пришлось самого себя переводить на русский. Это было нелегко — я, став американским доктором, основательно подзабыл русскую терминологию. Конечно, я доволен тем, что хирурги в России читают мой учебник. Но, к стыду русской науки, учебник самого Илизарова там до сих пор не издали.

Неожиданно для самого себя с перерывом в двадцать лет я опять стал писать стихи для детей. Московское издательство «РИФ-РОЙ» выпустило сборник стихов и сказок «Понарошки для детей» с моими иллюстрациями — почти год я рисовал их.

И самое великое мое счастье — то, что мы вдвоем с Ириной вот уже скоро пятьдесят лет. Мы прожили бурную молодость, интересную и драматическую зрелость, а теперь живем красивой старостью. Ирина во всем меня понимает, во всем поддерживает и помогает, она — моя первая читательница и критик. Она управляет нашими финансами и разрабатывает маршруты новых поездок по миру.

Каждое лето мы живем на даче под Нью-Йорком, неподалеку от дома нашего сына. Там мы проводим много времени с тремя внуками. Но раз или два в год выезжаем за пределы Америки — в Европу, в Южную Америку, в Австралию и Новую Зеландию. Иногда по старой памяти меня приглашают читать там лекции.

В 1998 году мы побывали в Петербурге и в Москве. Наша бывшая страна залечивает тяжелые раны, нанесенные ей коммунистами и попыткой самоуничтожения при развале СССР. На это тяжело смотреть, но нам показалось, что ситуация налаживается. Память обо мне в Москве не пропала: «Известия», «Вечерняя Москва» и «Медицинская газета» опубликовали мои интервью. В них я вкратце рассказал обо всем, что более

подробно изложено в этой книге.

Что сказать напоследок? Чем закончить рассказ о том, как «Русский доктор в Америке» сумел стать «Американским доктором из России»?

Однажды мы с Ириной проезжали по мосту Вашингтона через Гудзон. С него виден весь Нью-Йорк, и она вдруг восторженно воскликнула:

— Вот он, город, который мы с тобой взяли! Да, смелость города берет.